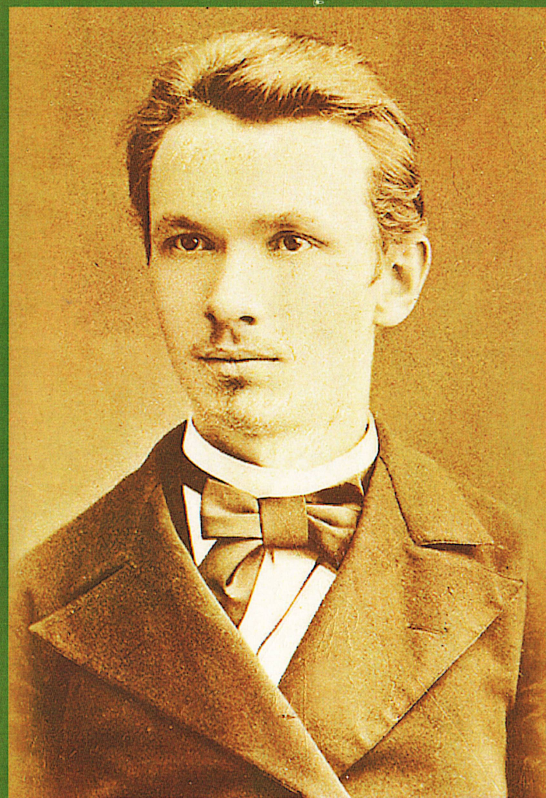
ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ



глазами современников

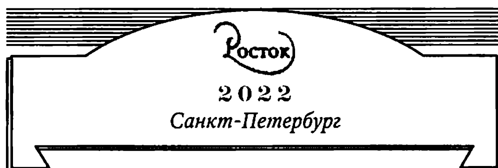
СЕРИЯ

Неизвестный XX век

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ



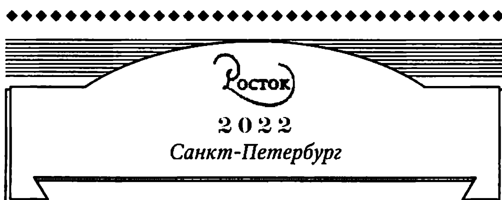




ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Воспоминания. Дневники. Письма.
Документы. Художественные произведения

ТОМ 1



2022
Санкт-Петербург

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8Розанов
УДК 821.161.1Розанов
Р64

Ответственный редактор:
А. П. Дмитриев

Р64 Василий Розанов глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма. Документы. Художественные произведения: В 2 т. Т. 1/предисловие, составление, подготовка текстов и комментарии В. Г. Сукача. — СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2022. — 528 с.

Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — один из крупнейших представителей русской культуры Серебряного века, гениальный художник слова и религиозный мыслитель, интерес к творческому наследию которого с годами неуклонно возрастает как в нашей стране, так и во всем мире.

В первом томе впервые в таком объеме представлены мемуарные очерки, принадлежащие как перу видных деятелей науки и культуры, прозаиков и поэтов рубежа XIX—XX веков (среди них — Андрей Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, З. Н. Гиппиус, И. Э. Грабарь, С. Н. Дурылин, Д. С. Мережковский, П. П. Перцов, А. М. Ремизов и др.), так и малоизвестным журналистам и беллетристам. Ряд мемуарных свидетельств обнаружен в архивах и публикуется впервые.

Издание адресовано всем любителям русской словесности.

В оформлении обложки использован фотопортрет В. В. Розанова, сделанный в начале января 1883 г. в московском ателье Г. В. Трунова. Будущему писателю 26 лет, он первый год служит в Брянской прогимназии.

ISBN 978-5-94668-340-1
ISBN 978-5-94668-348-7 (т. 1)



© В. Г. Сукач, предисловие, составление, подготовка текстов, комментарии, 2022
© ООО «Издательство “Росток”», 2022

Жизнь выдающегося религиозного мыслителя, писателя, литературного критика, педагога, публициста и борца за благополучие русской семьи была типичной для человека, родившегося во второй половине девятнадцатого века в разночинной семье. Гимназия, университет, учительство в уездных городках, потом сотрудничество в журналах и газетах — вот вехи жизни Розанова, чей необычный гений смутно осознавался его соотечественниками.

Современники не особенно баловали Розанова в его литературной судьбе, и если он «сделался Розановым», то не благодаря им, а скорее вопреки. Полное фиаско на философском поприще (судьба книги «О понимании»), глухое почти десятилетнее сотрудничество в консервативной прессе и нелепая полемика с Вл. Соловьевым. Нечаянно помогли Розанову «декаденты». Розанов стал «всероссийской персоной», но с сомнительной репутацией. «Нововременец». Потом — выступления против революции (с 1907 г.), антиеврейские выступления в связи с «делом Бейлиса» (1911–1913), «кислота в лицо» (общественная дискредитация) в Религиозно-философском обществе (на заседании 26 января 1914 г.); кроме того, книги «Уединенное» и «Опавшие листья», вызвавшие монотонное осуждение почти по всему пространству тогдашней культуры — от декадентки Зинаиды Гиппиус до протоиерея Дроздова. Полное отчуждение интеллигенции после экзекуции 1914 г. Когда-то хлебосольные чаепития на «воскресеньях» сменились пустотой в доме с «болящей Варварой», женой, и подросшими критически настроенными детьми. Революция настигла стареющего Розанова в унынии. И бегство из голодного Петрограда было чем-то похоже на бегство Толстого из Ясной Поляны... И вместе с тем Розанова читали: он был одним из немногих, кто познал счастье быть «любимым писателем», — высшая награда за тяжелый писательский труд.

Оригинальность Розанова многих завораживала и беспокоила, но его современники, занятые политической борьбой и разрешением со-

циальных вопросов, можно сказать, пропустили Розанова. Время было жестоким, и жизнь писателя потонула в громе и пламени страстей честолюбивой эпохи. Он мог бы многое ей подсказать, но открыли Розанова только люди следующих поколений.

Отчасти в этом виноват сам Розанов: самоумаление было одним из свойств его скрытной натуры. С психологией человека, идущего «против течения», он стоял особняком в культуре Серебряного века. Поденный газетчик, он был неподражаем и в мышлении, и в творчестве. Основная тема его — Бог и человек — проникала всю его литературную деятельность. Это был подлинный религиозный мыслитель потому именно, что его religio (связь с Небом) соединяла мимолетное с вечным. Он оставил громадные россыпи идей и тем для будущих поколений. Многие из них живы и будут жить вечно, потому что они касаются корневых сущностей человеческой жизни. Конечно, он «ошибался», но, быть может, его ошибки были плодотворнее бесспорных и непререкаемых истин, исходящих из уст весьма уважаемых людей. Мы не говорим о его слове, о его неподражаемом стиле, который останется в культуре как одна из драгоценностей, составляющих венец русской классической литературы.

Писатель обладал подлинной биографией. Она была настолько органичной, что в ней не было случайностей. Розанов прошел большой и трудный путь, не миновал и область тьмы, из которой дух пробирается меж теснин к свободе и высоте. Его творческий потенциал все нарастал и нарастал, а его пик, как у Достоевского и Тютчева, пришелся на конец жизни.

И хотя Розанов для своих современников оставался terra incognita, «ключ» к «писаниям и жизни» его так и не был ими подобран, — их воспоминания для нас драгоценны.

В. Г. Сукач

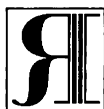



ВОСПОМИНАНИЯ




Е. Е. Голубинский

ВОСПОМИНАНИЯ

 родился в селе Матвееве, Костромской губернии, Кологривского уезда, в лето от Р. Х. 1834-е, февраля 28-го. Отец мой — священник села Евсигний Федорович Песков...

В то время фамилии у духовенства еще не были обязательно наследственными. Отец носил такую фамилию, а сыну мог дать какую хотел, другую, а если имел несколько сыновей, то каждому свою особую (костромской архиерей Платон прозывался Фивейским, а братья его — один Казанским, другой Боголюбским, третий — Невским). Дедушка, отцов отец, прозывался Беляевым, а отцу в честь какого-то своего хорошего знакомого, представившего из себя маленькую знаменитость, дал фамилию Пескова. Но отцу фамилия Песков не нравилась (подозреваю, потому, что, учившись в училище и семинарии очень не бойко, он слыхал от учителей комплимент, что у тебя-де, брат, голова набита песком), и он хотел дать мне новую фамилию и именно — фамилию какого-нибудь знаменитого в духовном мире человека. Бывало, зимним вечером ляжем с отцом на печь сумерничать, и он начнет перебирать: Голубинский, Делицын (который был известен как цензор духовных книг), Терновский (разумел отец знаменитого в свое время законоучителя Московского университета, доктора богословия, единственного после митроп<олита> Филарета), Павский, Сахаров (разумел отец нашего костромича и своего сверстника Евгения Сахарова, бывшего ректором Московской духовной академии и скончавшегося в сане епископа симбирского...), заканчивая свое перечисление вопросом ко мне: «Какая фамилия тебе больше нравится?» После долгого раздумывания отец остановился, наконец, на фамилии «Голубинский». Кроме того что Федор Александрович Голубинский, наш костромич, был самый знаменитый человек из всех перечисленных выше, выбор отца, как думаю, условливался еще и тем, что брат Федора Александровича, Евгений Александрович, был не только

товарищем отцу по семинарии, но и был его приятелем и собутыльником (еще во время учения в семинарии оба были весьма не дураки насчет водки, как бóльшая часть семинаристов).

(Когда мы учились в последнем классе училища, из семинарии пришло предписание отобрать у всех произвольно данные фамилии и дать им отцовские фамилии. Мы весьма сокрушались и некоторые плакали. Один из товарищей прозывался Сперанским, а отцу его была фамилия Овсов, и он очень плакал, не желая превращаться из Сперанского в Овсова. Но остается для меня совершенно неизвестным, почему мне фамилия не была переменена; в то время как моего брата младшего Александра превратили из Голубинского в Пескова, меня оставили с громкой фамилией...)

Духовенство нашего села, бывшего трехклирным, состояло из трех священников, двух диаконов, трех дьячков и трех пономарей... Кругом нас были большие приходы — трехклирные и двухклирные. И духовенство всех приходов (как, впрочем, и решительнейшее большинство духовенства всей епархии и едва ли не решительнейшее большинство духовенства и всей России, по крайней мере северной), без преувеличения можно и должно сказать, предано было безмерному пьянству или совсем погружено было в пьянство. Пьяный год священников нашего села, начиная его с Пасхи, был таков. В самый день Пасхи после обедни, поделив между собой отрезы от приносившихся прихожанами в церковь куличей (которые называются у нас пасхами, в крестьянском выговоре — пасками) и набранные с отрезами от куличей крашеные яйца, священники (разумею под ними весь вообще причт) брали иконы и шли славить Христа по самим себе — сначала к старшему священнику, потом ко второму, потом к третьему и так далее. У старшего священника как будто предлагался братии обед, а в следующих домах — большая закуска. Я сказал, что «и так далее», но это «и так далее» бывало не весьма часто и во всяком случае простиралось не весьма далеко: наибольшею частию хождения кончались третьим священником, очень редко они достигали первого диакона и еще реже второго, а чтобы достигали они и до первого дьячка, это как будто никогда не бывало. Хождения оканчивались далеко не оконченными потому, что после закуски у третьего священника люди оказывались в таком положении, что и до домов своих могли кое-как добираться только при помощи жен. А другие не добирались до дома и где-нибудь валялись. Пасхальную вечерню служили кое-как. Только начальный иерей Федор Никитич Елизаров (родной дед по отце известному писателю Василию Васильевичу Розанову) был крепок: сколько ни пил, нельзя было заметить, что пьяный. Со второго дня Пасхи начиналась слава по приходу, и так как приход наш был очень большой, состоявший из 30 с лишком деревень, разбросанных притом же на значительном пространстве, то слава продолжалась очень долго. А сла-

вить для нашего духовенства значило пить и пить и напиваться каждый день к вечеру до совершенного положения риз. После славы настают так называемые мольбы. Мольбами называются у нас деревенские праздники: каждая деревня имеет по своему собственному празднику, многие имеют их по два, а некоторые даже и по три, и наибольшая часть этих праздников приходится на лето. В день праздников священник с причтом приезжает в деревню, служит в деревенской часовне всенощную (сокращенно) и молебен, совершает крестный ход вокруг деревни и потом, после обеда в отведенной ему квартире, ходит по домам деревни со святой водой и у желающих служит домовые молебны. Если бы священник или кто-нибудь из причта не напился в деревне к вечеру с праздника как следует, то на это посмотрели бы все как на чудо, — а наши священноиереи чудес творить вовсе не желали.



С. Д. Думаровский

[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]

Василий Васильевич Розанов — выше среднего роста, круглолицый, с голубыми глазами, с постоянной улыбкой на своем открытом лице, с рыжеватыми волосами. Впечатление производил собою благовоспитанного добродушного симпатичного юноши; всегда отзывчивый на все просьбы; как, бывало, не знаешь перевод из латинского или греческого, идешь к Василию Васильевичу, и он тебе сейчас все расскажет. Учился хорошо. Как товарищ по гимназии Василий Васильевич, благодаря своему ровному характеру, был очень хороший, у него не было разбору между товарищами, со всеми был одинаков, за что его все любили.



Бессонов

[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]


озанов был] роста немного выше среднего, худощавый, с волосами рыжими, местами впадавшими в красноту, манеры сдержанные, обращение со всеми ровное, серьезный, хотя не чужд был остроты и шуток; в общем, мальчик был симпатичный, аккуратный, одевался просто, нося постоянно гимназический синий со светлыми пуговицами мундирчик, серое форменное пальто...

С начальством вел себя к<а>к и вообще с своими товарищами, ровно, сдержанно: лучшими его друзьями были покойный ныне Кобер, Соболев. В гимназии, к<а>к и дома, по свойству самого своего характера вел себя прилично и никаких шалостей, резвости не проявлял. В товарищеских играх участвовал редко...

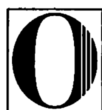
Знаю, что он очень интересовался литературой, читал много и беседы с товарищами на литературные темы предпочитал играм, свойственным юношескому возрасту...

Жили братья дружно, но Ник<олай> Вас<ильевич> был более веселого характера, чем Вас<илий> Вас<ильевич>.



А. М. Щеглова

[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]



О его наружности я вам писала. Каков был в обществе, не знаю, т<а>к к<ак> встречала его только у себя; симпатичным он, по-моему, не был, но был интересен как собеседник...

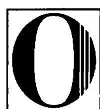
Я уже писала, что он был какой-то, если можно так выразиться, двойственный, неуравновешенный. Иногда он с жаром что-нибудь защищал, а через день говорил, и тоже с жаром, совершенно противоположное. К религии то относился отрицательно, то начинал говорить, что нужно сильно верить.



А. С. Глинка-Волжский

ИНТИМНЫЙ ДОКУМЕНТ
(Письмо В. В. Розанова об А. П. Сусловой)

1924 + 7 – 1931 г.

б Аполлинарии Прокофьевне Сусловой как жене Василия Васильевича Розанова, пережившей до этого брака сложный роман с Федором Михайловичем Достоевским, я знал еще в годы моего первого знакомства с Розановым. Знал общие факты, но не вычурные их узоры. В те годы, особенно в 1904–1905 г., когда я жил в Петербурге и постоянно встречался с Розановым, вел с ним, при различии мировоззрений и остром интересе к нему, долгие ночные беседы на всякие темы, углубить тему о Сусловой просто как-то не пришлось: слишком много было тогда всякого материала для общения, к тому же и жизнь кругом била ключом в этот 1904–1905 г. в Петербурге. Позже, живя по провинциям, я только наезжал в Петербург, переписку же с Василием Васильевичем вел полосами, с большими перерывами. Лишь в 1916 г., живя в Нижнем-Новогороде <так!> и возобновив свою работу над биографией Достоевского, я написал Розанову специальный запрос о Сусловой. Зная, как умеет В. В., отдаваясь наитию нахлынувшей минуты, *излить* из себя душевные сгустки жизненных соков всякой освоенной им были, я просил его, не нудя себя срочностью ответа, написать в такую минуту изнутри хлынувших волн, но по возможности все, что припомнит из слышанного от Сусловой в годы их совместной жизни — о Достоевском и ее отношениях с ним. Розанов написал скоро и интересно, но главным образом о самой А. П. Сусловой и больше о ее взаимоотношениях с ним, Розановым, и очень мало и недостаточно об отношениях между ней и Достоевским.

Письмо, без даты и обращения к адресату (ко мне), написано на узких отрезках бумаги газетного типа, вложено в конверт с печатным на нем адресом «Нового Времени». Возможно, что нарочито писалось «на

службе», в помещении редакции «Нов<ого> Вр<емени>», — подальше от глаз Варвары Димитриевны (второй и настоящей жены В. В. Розанова), которая по характеру наших семейных отношений, естественно, могла поинтересоваться его письмом ко мне.

На конверте сохранился оттиск почтового штемпеля: Н.-Новогород, 24, 5. Цифра года осталась не оттиснутой. Петербургский почтовый штемпель совсем стерт. Но, несомненно, письмо, полученное в Н.-Новогороде 24-го мая, относится к 1916-му году. Помню, потому что незадолго перед этим В. В. прислал свой портрет в связи с исполнившимся 62-летием жизни. Родился Розанов в 1854 году (точную дату — месяц и день — не помню).

С той поры письмо это хранилось у меня среди материалов биографии Достоевского. Приготовляемое мною в размере книги около 70—80 печатных листов собрание этих материалов своевременно не было напечатано, а позже, когда Октябрь обогатил архив биографии и материалов о Достоевском несметными и до сих пор, по-видимому, лишь частично освоенными исследователями сокровищами, проделанная мною работа совершенно устарела, и не было оснований торопиться с опубликованием письма Розанова. О наличии же этого интересного документа мне приходилось упоминать в разговорах со старыми писателями: М. О. Гершензоном, Г. И. Чулковым и, б<ыть> м<ожет>, и некоторыми другими. От Чулкова узнал о существовании этого письма Розанова Гроссман Л. П. и, кажется, в 1924 г. просил разрешения ознакомиться с ним и использовать для своей работы «О подругах Достоевского».

Какое-то сложное внутреннее чувство, восстав, остановило меня тогда от напечатания этого документа в силу интимности и даже стыдности его содержания. С другой стороны, мне не хотелось отказать в просьбе Л. П. Гроссману, которого, к тому же, привел ко мне для этой цели мой старый студенческий и даже гимназический товарищ Г. И. Чулков. Я поступил половинчато, дал возможность ознакомиться полностью с письмом Розанова и согласился на напечатание лишь некоторых, особенно приглянувшихся ему и вместе менее интимных мест. В том же смысле я давал этот документ Чулкову для материалов его художественной биографии Достоевского, пока еще не вышедшей в свет. Целиком же письмо я намеревался использовать позже, в связи со своими мемуарами, которые твердо положил напечатать с приближением смерти. Теперь, когда прошло еще 7 лет и серьезная болезнь уже создала предпосылку для работы и над мемуарами (очень занят ими по мере моих сил), внутренние сопротивления против напечатания этого документа почти полностью изжиты, и я уже не мог возражать против любезного предложения редактора «Звеньев» Вл. Дм. Бонч-Бруевича теперь же напечатать письмо Розанова на страницах одного из этих сборников.

К тому же частичные выдержки из письма в книге Гроссмана, назвавшего его «исключительной ценности документом для характеристики Сусловой» («Путь Достоевского», 1928 г., стр. 136), вызвали полемическую страстность редактора «Дневника» Сусловой и переписки ее с Достоевским.

Если Леонид Гроссман под впечатлением письма ко мне Розанова о Суслихе полагает, что «личность Сусловой рас..... Достоевскому ряд неведомых черт в глубоких натурах "гордых девушек" или "инфернальных женщин"» (Путь Достоевского. 1928 г., стр. 138—9), то Долинин решительно восстает против интерпретации Сусловой как «инфернальницы». «Слишком большую дань заплатил Гроссман розановскому письму, даже незаслуженную, и очень-очень вы........», дал его копию он и в главе, касающейся Сусловой («Достоевский. Статьи и материалы». Под. ред. Долинина. Сб. II, стр. 257).

Со своей стороны, комментатор «Дневника» Сусловой и переписки ее с Достоевским (там же; А. П. Суслова «Годы близости с Достоевским») слишком беллетристично подходит к изучению материалов о Сусловой, рисуя ее образ почти исключительно, если не всецело, на самопоказаниях героини (Дневник, письма, неоконченная повесть «Чужая и своя») и *толкованиях* свидетельств Достоевского, не только прямых (в его «Письмах» и пр.), но и предполагаемых «в будничных образах» (?) и творчестве («Годы близости с Достоевским», стр. 15—16).

Как бы то ни было, несмотря на наличие в настоящее время весьма ценных материалов о Сусловой («Дневника» ее, некоторой переписки ее с Достоевским, следов этого романа жизни в творчестве и некоторых других сведений, идущих от «частных лиц»), напечатанное здесь ниже письмо «о Суслихе» Розанова привносит сюда нечто интересное, новое и существенное, штрихи и детали важного значения, во всяком случае, то, что не раскрыто *ни* показаниями А. П. Сусловой о самой себе, *ни* признаниями сложной влюбленности Достоевского в его письмах и характеристиках здесь его «вечного друга», *ни* в свидетельствах разных лиц вокруг Сусловой и Достоевского, *ни*, наконец, в том, что доказательно ухвачено руками исследователей о творчестве и художественных образах Достоевского, прямо относящееся к Сусловой.

В соответствии с специфической направленностью розановской зоркой созерцательности письмо вскрывает, если позволено будет так выразиться, по преимуществу *глубоко-исподнее* в личности Сусловой: сексуальные предпосылки ее тонкой и сложной душевной консистенции, не исключая и того, что в условиях старого быта раскрывалось в исповеданиях или докторском кабинете, в последнем случае часто не самой «больной», а ее близкими. Письмо Розанова проводит линию и <ставит?> эту последнюю точку. Историку никак нельзя пройти мимо этого

письма отвергнутого, но все еще <влюбленного?> и, несмотря ни на что, чрезвычайно откровенного бывшего ее мужа. (Настолько, что писал письмо это ко мне «вне дома», в редакции: не попалось бы Вар<варе> Димитр<иевне> на глаза.)

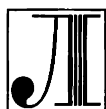
Через 30 лет после разрыва в письме бывшего мужа столь не затухнувшая еще горечь и боль той злой жизни, явственно проступает ее плен, и восхищение, и, главное, живость, а отсюда и подлинность восприятий былого. Некоторая развязность откровенничания и весьма густой налет обычного для Розанова, годами писавшего на страницах «Нового Времени», антисемитизма, даже в самом словоупотреблении, не лишает этот документ важного значения для биографии Достоевского.

Необходимо коротко напомнить здесь основную фактическую канву.

Родилась А. П. Суслова, по данным комментатора ее «Дневника» и переписки с Достоевским, — не то в 1840 г., не то в 1839 г. Она дочь крестьянина с. Панина Горбатовского у. Нижегородск<ой> губ. Отец — крепостной графа Шереметьева (правильно — Шереметева, управлял его имениями с начала 1860-х гг. Позже приобретает собственную фабрику в Иваново-Вознесенске. В Нижнем-Новогороде на Больше-Солдатской (?) ул., как указал мне когда-то А. П. Мельников (сын П. И. Мельникова-Печерского), у Сусловых был свой дом. Как и где протекало детство А. П. Сусловой — неясно. Сестра ее, Над<ежда> Прок<офьевна>, известная как первая женщина-врач, училась в частном Москов<ском> пансионе. В год знакомства с Ф. М. Достоевским (1861 г., по-видимому, середина, а б<ыть> м<ожет>, несколько раньше) в Петербурге, вращается в среде студенчества 60-х годов, начинающая писательница (в журн<але> Достоевских «Время» за 1861 г. печатается рассказ ее «Покуда»). Время интимного сближения ее с Достоевским точно не установлено, однако биограф Сусловой правильно указывает общие ошибки этого периода: «Еще в Петербурге, во всяком случае, до второй поездки Достоевского в Европу в 1863 г.» (А. П. Суслова. «Годы близости с Достоевским». Изд. Сабашниковых, 1928 г., стр. 12). Скорее всего, это было в самом конце 1862 г., поскольку Суслова, уже в отрыве от Дост<оевского> 14 декабря 1864 г. записала: «Когда я вспоминаю, что́ была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д<остоевского>». У Ф<едо>ра М<ихайлови>ча умирала в эти годы его первая жена Мария Дмитриевна, по первому мужу Исаева († 16 апреля 1864 г.). В конце лета 1863 г. Достоевский едет за границу, предупреждая А<поллинарию> П<рокофьевну> о свидании с нею в Париже, где она ждала его (запись «Дневника» от 19 авг., без года, но, несомненно, 1863 г.). Однако Суслова налаживает в это время новый роман с молодым испанцем; герой — студент или врач, по имени Сальвадор. А. П. отдалась ему и пишет Достоевскому свое: «Ты едешь немножечко поздно» (Дневн<ик>, 19 авг.). Но Ф. М. не получил письма.

Объяснение, где повторяется тот же мотив; положение осложняется разрывом охладевшего к А. П. Сусловой Сальвадора; боль и сочувствие, совместная поездка Достоевского с Сусловой в Италию, где он друг-брат, утешающий, однако не осиливающий до конца взятой на себя роли. Прошлое все же оказывается невозвратимым. Разъезжаются в разные стороны, не удовлетворенные поездкой. По пути в Россию Достоевский проигрывается в рулетку. Суслова закладывает свои вещи и посылает ему деньги (Дневн<ик>. Окт. 27). Несомненные отсветы отношений с Сусловой этого периода отражены в «Игроке» Достоевского (задуман во время их путешествия по Италии в 1863 г. — см. письмо к Страхову из Рима 18 (30) сент. этого года). Далее они, Ф. М. и Суслова, в душевном разъединении, но общение между ними еще продолжается. У нее — «лейбмедик», «валах» и др., у него — Анна Васильевна Корвин-Круковская (сестра Софьи Ковалевской), увлечение которой со стороны Достоевского относится к 1864 г. В Дневнике Сусловой от 2 ноября 1865 г. в Петербурге записано: «Сегодня был Ф. М. и мы всё спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце и тяжко сердит этим». Здесь же записано Сусловой сказанное ей Достоевским: «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это...»

С. Н. Дурылин
В. В. РОЗАНОВ

етом 1918 г. Василий Васильевич Розанов привез ко мне в Москву из Посада маленький тючок, развернул и сказал: «Вот это прошу Вас отдать куда-нибудь на сохранение. Сберегите. А после моей смерти отдайте моим детям». В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его единственного по нежной тонкости и по неразборчивости почерка: продолжение «Уединенного». Я с радостью, не отрываясь, смотрел на это богатство. Но Василия Васильевича занимало что-то другое. Он рассеянно смотрел на конверты с листочками, почти не слушал, что я ему говорил, перелистнул какую-то книгу, лежавшую на столе, — и вдруг, решительно вытянув из внутреннего кармана пиджака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал:

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и прочтите им.

Я принял конверт: он был мят и грязноват.

Сказав то, что сказал, и вручив мне конверт, он ничего не прибавил в пояснение.

Все, что он просил, было исполнено.

Когда он умер, пакеты с листочками были мною переданы его семье, а запечатанный конверт я предъявил Варваре Дмитриевне, собрав Таню, Надю и Александру Михайловну в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке, которая служила столовой и была рядом, дверь в дверь, с комнатой, где он умер.

Я распечатал конверт и выложил на стол все, что там было: две, помнится, небольшие записные книжечки в клеенке, два-три листочка, — и старое пожелтелое письмо... Книжечки мы перелистывали: там были какие-то незначащие или нам показавшиеся такими записи, пометки де-



лового характера, немало пустых страниц... Ничего в них не было такого, что объясняло бы их присутствие в запечатанном конверте, назначенном к посмертному вскрытию. Книжечки принесли недоумение. Зачем их было запечатывать? В это время Варвара Дмитриевна взяла пожелтелое письмо, — и только глянула — воскликнула:

— А! Вот это... — и протянула мне:

— Читайте.

Я стал читать вслух. Почерк был Василия Васильевича, но несравненно четче, чем знакомый мне: было видно, что письмо, — или, точнее, то, что я читал, — было написано много лет назад...

Я читал — и дух останавливался. Это был рассказ о первой женитьбе Василия Васильевича на Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, любовнице Достоевского, о их супружеской жизни и о конце этой жизни — и, главное, о том, что вынес в этой жизни Василий Васильевич. Рассказ был написан, надо думать, в самом начале 90-х годов — и в определенное время: тогда, когда Василий Васильевич был уже женат на Варваре Дмитриевне. Рассказ весь строился по контрасту: что было тогда, при Сусловой, и что стало *теперь*, когда при нем В<арвара> Дмитриевна. О «теперь» он, впрочем, ничего в письме, сколько помню, не говорил: «теперь» — это было глубокое, полное счастье. Это было счастье в онтологии, если можно так сказать, счастье от корня бытия, счастье от «лона Авраамова», полученное от «Бога Авраама, Исаака и Иакова». В счастьи этом с В<арварой> Дмитриевной открывалась вся та нежность, успокоенность и глубина родовой мудрости, которые всегда видел в таком счастье Василий Васильевич как писатель. Когда писалось то, что я читал, этим счастьем в онтологии Василий Васильевич обладал и был насыщен им, как библейский старец — днями, — и вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в «лоне Авраамовом» то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее «счастье», искомое в психологии, — и какой еще! В «психологии» бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Василий Васильевич ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от «психологии», брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову, не по автору «Семейного вопроса» и «В мире неясного и нерешенного». Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно «пожила», — не только с Достоевским, но (знал ли это Василий Васильевич, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих «испанцах» в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой

выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: «та, кого любил Достоевский!» — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на «романтику», на «Достоевского», он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности «Бога Авраама, Исаака и Иакова» — оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью «принципиально» бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настастья Филипповна (из «Идиота»), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой «колыбельной песни» в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — «непрерывным раздражением пленной мысли», озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой «Песни песней», на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: «Она измучила меня! Она ненавидела меня!» * (Достоевский предупреждал ее: «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа».)

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В. В. и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега — волне, которая только что била, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жмется к тихому и теплому лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено. Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лоном — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.

* В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: «Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания» (с. 933).

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В. В. хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что сталось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю.

Много лет спустя, уже в середине 900-х гг. В. В. во второй раз рассказал о Сусловой уже в письме к чужому — к биографу Достоевского А. С. Волжскому*.

Теперь вот книга вышла о Сусловой. Все это и вспомнилось. О Розанове в ней говорится, что он «один из лучших истолкователей (Достоевского), потому что был он во многом ему конгениален» (с. 5). В примечании (с. 173) сказано о Р., что он «талантливейший публицист, критик и мыслитель», отец целой школы истолкователей Достоевского, но что он же «представляет собою удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского», и в «Н<овом> Вр<емени>» писал «ради высокого гонорара нередко то, во что сам не верил» (с. 173).

Показания В. В. о Сусловой все берутся автором под сомнение, все почти отвергаются, т. к. В. В., «по-видимому, всю жизнь испытывал к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением» (с. 7). Последнее вовсе несправедливо: ни в конце 90-х, ни в 900-х гг. не было никакого «восхищения». «Ненависть» же была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что «дети его от второй жены долго не могли носить его фамилию» (с. 41). Долинин не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеды. Дело в том, что В. В. был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас. Вас., как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с детьми

* Биографию он так и не написал, а письмо розановское отдал, здорово живешь, Гроссману. Тот напечатал его с несколькими строками своих объяснений в «Русском Современнике», подписался «Л. Гроссман», получил гонорар и славу первого обнародователя интереснейшего документа для биографии Достоевского. Когда в 1925 г. Волжскому пришлось поехать в Семипалатинск по делам и он, желая покопаться в тамошнем архиве о Достоевском, попросил у Гроссмана какую-нибудь бумажку от Академии, тот ничего не дал. Урок простакам.

и ссылке на поселение. Когда детей надо было отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы, Тернавцев поехал в Крым убеждать Суслову дать Вас. Вас. развод. Вернулся ни с чем и сказал: «Это не баба, это — черт в юбке!» Вас. Вас. соглашался с женой Достоевского, что Суслова была «цинична». Этот цинизм и чувственность, сопровождаемые злобной, мечущейся серостью души и жизни, преисполняют ее «Дневник». Даже сам защитник ее должен признать, что после разрыва с Достоевским ее постигает «падение»: «катастрофическое понижение всего диапазона ее душевных переживаний, *ставших вдруг* (! конечно, всегда и бывших. — *С. Д.*) какими-то маленькими и мелочными»; «явно ощутимая пошлость, которая проявляется теперь в ее отношениях с окружающими ее людьми» (с. 33). На этом тягостном фоне «мелькают, точно серые сумеречные тени, лишенные яркости и глубины, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает» (Там же). «В той плоскости, в которой она ими интересуется (чувственной! — *С. Д.*), они (ее "безымянные герои". — *С. Д.*) ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик), — она непременно дарит свое внимание каждому из них» (с. 34).

Но злобствует она на них, на этих мимолетных валлахов и испанцев своих, не меньше, чем на Розанова: «Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена*, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем, — пишет она в дневнике (с. 77, 7 января 64 г.), — я не могу быть покойна... Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом, я отниму у него радости, я его унижу» (с. 77).

Эти фуриозные строки объясняют ее всю. Все это она хотела сделать с изменившим ей испанцем Сальвадором, ради которого она изменила Достоевскому, — но с испанцем сделать этого ей не удалось, а удалось сделать с Розановым. Еще в 1886 г. Розанов просил у нее развода, она отказывала, что явствует из письма к ней графини Салиас: «Смотрите, чтобы этот муж, которого *вы насильно желаете быть женой*, не наделал вам бед» (с. 43).

* Испанец изменил ей.

Но бед наделал не он ей, а она ему.

История очень проста.

Когда В. В. нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Сусловой — все содержание того письма, которое я читал по воле В. В. самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых.

Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и *детям* их. На детях-то и проявляется нарочитая Медеина месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В. В. эти слова: «незаконные дети» и «законные дети»), с поношению подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды видавший, твердый мужчина победоносцевской школы Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: «Не баба, а черт в юбке».

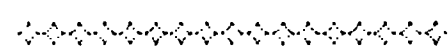
13.VI. К характеристике Медеи: в Монпелье она сблизилась с женой Огарева (Тучковой), перешедшей в жены к Герцену.

> То она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дрязги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтоб женщина выходила замуж и, паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выселиться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей... Наконец, сегодня мы с ней как будто договорились. Я говорю, что *пользу* нужно *приносить* (ее курсивы. — *С. Д.*), хоть одного мужчину читать выучить...
>
> — Нет, не то. Нужно, чтобы *цивилизованные* в... (неразобрано одно слово) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа.
>
> — Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.
>
> — А Лугинин и Усов?
>
> Я просила считать меня кандидатом (с. 119).

Розанов — и кандидатка такого общества! Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором «Сем<ейного> вопроса», «В мире неясного», всего, что писано им о поле и браке. Против нее *вопияла* вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом («О понимании»), а истинным

цветением и плодом *только* с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою — нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда — Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной «близости» с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без «испанцев», без «психопатологии», с одной мудрой онтологией «ложа нескверного», — с любовью великою, — вот кто была его музой — Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского — ничего, кроме огромного — далекого от гения Розанова — трактатища «О понимании», а при этой — при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, — и какие книги: «Легенда о Великом Инквизиторе» (СПб., 1893) *, «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Природа и история», «В мире неясного и нерешенного», «Литературные очерки», «Около церковных стен» и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили — всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, местью детям Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении «незаконных» («законными» были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав «незаконных детей», которую Розанов повел так горячо и твердо в «Семейном вопросе в России», в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин «незаконнорожденные».

А она действительно имела в себе что-то фуриозное, — даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. «Потом она (Медея № 2: "Тучкова-Огарева", перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (— Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой...» (с. 119) **



* Вот что о ней пишет тот же Долинин, к чести его сказать: «Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Волынский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые впервые были высказаны Розановым в его замечательной работе "Легенда о Великом Инквизиторе"» (СПб., 1893. С. 173).

** Доктору, утешавшему ее после одной операции, что она будет «иметь детей», она ответила, что это ее «ничуть не утешает». «Почему же?» — «Потому что я не умею их воспитывать» (с. 12).

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бороденкой и папиросой во рту?

13.VI. P. S. Долинин называет Розанова человеком, «во многом конгениальным» Достоевскому (с. 5) и «почти гениальным человеком» (с. 42). А вот что приходит в голову: в 60—70 годах атмосфера русской культуры была еще такова, что человек с темой Достоевского, с пафосом Достоевского, с гением Достоевского еще мог выразить себя, благо он был художник (хуже б ему было, если бы он был чистый мыслитель); но в 90—900-х гг. атмосфера русской культуры была уже такова, что человек, Достоевскому «конгениальный» и «почти гениальный», уже *едва* мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое «Я само» («я-то бездарен, да тема моя гениальна»), — и уже не в журналах, как Д., а в газете (весь секрет, почему был в «Н<овом> Вр<емени>», конечно, не в деньгах, а в том, что Суворин давал возможность выкрикнуть о Египте, о «звездном», обо всем, о чем и заикнуться было нельзя у Гольцева в «Русской Мысли», у Михайловского в «Рус<ском> Богатстве» или у Стасюлевича в «Вестн<ике> Евр<опы>», или в профессорских «Р<усских> Вед<омостях>», в своем издании на свой риск (сборники и книги). Ныне же человек с темой и воплями Достоевского или «конгениального ему» человека с неугасимой папиросой был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту.



П. Д. Первов

ФИЛОСОФ В ПРОВИНЦИИ

(из литературно-педагогических воспоминаний)

I



Пришвин продолжает еще печатать свои повествования об Алпатове, которые являются чем-то вроде семейной хроники. Хроника эта открылась повестью «Курымушка», где автор изображает свое детство. Критика отметила, что повесть эта дает обильный материал для иллюстрирования того, как дореволюционная средняя школа умственно и нравственно калечила своих питомцев.

Центральное место в судьбе «Курымушки» занимает «Козел». «Пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами; зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной; нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час». Отчего происходило это дрожание парты, половицы и ноги и какая трагическая коллизия из-за этого дрожания произошла в душе и судьбе этого Курымушки, автора повести «Курымушка», – все эти сложные детали читатель найдет в самой повести. А портрет «Козла», хорошо исполненный и выразительный, можно видеть в Третьяковской галерее. Под этим портретом подпись: «В. В. Розанов». <...>

Нарком Н. Семашко, учившийся в Елецкой гимназии восемь лет и окончивший ее в 1892 году, так характеризует эту гимназию: «Это была недавно открытая гимназия страшнейшего захолустья, куда преподавательский персонал ссылался как бы в наказание. За самыми редкими

исключениями преподаватели представляли собою или допотопных зубров, или просто больных людей. Среди наиболее передовых идейных педагогов был известный черносотенец, нововременский писатель, В. В. Розанов, преподававший географию, и довольно известный классик и историк, ныне здравствующий...» * <...>

До В. В. Розанова учителем истории и географии был И. И. Тарановский. <...>

II

В следующем году, по уходе Тарановского, до конца сентября в Елецкой гимназии не было учителя истории и географии. Наконец в гимназию явился переведенный из Брянска учитель — В. В. Розанов. Он был одиноким, поселился у старой вдовы. Новый учитель никому не сделал визитов, в учительской больше молчал, наблюдал и подсмеивался; на учительские вечеринки не ходил. Прошло два месяца. Инспектор И. И. Пенкин, сменивший умершего «Обезьяна» и тоже переехавший из Брянска, втихомолку сообщил некоторым из учителей, что Розанов написал в Брянске целую книгу и даже напечатал ее на свой счет, на свое учительское жалованье. Это известие всех заинтриговало: стали расспрашивать Пенкина. Но оказалось, что он не читал самой книги, что это какая-то философия и что книга называется «О понимании». Все это ставило слушателей в тупик. Чудак человек! Ухлопал все свое годовое жалованье на печатание книги! На какие-то деньги жил он в тот год, как печатал книгу? и как можно сочинить целую книгу о понимании? Что такое это «понимание»? Пенкину не особенно верили, а самого автора загадочной книги не решались пока расспрашивать. Наконец, Пенкин оповестил, что пригласит Розанова на свое семейное торжество с тем, чтобы среди беседы порасспросить его подробнее о книге. Это было торжество по случаю годовщины со дня рождения дочери Пенкина. Пенкин, бывший потом директором Орловской гимназии, ярый черносотенец и карьерист, свято соблюдал разные старозаветные обычаи и, между прочим, обычай, строго запрещавший отцу брать на руки своего ребенка в первый год его жизни. На торжестве отец должен был впервые взять свою дочь на руки. За столом сидели почти все учителя с женами; на столе красовался необъятной величины осетр; жена Пенкина поднесла мужу разодетого в кружева младенца; все поздравляли, произносили тосты, чокались. После официальной части торжества завязали беседу с новым учителем о жизни в Брянске и о его книге. Автор подробно рассказал, где печаталась книга, сообщил, что в ней около 600 страниц

* *Ник. А. Семашко.* Полвека жизни – тридцать лет революционной борьбы. М., 1924.

и что она стоит в продаже 5 рублей; но на просьбу объяснить, что такое «понимание» и о чем трактует его книга, отвечал шутками, обещавши, однако, дать самую книгу двум-трем учителям, просившим об этом. Дамы особенно удивлялись тому обстоятельству, что в книге, по свидетельству ее автора, было 600 страниц. И всю эту таинственную премудрость о «понимании» сочинил один человек, сидевший между ними, бывший учитель брянской прогимназии.

Скоро учителя увидели и самую книгу, на обложке которой значилось: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Прошло несколько недель. У автора расспрашивали в учительской, сколько экземпляров книг напечатано, сколько продано, куда он послал ее для продажи; автор отделывался шутками*. Высчитывали, что если книга продается по 5 рублей, то, вероятно, самому автору печатание ее обошлось тысячи в две. Откуда он взял такую уйму денег? От Пенкина узнали, что Розанов – сын бедной вдовы-мещанки, которая содержала семью стиркой белья, что в годы студенчества он жил уроками, женился на своей квартирной хозяйке, что жена его приходилась сестрой одной из трех знаменитых женщин, которые, получив заграничное образование, были первыми в России женщинами-врачами, что Розанов в первый же год разошелся с женой. О самом содержании книги с автором никто не заводил речи; но в отсутствие Розанова в учительской и на учительских вечеринках росло и плодилось всякого рода злословие. И в особенное недоумение приводило учителей то обстоятельство, что в книге не было цитат и ссылок на философскую литературу. Кое-кто пробовал читать книгу, но у читателей хватало терпения только на бесполезное перелистывание толстой книги. Толковали, что автор, должно быть, списал эти сотни страниц из каких-нибудь книг, но не знали – из каких. Исподтишка разведывали у него, не знает ли он иностранных языков, в предположении, что, может быть, он «стащил» эти сотни страниц у какого-нибудь иностранного философа. Но оказалось, что Розанов знает языки лишь настолько, насколько знали гимназисты старших классов. Никто не мог решить, что́ у автора в книге свое и что́ чужое; но все были уверены, что в ней больше всего чужого. Автор по-прежнему по вечерам сидел у себя дома, сторонился учительской компании; в беседах отделывался шутками и афоризмами. Учителя почти единодушно решили: «Это не нашего поля ягода». Нарастала постепенно злоба. Автора в насмешку стали звать «философом» и «понимающим». Классик-картежник М. В. Десницкий в учительской то и дело насмешливо провозглашал по адресу

* В первые два года, до появления первых рецензий, как говорил потом Розанов, ни в Ельце, ни в Москве не было продано ни одного экземпляра.

Розанова: «Нашелся понимающий среди ничего не понимающих». Всяческое заочное злословие не прекращалось и тогда, когда Розанов стал наконец бывать у некоторых учителей на именинах и вечеринках. Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: «И мы тоже кое-что понимаем!» В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, положил ее на пол, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих, приговаривая: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит».

Ученикам, попавшим к Розанову после Тарановского, очень нравился новый учитель, который хорошо «рассказывал» на уроках, постоянно отступая от темы урока и пускаясь в другие эпохи истории или в иные области знания, совершенно неведомые ученикам. Говорил он просто и с учениками обращался по-семейному. Ученики разносили по городу слух об очень ученом учителе; ученицы женской гимназии завидовали им, что у них такой ученый историк, меж тем как их собственный историк А. К. Сапегин только и умел рассказывать не совсем приличные анекдоты о Екатерине и Елизавете и одаривать классных дам своими произведениями живописи.

Когда я стал потом ходить к Розанову, он занимал в это время одну комнату какой-то вдовы, которая готовила ему обед. За ширмами была кровать; перед ширмами и по стенам возвышались сооружения из книжных полок. Полки сверху донизу были набиты книгами всевозможных форматов в старинных кожаных переплетах, с раскрашенными или золочеными обрезами, потускневшим золотым тиснением на корешках. Тут были огромные пергаментные фолианты Энциклопедии Дидро, Словаря Бейля, многотомные французские издания Вольтера, Руссо и множество других писателей и философов XVIII века, «первые» издания русских классиков, множество антикварных раритетов на латинском и новых языках и т. д.; на отдельной полочке лежали растрепанные, без переплетов, «сочинения» немногочисленных русских философов из духовных семинарий и академий. Я по целым часам зарывался в эту сокровищницу мыслей и знаний; просмотренные книги и прочитанные страницы давали повод к бесконечным беседам и спорам. Эти споры обострялись гибким и проницательным умом, яркими симпатиями или антипатиями Розанова к людям и мнениям.

Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана «De la part», etc. Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю В. Н. Маракуеву, который и напечатал его (Место семитских народов в истории цивилизации. М., 1888). Розанов, чтобы дать отповедь Ренану

и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». Речь эта была издана потом отдельной книжкой; издание быстро разошлось; это было первым и очень удачным выступлением Розанова перед большой публикой. Сопоставление семитского миросозерцания с христианским было вместе с тем первым толчком к дальнейшему детальному изучению этого вопроса, бывшего основным стержнем философских работ Розанова. <...>

Розанов тяготился учительской службой и был неважным педагогом. «С ним все от счастья», — говорили о Козле товарищи Курымушки. «Козел обвел своими зелеными глазами класс пронзительно и как раз встретился с глазами Курымушки, так у него всегда выходило, — встретится глазами, и тут же непременно вызовет. Ни имен, ни фамилий он не помнил».

Вспоминаются несколько случаев. Розанов очень полюбил одного бедного восьмиклассника, Вавилова: всячески ему мирволил, доставал уроки, хлопотал о нем в «Обществе вспомоществования бедным ученикам» и т. д. Раз Вавилов читал на гимназическом вечере отрывок из «Бориса Годунова»: «Еще одно последнее сказанье». С этого вечера Розанов называл Вавилова не иначе как «ломакой» и потом до конца курса всячески преследовал его и высмеивал. В том же восьмом классе был другой ломака, сын местного прокурора Шидловский, растягивавший слова и корчивший из себя аристократа и зазнайку. Когда восьмиклассники, державшие на аттестат зрелости, написали сочинение на присланную из округа тему, то Розанов выпросил для исправления работу Шидловского у учителя М. А. Смирнова, который в качестве преподавателя восьмого класса по правилам обязан был первым, раньше всех ассистентов, прочитывать и исправлять работу. Когда после Розанова работа Шидловского попала ко мне как второму ассистенту, я увидел, что она вся исчеркана Розановым, который нашел в ней и «исправил» около ста «ошибок», главным образом в стилистике: больше половины текста работы было подчеркнуто красными чернилами, а поля сплошь исписаны пометками: «неясно», «неверно», «не по-русски», «неверно» и т. п. При рассмотрении работы я убедился, что все до одной поправки Розанова были неверными или вздорными и вызваны были состоянием крайнего раздражения. Я пометил все поправки номерами и к каждому номеру написал обстоятельное и мотивированное опровержение, написавши красными чернилами целых две страницы на ученической работе. Работа перешла потом к Смирнову, который оказался в большом затруднении, не зная, как выпутаться из этой кутерьмы; он что-то еще писал на работе и просил меня пересмотреть все рецензии; я отказался от этого и не видал уже работы, которая со всеми этими контроверзами пошла в округ; Розанов оценил работу двойкой с минусом, я поставил четверку.

Розанову очень хотелось выбраться из Ельца. Он постоянно мечтал о такой службе, которая давала бы ему досуг для литературно-философских занятий; наиболее заманчивой службой ему представлялось заведывание каким-нибудь музеем.

В последний год его пребывания в Ельце мы на святки поехали в Москву. Остановились в «скворцах», на углу Моховой и Воздвиженки. В номер пришли однокурсники Розанова, «оставленные при университете», в числе их Любавский (бывший потом ректором университета). Розанов перессорился с ними, так как он недолюбливал патентованных ученых. На другой день Розанов пошел с визитом к профессору Н. Я. Гроту, которому он за год до этого визита послал свою книгу «О понимании», в надежде, что известнейший профессор философии старейшего русского университета заинтересуется большой философской работой, исполненной в глухой провинции. Грот в замешательстве извинялся, что не успел еще прочитать этой книги. Два-три профессора провинциальных университетов, получившие от Розанова книгу, тоже в течение двух лет не успели о ней отозваться. Первым отозвался петербургский писатель-философ Н. Страхов. Книгу «О понимании» он препроводил критику Буренину. Последний очень заинтересовался несколькими страницами из этой книги, в которых говорилось о Гоголе и Достоевском. Он напечатал в «Новом Времени» фельетон, в котором оповестил о совершенно новом взгляде на Гоголя, появившимся в такой-то загадочной книге. С этих пор и в большой прессе узнали о Розанове. Мысли о Достоевском потом были развиты Розановым в особой книге: «Легенда о великом инквизиторе»; в эту книгу вошли и его статьи о Гоголе.

Тот же Страхов выхлопотал для Розанова место в Петербурге, обратившись с этой целью к государственному контролеру Тертию Ивановичу Филиппову, писателю-славянофилу и меценату, которого не только по фамилии, но и по имени-отчеству знала вся тогдашняя интеллигенция. Тертий Филиппов вызвал Розанова в Петербург и дал ему место в какой-то канцелярии при контроле.

В последний год пребывания в Ельце Розанов жил уже на другой квартире, у старухи-попадьи, родственницы какого-то известного архиепископа. У вдовы была взрослая дочь Варвара. С этой Варварой, о которой он потом столько раз и так обстоятельно писал в своих сочинениях, он и уехал в Петербург. В Петербурге, пока он не стал постоянным фельетонистом «Нового Времени», ему жилось очень плохо. Место, предоставленное Филипповым, оказалось очень мизерным. Сбежавши от учительства, он попал на такую должность, где целый день приходилось корпеть над бумагами и цифрами.

Многочисленные книги и сборники фельетонов Розанова до революции охотно читались; о нем написаны десятки статей и даже целые

книги. Он раза два оповещал читающей публике, что заработал своими сочинениями 50 тысяч рублей. Последние годы он жил в Сергиевом Посаде, больной и обремененный семьею, получая от какого-то благодетеля небольшие крохи на издание периодического листка, который назывался «Апокалипсис нашего времени» и прекратился на третьем выпуске. Умер Розанов от голодания.

В. В. Обольянинов

В. В. РОЗАНОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В БЕЛЬСКОЙ ПРОГИМНАЗИИ



а последнее время в эмиграции часто стало упоминаться имя Василия Васильевича Розанова. В. В. Розанова я хорошо знал лично. Я не являюсь литератором с именем, а потому мое о нем мнение, быть может, не представляет интереса, но даваемые мною о нем сведения, мне кажется, безусловно должны быть учтены, так как я сообщаю *факты*, точность которых удостоверяю своей полной подписью, а также указываю свой адрес и точные даты и места описываемого. Эти данные, мне кажется, тем более ценны, что относятся к тому времени жизни Василия Васильевича, которое наименее освещено в его биографии и в воспоминаниях о нем, но они, как белые точки в глазах портрета, мне думается, должны послужить к уяснению его личности.

В девяностых годах прошлого века я жил в городе Белом быв<шей> Смоленской губернии и в 1891 и 92 гг. состоял учеником первого класса местной шестиклассной прогимназии. Преподавателем географии у нас был Василий Васильевич Розанов, а учебник – «Курс всеобщей географии» Янчина. Давно это было, время стерло в памяти многие лица, имена и фамилии, но личность Вас<илия> Васильевича Розанова передо мной стоит до сих пор так ясно, как будто мы расстались с ним только вчера. Среднего роста, рыжий, с всегда красным, как из бани, лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своей внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лютой ненавистью, и все как один. Курс всеобщей географии, казалось бы, не должен был представлять особых трудностей, и в руках умелого преподавателя легко мог стать и чрезвычайно интересным, но свою ненависть к преподавателю

мы переносили и на преподаваемый им предмет. Как он преподавал? Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику Янчина «от сих и до сих» без каких-либо дополнений и разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. Спрашивал он по немой карте, стараясь сбить ученика. Например, он спрашивал: «Покажи, где Вандименова земля?», а затем, немного погодя: «А где Тасмания? Что такое Гавайи? А теперь покажи Сандвичевы острова». Одним словом, ловил учеников на предметах, носящих двойные названия, из которых одно обычно упоминалось лишь в примечании. А когда он свирепел, что уж раз за часовой урок обязательно было, он требовал точно указать границу между Азией и Европой, между прочим, сам ни разу этой границы нам не показав. Конечно, ученик правильно вел указкой по карте только до реки Урала, а там начинал путать, и мы уже заранее знали, что раз дело дошло до границы между Азией и Европой, то единица товарищу обеспечена. Но вся беда еще не в этом. Когда ученик отвечал, стоя перед картой, Вас<илий> Васильевич подходил к нему вплотную, обнимал его за шею и брал за мочку его ухо, и пока тот отвечал, все время крутил ее, а когда учения ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и все время сжимал ими ученика и больно щипал, если тот ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Василий Вас<ильевич> подходил к нему сзади и пером больно колол его в шею, когда он ошибался. Если ученик протестовал или хныкал, то Василий Вас<ильевич> колол его еще больней. От этих уколов у некоторых учеников на всю жизнь сохранилась чернильная татуировка. Иногда во время чтения нового урока, когда один читал, а все остальные должны были следить по своим учебникам, Вас<илий> Васильевич отходил к кафедре, глубоко засовывал обе руки в карманы брюк, а затем начинал производить какие-то манипуляции. Кто-нибудь из учеников замечал это и фыркал, и тут-то начиналось, как мы называли, избиение младенцев. Вас<илий> Васильевич свирепел, хватал первого попавшегося за руку и тащил к карте. — «Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник!» И в дневнике — жирная единица. — «Укажи ты! Не так!» — И вторая единица, и тут уж нашими «колами» можно было городить целый забор. Любимыми его учениками, то есть теми, на которых он больше всего обращал внимание и мучил их, были чистенькие мальчики. На двух неряшливых бедняков из простых и на одного бывшего среди нас еврея он не обращал внимания, спрашивая их только раз, чтобы не оставлять без отметки в четверти. Мы, малыши, конечно, совершенно не понимали, что творится с Василием Васильевичем на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как

можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями? Это был ценный объект для наблюдений доктора Крафт-Эбинга. О том, что он был женат на любовнице Достоевского Аполлинарии Сусловой, бывшей старше Розанова на 16 лет, я узнал позже, в девяностых годах она его уже оставила и в г. Белом ее не было.

Всеволод Владимирович Обольянинов
28-38 Балл Бульвар,
Бэйсайд, Лонг Айленд. Н.-Й.

П. П. Перцов

ВОСПОМИНАНИЯ О РОЗАНОВЕ



то было очень давно — двадцать с лишним лет тому назад. Я жил тогда в Петербурге, на Пушкинской, в том громадном «Пале-рояле», который был так хорошо известен петербургскому литературному миру. Однажды утром ко мне постучались... Так как я начинал свое «утро», по петербургским обычаям, к вечеру, то и не торопился открыть дверь. Неизвестный посетитель ушел, ничего не добившись... Часа через два раздался снова стук. На этот раз я открыл, и в дверь просунулась сердитая физиономия господина средних лет, в очках, с рыжей редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом. «Какой учитель!» — было первое мое впечатление. Какой типичный учитель, сердитый, потому что ему плохо ответил ученик и потому что учителям вообще полагается сердиться. Именно «педагог», каким мы, питомцы толстовско-деляновского псевдоклассицизма, привыкли его себе воображать.

Это был Василий Васильевич, и с этой смешной встречи началась наша долгая и прочная дружба — та «великая и прекрасная дружба», как выразился он в последнем своем письме ко мне, дошедшем до меня уже после его смерти. Эта дружба теперь оборвалась... Но хотя прошло уже столько времени, мне как-то все еще трудно представить себе, что Василия Васильевича действительно нет в живых, что нельзя с ним говорить, его видеть. Вообще, в смерть трудно поверить и никогда нельзя принять ее как *последний* конец.

Я рассказал об этой встрече, чтобы дать понятие о том внешнем впечатлении, которое поверхностно мог еще тогда производить Василий Васильевич. Впоследствии он так глубоко изменился, так далеко ушел от этого «педагогического» своего облика даже по внешности. И из знавших его за последнее время, я думаю, мало кто помнит его таким — Розановым половины 90-х годов. Но я захватил его еще на этом исходе его

раннего, «провинциального» периода, когда ни Петербург, ни петербургский литературный мир не переработали его или, лучше сказать, не раскрыли, не дали еще раскрыться в нем всему, что таилось... В те годы ни сам Розанов не знал еще самого себя, ни другие не могли даже смутно подозревать его будущего. Уже шел его «консервативный» период, когда, верный ученик Константина Леонтьева, понятого тоже по преимуществу лишь как «истребитель либералов», Розанов в коротеньких статьях тогдашних убогих консервативных газет проводил что-то очень «реакционное», а в длинных философских этюдах, вроде книги о «Великом инквизиторе» Достоевского, в еще не выработанной, не установившейся форме начинал уже раскрывать какие-то неясные горизонты... Прошло всего несколько лет с той поры, что он бросил свое учительство в глухих городках и переселился в Петербург, где служил пока чиновником в Государственном контроле, получал пустое жалованье и порядочно нуждался. Литература лишь полупризнавала его; реакционные газетки и журналы старались по возможности не платить гонорары, а пышное «Новое Время» лишь изредка, больше по протекции Страхова, печатало его фельетоны. «Как пройдет фельетон в "Новое Время", так мы и живем месяц», — говорил мне тогда Василий Васильевич. Пресса же не консервативная, разумеется, вовсе не захотела замечать «ретроградного» новичка. Впрочем, Н. К. Михайловский, который был все-таки зорче других, уже не раз подымал полемику вокруг «отказа от 60-х годов» — темы тогдашних интересов Розанова. Вообще уже тогда стала обозначаться эта характерная черта розановских писаний — уменья вызывать по поводу себя полемику. И сколько их, этих разнообразнейших полемик, последовало вслед за тем! Я думаю, мало найдется в русской литературе писателей, вокруг которых кипели бы такие литературные битвы, перекрещивалось столько копий из противоположных лагерей, как вокруг и по поводу Розанова. По-видимому, эта особенность не тяготила его: он был насквозь «писатель», литератор, а писателю как не любить литературной борьбы. И Василий Васильевич сам был настолько искусен в этой борьбе, что, когда его не увлекала «розановская» неуравновешенность в полемические крайности, он умел всегда нанести противнику неизлечимые раны...

Если не считать Владимира Соловьева, с которым у него тоже только что прошла горячая полемика (о свободе совести и о прочем), в ту пору из крупных писателей Розанова знал и ценил только один Н. Н. Страхов. Последний из старых славянофилов отчасти надеялся на молодого защитника традиций школы, отчасти опасался его, когда под обликом благонамеренного продолжателя проглядывал вдруг enfant terrible*,

* несносный ребенок (*фр.*).

чувствовались черты какого-то нового, необычайного явления... Со стороны Розанова к Страхову было и навсегда осталось глубоко любящее и почтительное отношение, как к старому «деду» (сравнение в одной его статье), «ноги которого хочется омыть, но, омыв, бежать в безвестную даль»... Сама личность Страхова, хрустально-чистый моральный его облик, естественно, вызывали такое отношение. И если любил Розанов в литературе многих больше Страхова, то никого, я думаю, не уважал более его.

Любил же он (опять-таки в те же годы) больше всего, несомненно, некоего Шперка — странного юношу, «декадента» (тогда это слово было в ходу), больного, морально весьма не похожего на Страхова философа и критика, писавшего на не понятном ни для кого языке, поклонника стихов Сологуба (тогда почти никому не известных), тоже искавшего или чуявшего что-то новое... Он умер от чахотки двадцати с небольшим лет, еще в 1897 году. Но Розанов никогда не мог его забыть. Говоря о духовных движениях в России, о прозрениях будущего, о самых ценных в этом отношении людях, он всегда и неизбежно должен был упомянуть эти два имени: Шперка и «Рцы» (Ив. Фед. Романов — тоже уже давно покойный). В последние годы к ним прибавилось еще третье — имя Павла Александровича Флоренского, которого он чрезвычайно высоко ценил. И четвертого такого имени, мне кажется, для Розанова не было (если не возвращаться к Константину Леонтьеву). В таком предпочтении в высшей степени сказалась духовная оригинальность Василия Васильевича. Конечно, он понимал, что ни Шперк, ни Рцы не первоклассные писатели, но он ценил в них людей, мучащихся над теми самыми задачами, которые мучили его самого и которые он имел основания считать самыми важными из всех возможных задач. В такой *качественной* (с его точки зрения) оценке эти двое весили для него больше всех других, количественно (талантом) более богатых. И в этом он не ошибался, в особенности относительно Рцы. Шперка, я думаю, он ценил особенно еще потому, что в те смутные для него самого, и внутренне и внешне, 90-е годы в одном этом юноше находил В. В. устремления, отвечавшие его собственным еще неясным мыслям и влечениям, находил интересы, которые едва пробуждались в нем самом. Шперк шел или пытался идти именно по тем путям и к тем духовным целям, к каким пролегла после дорога Розанова, тогда еще, повторяю, не знавшего самого себя. И после встреч и бесед с эпигонами славянофильства и консерватизма, и даже самим Страховым, Розанов, я думаю, впервые начинал чувствовать себя Розановым лишь во время долгих своих ночных разговоров с чудаком, непонятным философом, вечно декламировавшим Сологуба, ставившим христианству в упрек отрицание пола и с безмерной иронией относившимся ко всей кипевшей вокруг литературной суете.

Итак, я застал Розанова еще «педагогом». Общеизвестный портрет Бакста (в Третьяковской галерее), пожалуй, верно передает его внешность тех годов, хотя относится уже к несколько более позднему времени. Впрочем, у Бакста схвачен и тот зоркий, проницающий взгляд, которым Розанов выучился смотреть, как мне кажется, тоже лишь позднее — именно к эпохе написания этого портрета: к «египетской» своей эпохе. В половине 90-х годов в нем оставалось еще много провинциального простодушия и непосредственности (отчасти он выдерживал эти черты и потом). Любопытны его письма того времени — столь непохожие на позднейшие, жизненные, как сама жизнь. Тогда он еще педагогически верил, сердился, распекал «Сенат и Синод» (в одной из мелких своих статей) за недостаточное соблюдение всех подробностей официального ритуала и особенно был тем, что немцы назвали бы Liberalenfresser *: наши «западники» были для него предметом настоящей ненависти — «по Константину Леонтьеву». Еще очень далеко было до тех дней, когда он напишет своего «Ослабнувшего фетиша» (1907) — гениальную брошюру революции, оставшуюся почти неведомой для публики.

Таким я оставил Василия Васильевича, уезжая весной 1897 года за границу. Хотя в предшествующую зиму у него завязались кое-какие новые литературные знакомства (кружок «Северного Вестника» с А. Л. Волынским во главе; Мережковские) и он стал немного выглядывать со своей «Павловской» (далекая улица на Петербургской стороне, где он тогда жил) в широкий мир, но сближение с новыми элементами шло туго, и люди, видимо, не спаивались друг с другом.

Я пробыл за границей год — и этот год (зима 1897/98 года) был решающим в духовной жизни Розанова. По возвращении я не узнал его... это был уже другой Розанов, вдруг пробудившийся к своим истинным интересам, — тот Розанов вопросов пола, религии, Востока, семитизма, — одним словом, тот «египетский» Розанов, которого мы все теперь знаем. Превращение или, вернее, самораскрытие произошло, по-видимому, быстро, но оно отразилось уже и на писаниях Розанова той зимы. Помню, как поразили меня и безмерно заинтересовали необычайностью своего тона его первые «живые» фельетоны, которых «Новое Время» догадалось напечатать целую серию («Христианство активно или пассивно?» — против Владимира Соловьева; «Кроткий демонизм» — против Меньшикова, тогда еще полутолстовца «Недели»; «Женщина перед великой задачей» и др.). Тогда (как видно уже из этих заглавий) он старался стоять еще на точке зрения христианства, которому предстояло только обновиться и быть каким-то «активным». Совершенно так же, как раньше, в свой «ортодоксальный» период, он подходил к правосла-

* пожиратель либералов (*нем.*).

вию собственно как к религии быта и упорно прилагал к нему свой уже назревавший «египетский» критерий, — так и теперь он переносил на всю широту христианства всё ту же свою единственную и всегдашнюю концепцию религии как рождения, религии как пола, «религии как света», религии как быта, коротко говоря, религии в семитическом ее аспекте (еще точнее: иудаическом). Если вглядеться, Розанов не менялся в течение всей своей жизни — менялись только те объекты, к которым он поочередно прилагал свои требования и надежды, пока не понял окончательно самого себя...

Итак, я застал Василия Васильевича en pleine revolution...* Помню, как в первый же вечер — бессонный, негаснущий вечер петербургской весны, он засыпал меня своими новыми «откровениями». Передо мною был человек, только что испытавший «рождение из духа». Конечно, он сам не знал еще тогда, куда приведет его захватившая его стихия, но он в высшей степени остро, совсем по-юношески переживал ее наитие. Впрочем, юношеские черты сохранились в Розанове до последних его годов: недаром же он был гениальным человеком.

Бурная стихия рождающейся мысли увлекла его: «голова моя горела вопросами» — эта фраза часто встречается в розановских писаниях того времени, и она верно передает его духовное состояние. Он и спешил навстречу своим выводам, и временами пугался их. Несомненно, что его «новаторство» доставалось ему недаром. Долгое время он боялся этой своей «судьбы»: он — такой «бытовик», человек, крепкий сложившимся формам жизни, верный «дедовским» традициям; человек, любивший Страхова, славянофилов, консервативные типы жизни, а больше всего любивший ее спокойную, неизменную творческую мощь, ее глубокое русло, полное неиссякаемых сил... Ему ли оторваться от этого русла, стать в какую-то «оппозицию», когда он так не любил все «оппозиционное», весь пошлый шаблон всяческих «протестов»?.. Тогда, в минуты сомнений и колебаний, он оглядывался на близких, на семью, на свою «домашнюю часовенку» — на тех, которые «всему, всему меня научили» (предисловие к сборнику «Религия и культура»). Если это (его идеи, влечения) «не отпугивало Вари» (супруга Василия Васильевича), то он мог смело идти вперед — значит, тут не было болота, и торная дорога вела туда же, куда вел мятежный проселок.

И еще он оправдывал себя моральной чистотой своих целей. Помню, мы зашли с ним однажды в какую-то табачную лавочку на Невском. Под руки Василию Васильевичу попалась обычная папиросная коробочка с изображением раздетой «красавицы». «Вот, — с ненавистью и отвра-

* в разгар революции (*фр.*).

щением сдавил он, отшвыривая ее, — я хочу, чтобы не было больше таких коробок». Он никогда не уставал подчеркивать, что действительно интенсивность пола неразлучна с религиозным напряжением. «Скальковские» (тогдашний журналист-бонвивёр — для Розанова прототип полового легкомыслия) были ему самыми ненавистными из людей, и даже сам «Спенсер» (такое же нарицательное имя для позитивистов) внушал ему безмерную иронию собственно потому, что ощущал (как предполагалось) в поле лишнюю природную «функцию».

Но на открывшемся пути было столько препятствий... И те первые годы Вас<илий> Вас<ильевич> стоял и перед препятствием чисто личного характера: все его связи, все литературное положение влекли его в традиционное русло. И тут не было натяжки: повторяю, все традиционное он любил и сам по себе — уже именно как таковое. Такие типы, как Победоносцев, Мих. П. Соловьев (консерватор-церковник, бывший одно время начальником печати), были ему искренно близки, уважались им не за страх, а за совесть, были ему гораздо понятнее, нежели «искатели», как, например, Д. С. Мережковский. К последнему он долго и, пожалуй, до конца относился не совсем серьезно: «Конечно, Рцы важнее вашего Мережковского, — говорил он мне, — это один из кардинальных умов эпохи». Кардинальный ум значил для него человек, религиозно переживающий быт, а там он мог, сверх того, иметь в себе и элементы пророка: их одних было недостаточно. — Наконец, журнально Розанов связался, и надолго, до конца, с «Новым Временем»: газета и особенно личность старика Суворина многими сторонами (тот же «бытовой колорит») должны были искренно привязать его. К Суворину он всегда хранил глубочайшее уважение и любовь, доходившую до энтузиазма, и это не только из чувства личной благодарности (без того материального устройства, которым он был обязан Суворину, русская литература не имела бы Розанова), а из совершенно бескорыстного влечения к этому типично бытовому человеку, «обывателю» с талантом литературного импрессиониста. А такого импрессионизма было ведь масса и у самого Розанова: первоклассный литературный талант всегда подразумевает эту черту.

В этой странной двойственности Розанов жил еще долгие годы. Он «горел» своими открытиями и предчувствиями, но если в разгар этого горения вдруг падало письмо-строчка от Михаила Петровича Соловьева: «Под духом прелюбодеяния написана Ваша статья», — Василий Васильевич был смущен надолго и серьезно. Сколько раз я заставал его в этом колеблющемся, недоумевающем настроении — настроении страха перед самим собой. Только в последние годы и даже в последние месяцы с него спала окончательно бытовая оболочка — и «пророческий» элемент взял верх над «священническим». Впрочем, опять-таки только

в его литературе, потому что ни в жизни, ни в смерти он не захотел изменить церковной традиции.

В те годы — в конце прошлого столетия и в начале нынешнего — было интересно жить в Петербурге. Когда-нибудь будет написана подробная история этих годов — может быть, нисколько не менее значительных для русского духовного развития, нежели пресловутые 40-е годы. Такая интенсивность и свежесть вновь возникающих умственных интересов еще не повторялись в России. Теперь все захвачены «практикой» жизни; тогда, при слабой практике, было время для поисков «теории». В этих поисках, в том напряжении созерцательного творчества, в ряду других одно из первых мест занял Василий Васильевич. Его дом, естественно, стал одним из интеллектуальных «журфиксов» столицы, куда волна выносила, надолго или мимолетно, каждого захваченного течением. Теперь это было уже совсем не похоже на Павловскую улицу... Напротив, наряду с понедельниками у Дягилева (редакция «Мира Искусства»), собраниями у Мережковского и друг., розановские воскресенья были одним из тех очагов, где ковалась новая идейность. При радушии хозяев и газетных связях Василия Васильевича здесь набиралось, может быть, больше постороннего элемента, чем в других местах, но «оглашенные» постепенно сами собой отходили в сторону, а «елицы верные» продолжали прясть переходившую со станка на станок пряжу. Кружок «Мира Искусства», с которым через Мережковских и Д. В. Философова сблизился в это время Василий Васильевич, несомненно, впервые дал ему вполне соответствующую среду. Сперва он тоже побаивался этих «декадентов»: «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо спрашивал он меня (у Дягилева висела резная люстра в форме дракона). — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Но Розанов ходил и раз, и два, и десять, и пятнадцать — и наконец убедился, что Дягилев, Философов, Александр Бенуа, Бакст, Нувель, Мережковские — самая естественная его аудитория и самые близкие попутчики. Именно на встречах с ними, под страшной люстрой, он привык развивать вполне откровенно весь ход своих идей; здесь он получал уверенность в себе после назидания М. П. Соловьева или благодушно-импрессионистической беседы А. С. Суворина. И этот кружок, конечно, первый понял, кого он имел в лице Розанова. Л. С. Бакст, как мне кажется, интимно ближе других усваивал его идеи: недаром ему захотелось написать с него портрет; более арийский ум Александра Бенуа глубоко интересовался этими идеями, но не мог и не хотел замкнуться в их кругу. Самым же пылким энтузиастом Розанова, «этого русского Ницше», был, конечно, Д. С. Мережковский, еще чуждый тогда политическим соображениям, толкнувшим его впоследствии к ненужной борьбе с Розановым и наивным «исключениям» из Собраний.

Из этой атмосферы, из этих частных собраний, из споров выросло, как естественный плод, первое Религиозно-философское общество в Петербурге 1901—1903 годов, на почве которого духовное созревание Розанова достигло своего зенита. Те «доклады» — «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» и «Христос — Судия мира», которые были написаны для собраний, — представляют собою высшую точку в раскрытии его идей. Здесь он уже высказался весь со всею последовательностью оснований и выводов, к каким привела его вся предыдущая дорога. Впоследствии, в последние годы своей жизни, он достиг еще большего усовершенствования литературной формы, еще большего обострения психологических переживаний «à la Розанов» — в таких книгах, как «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис». В них он окончательно стал великим *писателем* и заразил нас тем, что еще долго будет переживаться (и не в одной России) как «розановские настроения». Но философское обоснование этой фарфоровой башни, циклопические камни ее метафизических устоев были обтесаны и выложены уже тогда и явлены миру впервые на тех памятных заседаниях в зале Географического общества у Чернышева моста...

Да, эти заседания памятны. Обширный зал был всегда битком набит народом. «Широкая публика» уже интересовалась этими темами. Провинциалы, молодежь, дамы — все как водится. Но главный интерес собраний был, конечно, в «очной ставке» представителей церкви — не только в рясах, но и в клобуках — с представителями интеллигенции, встрече двух лагерей, не встречавшихся по крайней мере с времен Петра (а до Петра какая была у нас «интеллигенция»?). Протопресвитер и царский духовник Янышев — и поэт-философ Н. М. Минский; рьяный архимандрит Антонин, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего, спокойно пропускал все «жупелы» того же Розанова в органе собраний «Новом Пути» (к ужасу цензора светского), — и рядом с ним рьяный «декадент», ницшеанец и «неохристианин» Д. С. Мережковский, об исключительном пророческом таланте которого не дают никакого понятия его сравнительно тусклые книги; бледный в черных своих облачениях, под черным куколем епископ Феофан — и изящно-парадоксальная в своей боттичеллиевской наружности поэтесса Гиппиус (обыкновенно она сидела рядом)... Да, это были совсем особенные собрания и совсем особая обстановка. Для Василия Васильевича эти первые собрания были незабвенным временем; он никогда не мог говорить о них равнодушно, а до самых последних дней оживлялся при каждом о них напоминании. И это слишком понятно: эти собрания как бы конкретно воплощали все то, чем он внутренне жил и о чем волновался. Здесь он мог прямо, «в упор» спрашивать церковь — церковь, при мысли о которой, от судеб

которой он никогда не мог оторваться, — «вопрошать» ее и о «сладчайшем» идеале, и о горьких плодах реальности. И он это делал с энтузиазмом, с отвагой, с упорством, из заседания в заседание. Вместе с Д. С. Мережковским он был, конечно, душою этих собраний — той двигательной силой, которая влекла и тревожила и эти длинные рясы, и эти куцые пиджаки, волновавшиеся рядом друг с другом. Какова была тогда сила этих волнений, показывает тот факт, что один из самых горячих участников прений, с церковной стороны, заболел временным душевным расстройством (еп. Антонин)... Но скромную по существу натуру Василия Васильевича (он был глубоко скромным человеком, несмотря на свою громадную минутами самоуверенность) как нельзя лучше характеризует тот факт, что сам он лично почти не выступал на собраниях. Его знаменитые доклады читал обычно С. А. Андреевский или кто-нибудь другой из привычных членов, а Василий Васильевич, сидя где-то в сторонке, только густо краснел, как школьник, на самых резких местах. В нем еще была вообще (в те годы) эта юношеская способность к смущению. Помню, как однажды, коснувшись в домашней беседе, с глазу на глаз, Христа и поставив вопрос с подразумеваемым ответом (который читатель может найти в его позднем «Апокалипсисе»): «*Кто* же Он был?» — он вдруг невероятно смутился, покраснел, расстроился и не мог справиться с собой. Смущение еще увеличилось, когда вошедшее в комнату близкое Вас<илию> Вас<ильевичу> лицо с укоризной посмотрело на него... Так философское «новаторство» еще плохо ладило с психологическою традиционностью русского человека. Другой такой же припадок овладел Вас<илием> Вас<ильевичем>, когда однажды Д. С. Мережковский попробовал определить истинное отношение, возможное между Розановым и тем же Лицом, заключив свою мысль в следующие прекрасные слова: «сколько бы Розанов ни отрекался от Христа, — но Христос не отречется от него»... Я думаю, что эти слова действительно лучше всего определяют такое соотношение, и та острота, с которой почувствовал их тогда Розанов, сама свидетельствует об этом. И опять-таки вспоминаются его последние дни... Одно ли «бытовое тяготение» привлекало его основы, в сознаваемом чувстве конца земного пути, к тому, что он только что безмерно отвергал? Историческая роль, выпавшая на долю человека, — это одно, сам человек, в его личной глубине и в смутном сознании условий правдивости этой роли, — другое.

Собрания оборвались скоро: такой парадокс вообще не мог долго продолжаться. На минуту их спасло «честное слово» Янышева Николаю II, что на собраниях нет ничего преступного. Но в конце второй зимы (весной 1903 года) собрания были запрещены, а вслед за тем запрещено даже печатание их отчетов в «Новом Пути», и журнал (где у Розанова был отдел «В своем углу») захирел. Для Розанова все это бы-

ло большим ударом, и я редко видел его в состоянии такого негодования, в каком он был тогда на ближайших (частью литературных) виновников этого крушения (нововременец Меньшиков). Действительно, *внешне* он уже никогда не находился больше в таких благоприятных условиях для самообнаружения: «своего угла» ему так и не пришлось еще раз дождаться ни на кафедрах собраний, ни в журналистике, — хотя он столько мечтал о нем. Возобновленные несколько лет спустя, после революции 1905 года, петербургские собрания, лишенные церковного элемента и окрашенные политической нетерпимостью (тогда все старались быть как можно «левее», не предвидя от сего никаких последствий), были уже чужды и скучны Василию Васильевичу и с каждым годом становились чуждее и скучнее, пока дело не окончилось памятной инсценировкой Мережковскими и А. В. Карташевым «исключения» Розанова из собраний. Будущий министр исповеданий в кабинете Керенского показал себя уже тогда прекрасным специалистом по истерике...

Позднейшие московские религиозно-философские собрания (имени Влад. Соловьева) были духовно ближе Вас. Вас., и он часто говорил о них с симпатией. Последние годы его вообще тянуло в Москву и удерживали в опустевшем Петербурге только материальные соображения. «Да, конечно, я встретил бы там больше сочувствия, — говорил он мне, когда я звал его переехать в Москву, — но "Новое Время"...» Нельзя сказать, чтобы положение его в газете отвечало уже не говорю его дарованиям, но хотя бы той огромной работе, которую он для нее сделал за много лет. Даже заработок его там был, в сущности, несправедливо мал, и ему постоянно приходилось искать дополнительных. Так, устроился он на несколько лет (через гремевшего тогда священника Г. С. Петрова) в «Русском Слове» (псевдоним «В. Варварин»), пока те же Мережковские и Философов не изгнали его и оттуда... Как «Варварин», Василий Васильевич был, конечно, гораздо свободнее, чем как «Розанов», и благодаря характеру газеты, и благодаря своей маске, — но писание издалека ли, литературная ли усталость или отсутствие у «Русского Слова» необходимой для В. В. бытовой подпочвы, но статьи его в этой газете были не так значительны... Вообще десятилетие после 1904 года было, как мне кажется, временем относительного ослабления розановского таланта (конечно, очень относительного: этого таланта хватило бы на десяток хороших писателей), точно, отойдя от минутно наметившейся общественной роли, он тогда еще не сосредоточился на самом себе.

Это сосредоточение наступило в последние годы... Сидя по преимуществу дома (он был большой домосед), долгими вечерними часами, за любимым своим занятием — переборкой, рассматриванием, определением и описанием древних монет (у него была одна из лучших не только в России, но даже в Европе частных коллекций греческих, римских

и восточных монет), В<асилий> В<асильевич> имел обыкновение набрасывать на чем попало, на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на вашем письме, приходившие ему в голову, вечно бродившие в нем мысли. Он был действительно «литератор» — человек, непрерывно рождающий мысли, новые и старые, в обточенной оболочке литературного слова. Мне кажется, не было минуты, когда он был бы не способен к такому творчеству, и не было темы, которую он пожалел бы или затруднился бы взять материалом для такого обтачивания. Это, впрочем, доказывают и сборники его записей — «Уединенное» и два тома «Опавших листьев». При жизни В<асилия> В<асильевича> вышло только три таких книги, но материала у него должно было быть на много томов; еще в Петербурге, как-то раскрыв ящик своего письменного стола, куда он сбрасывал эти исписанные лоскуты, он показал мне целое бумажное море, прибавив, что у него есть уже «тома на четыре» — таких, как «Уединенное». Это было очень давно (пожалуй, еще до войны), и с тех пор и до смерти В<асилия> В<асильевича> глубина и объем этого моря должны были сильно возрасти. Следовало бы московским писателям (Москва, мне кажется, умеет больше ценить Розанова) — тем, кто понимает его значение, — образовать особый розановский кружок, который занялся бы разысканием, собиранием и возможным напечатанием всего оставшегося после него материала. Ведь многое из лучшего, что он написал, так и осталось лежать еще в рукописи. Осталась ненапечатанной и большая работа В<асилия> В<асильевича> 90-х годов — эпохи первых его «египетских» увлечений и расцвета — под символическим заглавием «Лев и Овен». Эту рукопись он тщетно предлагал тогда по очереди всем «толстым» журналам: они были слишком тощи, чтобы ее вместить. Между тем это, вероятно (судя по беглому просмотру), одна из главных его работ. Она написана в золотую его пору и ведет мысль розановскими путями, начиная от «Диалогов» Платона, через восточные культы, в глубину любимого Египта, символы которого он начинал тогда разгадывать с таким страстным энтузиазмом (он скопировал собственноручно множество сложных египетских рисунков в целый лист из материалов Публичной библиотеки — интересно, сохранились ли эти рисунки?). Со временем придется, конечно, подробно изучить каждую черту его мысли, каждую его складку. Потому что другого такого мыслителя, как Розанов, мы еще не скоро наживем... И, мне кажется, пора уже теперь приступить к этой сложной работе, не откладывая ее.

Последние годы я, не живя в Петербурге, реже видался с Вас<илием> Вас<ильевичем> и реже переписывался с ним. Гигантские пачки его писем прежних годов разбухали уже медленно. Но он, по-видимому, до конца оставался все таким же неутомимым «переписчиком» — любителем переписки, готовым каждую минуту к длинному, одушевленному

ответу. Правда, что подпись в его письмах часто фигурировала посередине письма и вслед за предполагавшимся окончанием бесконечный «постскриптум» удваивал и утраивал не только длину письма, но часто и его интерес. В этом отношении В<асилий> В<асильевич> был типично русским человеком. Точно так же, когда он, прощаясь с вами и после долгих поцелуев, уходил в переднюю, надевал калоши и шубу, — это еще не значило, что он сейчас уйдет: нередко именно тогда-то и завязывался самый одушевленный разговор. Собеседник В<асилий> В<асильевич> был вообще живой и неистощимый: я даже не могу представить его себе не расположенным к разговору — он всегда был готов еще и еще раз вернуться к излюбленным темам, распространить какой-нибудь «восточный мотив», а более всего рассказать и показать свои монеты. Чудесно отчеканенные на греческих экземплярах фигуры богов и символы культа давали ему неистощимую тему... Новые монеты, начиная с Византии, он презирал так же, как всю эту современную скуку...

Война, потом революция надломили Василия Васильевича. Что-то страшное случилось с ним осенью 1917 года, закрытие «Нового Времени», потеря заработка и всего состояния повлекли его в отъезд из Петрограда «в каком-то беспамятстве» (писал он мне) и тяжелое разрушение его здоровья, до тех пор сравнительно очень крепкого. Сергиев Посад приютил его в последние месяцы его жизни, и он умер 23 января (5 февраля) 1919 года здесь, возле той Москвы, где провел когда-то молодые студенческие годы. Жизнь сложилась так, что он жил в Петербурге, но внутренне Москва, я думаю, была ему ближе. А может быть, еще ближе то Троице-Сергиево, куда привела его судьба, как Константина Леонтьева, в последние дни... Он и лежит теперь там, возле своего учителя-друга, и, думается, он сам не захотел бы избрать себе другое место. Именно там — близ стен старой русской лавры — он всегда увидал бы для себя надежное пристанище после того долгого, бурного плавания по духовному морю, которое выпало на его долю...

1919, март

Н. А. Энгельгардт

ЭПИЗОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

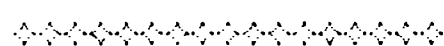
Здесь сидел редактор иностранного отдела «Нового Времени» Кавос.

Он сидел между двумя окнами против широкого простенка, так что на столе у него была темнота. Загуляев с ним здоровался, передавал ему свою передовую и уходил. Вечером он отправлялся в Михайловский французский театр, рецензиями о котором заведовал, и после представления писал отзывы. В следующей комнате сидел редактор внутреннего отдела, заведовавший провинциальными корреспондентами, М. М. Коялович. У него была составлена богатейшая картотека газетных вырезок, расположенная по городам и вопросам. Тут же сидел Б. В. Гей и Василий Васильевич Розанов. <...>

После меня в «Новое Время» пришел Василий Васильевич Розанов, а затем, после крушения «Недели», и Михаил Осипович Меньшиков. Оба, как и я, не спрятались за маски псевдонимов, а писали под собственными фамилиями. <...>

Василий Васильевич Розанов был, конечно, писатель и мыслитель, близкий к гениальности. Он происходил из старой духовной фамилии. Как-то у Сопикова я насчитал до пятнадцати писателей Розановых XVIII и начала XIX века. Я даже составил списочек этих неизвестных миру Розановых и как-то его показал ему. «Ну, это какие-нибудь составители семинарских учебников!» — с демократическим пренебрежением сказал Василий Васильевич. Можно сказать, что он насквозь был проникнут Достоевским, и это отразилось и в стиле его, и в манере мыслить. Он был женат на вдове Достоевского и считал счастьем любить хотя и старую женщину, но которую любил созвучный его душе и конгениальный великий писатель. Известный ботаник, педагог и писатель С. А. Рачинский, помещик Бельского у. Смоленской губ., школа для крестьян-

ских детей которого в наследственном его имении Татеве выпустила многих замечательных воспитанников, открыв таланты, которыми так была всегда богата старая крестьянская среда, и между ними столь большого и оригинального художника Бельского, покровительствовал Розанову, после окончания университета занявшемуся педагогической деятельностью в провинции. Первый труд Розанова, огромный философский том «О понимании» едва ли кто-нибудь прочел и никто, кажется, не оценил. Затем в «Русском Вестнике», редакции Ф. Н. Берга, появился ряд замечательных статей и между ними «"О великом инквизиторе" Достоевского». Статьи этого первого периода деятельности Розанова были потом напечатаны в четырех томах П. П. Перцовым. Писал В<асилий> В<асильевич> и в «Московских Ведомостях», пока было возможно. Переехав в Петербург со второй своей женой, по имени Варвара, он терпел нужду, забываясь над египетскими древностями в Публичной библиотеке; пришел к Вл. С. Соловьеву и дал ему статью для «Вестника Европы», говорившую о таких безднах извращения, что и показать ее М. М. Стасюлевичу с его буржуазной «прюдери»* было невозможно. Пробовал примкнуть к «Неделе». Но и тут статья его оказалась неприемлемой. Так, прибоем волн житейского волнуемого моря, и прибило его к нововременскому берегу. В редакции сошелся он со старым Геем и сидел около него, строча и зимой, и летом на всякие темы заметки, передовые и фельетоны. И тем питал жену свою Варвару и трех подраставших девочек, кажется, от первого брака его жены, с мужем разошедшейся. В «Новом Времени», однако, появлялись не лучшие его статьи и фельетоны, хотя все, что он писал, шло с пометкой редактора отдела Гея «плотный корпус» в набор и в оттисках поступало к автору. За ряд лет сотрудничества В<асилия> В<асильевича> в «Новом Времени» так скопились у него целые вороха набранных, но не напечатанных статей, которые потом и составили целые тома, изданные Пирожковым. Сотрудничество в «Новом Пути» сблизило его с модернистами и вывело на путь широкого признания. Оригинальная, глубокая мысль этого «русского Ницше» по афористической преимущественно форме изложения, а не по содержанию, яркий, плодовитый талант не могли не победить. Когда он уже в 1916 году мне вдруг прислал все свои сочинения, это была гора томов в тридцать. Розанов ждет своего биографа и исследователя. Мне говорили, что сочинения Розанова переведены за границей. Вот и спросите теперь, что бы делал Розанов и куда бы пристроился без «Нового Времени», когда так называемая правая, консервативная печать представляла каменистое поле, на котором процветали лишь такие осоты и мордвотики, как московский Грингмут и петербургский кн. Вл. П. Ме-

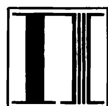


* от французского «pruderie» — ханжество.

щерский. А Розанов, томимый желанием высказаться, не имея в наших зачерствелых к концу века, выцветших и вылинявших либеральных органах где голову преклонить, в отзывах даже и такого публициста, как Н. К. Михайловский, ничего не слыша, кроме названия «юродивый», — Розанов помещал статьи в «Гражданине». Его за это обвиняли в «неряшливости» и «небрезгливости»... Счастлив поэт-художник. Поле его было широко. Но горе публицисту, горе мыслителю, который так оригинален, так на других не похож, так мощен и глубок, так широк и сложен, что никак не может подойти под общепринятые мерки и шаблоны господствующих «направлений». <...>

Ю. Д. Беляев

О РОЗАНОВЕ

омню лето — жаркое, римское лето...

Где-то на Via Aurora маленький человек в «разлетайке» и соломенной шляпе торгуется с извозчиком, путая французские и латинские слова. Он не один — с ним спутница, русская по всему — по складу лица, по простоте, по скромности. Да и в нем сразу признаешь русака — ну кто же так тверд в семинарской латыни, кто так уступчиво-добродушен в обращении с чужим простонародьем, кто, наконец, рискнет в июньскую жару отправиться по раскаленным руинам, как не наш брат, костромич или тамбовец, ненароком заблудившийся в «Вечном городе»?..

Я не ошибся. Передо мной был соотечественник, но соотечественник не простой и турист не заурядный: Василий Васильевич Розанов сам-друг с женой практиковался в латыни с потомками римских возниц, смешливо слушавших его путаную речь. Оказывается, наш философ не прихватил путеводителя и вздумал разыскивать какую-то древнюю церковь, уповая на словарь Кронеберга и удивляясь, что никто его не понимает.

— Милый Василий Васильевич, — рассмеялся я, — да ведь и в Москве вы ничего не найдете, если заговорите с извозчиком по церковнославянски!

Мой спутник г. Ж. быстро уладил дело, и супруги Розановы укатили, а мы пошли своей дорогой и долго потом вспоминали оригинала-философа.

Он тогда жил в Риме и посылал в «Новое Время» яркие, оригинальные корреспонденции. Их специальная тема и мастерское изложение привлекли внимание католического духовенства. В иезуитском «Voce della Verita» усердно цитировали Розанова и с чисто итальянским про-

стодушием заявляли, что он имеет от своего редактора специальную миссию в духе соединения церквей. Удивлялись также тому, как быстро и ясно усвоил русский писатель дух католического богослужения, как проникся, прососался он всем римским, как молодо и возбужденно реагировал на каждое религиозное явление, на каждую новую встречу. Один из приближенных к покойному кардиналу Ледоховскому, беглый польский ксендз, прекрасно знающий русский язык, таинственно заявил мне, что сам его «эминенция» заглянул в газету и похвалил искусство «москаля». Словом, в Риме статьи Розанова обратили общее внимание, пожалуй, большее, чем у нас, где вопросами религии и искусства интересуются «по маленькой», а в летнее время и вовсе ничего «такого» не читают...

...Маленькая розовая книжка, нарядный, компактный томик, украшенный виньетками Бакста, лежит передо мной...

Это — «Итальянские впечатления» Розанова.

П. П. Перцов

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Глава VIII. «Мир Искусства»

Кружок новаторов — «Олеандры на льду» — Стихия молодости — Редакция «на ты» — Дягилев и его квартира — «Пятерка» — Лидерство Дягилева — Д. В. Философов — Литературные элементы журнала — Борьба из-за Мережковского — Полемические стрелы — Фигура Нурока — Роль Александра Бенуа — Его личность — Бакст и его искания — Увлечение Розановым — В. Ф. Нувель — Серов — Личное впечатление — Субсидия журналу — Другие художники кружка: Сомов, Малявин, К. Коровин, Ап. Васнецов, Рерих, Нестеров, братья Лансере — Литераторы: чета Мережковских; Розанов и его страхи — «Арина Родионовна» — Борьба против журнала — Союз Стасова и Буренина — В ночь под светлый праздник — Косоротов и его судьба — Приглашение в журнал Брюсова — Моя стихотворная переписка с З. Н. Гиппиус

<...>

В те годы Бакста увлекала особенно только что начинавшая достигать своего воплощения сексуальная философия Розанова. Весь кружок «Мира Искусства» был поклонником оригинальной розановской мысли, но впечатления Бакста были, по-видимому, интенсивнее и своеобразнее, нежели у всех других. Мир семитской метафизики и психологии, вскрываемый этой мыслью, был ему естественно близок, и он, видимо, находил в «откровениях» Розанова своего рода отдушину среди давившего его арийского рационализма. Позднее, в 1908—1910 гг., мне случилось прочесть одно очень интимное письмо Бакста к Розанову, написанное им в самый день рождения у него сына (в Париже) и под впечатлением этого события. В письме этом точно вырвалась невольно наружу долго сдерживаемая вражда к всепо-

бедному арийству и созданной им сети привычных условностей. Гимн рождающей плоти — так можно было бы охарактеризовать содержание этого письма, автор которого резко и сознательно противополагал свое мироощущение и свои переживания окружающему миру, покоящемуся (по крайней мере в этих условностях) на совсем других началах. Конечно, Розанов был в восторге от письма.

След тогдашнего увлечения остался и в художественном творчестве Бакста — в виде большого портрета Розанова (теперь в Третьяковской галерее), написанного в 1901 г. Портрет этот не принадлежит, может быть, к числу наиболее удачных работ художника (Розанов выглядит на нем уже слишком «учителем»), но здесь все-таки хорошо схвачен зоркий, из-за очков, взгляд светло-карих глаз писателя. В руках Розанова маленькая статуэтка Изиды — намек на те беседы и обмен чувств, которые вызвали к бытию этот портрет. Несомненно, те же беседы и вообще впечатление от Розанова и «розановского» дали себя знать и впоследствии — в эпоху создания «Античного ужаса». Портрет был написан вне всякого предвидения его сбыта, да и кто стал бы покупать изображение малопопулярного писателя? Тем более выступает идеалистический мотив работы. Между тем Бакст тогда был еще весьма далек от того позднейшего положения, когда ему готовы были отсыпать горы золота «за пять драгоценных букв» его подписи. <...>

Перед четой Мережковских совершенно стушевывался идейный конкурент Дмитрия Сергеевича — Розанов, незаменимый собеседник tete-a-tete*, но робкий в большом обществе. В «Мире Искусства», особенно в первые годы, Розанова стеснял уже самый состав собраний и даже обстановка квартиры. Не забуду первое посещение им редакционного вечера, еще на Литейном. Появление Василия Васильевича произвело эффект, и весь вечер внимание было устремлено на него. Но сам он был решительно сконфужен. Главное, его смущало, что он, тогда еще очень консервативно настроенный и хорошо сохранившийся провинциальный «дичок», попал на вечер к «декадентам», которые неизвестно еще как ведут себя. Подозрительно оглядывался он по сторонам, как бы ожидая появления чего-нибудь неподобающего... Особенно его взоры привлекала висевшая посредине кабинета Дягилева резная деревянная люстра в форме дракона со многими головами. По окончании вечера мы пошли с ним вдвоем по Литейному. «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо сказал он и, помолчав, прибавил: — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Консервативный и благодушно-старомодный Страхов был для Василия Васильевича в те годы руководящим идеалом. Однако время шло, и постепенно Василий Васильевич убеждался, что на

* с глазу на глаз (*фр.*).



Литейном, 45 ничего особенного не происходит, что страшная люстра висит спокойно на своем месте и эти «декаденты», пожалуй, вовсе не такие развратители и потрясатели всех основ, какими их воображали и изображали в кругах, где он до тех пор вращался. А так как именно в «Мире Искусства» встретил Розанов первое серьезное внимание к своим, тогда еще новым, идеям и пугавшей его самого сексуальной философии, то немудрено, что, забыв Страхова, он стал все чаще и чаще бывать «у них» — пока не акклиматизировался совсем в семирамидиных садах.

Но все-таки из всех посетителей и обитателей дягилевской квартиры Розанову была, кажется, милее всего одна мало замечаемая другими особа. Эта особа была старая нянюшка Сергея Павловича — настоящая, очень стильная «Арина Родионовна», как мы ее, конечно, тотчас же прозвали, — обыкновенно скрывавшаяся во внутренних помещениях квартиры, но иногда, когда бывало мало народа, появлявшаяся в столовой, чтобы разливать чай. И чай казался вкуснее с ее появлением, и всему придавался какой-то благодушно-патриархальный оттенок. Арина Родионовна, с ее коричневыми одеждами и неторопливыми движениями, вносила в столичную и «декадентскую» квартиру Дягилева отпечаток и уют старопомещичьей усадьбы. Это впечатление еще усиливалось, когда сам хозяин иногда, сложив с себя «наполеоновское» обличие, появлялся за чайным столом попросту в обломовском халате — правда, изящно цветистом, — и оживлял беседу каким-нибудь забавным эпизодом из превосходно ему известной великосветской хроники или какой-нибудь интересной новинкой из области все того же, никогда не забываемого «мира искусства».

И. Грабарь

МОЯ ЖИЗНЬ

В редакции оказались все в сборе. Я пришел в самое удачное время, часам к пяти, когда обычно приходили все. Дягилева я никогда не видел, но почему-то сразу узнал, кто из присутствующих в комнате Дягилев. Он сидел за большим письменным столом и при моем появлении, заранее возвещенном камердинером, встал и пошел ко мне навстречу с дружески протянутыми руками. <...>

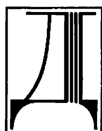
Он тут же повел меня по комнатам редакции, показывая висевшие на стенах картины. По поводу каждой из них он рассказывал, как и где ее приобрел, передавая интересные подробности об их авторах и своих встречах с ними. В то время они были уже всемирно известными мастерами, но в России о них все еще не слыхали.

Он познакомил меня со всеми бывшими в комнате — Философовым, Нувелем, Бакстом и Розановым. <...>

В кожаном кресле у письменного стола сидел с «Новым Временем» в руках еще один человек. Развернутая газета закрывала всю его фигуру. Дягилев познакомил меня и с ним: это был *Василий Васильевич Розанов*. Когда он опустил газету, то оказался обладателем огненно-красных волос, небольшой бороды, розово-красного лица и очков, скрывавших бледно-голубые глаза. Он был постоянным посетителем редакции, редкий день я его не встречал там между четырьмя и пятью часами. Был он застенчив, но словоохотлив и, когда разговорится, мог без конца продолжать беседу, всегда неожиданную, интересную и не банальную.

М. В. Добужинский

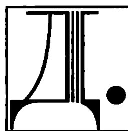
ВОСПОМИНАНИЯ



овольно редко появлялись при мне в редакции сотрудники-литераторы Мережковский и Розанов. Маленький, узкоплечий, «волоокий» Мережковский всегда как бы «вещал» и «пророчествовал» своим несколько высокопарным и картавым голосом, и тогда все умолкали. В «Мире Иск<усства>» в то время печатались его замечательные трактаты о Толстом и Достоевском, которыми я зачитывался. Зачитывался я также писаниями Розанова, полными самых смелых и жутких парадоксов. Он мне казался человеком необыкновенного ума, но мне было необъяснимо, как он мог писать одновременно и в стане наших «врагов» — в «Новом Времени». У него была любопытная наружность: огненно-рыжий, всегда с торчащим хохолком на макушке, с маленькой бородкой и весьма хитрым взглядом поверх очков. Бакст именно тогда сделал его замечательный портрет, что в музее Александра III.

А. Н. Бенуа

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО. КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ



Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире Искусства» отдела, посвященного вопросам философического и религиозно-философского порядка; он же всячески стремился этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел возник исключительно по личному желанию Философова, и еще большей ошибкой, что тут действовало какое-либо угождение известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлечение в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минского, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества», которого названные лица (и я в их числе) были членами-основателями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духовных. То была пора, когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобождению от гнетущего верноподданичества и от притупляющей формалистики. Именно с целью войти в контакт с духовными пастырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом (и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, среди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное знакомство с петербургским митрополитом Антонием.

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в Святейшем синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отправились неболь-

шой группой в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычайная компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Мережковские, Тернавцев, Минский, Розанов, Философов, Бакст и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши вожделения и надежды и главную среди них надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять участие в наших собеседованиях. Запомнилось, как, между прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о красоте и величественно-ласковой осанке митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» — В. В. Розанов, один католик — я. Впрочем, ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вернее, открывали его только для того, чтобы отпивать превосходного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие были заняты разговором, мы с особым любопытством разглядывали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких-либо сопровождающих.

Происходило это наше «сретение» зимой, при свете довольно тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимало нас в просторной гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно внушительной парадной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший декорозу XVIII в., и через ряд ужасно неуютных и типично «казенных» хором. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана красного дерева. Мы расположились по массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цветной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями, что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет государя, а также развешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благосклонном «попустительстве» властей (после полученного в установленном порядке утверждения) происходили в помещении Имп<ераторского> Географического общества, находившегося тогда в доме министерства народного просвещения на Театральной улице — напротив Театрального училища.

Под наши собеседования была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели картины, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады не всегда носили строго-формальный характер. Неизменно «смиренную строгость при любовном внимании» выражали два епископа, ставшие членами «Религиозно-философского общества»; зато среди других участников и особенно среди случайных гостей попадались и весьма придирчивые, иногда и вовсе бестактные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз о выступлении Висеньки, мишенью коего были обыкновенные попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театральной улице, возбудившие сразу общественный интерес, были очень «содержательны», и за этот период они получили для многих участников большое значение. Однако с течением времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей ввести души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно-возвышающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в *«реальном» присутствии* бесовского начала!

Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня это заинтересовало, но доска находилась на другом конце зала, и почему-то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за доску, и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских кошмарах и какие были изображены на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глазищи идола с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол, вероятно, когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Может показаться странным, что я придал такое

значение своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался, исполнился ужаса, не лишенного мистического оттенка. Чудовищное безобразие этого дьявола было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути *уместным*. Оно наглядно символизировало то самое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, безнадежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схватках, в которых было все меньше и меньше искания истины и все больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Удивительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно его замыслам, должно было открыть путь к перерождению русской религиозной жизни, — только он, когда я его свел за доску, на минуты выразил крайнее изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радостно воскликнул: «Ну, разумеется! Это — *он*! Надо было ожидать, нечего и удивляться...»



<...> Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже нечто вроде «форсирования благодати», но и эта попытка имела уже определенно кощунственный уклон и грозила привести к какому-либо «безобразию», если не к постыдному юродству и кликушеству. Собрались мы у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения «реальных опытов» и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситесь, приступая к последней Вечери, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот «подвиг унижения и услужения» Христа, и тут же предложили приступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это *надо* сделать и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, «очень соблазнительная Ева», должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые ножки» ему захотелось увидать, а может быть, и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов (может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог

успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим «открытием Дьявола» в помещении Географического общества. Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но, может быть, и кроме того здесь можно увидать не простую игру случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до *самой важной* — и именно до веры и до «движущей горами» силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «Да будет свет», то свет и явился бы. Однако *в самый этот миг*, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «С нами крестная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич произнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг.



Скажу еще несколько слов о В. В. Розанове, который в те годы занимал в нашем кружке обособленное и очень значительное место. Он притягивал к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы. Только к чистому искусству, к истории искусства и, в частности, к живописи (и, пожалуй, еще — к музыке), он обнаруживал равнодушие и до странности малую осведомленность. Превосходным памятником этого нашего общего увлечения Розановым (он был на много лет старше старшего среди нас) остается портрет, рисованный пастелью Бакстом (ныне находящийся в Третьяковской галерее в Москве). Увле-

чение же это имело в данном случае еще то специальное основание, что Левушка, будучи убежденным евреем, особенно ценил в Розанове его *культ* еврейства. Бакст был человеком далеко не безгрешным, а в некоторых смыслах даже порочным, но он все же носил в себе реальное «ощущение Бога». Что же касается до еврейства, то отношение Бакста к своему народу было таковым, что его вполне можно было назвать «еврейским патриотом». Забегая вперед, укажу, что только человек с такими душевными переживаниями, совершив ужасный в собственных глазах поступок отречения от веры своих отцов, мог до такой степени трагично переживать свое отступничество и даже впасть в состояние, близкое к помешательству...

Всего милее Василий Васильевич бывал у себя дома. Он был большим домоседом и вечера любил проводить у себя перед чайным столом, который накрывался у них в гостиной, ничем изящным не отличавшейся, да и вся его квартира была самая обыденная и меблированная только самым необходимым. К этому почти ежевечернему чаю собирались постоянные и случайные «разовые» гости, и все усаживались рядышком по обеим сторонам хозяина, занимавшего среднее место в конце стола, напротив самовара. К чаю подавались какие-то незатейливые печения: калачи, сухари и т. п. Разливала чай жена Василия Васильевича, разносила же стаканы его падчерица — девица рослая, хорошо сложенная, но, несмотря на правильные черты лица, нисколько не привлекательная. Мы ее про себя прозвали «барашком», и действительно, нечто овечье, что было в ее выражении, подчеркивалось курчавыми светлыми волосами, частью заплетенными в косу, положенную кольцом вокруг головы. Обеих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные. Злые языки утверждали, что он неравнодушен к падчерице, но, во всяком случае, он был «по уши влюблен» в жену — женщину немолодую, некрасивую и вообще на посторонний взгляд лишенную всего того, что в наше время получило кличку sex appeal. Для него же она представляла какую-то квинтэссенцию женственности и женской прелести. Мало того, движимый своим супружеским энтузиазмом, Розанов не боялся разных нескромных определений и описаний, основанных на его супружеском опыте и служивших подтверждением его эротических теорий, причем сплетал свою изощренно тонкую наблюдательность с почти ребяческой наивностью. Редкие собеседования с ним обходились без сообщений каких-либо подобных новых «открытий и наблюдений» психологического и физиологического порядка, причем, однако, это делалось без тени легкомысленной или пошловатой скабрезности — вроде той, что царит в нецеломудренных анекдотах или в остротах, имеющих ход в мужской компании. Манера его касаться этих

довольно-таки скользких тем исключала всякую их «неприличность» и в то же время оставалась вдали от какого-либо «научного подхода», чисто материалистического, «базаровского» оттенка. Розанов приходил в сильнейшее волнение, если встречал отклик в собеседнике, и, напротив, принимался остро ненавидеть и презирать тех, кто оказывался не одаренным желательной ему чуткостью, особенно что касается такой Афродитиной области.

Изредка Розанов бывал у Мережковских, живших недалеко от него, но мне стоило труда заманить его к себе, что удавалось не чаще двух-трех раз в год. Его пугало расстояние — мы действительно жили на другом конце города. Приезжал он и к нам, и к другим один или реже с женою, всегда только по приглашению. Приезжал в сравнительно поздний час, когда уже наши дети были уложены и спали своим первым сном. Тем не менее, он каждый раз изъявлял желание их видеть, а, попадая в детские, — он обходил, при свете ночника, все три кроватки*, совершая над каждой по несколько крестных знамений. Это тем более было удивительно, что вообще он к Христу и к христианству питал какое-то «недоверие», почти что неприязнь. Все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на «моральные преимущества» христианства или на реальную благодать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что считал за «эквивалент» христианских принципов. Я, однако, не вполне уверен в том, что Розанов так уж досконально изучил Библию, и в нескольких случаях эти его ссылки или его превозношения были импровизациями, исполненными, впрочем, всегда яркостью и заразительной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представляли собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то *своя* Библия, свой Завет, и из этой своей *личной* сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные декады, свои чудесные прогнозы, а также свои, иногда довольно лукавые и язвительные, возражения. Спорить с ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним не спорил и всегда предпочитал «его слушать»; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиночка Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев. Отмечу еще, что Розанов, привлечен-



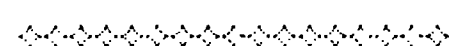
* Весной 1901 г. у нас родился сын.



ный в сотрудники «Мира Искусства» Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое «мудрение», он питал «органическое отвращение» к философии; в религиозно-философские собрания он никогда не заглядывал*. Со своей стороны, и у Розанова было какое-то «настороженное» отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, «победительским видом монденского льва». Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с «мондом» не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмываемую печать «мещанства». А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил — что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты.

Я только что упомянул о равнодушии Розанова к пластическим художествам и об его невежестве в этой области. Имена первейших художников: Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, Рембрандта и т. д. были ему, разумеется, знакомы, и он имел некоторое представление об их творчестве. Но он до странности никогда не выражал живого интереса к искусству вообще и в частности к искусству позднейших эпох, разделяя, впрочем, эту черту почти со всеми литераторами, с которыми меня сводила жизнь**. Он был способен в одинаковой степени заинтересоваться какой-либо пошленькой сценкой в «Ниве», как и какой-либо первоклассной картиной, лишь бы в том и другом случае он находил что-либо соответствующее какой-либо занимавшей его в тот момент идее.

При всем том Розанову не была чужда психология коллекционера, но область его собирательства была совершенно обособленная. Он коллекционировал античные монеты и находил беспредельное наслаждение в их разглядывании, видя в профилях всяких царей и императоров и в символических фигурах, украшающих обратную сторону, все новые и новые свидетельства о когда-то господствовавших идеях и устремле-



* Напротив, постоянной посетительницей их была его мачеха — добрейшая и умнейшая Елена Валериановна, урожденная Панаева. Свою родную мать он не знал, и Елена Валериановна вполне ее ему заменяла. Зато и он ее любил, как родную.

** И у Мережковского подход к одному из его главных героев его исторической трилогии — Леонардо — был чисто литературно-философский, и нас, художников, всегда как-то коробило то, что он видел, что «высмотрел» в творчестве Винчи.

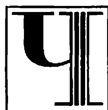
ниях. Перебирая эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические радости, причем ему случалось говорить прелестные слова как про технику, так и про красоту лепки. Но это была, повторяю, единственная область искусства, доступная Розанову. Даже в особенно милом его сердцу Египте он оставался скорее безразличным в отношении могучей архитектуры древних египтян и до красоты всей их формальной системы, выражавшейся в барельефах и в стенописи. Напротив, любопытство Розанова было в высшей степени возбуждено всем, что он вычитывал таинственного в барельефах и в иероглифах, свидетельствующих о верованиях египтян, обнаруживая при этом свой дар проникновения в самые сокровенные их тайны.

Тот род дружбы, который завязался между мной и Василием Васильевичем около 1900 г., не продолжался долго и не возобновился после того, что я с 1905 по 1907 г. два с чем-то года провел вне Петербурга. Но все же я сохранил о нем память, не лишенную нежности и глубокого почитания, да и он как будто не забыл меня, хотя с момента войны мы более никогда не встречались. Свидетельство об этом я нашел (к своей большой радости) в одной из его удивительных статей, которые каким-то чудом стали появляться в виде небольших тетрадей в начале 1920-х годов. Кто в те гнуснейшие времена был еще способен заниматься не одними материальными и пищевыми вопросами и не был окончательно деморализован ужасами революционного опыта — ждали с нетерпением очередного выпуска этой хроники дней и размышлений. Живя в тяжелых условиях в посаде Троице-Сергиевской Лавры, Розанов находил в себе силы интересоваться самыми разнообразными вопросами и с удивительным просветлением обсуждать их, что, хоть и делалось в тайне, однако было и представляло значительную опасность. Правда, в этих эскизах не было ничего такого, что в глазах советского фанатизма могло сойти за «крамольную пропаганду», однако самый факт столь независимого философствования, вне всякой предписанной русским людям доктрины, а также факт полного индифферентизма к достижениям реформаторов не могли вызывать в верхах иного отношения, нежели самого обостренного подозрения. К тому же Розанов должен был быть у большевиков вообще на плохом счету уже в качестве постоянного сотрудника «Нового Времени».

З. Н. Гиппиус
ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК. О РОЗАНОВЕ

> Странник... только странник, везде только странник...
>
> Иду. Иду. Иду... Даже «несет», а не иду. Что-то стихийное, а не человеческое...
>
> Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость.
>
> *(Уединенное)*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. Василий Васильевич Розанов


то еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать *явлением*, нежели человеком. И уж никак не «писателем» — что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал — «выговаривал» все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или мыслью) самим

по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, всегда есть расстояние: у Розанова нет; хорошо, плохо — но то самое, оно: само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариваньем*, — отмечает Розанов и прибавляет просто. — Это — инстинкт». Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело: и, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет делать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через "ѣ" или через "е" это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме; справедливые и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования, по меньшей степени, неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря: «Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен». Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то *около* себя, на ему самому неведомых глубинах.

> Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.
>
> Я каменный.
>
> А камень — чудовище...
>
> ...В задумчивости я ничего не мог делать.
>
> И с другой стороны, все мог делать («грех»).
>
> Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня.

Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое»; он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснять это далее бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уж тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой ясной для меня розановской исключительности, говорить, однако, о нем — *человеке*, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных. И даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».

2. Весной

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова, по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897 или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна! — сказал Философов (он тоже был с нами у Розанова, и еще кто-то был). Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется, в связи с этим вопросом (о браке и деторождении), еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8—9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами, косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот, и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал), — а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), — но, думается, тоже никуда.

3. Всегда наедине

Кажется, с 1900 г., если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренне «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира Искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), он был чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам, как писатель, довольно слабый, — преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили, — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова, в редакции «Мира Искусства», не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один, или с кем-нибудь «наедине», то с тем — то с другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости: веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки, и вид — самый общительный.

В столовой «Мира Искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!), — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, — груб! И, однако, была тут и правда какая-то: пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная — и прелестная, и противная.

4. Наименее рожденный

Вот сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи, на Литейном, — трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — меленько-меленько, непонятно, — если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Религиозно-философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить, или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам. Сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу, и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые и плутовские — и задумчивые, что становится весело. Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:

— Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учителишка и учителишка.

Потом он это написал (в «Уединенном»).

> Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом... Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: «Ну, кто такого противного по-

любит? Просто ужас брал». ... В душе думал: женщина меня *никогда не полюбит*, никакая. Что же останется? *Уходить в себя, жить с собою*, для себя (не эгоистически, а духовно). Для *будущего*...

Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так «отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».

Да просто я не имею формы... Какой-то «комок» или «мочалка». Но это от того, что я весь — дух. Субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого. «И отлично»... «Я "наименее рожденный человек", как бы "еще лежу (комком) в утробе матери" и "слушаю райские напевы" (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). И "отлично! Совсем отлично!" На кой черт мне "интересная физиономия" или еще "новое платье", когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо!..»

С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он — как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шепотный, интимный. И открытость полная — всем, т. е. никому.

Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении, — никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыханье.

Розанов уже не в контроле, он на жалованье в редакции «Нового Времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики. Суворин издает его книги. Старик Суворин, этот крупный русский нигилист, или, вернее, «je m'en fiche'ист» * очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову — он протянул руку помощи Розанову, не заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места, — и написать прекрасно. Ну, почиркают «розановщину», и живет.

Мы все держались в стороне от «Нового Времени», но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.

* мне наплевать (*фр.*).

Так называемые розановские «вопросы», — то, что в нем главным образом жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, — было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.

Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него, — скажу грубо, — одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским, вопрос о поле — тоже. Последний «вопрос» и вообще-то для всех пребывал тогда в стыдливой тени или загоне. Как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить по-разному самые разные круги?

Пожалуй, не круги — а «кружки». Ведь и «эстетизм», и другие петербургские едва намечавшиеся течения — были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».

5. Духовные отцы

В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет — благодаря его отношению к христианству и Христу.

Однако мысль Религиозно-философских собраний зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться. Чистая эстетика уже не удовлетворяла. Давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить, — стены раздвинуть.

В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным — тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский у Николаевского вокзала разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.

Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Религиозно-философских собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.

К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеньких. Знакомства

эти пришлись кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.

Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным. Он *не понимал* органически никакого «секрета», и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадется. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)

Поэтому ему просто говорили: вот, теперь мы идем к такому-то или туда-то, просить о том-то. Брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.

Наконец собрания, получастные, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель — еп. Сергий Финляндский, тогда ректор Духовной академии; вице-председатель — арх. Сергий, ректор семинарии, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословления митрополита Антония и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен и в тщеславии своем, желании попасть «в хорошее общество», — прекомичен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского Обозрения» в настоящий «журнал».

Каюсь, мы нередко потешались над ним, посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова. Невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.

Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.

Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный, церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.

А раз было следующее.

Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного,

он не мог прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.

Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2—3, молодого приват-доцента Духовной академии — А. В. Карташева. Карташев тогда впервые появился в Петербурге — из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, — такие они были иные по быту, по культуре. Но изумительнее всего оказался их упрямый... рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!

Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, по дежурству, у дверей залы Собраний — принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы, около полутемного столика, тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.

— Верю ли? Если бы верить, как в детстве... Но нет... рацио... рацио... — шептал он, приседая.

Так вот, Карташев на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные) согласился. Прочел. На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого сравнительно мягкого и «либерального» иерарха самый грубый выговор. Хотел было оправдаться, — я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:

— Чтобы — впредь — этого — не было.

И Карташев ушел, если не ошпаренный — то лишь потому, что привык: держали их там в строгости и в повиновении удивительном.

Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники, сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?

6. Усердный еретик

«Православие» видело «еретичество» Розанова и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело. Что ему, что этот «безбожник» говорит:

> ...Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я... слишком мог бы... Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое «теплое» для меня.
>
> С Богом никогда не скучно и не холодно.
>
> В конце концов Бог моя жизнь.
>
> Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет.

И еще:

Выньте *из самого существа мира* молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, — чтобы я этого не мог: и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому, и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас.

Но все это понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал — как ему это объяснить?

Или еще:

Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, — я теряюсь?

Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог понять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали. Например, исключительной глубины и прелести человек — священник Устьинский (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург) да, может быть, Тернавцев, тогда молодой и независимый. Итальянская кровь давала ему большую силу жизни. Весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливым.

Ну, а другие «церковники» — приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и *плоть церкви*, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и умилением.

За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец своих.

7. Собрания

В первый же год Р<елигиозно>-ф<илософские> собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было нелегко, а «гости» вовсе не допускались.

Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «соблазна»), — никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи, — вплоть до мохнатого льва Иннокентия, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец), и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе — Антонина (теперешнего «живца»). Тут же и эстеты, весь «Мир Искусства» до Дягилева. Студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, держащиеся с опаской, но и с любопытством.

Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.

Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.

Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его — Ефим Егоров.

— Ефим — пес, — говорил на своем образном языке, с хохотом «кудрявый Валентин». — Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!

Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собрания сторожил, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдружился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам, где Ефим непременно заказывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скоромное; вместе забегали к нам; если Антонин «опозднялся» в городе, то у Ефима и заночевывал.

С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый Путь».

Но о журнале потом. Здесь отмечаю лишь это любопытное приятельство «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего секретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» — вряд ли заветы 60-х годов были в нем особенно крепки. Он через несколько лет поступил по рекомендации Розанова в «Новое Время», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оставался заведующим иностранным отделом.

Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом». Ведь в Англию, во время войны, ездила в виде «представителей русской печати» такая неподобная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Нового Времени», и купленный ныне, «для сраму», большевиками — Ал. Толстой. Жаль, что Василевского не-Букву не прихватили. Была бы полнота «представительства».

8. Тяжелая старуха

Летом 1902 г. мы ездили за Волгу, в г. Семенов. Оттуда с двумя нижегородскими священниками, — на раскольничьи собеседования за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-град»).

На возвратном пути мы зашли в Нижнем с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на озере со староверами.

Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадья не убегала от нас и не пряталась, высылая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после

бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостиной осталась занимать нас молоденькая поповна.

О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.

Показывала и объясняла: вот это тетенька... Вот это о. Никодим, дядя. Вот это знакомый наш, из Костромы...

Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по старинному прямо, в очень пышном платье, оборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике, губы сжаты, злыми глазами смотрит на нас.

— А это кто? — спрашиваю.

— А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.

— Как Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?

— Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в нашем городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.

— Покажите мне.

Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными перилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.

— Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.

— А фотография ее... давно снята? Она такая старая?

— Да, она уже совсем старая. Ну ведь и он, кажется, не молодой.

Хочу возразить, что Розанов «против нее — —ребенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:

— Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.

Мы вернулись в гостиную. И долго еще, охотно рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.

Никогда Розанов мне не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других. Впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко подолгу рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время — ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.

Для второй жены его Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочетал, того человек не разлучает».

— Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! — возмущался Тернавцев. — Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она, было, думала тут его на себе женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Васильевичу на горе.

Розанов мне шептал:

— Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так помнится.

— Так почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?

— Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишка...

Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда раз он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину.

Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.

Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному учителишке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умываться — приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старея, она делалась все похотливее, и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.

Кое с кем дело удавалось, а с одним, наиболее Розанову близким, — сорвалось. Авансы были отвергнуты.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали. Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свидания. Шел, радовался — и что же? Друг не подал руки. Не стал и разговаривать.

Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она от имени самого Розанова написала в полицейское управление донос на его друга.

Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности, но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только при упоминании о ней сказал:

— Да, я так плакал...

— И все-таки не бросили ее? Как же вы, наконец, разошлись?

— Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уже когда она опять захотела вернуться — я уже ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала.

И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения — есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене» как к чему-то раз навсегда святому и непотрясаемому. «Жена» — этим все сказано, а уж какая — второй вопрос.

И ни малейшей в этом «добродетели», — таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.

9. Пустота вокруг

Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Собрания, — стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергия Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония.

У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви». Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем без всякого успеха.

Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.

У Сергия было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользским и светлым — хоть смотрись в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черные послушники.

В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, лакеи, а варенье засахаренное.

Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте...» Он видел всякую мелочь.

Раз мы вышли уже часов в 11, поздно, из Лавры и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель. Необозримые снежные пустыри,

окружающие лавру, скользки, точно лаковые, а ухабы по чуть видной дороге — как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянется белая высокая ограда, — не знаем, куда повернуть.

Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит — о своем. Он неиссякаем «наедине». С кем-нибудь наедине — ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их. Даже вдвоем — он наедине с собою.

> ...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоши около себя — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде*, — что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне «современничают» другие люди...

В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил. Я смеюсь:

— Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?

— Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим *не в одну и ту же минуту*, а в разные. Вы скользите, когда я стою, а когда я — вы не скользите, и я держусь за вас...

— Ну, вот видите. А если бы мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.

— Да, да, удивительно... В разные минуты...

Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, мы бы полетели вниз — в одну и ту же минуту.

10. О любви

Всю жизнь Розанова мучали евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался.

Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.

Не забудем: Розанов жил только Богом и — миром, плотью его, полом.

> Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто *пройти*. Обойти его молчанием.

И тотчас же далее:

> Связь пола с Богом — бóльшая, чем связь ума с Богом, чем даже связь совести с Богом...

Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут, — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архи-ариец, но архи-русский, весь, сплошь, до «русопятства», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России). В нем жилки не было нерусской. Без выбора понес он все, хорошее и худое, — русское. И в отношение его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».

Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».

Влюбленный однажды полушутя в еврейку, говорил мне:

— Вот рука... а кровь у нее — там какая? Вдруг — голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших...

Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановской «несерьезностью», сплетением пустяков с важным и его... как бы «грязцой». Ну, конечно! И уж если на то пошло, разве выносимо вот это само: «связь Бога с полом»? Разве не «грязь» и «пол»-то весь? В крайнем случае — «неприличие», и позволительно говорить об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Розановские «мелочи» казались «игривостью» и нечистоплотностью.

Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религиозный обычай, для внешних неважный и непривлекательный, — его умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евреев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол — грязь», — он главным образом и боролся.

Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос? Розанов и к нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было диаметрально противоположно. Христос — Он свой, родной, близкий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый его чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех людей, и это что-то — весь мир, его светлость и теплость. Выгнал из дома в стужу: «Будь совершен, иди, и не оглядывайся, отрекись от отца, матери, жены и детей...» Розанов органически боялся *холода*, любил теплое, греющее. «С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» — и вдруг — иди в холод, оторвись, отрекись, прокляни... Откуда это? Он не уставал бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них, не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе. Постоянно нес упрек ему в душе — упрек и страх перед собственной дерзостью.

У нас вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну что там, ну ведь не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек... А вот что Он... Господи, прости! (робко перекрестился поспешным крестиком), что Он, может быть, Денница... Спавший с неба, как молния...

Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за нападки ни церковь, нежели за восстания против первопричины — Христа. Почему? Это просто. В христоборчестве его было столько *личной любви* ко Христу, что она властно побеждала именно страх и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем другое.

Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «каялся», что не был достаточно нежен, справедлив — к церкви, к духовенству. Не покорялся смиренно, возражал, протестовал... Вот Бог и наказывает... и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду!

В связи с этим в «Уединенном»:

Иду в Церковь! Иду! Иду!

И потом еще:

Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным.

Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:

Конечно, я умру все-таки с Церковью... Конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее...

Однако:

Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них.

Это борьба с «церковью».

А вот «христоборчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его — книга «Темный лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, придя, «охолодил и заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница, — повторяет он прикрыто, т. е. Дух Темный, а не Светлый.

И что же, кается, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного лика» читались при нем, на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался — Библией, Ветхим Заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливаясь с ним.

С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался.

Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством. Что евреи и понятия не имели о нашем чувстве *влюбленности* в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь песней», и любовь, и огонь еврейства.

Принялся упрекать поэта в измене еврейству. Тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов — больше еврей, чем он сам.

Этим спор окончился — Розанов внезапно замолчал. Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «Расстаюсь с ними *вечным расставанием*». Но собеседник — еврей, а еврей не может быть атеистом. *Нет*, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом все равно «Бог — насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:

> Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница.

И вдруг, и вдруг... словно чья-то тень — тень Распятого? — проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее — и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг — «болит душа! болит душа! болит душа!» и — потерявшись — он становится резок, почти груб... к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.

> ...Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темный лик». Тут я сказал себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).
>
> Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою: — Ну, а все-таки — он лжец.
>
> Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: «Н-н-н-да... Я прочла "Темный лик"». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.
>
> Таких *физиологически* (зрительно-осязательных) вещиц надо увидеть, чтобы опять понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни Его».
>
> Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются.

Любовь к Христу, личная, верная, страстная — была куском розановской души, даже не души — всего существа его. Но была тайной для зорких глаз тайновидца: «Смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая. Тогда он тревожился, бросался в сторону евреев и своего к ним отношения. Отрекался, путался, сердился... Но жизнь повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться, подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновения прорывов.

> ...Тогда все объясняется... Тогда Осанна... Но *так* ли это? Впервые забрезжило в уме...

Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь — по-настоящему. И забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?

11. «В своем углу»

Осенью 1902 г. мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый Путь».

Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали и даже довели без долгов до 1906 г. Он точно сам начался, — естественно вышел из Р<елигиозно>-ф<илософских> собраний.

Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженного Перцова да очень малой внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами, — обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился.)

Перцову удалось получить разрешение на журнал благодаря той же приманке: «Сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его группа участников Собраний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собраний.

Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке. Сначала шла к обыкновенному цензору, затем в Лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на сосуществование, то религия, без разбирательства, была осуждена. И нас записали в реакционеры.

Но среди всех огорчений с деньгами да с двумя официальными цензурами нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.

Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из неимущих. Литературная молодежь, — все мои приятели, — помогала и рабо-

тала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты (Блок, Семенов, Пяст), кроме стихов, давали, когда нужно, рецензии, заметки, отчеты. Несколько неопытных «выходцев из-за железного занавеса», — приват-доценты Духовной академии, Карташев, Успенский — тоже приучались к журнальной работе, но эти — в глубокой тайне, без всяких подписей, ибо, если бы узнало лаврское начальство, им бы не поздоровилось.

И нас, старых литераторов, было изрядное количество, так что в материале, совсем не плохом, недостатка не чувствовалось. Вячеслав Иванов печатал там «Религию страдающего Бога». Мережковский — свой роман «Петр и Алексей». Брюсов — ежемесячные статьи об иностранной литературе и даже... об иностранной политике.

О Розанове что и говорить. Он был несказанно рад журналу. Прежде всего — упросил, чтобы ему дали постоянное место, «на что захочет», и чтоб названо оно было «В своем углу». Кроме того, он из книжки в книжку стал печатать свою длинную (и замечательную) работу «О юдаизме».

Вечно торчал в редакции, отовсюду туда «забегал». В редакции жил секретарь — «пес» Ефим Е<горов> (он же секретарь Собраний). Не лишенный юмора и весьма, при случае, энергичный, он и тут, как секретарь, был очень ценен. Возил в Лавру к отцам-цензорам весь наш материал (не один «духовный», «светский» тоже). И если отцы тревожились, подозревая скрытый «соблазн» в каком-нибудь стихотворении Сологуба, В. Иванова, Блока, — нес им самую беззастенчивую, но полезную чепуху. Отстаивал порою статьи довольно смелые, хотя с великими жертвами: у В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество». А так как статья была о Вл. Соловьеве, — то можно себе представить, что получилось.

Посетителей (неизвестных) принимал тоже Ефим. И препотешно умел рассказывать об этих приемах. Никто лучше него не мог бы справиться с «авторами». Его важность, отрывистые, безапелляционные реплики хорошо действовали на слишком назойливых. Бывали и застенчивые.

— А... могу я спросить, сколько вы платите? — говорил какой-нибудь явно безнадежный обладатель явно безнадежной толстой рукописи. Ефим не задумывался:

— А мы очень много платим... если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.

Собственно говоря, вся редакционная работа велась Перцовым и мною. Молодежь помогала, но положиться ни на кого из них мы не смели. А Розанов не только не помогал, но если бы вздумал, мы бы в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считания с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Ро-

занов ни на что подобное не был способен. Он действительно «всегда спал». Во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в кругу его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.

Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.

И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал, главу «Юдаизма», в «Угол», бесконечные простыни бумажные, меленько-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое Время» и с набором должны экономничать. Без того приходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной, — второй набор, как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления... И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе, — Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно, — а по очереди.

Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.

Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем... жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли, для косвенного его поучения:

— Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдержит?

Скажу, впрочем, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.

Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы ни звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.

Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики...

Чаще всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым. Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.

— Какой вздор! — говорю я. — Она (стенографистка) не дослышала. Или не поняла... Ведь тут, помните, ведь тут...

— Ну да! — кричит неистовый Валентин. — Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть...» Он так и осел... Вставляйте сюда «голос из публики»!

Валентин Тернавцев был не из нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «переводчика», и мы оба увлекались, стараясь преобразить казенную запись в образную картину Собрания.

— Здесь еще «голос из публики!» — орал Валентин. — Обязательно — голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее, — секты исследует, она около меня сидела. Пишите тут — из публики!

Иногда мы носили розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок в записи. А он возвращал — совершенно измененную вещь, почти новую статью. Что было делать? Звали его, бранились, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.

Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.

Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму, а Ефим разленивался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.

К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время, — к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.

12. Буду верен в любви

На ревнивых жен Розанову везло.

Ну, та, первая, подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова — безрассудство. Но чтобы понять это — надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него жена — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные, особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные, и кокетливые, — все, наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил. (Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского, интимничанья, он скоро переставал замечать.

То есть начинал к ней относиться, как вообще к окружающим. Если с интересом порою — то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть, нет. Неинтересно, ибо это *ни малейшего значения не имеет*, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает, — ощущает свою органическую *верность*.

> Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность!
>
> Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять.

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно — можно, о Розанове — непредставимо! И если все-таки вообразить — делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычит, Розанов — не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен — «ноуменально».

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страдания. Единственно, что он считал и звал «грехом», — это причинять страдание.

> Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы, — это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть.

Что же ему делать, чтобы не видать страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным. Страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает — никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать?

И он при ней изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глуповатым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому. В жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения, понемногу стал скрывать от жены. На всякий

случай, — а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял — вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».

Он действительно заботился только о ее спокойствии. О себе — как бы, по неловкости, не «согрешить», т. е. недостаточно умело соврать. Ведь —

> ...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения «встать» и «сесть». Просто не знаю, как. Никакого сознания горизонтов...

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату. Не услышат и будут правы: у них свои.

> Даже и представить себе не могу такого «беззаконника», как я сам. Идея закона как «долга» никогда даже на ум мне не приходила.
>
> Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. «Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснить слабых. И только дурак ему повинуется». Так, приблизительно... Только всегда была у меня Жалость. И была благодарность. Но это как «аппетит» *мой*; мой вкус.
>
> Удивительно, как я уделывался с ложью. Она меня никогда не мучила... Так меня устроил Бог.

«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное — бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все *наши* понятия. Легкомыслие? —

> Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное *волнение*.

Дайте же ему «невеститься». Тем более что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Душа озябла

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р<елигиозно>-ф<илософские> собрания.

«Отцы» уже давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припира-

ли их к стене, — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и вместо помощника архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)

При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.

Вскоре подоспела японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.

«Новый Путь» продолжался, — очень трудно: без главного подспорья своего, — отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.

Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов понемногу начал отходить тоже.

Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение — не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.

Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир. Равноценность в религии духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал *к полу и личности*. Другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.

Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в этой области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать и отвращался.

> «Общественность», кричат везде, «побуждение общественного интереса!»...
>
> Когда я встречаю человека с «общественным интересом», то не то чтобы скучаю, не то чтобы враждую с ним: но просто умираю около него.
>
> Весь смолкнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер.

И далее:

> Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков...

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил, я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!»...

И «воля к мечте»... И «чудовищная» задумчивость...

— Что ты все думаешь о себе? — спрашивает жена. — Ты бы подумал о людях.

— Не хочется...

Не хочется, — интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится — и ускользает, убегает.

Перед революционными волнениями он уже льнет все больше к литературно-эстето-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там водят «хороводы» и поют вакхические песни в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином.

Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены — тайком.

В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его — не помню, продолжались ли. Кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.

Мы виделись, кажется... Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно, — что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой...

Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит, — со своего боку. Полюбил митинги.

— Что вы там слушаете, Василий Васильевич?

— Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть, — курсистки. Глаза так и горят. И много прехорошеньких.

В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло», — такую же... даже не подберу выражения — *осязательную*, что ли, как все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осязательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось», — брошюра была запрещена.

Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову, Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906 г. мы собирались надолго за границу.

Розанов этой последней зимой бывал у нас иногда, — не часто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).

С трагически скошенными глазами, сдвинув брови, — ко мне:

— Послушайте, послушайте. Ведь Розанов — это *пло*! П-л-о!

— Что такое? Какое еще «пло»?

Оказывается, он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть) «Пло». И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» — то можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов — П—Л—О.

Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боится» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.

Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал... долго. И вдруг, чуть не через год, — письмо за письмом, в Париж.

Что такое?

Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные, — содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж, конечно, компрометантных и, конечно, блестящих — ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!).

В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма, — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.

Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осязательное» ощущение — смерти.

Не то, чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило, «но — не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения (да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет).

> Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть.

И еще:

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти и ужасаюсь...

Наконец:

Смерти я совершенно не могу перенести...

Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было.

Самое обыкновенное, самое «всегда»: я этого не видел.

Конечно, я ее *видел*: но, значит, я *не смотрел...* Не значит ли это, что и *не любил?*

Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный. В этот момент, как я ненавижу себя, «как враждебен себе».

У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслью». Каждая в нем — непременно и пронзительное *физическое* ощущение. К «рассуждениям» он поэтому неспособен, что и сам знает:

Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!

Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость, — греющим, светящим огнем).

Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде.

У, как везде холодно!

И когда он говорит: «Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души», — это не метафора, не образ, — где его «душа», где тело? — но опять *физическое*, телесное ощущение *холода*, — ощущение смерти.

Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.

Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Вряд ли до больной женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории. А если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.

А все же в то время очень мне было Розанова жалко.

2. В чужом монастыре

Я не пишу дифирамба Розанову. Не говоря о том, что —

Никакой человек не достоин похвалы, всякий человек достоин только жалости, —

есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова,

как редчайшее *явление*, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, что оно, такое как есть, может дать нам или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.

> Иду! Иду! Иду! Иду!..
> И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не *человеческое*. Скорее «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

Где уж тут «человеческое»!

Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них, — и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.

Может быть, и нельзя иначе — нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстук и серые брюки, имел детей, дар слова... и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил *среди нас*, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел... со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом Времени» одно, — в «Русском Слове», под прозрачным и не скрывающим псевдонимом, другое.

Обеими руками он пишет искренне (как всегда), от всей махровой души своей. Он прав.

Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской Мысли», рядом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве». Однако я забегаю вперед.

Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интимничающим, полушепотным говором болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.

Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было *вместе делать*, а тут почувствовалось, что и нечего делать.

В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать», — во всяком случае, тянулись к активности.

О Розанове ходило тогда много слухов, вернее — сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.

Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).

Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так, в крылатке, и бегал нервно по комнате, блестя очками.

Разговор был, конечно, о религии, и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:

— Вы ведь «апокалиптические» христиане... А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю... Я даже четвертое Евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте откажитесь от синоптиков, — будем вместе...

Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, — и на них тотчас обратилось все его внимание.

— Вот бы детям... Ах, Боже мой... Вот бы детям свезти...

— Да возьмите, Василий Васильевич, выберите какого лучше н тащите с собой на дачу.

— Ах, Господи... Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы...

Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где будто бы Василия Васильевича... отвращают от православия.

— Скажите, что на улице нашли, — продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.

— Не поверят... Нет, не смею...

Так и ушел, не взял.

3. Какие «да»! Какие «нет»!

Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р<елигиозно>-ф<илософских> собраний, целое Религиозно-философское общество, легализированное и многолюдное.

Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убеди-

ли (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную академию. Он решился, наконец (тем более что положение его было уже там непрочно) и вместе с несколькими другими выплыл в житейское море.

Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличали в нем человека из «иного мира». Но понемногу он приучался к «светской» свободе.

Р<елигиозно>-ф<илософское> общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».

Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в совет Общества и, естественно, внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.

Розанов в Совете не состоял. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном *поле*, а о религиозной *общественности*.

Годы мелькали, — последние, предвоенные. О них можно бы много рассказать, но я пишу не о них, — о Розанове.

Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена его плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом Времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими... а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («Два короба»).

Именно *слышали* его в этих трех... книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их — надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом — надо быть в полноте «Розановым».

Для знавших его, как мы знали, — ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил не раз, и та же интимность до... до полного душевного раздевания. Был он в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая. С евреями, его притягивающими и отталкивающими. И даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» — ощущением смерти, холода.

Только все «да — нет», чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались. Он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница...» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.

Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях, дойти до глубины страданий, «выговорить» их в предсмертных тетрадях своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевской лавре, — умереть на руках самого, кажется, умного и *жестокого* священника — П. Ф.?

4. Мне все можно

Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом Пути»). Потом встречали в Донском монастыре у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония. Но действительно узнали и поняли через сестру его Ольгу. Она любила его, ездила к нему в Лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу живала у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду.

Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинило бы это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, сильная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.

Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая...»

Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов не без помощи Флоренского начинает выступать против евреев — в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое Время», — радостно хватались грязной, погромной газеткой.

Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев, а Ф., человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови — жертва.

А Флоренский сказал тогда сестре: если б я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского.

В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция относилась уже довольно враждебно. Повторяю: какая

«совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их неписанных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например — напечатать в минуту полемической злости письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

— Нельзя? — говорит Розанов. — Мне — можно. На мне и грязь хороша, потому что я — это я.

— А вы все — к черту!..

Он прав, что *ему — можно*. Но «все» — люди, посылаемые к черту, — правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».

Всенародное самовыворачивание Розанова хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент, — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религиозно-философского общества.

Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его как *явление* исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда *лично* не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.

Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова, в данном случае — за необходимость исключения его из членов Общества.

Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком «человек», и предельная безответственность его как *человека* мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, — как я о них теперь жалею.

5. Мелькнули дни...

После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй — Розанов совсем скрывается с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом Времени» самые непозволитель-

ные ругательные статейки против «интеллигенции», приходил на каждое Р<елигиозно>-ф<илософское> собрание, чуть ли не до последнего, на котором его торжественно исключили. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко. Это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях не было: ведь его «наплевать» — слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» — то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.

А вскоре и Бейлис, и Розанов — все было забыто: пришла война.

Что писал и делал Розанов во время войны?

Писал, конечно, в «Новом Времени» — неинтересно. Думаю, что сидел тихо у себя — жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма, — вернее, трагедия, — в подробностях. Знаю только, что дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца).

Может быть, Розанов в военные годы работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной). Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидел раз у меня на столе большого скарабея (приятельница-англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.

В военные годы, еще до революции. Розанов начал и свой «Апокалипсис». Выпускал его периодически, небольшими тетрадями. Мне помнится там рассказ — встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя *сила*, только голая сила, тяжелая, грубая, «мужская». Перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому, — чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»...

Вот опять мелькнули годы — мгновения. Как вспыхнувшая зарница — радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь и — последнее молчание.

Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».

Наступил восемнадцатый год.

6. Ледяные воды

Сначала еще видались кое с кем.

— Вы не знаете ли, что Розанов?

— Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал с семьей, — или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Тро-

ице-Сергиевском посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки...

— Их, вероятно, Флоренский в лавре устроил?

— Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна, почти не ходит... И вы знаете, сын их умер.

— Как? Вася умер?

У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.

— Да, умер. Его взяли в Красную армию...

Перебиваю:

— Да ведь ему лет пятнадцать-шестнадцать?

— Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заразился в поезде сыпным тифом и умер. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь — не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.

Окурки собирает... Болеет... Странный стал... Жена почти не встает... И Вася, сын, умер...

Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется, подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.

Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, — от этого скука потрясающая. Кто не видал революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-разнообразном тройном страдании — цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли.

— За «Новое Время». Он в Волочек уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.

— Вот как.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли. Тоже за «Новое Время», очевидно. Это слух.

— И Розанова?

— А В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.

— Я?

Мне донельзя противно писать Горькому. Но действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже в пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?

Однако вяло беру бумагу. «Дорогой...», «Уважаемый...»? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович...»

Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...

Что-то в этом роде, кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно.

К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню, но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.

Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х., к нам пришедшего. Этот Х. умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний розановский «Апокалипсис».

Х., оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с Лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы. Надеялся добыть еще и свезти их Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому смертельно, болен.

— Было кровоизлияние, немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.

Х. принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».

Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, — у него были. Тьма, голод и *холод* — смерть.

> Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» — организму человеческому как организму «теплокровному». Он боится холода, и как-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду»...

Вот он снова, его страх перед *холодом*. И как страшно холод настигал его. Настиг внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью. Схватил и внутренний, в болезни. И уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал, — в смерти.

А защищаться было нечем. «Топлива» для организма, еды — не было.

> Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...

Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:

> Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой...

Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.

Скоро через X. (а может быть, и нет) пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного, — написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).

Первое, потом второе, потом третье... Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю — вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете. Наверное, писал он Горькому (и, наверное, Горький письма сохранил, ведь *его* собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке», ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.

Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени...» Потом вдруг шутил, и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все поднимается выше... Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке, — не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.



Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлебца кусочек, и так хорошо.

Но потом вдруг:

Пирожка бы... Творожка бы...

О дочерях писал, какие они, как за ним ухаживают:

На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь...

О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.

Эти письма, писанные дочерью, до такой степени *сам* Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да — нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти», — были уже так заострены, что куда же дальше? И, однако, они еще обострились, отточились, дошли до колющей тонкости, силы и яркости. Ледяные воды поднимались к сердцу.

7. Слова любви

— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Флоренским, который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.

Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.

— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Флоренским и, параллельно, отход от евреев, обращение к христианству, к православию, переезд в Лавру...

Это говорили люди, судя Розанова по-своему — во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было *похоже* на правду. А что — на самом деле? Посмотрим.

Услуги еврейские как гвозди в руки мои, *ласковость* еврейская как пламя обжигает меня.

Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ.

Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Флоренского, не в Лавре ли? О, нет! До войны, до Флоренского, в самый

разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В Лавре же, в последние месяцы, вот что писалось-выговаривалось:

> Евреи — самый утонченный народ в Европе... Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским... И везде они несут благородную и святую идею греха (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи. Социализм? Но ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись...

Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Флоренского? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет *теперь*, в Лавре?

> Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую. Попробуйте распять Солнце, и вы увидите, который Бог. Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству...

Что же это такое? Что скажем?

Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и *любви* своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за шесть лет до смерти:

> ...все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет. Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель, то как хочу я утешения. И тогда Он — Бог мой. Неужели?
>
> Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь. Неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится. Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа...
>
> Ужасно странно.
>
> Т. е. ужасное было, а странное наступает. Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела...

И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:

> Душа восстанет из гроба... и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую «песнь песней». Будет

дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь.

Всегда возвращается, всегда — он, до конца — он, нашими законами не судимый, им неподклонный.

Вот почему не нужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял.

Звонок по телефону:

— Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Флоренского, под шапочкой преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он — «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин, — что мы знаем? Но, верю, и тогда, когда он лежал совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:

Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?
Неужели умрем, и ничего?
Господи, неужели это — Ты.

З. Н. Гиппиус

О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ

Первая встреча

(К истории петербургских Религиозно-философских собраний 1901–1903 гг.)

Розанов, близкий всему нашему основному кругу, тянул за собой лиц уже совсем иной, особой среды. А как было Розанову не подойти вплотную именно к данным вопросам? Ведь он, по его же слову, был сам «весь на религиозную тему».

Складывались всякие кружки, где толковали, спорили, волновались... Кружков этих никто не устраивал — сами устраивались.

Были очень живы, но от смешанности и текучести «дела» из них не выходило.

Однако они были нужны: они выделили из себя другие кружки, более тесные, где уже стало возможным выяснить главную линию движения и где, наконец, явилась мысль создать *«Религиозно-философские собрания»*, т. е. встречу с Церковью («исторической»), с ее представителями, — лицом к лицу. <...>

Открылись Собрания 29 ноября (1901 г.) — докладом Тернавцева.

Неглубокая, но широкая «малая» зала Географического общества (на Фонтанке) — переполнена. Во всю ширину ее, по глухой стене — стол, покрытый зеленым сукном. Еп<ископ> Сергий, молодой, но старообразный, с длинными, вялыми, русыми волосами по плечам, с мягким, круглым лицом, в очках — посередине. Рядом с ним — красивый и злой архим<андрит> Сергий, вице-председатель. Духовенство, белое и черное, преобладало. На первый раз даже черного было, кажется, больше. С левой стороны ютились «интеллигенты», «учредители» и члены просто. В углу — гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому обществу, закутанная темным коленкором. <...>

Розановские «воскресенья» сделались в ту зиму главным центром, где собирались всякие люди: церковные и нецерковные, близкие и далекие участники Собраний. Были и кружки более тесные, деловые: там предварительно обсуждались доклады.

Несколько юных доцентов Духовной академии, оказавшиеся людьми очень чуткими, почти всегда присутствовали при этом обсуждении. <...>

Мы бывали в Лавре и у епископа Сергия, и у митрополита. Всегда только нашей группой, т. е. «интеллигентской»: никто из «зависимых» не приглашался. У Сергия, в пустой зале, с архиерейскими по стенам портретами, до льдистости сверкал паркет; в столовой, где тоненькие послушники подавали чай с вареньем, мы мирно обсуждали какой-нибудь проект доклада для Собраний. В Сергии было тихое, безвольное благолепие. Он, что называется, «не простирался вперед»...

В митрополичьих покоях — пышность и торжественность. Туда нам не сопутствовал не только никто из наших друзей-церковников, но даже из белого духовенства никого не было. Полукругом около блистающего бриллиантовым крестом клобука митрополита высились клобуки черные. Когда медленным и красивым жестом Антоний белый клобук снимал (перед чтением), — тотчас снимались, взлетая крыльями, и черные. Чай разносили не послушники, а ливрейные лакеи. Розанов мне на ухо шептал: «А варенье-то засахаренное... у Сергия лучше».

Там читал Мережковский (перед чтением в Собрании) свой реферат «Гоголь и о. Матфей». Очень резкий и даже «дерзновенный» реферат.

Но с каким благосклонным терпением его выслушали. И столь же тихие, благолепные были потом разговоры. Все возражали, и даже не стесненно, только без малейшей горячности, и вообразить какую-нибудь горячность здесь было невозможно.

На Розанова эта атмосфера подействовала одеревеняюще. Выходя, он опять зашептал: «Да что они говорили? Ничего не помню...» <...>

Мережковский тогда печатал в «Мире Искусства» свою работу о Гоголе. Отрывок из нее, «Гоголь и о. Матфей», послужил докладом* на предпоследнем вечере Собраний. Прения заняли и второй вечер, которым заседания этой зимы оканчивались. <...>

Прения были опять так живы, что постоянно превращались в диалог или беседу, — без всякого, впрочем, беспорядка. Несколько лиц, забыв о длинных речах, обменивались короткими репликами. На реплики мастер был Розанов. Он и вообще речей произносить не умел. Выступал или с «запиской», которую сам даже не прочитывал, или с краткими, в несколько слов, острыми ответами. <...>

* В «Мире Искусства» был к нему приложен рисунок Репина «Гоголь и о. Матфей».

Перед запрещением

(Зима 1902–1903 гг. СПБ-ских Религиозно-философских собраний)

<...> Рядом с еп<ископом> Сергием сидит докладчик, казанский иеромонах Михаил. Он маленький, черный, но уже начинающий лысеть, с порывистыми движениями и необыкновенно блестящими черными глазами.

Доклад его — «О браке».

Каким образом явилась эта тема у иер<омонаха> Михаила для первого его выступления — догадаться нетрудно. Он был наслышан, конечно, что писатель Розанов, специально занимающийся «Брачным вопросом», — самый строптивый из членов Собраний. Обвиняет «монашествующих» и самую церковь, что приверженность к аскетизму заставила их «косо смотреть» на брак и на семью... Иер<омонаху> Михаилу, должно быть, и подумалось, что надо начать прямо с розановской темы, показав, кстати, петербургским писателям свою литературную начитанность. <...>

Из первых же возражений выяснилось, по каким линиям пойдут дальнейшие прения.

> Почему, — спрашивал Мережковский, — о. Михаил сказал, что будет говорить о браке, а о «девстве» (аскетизме) говорить не будет? Можно ли, указывая на положительное отношение Церкви к браку, не касаться вопроса, каково ее отношение к девству? Не выше ли для нее идеал девства, т. е. отречения, отрешения, удаления?.. Историческая христианская церковь создала себе высший идеал — девства, отречения от мира, а потому, по словам Розанова, и не может принимать брак иначе как словесно, номинально... Вы одинаково приводите в виде ваших доказательств мнения: Шарапова, Мирянина, Вербицкой, Розанова, Марселя Прево... У вас это как бы равнозначащие ценности. Между тем, имея такого могучего противника, как Розанов, вам следовало бы сосредоточиться на нем одном...

Иер<омонах> Михаил, немного растерявшийся от возражений, от непривычной атмосферы Собраний и от того разговорного стиля, в котором прения велись, сначала подавал реплики, потом замолк. Но раздражен, видимо, был очень.

Вопрос решительно повернулся в сторону неравноценности для Церкви «брака» и «девства». Затем, как водится, стал еще расширяться...

Заседания «О браке» выяснили, что на борьбу с «Собраниями» и с духом их выступила новая сила. Она была не в иер<омонахе> Михаиле, человеке новом, слишком порывистом, слишком самоуверенном и беспомощном. Тихо-разрушительная сила эта шла от людей, в первую зиму

почти молчавших; теперь они стали выступать все настойчивее и средостением каким-то подымались между светской группой и представителями церкви.

Я говорю об «ученых богословах» (без ряс).

Странное впечатление они производили. Казалось, такими точно, со всем их богословским багажом, они родились и такими же пребудут до конца веков. Непонимание, порою «неслышание» черного духовенства, протесты священников из «припадающих» (крайне правых), все это было не похоже или не совсем похоже на непонимание и протесты богословов. В них все это присутствовало, но, по выражению Розанова, «ноуменально». В большинстве они были связаны с «Ведомством»; но и те, которые официального положения не имели, от первых не отличались: так же к Ведомству подходили, будто для Высшего духовного управления специально были устроены, и оно — для них. <...>

Второе, кажется, заседание («О браке»), один из них, Х., буквально окостенил. Ему удалось на этот вечер изменить самую атмосферу залы.

В отличие от бледного и худого Лепорского (другого богослова), с какой-то даже восковатостью в лице, — Х. был приземист, довольно полон, рыжебород и румян. В нем, тоже в отличие от Лепорского, еще сохранились какие-то искры жизни, проявлявшиеся, впрочем, в виде злобных личных выпадов, полемики такого сорта, какой в Собраниях не водилось.

Труднее всего передать тон его доклада; а тон был так же важен, как слова. Тон человека, пренебрежительно не желающего считаться со всем, что тут происходило и происходит. Даже, мол, язык этих светских говорунов непонятен. Непонятно, зачем ставится и самый вопрос: он не нужен, не важен. Если для кого-нибудь есть в нем неясное, то лишь для не обладающих Истиной, для не признающих божественности Церкви. Христианину нужен другой вопрос: о *спасении*, об отношении к сквернам души своей и ко крестному пути, указанному Господом...

Все это было пересыпано текстами и обвинениями светских писателей, преимущественно Розанова, для которого был приведен текст из ап. Павла: есть *«враги креста»*: «их конец погибель, их Бог — *чрево*, и слава их *в сраме*: они мыслят о земном».

Когда речь была окончена, возражать никому не хотелось. Мережковский заметил только, что «с христианской точки зрения не следовало бы обвинять всех так кровожадно»... Речь Х-а весьма повлияла на священников: точно пресеклась их живость; заговорили длинно, монотонно... Кто-то зачитал правила Гангрского собора, 21 правило; только и слышалось: «аще»...«аще»... «аще»... И лишь очередная «записка» Розанова вернула Собрания к жизни. <...>

Между вторым заседанием и третьим (19-м) лежит очередная записка Розанова. Чтобы понятно было, почему эта «Записка» так отразилась на ходе заседания, надо сказать несколько слов о роли и позиции Розанова в Собраниях.

Напомню: это был гениальный и глубочайший писатель-своевольник, редкостный цветок, русскою землею взращенный. Была в цветке этом и отрава (даже для него самого, человека, в сущности, несчастнейшего, хотя и не всегда о том знавшего). Но была и такая пленительность, что ей поддавались, хотя бы на время, хотя бы отчасти, люди самые разнообразные, чуждые и друг другу, и Розанову со всеми его глубинами и со всеми соблазнами. На церковников он порою наводил какую-то мару, тем более беспомощную, что «литературных» красот они не понимали и не ценили, и шла она, очевидно, не от слов*.

Церковники собраний, особенно узко-умные и жесткие рационалисты-богословы, очнувшись от мары, с истинным озлоблением накидывались на Розанова.

Трудность же положения «светской стороны» в Собраниях была вот в чем: Розанов совпадал — но не всегда и не во всем — с линией Собраний. С некоторых сторон он был громадной ей поддержкой и помощью; с других — он ее искривлял и как бы разрушал. И когда в Собраниях церковники нападали на Розанова огулом, одинаково и на правду его и неправду, тут-то и приходилось трудно: надо было Розанова защищать, но в то же время, защищая «линию», — отъединяться от него.

Ни в одной, кажется, из розановских «Записок», как в этой — о догмате — не было такого тесного переплетения двух разных нитей, точно стеблей двух разных растений. Один Розанов умел это делать так, что переплетение становилось незаметным, и принимались вместе с действительно верными положениями и его, розановские, изгибы.

Он говорил о христианстве — нежном и пленительном, как «полевая лилия». И о том, что сделали из него в веках «взявшие ключи разумения»... Христианство перестали любить, оно перестало быть «умилительным» с «догматом».

> Бог есть милое из милого, и вот, как начали догматики «строить», Христос невидимо заплакал и отошел от строящих...

Мара на церковников была наведена в такой степени, что Рункевич, один из деревяннейших богословов, сказал: «Хотя и рискованно высту-

---

* Была, впрочем, у церковных людей *простых*, всяких «батюшек», к Розанову и вообще любовь, или притяжение, но это уж другого порядка: отклик на розановское горение к «плоти мира» и, конечно, к «плоти» церкви.

пать после такого блестящего фейерверка, и речь моя покажется бледной невестой перед бриллиантами Травиаты, я предлагаю вернуться к вопросу о завершенности догматического учения. А тем временем можно будет разобраться в "чарующем" впечатлении от доклада Розанова»...

Скоро и в самом деле «разобрались». По-своему, конечно. Я не запомню столь бурного и временами спутанного собрания. Не случалось слышать нам и резкостей, до которых дошел иер<омонах> Михаил, мстя за пережитую чару: «...Позволителен ли самый тон доклада? Один из собеседников сравнил красноречие Розанова с побрякушками Травиаты. И я думаю, что это – проституированье истины!» (Тут Михаил был остановлен председателем.)

Другие говорили: Розанов — а-догматист. Это уж не вопрос о развитии догматического учения в христианстве, это отрицание всего христианского учения, отрицание христианства!

Хуже всего, что тут, в словах церковников, была доля правды. Перед светской группой стояла задача: выделить и вернуть Розанову чисто розановское, выпрямить главную линию Собраний.

Отчасти это удалось...



М. И. Цветаева

ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА



И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси — Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

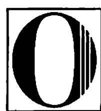
— Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей.

(Розанов, бровями) — ? —

— Это — *Вы*.

В. Г. Шершеневич

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧЕВИДЕЦ



н (Брюсов. — *В. С.*) цитировал прозу Розанова страницами. <...>

В довоенные годы существовал обычай не приближаться к суворинскому «Новому Времени» и к буржуазно-реакционным изданиям, близко соприкасавшимся с Сувориным.

В «Новом Времени» из настоящих писателей работал только один В. Розанов, этот изумительный мастер точного философского слова, сочетавший в себе редкий ум и не менее редкое юдофобство. Розанов, нисколько не смущаясь, писал под своей фамилией в «Новом Времени» и под фамилией «Варварина» в «Русском Слове» — полемизируя сам с собой. Ненависть к евреям и презрение к Мережковскому и Гиппиус (это его острое словцо: «Мережипиус») были его профессией.

Сын крупного чиновника, Мережковский навсегда остался в литературе чиновником. Он не писал, он не искал, он «вносил предложения» и защищал свои программные стихи, как защищали в департаменте докладную записку.

Рабочее наступленье он окрестил «Грядущим хамом». Пришла революция. Мережковский оказался «Ушедшим хамом», эмигрировавшим и активно работавшим на пользу сигуранцы и охранок.

Романы Мережковского — образец холодного мистицизма, расчета на модность буржуазного увлеченья. В годы реакции Мережковский уводил своими «надсоноватыми» стихами в стан «праздно болтающих», являясь «Некрасовым наоборот». В эмиграции «талант» Мережковского не стал меньше: его способность ориентироваться на самые худшие отбросы в стане врагов Советского Союза почти равна гениальности Смердякова.

С каким восторгом Розанов, отлично знавший Пушкина и современных поэтов, подхватывал каждую ошибку о них.



Ненавистный ему Мережковский написал в «Русском Слове» целый восхищенный фельетон о «Ночных часах» Блока. Мережковского восторгало «проникновенное познанье Блоком родины». Особенно его пленили строки: «И вязнут спины расписные». Мережковский вопил: «“Расписные спины” — это же символ исполосованной Руси, Руси, исхлестанной кнутом помещика и плеткой жандарма».

Розанов в ответной статье ехидно указал, что образ не плох, но, к сожалению, у Блока не «спины расписные», а «спицы», и советовал не так восхищаться работой кустарей.

Тэффи в 1911 году по случаю семидесятипятилетнего юбилея Пушкина начирикала в том же «Русском Слове» фельетончик о Пушкине, «которого мы все знаем наизусть с детства», и радостно цитировала «Вчера я растворил темницу».

Варварин немедленно отметил, что Пушкин настолько велик, что не стоит ему дарить стихи Туманского. Сам Розанов ошибся только единожды, назвав народной песней «Из страны, страны далекой», забыв, что это стихотворение Языкова.

<...>

Пришла пролетарская революция. <...>

Брюсов, презирая половинчатость либералов, почувствовал <себя> большевиком, но, конечно, никогда не был «членом партии». Он им не мог стать. Брюсов всегда умел только руководить и никогда не умел подчиняться.

И в литературе группы часто примыкали к нему, но он никогда не входил в группу.

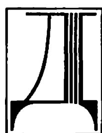
Сердцем он был с партией, существом — вне. И не потому, что он расходился с партией в каких-либо вопросах, а просто потому, что партии он мог уделить только то, что осталось у него после литературы, а оставалось очень мало.

На одном заседании Брюсов предложил издать В. В. Розанова и очень обиделся, когда это предложение было отвергнуто. Писатель Брюсов не понимал, как это можно не перепечатать талантливого черносотенца и юдофоба. <...>



Андрей Белый

ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ

ОКТОР [Рудольф Штайнер] (исподлобья взглянув на меня, — с насмешливой мрачностью): «Курильщик, имевший обыкновение выкуривать десять сигар, обещал врачу курить девять, врач сказал: "Нет уже, курите вы все десять; одной сигарой больше иль меньше — не составит разницы!"»

Разговор свернул на другую тему: я рассказывал о случае, бывшем с Розановым: к Розанову явился старик, объявивший себя Саваофом и пригласивший на чай; на вопрос, где он живет, — старик: «В НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЕ». Тем не менее — дал адрес гостиницы; доктор в ответ рассказал, как один другого звал в «ЛУНУ»: но дело шло о гостинице «Луна».

В. Микулич
ПРОЙДЕННАЯ ДОРОЖКА

В этом же 1902 году М. О. Меньшиков передал мне от имени инициаторов Религиозно-философских собраний приглашение принять в них участие. Возникли собрания по инициативе литераторов: Минского (Виленкин), Мережковских и Розанова. Подумывая об отношении нашей интеллигенции с Церковью, я невольно вспоминала крыловскую Мартышку, неумело прибегавшую к очкам, которые не действуют никак, нюхает ли, лижет ли их или разбивает вдребезги о камни.

С Розановым я была уже знакома.

Впервые я увидела его в больнице у постели больного Страхова, которому предстояла операция. Со Страховым я подружилась еще в молодости. Он приезжал ко мне в Павловск, и я ходила к нему за книгами. У бедного философа был теперь рак языка. Когда я вошла в палату с Анной Петровной Зиловой, которая предложила мне навестить больного старика, с которым и она хорошо знакома, — он лежал на кровати, а подле него сидел худенький и бледный, рыжеватый господин, который оказался Василием Васильевичем Розановым. Страхов представил мне его. С появления его первой статьи о Легенде о Великом Инквизиторе я заинтересовалась новым талантливым писателем и расспрашивала о нем знакомых. Я узнала, что он учительствует где-то в провинции, был женат на женщине-враче, расстался с нею и женился на вдове дьякона, от которой у него уже довольно много детей. Когда мы вошли в палату, Страхов лежал молча, а собеседник его говорил ему что-то. Мы прервали своим появлением их, вероятно, интересную беседу. Анна Петровна принялась торопливо передавать ему поклоны от семьи Вышнеградских, где она встречала его. Своей болтовней она спугнула Розанова, который простился и ушел. Страхову больше нельзя было говорить. Мы посидели еще немного и говорила все время Анна Петровна.

На первом же Религиозно-философском собрании я вторично увидела В. В. Розанова, который был уже сотрудником «Нового Времени».

Собрания происходили в здании какого-то министерства у Чернышева моста.

Надо было подняться на лестницу и через несколько зал дойти до той большой залы, где по самой середине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. За ним сидели и учредители и участники собраний. В центре помещалось духовенство. Несколько монахов: Сергий Финляндский, молодой еще Сергий

Ямбургский, Антонин, иеромонах Михаил и священники Солертинский, Янышев и другие. Направо от монахов сидела Гиппиус-Мережковская, единственная женщина за столом, ее муж, Философов, Минский, Розанов. По стенам на стульях теснилась публика всех возрастов. Правая част<ь> зала была отдана учащим и учащимся Духовной академии. Там сидели и священники: прекрасный оратор Тимофей Налимов, проф. Карташов и профессора Академии. <...>

Во время перерыв<а> В. В. Розанов познакоми<л> меня со своей женой. Первой женой его была женщина врач с изв<естным> именем. Но он разв<елся> и вторич<но> он женился в провин<циальном> том городе, где он учительст<вовал>, на вдове дьякона, у которой был<а> <*1 нрзб.*> болез<нь> от перв<ого> мужа.

Первая жен<а> В<асилия> В<асильевича> не дава<ла> ему развода, а втор<ая>, даж<е> не венчанная, каждый год приноси<ла> ему ребенка... Они не носили <одного> име<ни>, и сам<а> жена подписы<валась> Варва<ра> без всей фами<лии>. Это бы<ла> боль <*2 нрзб.*> В<асилия> В<асильевича>, и он злобствовал не т<олько> н<а> Церковь, но и на Христа. (Дома он так много говорил об этом, <*1 нрзб.*> Варя.) Жен<а> его мне оч<ень> понравилась.

Добрая, мягкая, простоватая, оч<ень> нервная, мягкая и как будто усталая, мне понравилась. Казалось, у нее и душа такая же мягкая, к<а>к и тело. Она доверчиво заговорила со мной, глядя на меня добрыми светлыми глазами.

— Вот, — сказала она, — хотят они, чтоб ничего этого, нашего, церковного, не было. Им и церкви сов<сем> не надо. Им думается, что так лучше будет. А будет гораздо хуже. Конечно, бывает, что и в Церкви не все на высоте, трудно ведь, но все же, мне думается, что святое и всегда будет свято и что людя<м> дорого, если у них есть чт<о> свят<ое>.

Тут подошла к нам ее дочь от первого брака, высокая девица, одетая по моде, и с места заговорила со мной об Иуде Искариоте. Это ведь спорный вопрос. Справедливо ли называют его предателем? Это вопрос еще не выясненный. Говорят, он хотел спасти Христа. А его за злейшего предателя... <...>

Выходя из зала, я сказ<ала> В. В. Розанову, что мне бол<ьше> всех понрав<ились> Налим<ов>, Серги<й> и супруги Альбовы, кот<орых> я здесь видела впервые. Розанов сказ<ал> мне на эт<о>:

— О, какой у вас дурной вкус!..

Варв<ара> Дм<итриевна> оч<ень> ласково просила меня поскорее приехать к ней на Фурш<татскую>. Ей хотелось показ<ать> мне своих малышек. А она приед<ет> ко мне в Царское и их привез<ет>. Я уже в эту встречу заме<тила>, что ее поддразнивают в сим<патиях> к свящ<еннику> Григ<орию> Петрову. На собрании его не было. Я вспомнила, что, когда я как-то при встрече спросила его, будет ли он принимать участие в Р<елигиозно->ф<илософских> соб<раниях>, он сказал, что, конечно, ни под каким видом не станет оратором выступать в присут<ствии> таких личностей, к<а>к Тернавцев, Скв<орцов> и им подоб<ные>. <...>

Мне лично Григ<орий> Спир<идонович> не внушал большог<о> почтения, но жена его была славная, прямая женщина. Сначала я част<о> встр<ечала> ее у Мессер, с кот<орой> мы жили по од<ной> лестн<ице>, а позже встр<ечала> ее

у Туро<...> (млад<ший> брат) в Артист<истическом> учил<ище>, где Григ<орий> был училищ<ным> священником, гремел своими беседами. <*1 нрзб.*> у них был <*1 нрзб.*> Маня при мне откровенно удив<лялась> тому, в кого <же он> такой богомольн<ый>. Чуть заслыш<ит> благ<овест>, со всех ног бежит в Церковь. Не поним<ала>, в кого <*2 нрзб.*>. Супр<уги> Роз<ановы> прие<хали> ко мн<е> в Ц<арское Село>, где позн<акомились> с Маней и Яшей. У нас мы с В<асилием> В<асильевичем> не спорили и наход<или>, о чем мир<но> поговорить. Супр<уги> познакомились с Маней и Яшей. После м<оего> посещ<ения> я собр<алась> к ним и познак<омилась> с их дет<ьми> Таней, Верой, Варей, Надей и Васей. Маленькая Варя стала просить меня стать ее крестной матерью. У нее крест<ная> умер<ла>, и теперь у всех дет<ей> е<сть> крест<ная>, а у нее нет. И она уси<ленно> просил<а> меня взять ее в крестницы. Я сказала, чт<о> крест<ить> 2 раза ее нельзя, но, если она хочет, чт<обы> я слов<есно> называла ее моей крестницей, я согласна и очень рада. И Варя закричала и стала твердить:

— Ну вот я опять не без крестной. Вот у меня и есть мама крестная.

И обращ<алась> ко мне, наз<ывая> м<еня> крестной. Пока мы разгов<аривали> о газетах и журналах и о пустом, мы болтали с В<асилием> В<асильевичем> дружелюб<но> и весело. Но чуть разговор возвыша<лся> до Христа, В<асилий> В<асильевич> становился злобным и свирепым и точно обиженным. Я невольно сравнив<ала> отноше<ния> <*1 нрзб.*> к Цер<кви> Л. Т<олстого>, Вл. Соловьева, Розанова и его прият<елей: Мереж<ковского>, Мин<ского> и пр. с от<ношением> к Ц<еркви> И<оанна> Кр<онштадтского> и была всецел<о> на стор<оне> о. Иоанн<а> Кроншт<адтского>. Как все у него ясно и просто и тепл<о> и возвышенно. И пр. О свято<м> не гов<орят> с несвятым. К это<му> вернуться.

В Татаим<?> я обедала у Роз<ановых> и пров<ела> у них весь день. Вечеро<м> дети танцева<ли>, я играла им, детям и в<сем> б<ыло> оч<ень> весело.

Маленькая Вар<я> <*5 нрзб.*> Ну ты, незаконнорожд<енная>. Очевидно, э<то> слово употр<еблялось> всеми часто.

Вскоре мы <*2 нрзб.*> я вск<оре> полу<чила> увед<омление> от В<асилия> В<асильевича> о том, чт<о> Варв<ару> Дм<итриевну> придет<ся> опер<ировать>, что она леж<ит> сей<час> в Евангеличес<кой> больни<це> на <*2 нрзб.*> в <*1 нрзб.*> часы.

Я поеха<ла> проведать ее там. Заст<ала> у нее Гри<гория> Петрова, кот<орый> гов<орил> о том, что <*1 нрзб.*>. Эт<и> изречен<ия> надежн<о> в сущ<ности> убийственны. В Евангелической лечебн<ице> я застала мужа и Григория Петрова. Варв<ара> Дмит<риевна> была спокойна и, к<а>к всегда, добра и ласкова. Она говорила, что любит мен<я> и люб<ит> Лид<ию> Эраст<овну> Гофштетер.

Все шло гладко. Но вот как-то собрались у Р<озанова> за чайным столом кроме хозяев Тернавцев с женой, Мережк<овский> с женой, Минский, Меньшиков, священник Егоров. Больше, кажется, никого не было. Я уже немножко знала Егорова. Он сидел ряд<ом> с Меньшик<овым> и пожалов<ался> ему на то, что он не может носить штатск<ого> платья. Ему обидно перед пастором. Я не особ<енно> внимат<ельно> слушала то, что он говорил. Я слыша<ла>, к<а>к

сидящ<ий> ряд<ом> с ним Мереж<ковский> сказ<ал> ему: «А я б<ыл> бы оч<ень> рад, если б мы не носил<и> крахм<альных> воротни<чков>». Мережковский положил ноги на сос<едний> стул, гов<орил> <*1 нрзб.*> с полу<...> <*2 нрзб.*>... Потом начали говор<ить> о Церкви Мережковский и Минский. Давно уже я не чувст<вовала> себя так неприятно. Я прислушив<алась> и спроси<ла>: «Да эт<о> чт<о>, революц<ия> или реформац<ия>?» Я бледнела и менялась в лице и видела, что Роз<анов> и Терн<авцев> замет<или>, что я еле выношу это сквернословие. <*1 нрзб.*> я встал<а>, сказ<ала> Мень<шикову>: «М<ихаил> О<сипович>, если вы может<е> выносить эту беседу, остава<йтесь> зде<сь>, а я не могу. Я поеду домой. Я не м<огу>». И, проходя мимо св<ящ>. Егор<ова>, я ска<зала> ему: «И вам, батюшка, здесь не место».

И я выш<ла> из<-за> ст<ола>. Мережк<овский> выбеж<ал> за мною в гостин<ую>, говор<ит>: «Отчего же вы не высказ<ались>? Ск<...> <*2 нрзб.*>... М. б. мы с вам<и> и соглас<имся>».

Розанов выше<л> в пер<еднюю>, где я торопливо оделась, и, ничег<о> не говор<я>, только злобн<о> и вражде<бно> смотрел на меня. А я была так счаст<лива>, когд<а> вышл<а> на улицу и на чистый воздух. Я старалась не вспоминать то, что он<и> говори<ли>, и спеш<ила> в св<ое> милое Царское Село. <...>

Приез<жает> к<а>к-то из Пет<ербурга> Варв<ара> Дм<итриевна> Роз<анова>. Очень озабоч<енная> и взволнов<анная>. Что случилось? Да ничего особенн<ого>. Она хотела узна<ть>, не возьмем ли м<ы> <*1 нрзб.*> на некот<орое> время ее Аличку, <*2 нрзб.*> от <*2 нрзб.*>. Но что особен<но> так волн<овало> В<арвару> Д<митриевну>? Она рассказ<ала> нам, что есть в Петер<бурге> свящ. Яросл<ав> Медведев. Жена его живет в Крыму, а он здесь. В наст<оящее> время в кварт<ире> у него поселился странник, и довольно страшный. Варв<ара> Дм<итриевна> вынула из карма<на> фотокарт<очку> <*1 нрзб.*> групп<ы>. Две дамы сидели рядом со странн<иком>. За ними стоял муж<чина>, а у ног сид<ела> молод<ая> дев<ушка>. «Кто это?» — «Эт<о> жена одного инженер<а> Лохт<ина>, его жена и дочка. А это вот стран<ник>. Он родом из Сибири, здесь он времен<но>, скор<о> опять поедет на родину», и Варв<ара> Дм<итриевна> боится, чтоб он не увез с собой в Сиб<ирь> ее Аличку. Мысль об этом повергает ее в ужас. Я вопросительно взглянула на свою мать, вообще оч<ень> гостепри<имную>, и по лицу ее поняла, что, несмотря на свое всегда искреннее радушие и готовность принять к себ<е> всякого желающего, что она немного побаивается, как бы и сама <*1 нрзб.*> стран<ник> не явился к нам сюда следом за Аличкой. По слов<ам> В<арвары Д<митриевны>, стран<ник> <*1 нрзб.*> гипноз. Он берет человека за руку. Делает какие-то пассы, вот так от плеча до кисти, и человек подпадает его влиянию... Странник! В нашем доме это было первое упоминание о Распутине. По фамилии В<арвара> Д<митриевна> его не называла, и мы скоро о нем позабыли. Аличка же к нам так и не приехала, п. ч. ее взял к себе на время Тернавцев. <...>

В. В. Розанов говорил о Распутине. Это колдун. Он сидел у свящ. Яр<ослава> Мед<ведева> в гостиной и держит у себя на коленях жену хозяина и целует ее на глазах мужа. А тот молчит. Все молчат и смотрят, как околдованные.

А. М. Ремизов

О ПОНИМАНИИ

Из всех своих книг В. В. Розанов ценил свое первое сочинение — книгу «О понимании», изд. 1886, стр. 737, IV.

Едва ли кто знал о существовании этой книги, говоря о Розанове. «Темный лик», «Люди лунного света» упоминались, и никогда я не слыхал «О понимании».

Это было в те времена, когда Михаил Осипович Гершензон (1869—1925), тогда еще не автор «Грибоедовской Москвы», а «молодой писатель», сочинял стихи, потом, когда поминали ему о его поэтических опытах, стеснялся — наш первый петербургский год, 1905, редакция «Вопросы Жизни». В папке рукописей, предназначенных «к возврату», хранились мелко исписанные листки за уличающей подписью: Михаил Гершензон.

Я служил в конторе и в редакцию не совался: я должен был передавать авторам рукописи с пометкой «В», но без объяснений. Случались недоразумения: читаю в книге Сивачева (Михаил Гордеевич Сивачев, 1873 г.) «Записки бедного Макара»: обиженный автор на мое «без объяснений» готов был развернуться и прописать мне по морде «на добрую память» —

В редакции холодно, не сравнить с конторой. В конторе — мое царство — толкотня и смех.

В контору заходили не только подписчики, а и получать по счету, и писатели за авансом и гонораром: живое тянет.

Заходил и В. В. Розанов. Тут я о его любимой непокупаемой книге «О понимании»: «И чего, думаю, проще: на полку поставлю книгу и всем разумным “непокупаемым” приятелям раздам! И автору будет приятно и книге — не в залеж».

В. В. Розанов поддался и вскоре на моей свободной полке прижались друг к другу 30 экземпляров «О понимании». Потом к злополучному

«Пониманию» присоединилось, давя, 10 нарядных книг Мережковского «Петр и Алексей», изд. Пирожкова. Мережковский завистливый: почему выставлен Розанов, а не я. Мережковский сквалыга, это правда, но было и недоумение: «Петр» не угодил в заваль, в «недвижимое имущество», книгу покупали, но количество экземпляров книги не убывало. Только обнаружилось при банкротстве издателя, что сверх условленных по контракту не одна тысяча экземпляров сбереглась на складе в «запас на черный день».

За месяц много перебывало народу в конторе. Ходко шла книга «О понимании».

Были, помню:

А. С. Волжский (Глинка, автор статьи «Мистический пантеизм Розанова», — «Вопросы Жизни», № 1—3, 1905 г.), «летучий», обуян мыслью о хлыстах — в те времена в Петербурге возник не один корабль — корабль Щетинина, корабль Легкобытова.

За Волжским помяну А. М. Коноплянцева, автор биографии Константина Леонтьева, по Елецкой гимназии ученик Розанова, инженер под стать Замятину, но размягченный.

Владимир Николаевич Княжнин (Ивойлов) с А. А. Блоком редактировал письма Аполлона Григорьева.

Я очень жалел его: автор рассказа «Сёмушка», в русском стиле. Верно, за «Сёмушку» в моем произношении он обиделся и припечатал меня: «куриной думой» (Письмо А. А. Блока 9 ноября 1912 г. к В. Н. Княжнину).

Дмитрий Наумович Фридберг, его стихи напечатаны в «Новом Пути», 1904, говорили о нем «все знает», а скромный, не вылезал. В 1905 был выслан из Петербурга и пропал.

Владимир Алексеевич Пяст (Пястовский) († 1940 Москва) писал стихи, но еще не печатал, помешался на рассказах дважды беглого с каторги. И все приключения революционера принял в себя, опасаясь «быть замечену».

Борис Алексеевич Леман (Борис Дикс), после стихов — автор «Книги о Чурлянисе», (индеец), внимательный, хороший человек, а как поступил в антропософы — и раззнакомился. Понимаю, как вступает человек в духовный мир, перестает чувствовать бедовый «материальный» и земной.

Евгений Германович Лундберг, сын пастора, ученик Льва Шестова, искреннейший и правдивейший, писал рассказы, но почему-то их всегда возвращали. Мне его было очень жалко, неудачная доля — я всегда чувствую перед такими в чем-то виноватым. А стал известен в революцию, когда в Берлине [в] 1922 году сжег книгу Шестова о большевизме, щадя учителя.

Георгий Иванович Чулков, секретарь «Вопросы Жизни» (1879—1939), автор «Кремнистый путь». Его соперники: Блок, Андрей Белый, Брюсов в «Весах». После закрытия «Вопросов Жизни» надо было как-то обнаружиться, он придумал «мистический анархизм», как потом Гумилев сочинил «акмеизм»: «выбиться в люди».

Михаил Дмитриевич (1743—1792) Чулков, его дед, «мелкотравчатый сочинитель» «низовой литературы», автор «Пересмешника», или «Словенские сказки», «Пригожая повариха» (1770), гнул к народной речи. «Человек, как сказывают, животное смешное, смеющееся, пересмехающее и пересмехающееся». А внук парил высоким слогом и читал напыщенно («Годы странствий», из книги воспоминаний, 1930 г., изд. «Федерация», Москва).

Антон Владимирович Карташев и Василий Васильевич Успенский, пара: Карташев — постный «шкилет», Успенский — «налитой теля». Карташев, говоря, закрывает глаза и из-под сомкнутых век — не слезы лились, а слова. Успенский от стеснения говорил с растяжкой, передыхая. Они ходили неразлучно — для оттенка. — Оба студенты Духовной академии Александро-Невской лавры. На собраниях в Религиозно-философском обществе на них показывали пальцем: «непорочные девственники». Среди передовых всякие «семейные устои» были о ту пору объявлены «буржуазным предрассудком» и всякий старался чем-нибудь отличиться. А вот на тебе: блюдут по заповеди «Домостроя» попа Селивестра. Карташев и Успенский заходили в редакцию «Вопросов Жизни». — И им: «пожалуйте — “О понимании”» —



— Ну что мои, как? — заискивающе робко спросил В. В. Розанов, подмигивая на молодую конторщицу.

— Разошлись — сказал я с легким чувством, — все до одной.

Розанов, тычась, щурясь на полку: Невероятно! а мог убедиться: на полке кроме семи из десяти Мережковского — ни одной «О понимании» — пустое место. Я видел, как вдруг он заволновался, губами рассчитывая на рубли.

— И все вас благодарят, зарятся на книгу, а купить не всякий может, — все благодарят! То же и я.

Розанов понял мои многократные «благодарят», вспыхнул, и без того по природе красный, и, не глядя, отметил: на полке — 12 лет лежали как под спудом! —

— Тернавцев и сам купить мог бы. Сколько ухлопал на лодку, мало одной.

И я тут вспомнил, что я Тернавцеву не давал.

...Я так раздал тридцать книг.

«А отдал бы и сорок», — подумал я.

Так разошлось розановское «Понимание».



С Мережковским было другое.

Проверив мое «розановские книги все разошлись» и видя на полке семь своих «нерозданных», Мережковский сразу рассердился:

— Ваши берегу к Рождеству, — сказал я и прибавил: с какой благодарностью принята книга Розанова.

Выкрикнул: «Меня обкрадывают, — не мог удержаться Мережковский, — Книги все назад!» И потребовал возвратить семь книг. Так опустела полка и рождественские подарки не осуществились.

Д. Е. Жуковский, издатель «Вопросов Жизни» мне выговаривал, не глядя: обидел Мережковского.

Вторым будет Дягилев. Обиделся за мою подпись на деловой бумаге: «Дворецкий "Вопросов Жизни"» — и не ответил на письмо, «потому что с лакеями он не переписывается». А тут Мережковский грозит: «Обокрали» — изволь оправдываться.

Дягилеву разъяснили «Дворецкого» и вскоре мы встретились и без всякого «лакейства», и о «дворецком» как не бывало. Но у других будет тянуться долго: читаю в воспоминаниях и сужу по письмам.



Из Киева приехал Лев Исаакович Шестов («Шестов» псевдоним, З. Н. Гиппиус будто придумала, а на самом деле из рассказа Глеба Успенского «Старьевщик»: хозяин московской харчевни — Кузьма Шестов). С Шестовым мне было всегда легко: вот кто никогда не осадит «ври, да не завирайся» — ведь это все равно, что осудить человека!

Шестову я передал «О понимании» — «от Розанова».

Только что вышла первая книга Шестова «Апофеоз беспочвенности», и Шестову было приятно внимание знаменитого писателя.

После конторы поехали на Мытнинскую набережную к Д. Е. Жуковскому. В издательстве Жуковского новинка: огромадный том Куно Фишера, Гегель. Жуковский ничего не писал, а любил поговорить о философии.

У Жуковского мы застали гостя: приезжий из Москвы молодой толстовец. По его отупелому взгляду можно было сказать: вот человек после упорной борьбы нашел истину и с головой уверовал и никаким куно-фишером не сшибешь.

За ужином хозяин дорвался до философии, и пошла разноголосица. Московский гость не проронил ни слова и к еде не дотронулся: никаких



бобов — сиги, корюшка, навага. И тут не я — хозяйский домысел, будто для толстовца рыба, что для простых смертных свиная котлета.

А от Гегеля к Толстому.

И тут толстовец, забыв всякое «непротивление», ответил Шестову резко и вгорячах потянулся к стакану — я налил стакан запеканки: не горячит, а прохлаждает, гость хлебнул, разошелся, и поддался одухотворению.

Но все окончилось неожиданно благополучно. Спорщиков разнимать не пришлось.

Шестов, хозяин и гость заключили ужин брудершафтом.

Толстовский гость остался ночевать у Жуковского, а мы по домам.

В мою «обезьянью» память — обезьяньей палаты еще тогда не было, но она будет — я записал афоризм премудрого друга: «Не возражай и не оправдывайся и поступай как знаешь, — все равно потом будешь раскаиваться».

Д. Е. Жуковский рассказывал, какое тягостное было пробуждение после брудершафта: язык не поворачивался говорить «ты». И опять мне выговаривал: зачем напоил толстовца, я не возражал и не оправдывался.



На ловца и зверь бежит. С «Пониманием» оказалось не так-то просто, не всякому дана, книга «непокупаемая», но и не читаемая: выхолощенная словесность «истины».

Выручил Пришвин.

Бородатого зверя привел А. М. Коноплянцев, товарищ по Елецкой гимназии, где учителем географии был В. В. Розанов. Тут я Пришвину «О понимании» — «на добрую память».

Бывают же такие неестественные совпадения: мое «на добрую память» и рассказ Пришвина!

Гимназисты Розанова не любили: раздражительный да слюни — говорят, плевался и получил прозвище «козел». Розанов про козла слышал, но в лицо ему никто не говорил.

Козел был неуловим. В 8-м классе перед выпускными экзаменами на уроке географии Розанов вызвал Пришвина и гонял его, придираясь к каждому слову.

Пришвин не выдержал и, глядя по-бараньи тупо в лицо учителя, с ненавистью произнес — слышно всему классу: «козел».

Пришвина исключили из гимназии и никакие просьбы матери не смягчили приговор. Настоял Розанов.

О университете нечего было думать — волчий паспорт.

Мать Пришвина не рохля, Пришвин не оболтус, принять, как велено и показано, подчиниться — посмотрим!

Пришвин поехал в Германию учиться, в Лейпциге окончил агрономическую школу и вернулся в Елец ученым агрономом.

Свою ученую специальность он не применил, да ему не того надо было, его потянула география, он теперь не «волчий», поехал в Олонецкий край и вернулся с книгой «В стране непуганных птиц». Посчастливилось: книжку издал Вольф — издание с иллюстрациями. СПб. 1907.

И теперь — Петербург: ученый агроном и литератор.

— Все эти годы, — рассказывал Пришвин, — я думал о встрече с Розановым — как это будет?..

— К Розанову очень просто: и даже в это воскресенье, идите с Коноплянцевым.



Шестов с «Апофеозом» ходил к Розанову познакомиться и поблагодарить за подарок «О понимании». А как состоялась встреча Пришвина, не знаю, одно — что Пришвин в воскресенье был у Розанова.

О Шестове Розанов повторял: «ум кругосветный».

— Из всех моих встреч умнее я никого не встречал.

А о Пришвине, не глядя:

— Какого ты мне еще мальчишку прислал...

Я — понял и хотел прибавить «козла», но козел не выговаривался.

Серафима Павловна сказала за меня и в голосе ее прозвучало непосужаемое беспощадно:

— Козел.

У Розанова вдруг запотели очки, и он беспомощно бормотал, словно и зубы у него выбили, шарил по столу за платком.



В. В. Розанов принимал сердечное участие в моей неприкаянной литературной жизни и нашей бедовой судьбе.

Л. И. Шестов читал мой «Пруд» и первый отклик на его «Апофеоз» — моя «завитушка» в «Вопросах Жизни». Но Розанов кроме «Калечины-Малечины» (Посолонь) — ничего, и только по слухам, а слухи ходили не в мою пользу. Неужто мое «О понимании» — 30 читателей — его непокупаемой и нечитаемой книги тронули его сердце?

— Я говорил о тебе с Валентином Александровичем Тернавцевым. Ему нужны рассказы для хрестоматии. Непременно пройди к нему и покажи свои рассказы, что-нибудь как эти «калечины-малечины».

Я не противоречил, хотя плохо верил.

Раз с письмом Розанова я носил вроде «калечины-малечины» А. В. Руманову для «Русского Слова» и ничего не вышло, а у Тернавцева — хрестоматия для церковно-приходских школ.

Тернавцева я встречал на собраниях Религиозно-философского общества и у Розанова, обаятельный «цыган» из Кишинева. Улыбка — весна и в спорах, будь он и против, а как друг. Занимал он большое место в Синоде по отделу образования и страстный лодочник. В неслужебный час пропадал на гонках.

Варвара Дмитриевна Розанова на пристрастие к лодкам смотрела трезво и не одобряла, жалея Тернавцеву: дома никогда не бывает.

Мне посчастливилось: хозяина я застал дома — на этот раз меня встретила не прислуга, а дети — дочери Тернавцева. В их взгляде и как со мной поздоровались: «подождать, сейчас» было отцовское — широкое.

Я познакомился с матерью — она слышала обо мне от В. В. Розанова. Не сказать старая, вернее, утомленная: дети, забота и точащие душу сомнительные невские лодки, конечно, ее ревнивое чутье, не воображение. Жили они довольно — в комнатах чисто, порядок и книги.

Вышел хозяин. Глядя на него, я подумал: был ли хоть один человек, кто мог бы на него сердиться. Вот одаренный всеми дарами беззлобной природы! И за себя мне стало неловко и, как всегда стесняясь, я подал рукопись — рассказ «Богомолье», чего кажется — одно название в хрестоматию для церковно-приходских школ.

Тернавцев присел к столу и читает, не по-вагонному, а с прихлебом — ценя слова.

По улыбке я понял: рассказ понравился, но плечи — движение: и рад бы, да меня... Он отложил в сторону рукопись и поднялся.

— Никак не возможно, — сказал Тернавцев с широкой улыбкой, — лет так через 50 вас...

Я протянул руку за рукописью.

— Рукопись вы мне оставьте. — И в мою протянутую руку сунул три рубля — зеленую бумажку, — В. В. мне о вас рассказывал.



«О понимании» — опыт исследования природы границ и внутреннего строения науки как цельного знания — гордость Розанова, труд 4-х университетских лет. Гимнастика, выработавшая эластичность мысли, чем и объясняется на одну и ту же тему два противоположных мнения — в «Новом Времени» — В. В. Розанов, а в «Русском Слове» — В. Варварин. Вспоминая любимую книгу, Розанов сидел твердо, не ерзал и курил желтую насыпанную папиросу своей набивки, предварительно потеребя ее пальцами и лукаво подмигнув.

А. М. Ремизов

КУКХА. РОЗАНОВЫ ПИСЬМА

В. В. Розанову



то я вам, Василий Васильевич. Эту Кукху —

Все, что возможно пока, записал лунной крещенской ночью. А «Завитушку» потом — ее здесь уж на Lessingstrasse. (Где-нибудь, верно, сам Лессинг жил неподалеку — вот места-то какие!)

Есть у меня две карикатуры на вас: одна из «Сатирикона», другая из газеты какой-то. Я бы приложил их сюда, да не знаю уж: нехорошо, говорят.

А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично.

В одном японском журнале поместили карикатуру на меня вместо портрета и без всякой оговорки. И ничего получилось: чудно, а все-таки живой, не то что в паспорте фотографическая карточка (Lichtbild — по-немецки).

У меня, Василий Васильевич, желтый паспорт! — за «Табак» мне, должна быть, такое.

Судьба-то, как ни прячься, а настигнет.

Ну, прощайте!

Помяните когда там, в надзвездье-то, Алексея и Серафиму: жить очень трудно нам на любимой-то земле — и придумать не знаю что и не сообразишься; одна надежда — чудесным образом.

8. 6. 23.
Берлин.

Читатель, не посетуй, что, взявшись представить Розанова через его письма к нам, рассказываю и о себе, о нашем житье-бытье.

Иначе не могу: нельзя говорить о птице, не поминая леса и поля, и о рыбе, не говоря о море, речке или пруде.

Человек измеряется в высоту и ширину. А есть и еще мера — рост боковой. Об этом часто. Но без этого Розанов — не Розанов.

О Розанове все можно говорить —

«он уж не знает страха смутиться перед людьми».

И надо: Розанов один — сам по себе — на своей воле.

Хочется мне сохранить память о нем. А наша память житейская, семейная, — нет в ней ни философии, ни психологии, ни точных математических наук.

Время действия: 1905—1911 г. И, как заключение, 1917 г. От революции до революции.

Пятилетие — 1912—1916 — очень важное для Розанова: болезнь Варвары Димитриевны. В эти годы я почти перестал выходить на люди, и видались мы редко, но дружба наша сохранилась до последнего дня.

Колония

В январе 1905 г. с нас было снято запрещение Москвы и Петербурга и в феврале мы переехали из Киева в Петербург.

Прямо на место в редакцию «Вопросов Жизни» в Саперный переулок: я — заведывать хозяйством.

Нам дали две комнаты в редакции с освещением и отоплением и 40 руб. жалования.

В редакции, кроме нас, поселились Чулковы — Георгий Иванович и Надежда Григорьевна. Г. И. Чулков — секретарь редакции.

Хозяин наш, издатель «В. Ж.», — Д. Е. Жуковский, замечательный человек, философ, микробиолог, обуянный двумя страстями: купить имение и жениться, впоследствии и женившийся на поэтессе А. К. Герцык.

Год 1905 я ничего не писал, отдавшись своему званию завхоза или домового, как тогда это называлось.

Чай подавался самый китайский, самый душистый и сколько хочешь, и гонорар писателям, как и по типографским счетам, выплачивался моментально в день выхода книги, и лист был не теперешний мародерский — сорокатысячный! — а в 30 000 букв, и корректура посылалась аккуратно и точно, как в немецких издательствах, в двух экземплярах с оригиналом, и барышни-конторщицы не жаловались, и типографщик А. П. Монтвид и брошюровщик Н. К. Константинов были довольны, и мальчики — Матвей и Тимофей, по-современному курьеры, бегали по редакции и в лавочку, как на коньках, и было легко и весело.

Пострадал И. А. Давыдов, автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» — в его рецензии на книгу Рожкова везде было напечатано не Рожков, а Р о з и к о в.

Почему-то подумали, что это я тут что-то.

А ей-Богу ж, в рукописи «Ж» показалось наборщикам за «ЗИ».

Г. Н. Штильман, писавший «внутреннее обозрение», благороднейший человек, заступался за меня. Да и И. А. Давыдов, по вологодской нашей памяти, скоро пересердился.

Всякий день с 8 часов утра и до позднего вечера ходил я по хозяйству в счетах, расчетах и разговорах, да и так, где меня совсем не требовалось, с писателями, которые ждали Чулкова по делам редакции.



В первый весенний день, когда с моря дыхнуло теплом и по всему Петербургу закапало с крыш, в час, когда расходиться, я вышел зачем-то на чулковскую половину в редакцию и вдруг услышал необыкновенное оживление в прихожей: кто-то, целая ватага вломилась — ряженые? — или что-нибудь диковинное?

И сразу же смех и голоса.

Я выскочил посмотреть.

Час был сумеречный, но электричество еще не зажигали, и я разобрал только:

в крылатке (конечно не в крылатке!),
с проседью рыжий, очки, а нос,
как картофель.

А вокруг — и откуда набралось? — все, кто был в редакции, и конторщицы и совсем случайные, зашедшие по делу.

Он что-то говорил быстро и руками трогал.

И все смеялись.

— Розанов! да это ж Розанов Василий Василиевич! И я подошел и совсем так, ничего над собой такого не выделывая.

— Рóзинов — Рóзинов! — знакомился В. В.

И продолжал разговаривать с необыкновенным сочувствием, спрашивал о самых таких вещах личных. И видно было и чувствовалось, как принимал к сердцу — совсем не безразлично, совсем не для слова.

— Рóзинов — Рóзинов! — знакомился В. В., выговаривая Рози, не Роза, в противовес семинарскому крепкому Розанов.

И сейчас же с незнакомым начинал самое, как в долголетнее знакомство, о самом, о чем обыкновенно считается просто неприличным спрашивать.

Я это и потом заметил, что Розанов подходит прямо к человеку — к тебе, прямо смотрит на тебя, и никогда не замечая глаз, а только или грудь, или «нижний этаж», или руку, принимает в тебе всего тебя до — — канатика.



И это страшно располагало отвечать также прямо и доверчиво безо всяких, это отбрасывало всякие перегородки, всякие условности, изобретенные людьми злыми или очутившимися в злом подозрительном мире.

Розанову было до тебя дело.

А ведь это такое — ведь никому ни до кого нет дела!

О Розанове разнеслось по дому.

И сейчас же появился Н. А. Бердяев — Бердяевы жили под редакцией.

А тут подъехал с Мытнинской набережной и сам Д. Е. Жуковский.

Впрочем, «сам» испокон веков у петербургских швейцаров считался П. Е. Щеголев, куда бы он ни заходил по делу или для развлечения.

В «В. Ж.» лежали на складе розановское «О понимании» и «Семейный вопрос».

О них и зашел Розанов наведаться.

И с этого дня редкое воскресенье, чтобы не были мы у Розановых на Шпалерной, и не было недели, чтобы не заходил Розанов к нам в «Колонию».



Многоуважаемая
Серафима Павловна!

Посылаю Вам письмо к Петерсу; простите, что опоздал, знаю, но страшно был занят. Поклон всей Вашей колонии и всю ее жду в воскресенье. Поклон и от жены.

Ваш В. Розанов.

Прием у него ежедневно от 1—2 часов, кроме среды и воскресенья; следовательно, нужно просить или в эти часы, или (я думаю) утром до 9-ти часов; в 9 он уезжает. Я написал ему подробно о Вас и лучше всего Вы с моим письмом пошлите ему свою визитную карточку: он выйдет и назначит час, когда приедет.
1905.

Медальон

Многоуважаемая
Серафима Павловна!

К сожалению, у меня нет просимых Вами книг, а где достать их — я тоже не знаю.

Ваш искренно В. Розанов.

1905.



Жизнь человека красна не одним только пьянством.

Но это не всякий дурак понимает.

В Германии есть старый обычай на Рождество дарить книги. И нет тут дома, где бы не было книги. Правда, «хозяйки» держат их в шкапу в коридоре.

У В. В. Розанова было много книг и хорошие книги.

И старые редкие издания.

И первопечатные (инкунабулы) в белых свиных переплетах.

И любил он рассказывать, как эти все драгоценности к нему попали —

еще тогда в Москве на Сухаревке покупались, на последние.

Книга и Розанов —

заушники его очков зацепились за корешки, корешки приросли к полкам.

В воскресенье какой-нибудь гость дотошный, смотришь, уж ходит по стенкам — стирает носом пыль с полок.

Старых книг заветных В. В. не давал, а новые брали — их было всегда много, неразрезанные. В. В. этих книг не читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказывали. И даже писал: как-то, наслушавшись об арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах».



Был у нас В. В. в «Колонии».

Народу всегда много бывало.

А когда народ, ни с кем не успеешь толком слова сказать: все слито и цепко, гул и всегда роняют. Уж перед самой дверью В. В. подошел к С. П. И вдруг увидел у нее старинный медальон.

— Что это у вас в медальоне?

С. П. отвела его в сторону.

— голова львова, сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном.

И раскрыла золотые хрупкие створки:

там карточка и волосы.

В. В. смотрел близко — такой у него был вид в ту минуту, как будто старинные монеты и Египет перед ним вдруг.

И с тех пор: придет, бывало, в редакцию и к нам в комнату нашу непременно заглянет без всех.

И с тех пор давал С. П. все книги, и заветные.

— Когда вы мне показали медальон, так я вас сразу и полюбил. Какое доверие: отвела в сторону и показала! И это он не раз поминал и потом.

На блокноте

1905

18. 9. узнаем вдруг, что наш дом стоит на кладбище. Вышли посмотреть; а у самой двери могила вырыта. Мы бежать: кресты — памятники — кресты. И опять в дом вернулись. Заглянули в окно — а напротив огромный крест кипарисовый.

19. 9. чуть брезжит. Лягушка квакает. Из соседней комнаты? Откудова?

ква-ква — —

20. 9. едем лесом. Вязко. Мой возок провалился в трясину. И я по шейку в воде. Карабкаюсь.

21. 9. «33 белых попа», — такое есть общество. Собираются иногда в редакции. И вот во время собрания батюшка один вышел в коридор. Просит: «покажите географию!» Я его до уборной проводил и, когда он щелкнул, тут и я его тихонечко защелкнул. И колотился ли несчастный, я не слышал, да и никто не слышал. И только под утро и то случайно — «по расстройству» — освободил его Г. И. Чулков. Это случилось как раз под 1 апреля. Я рассказал А. П. Карташову и Вяч. Иванову. Я не называл имени, просто сказал: «батюшку какого-то», а через неделю слышу уж рассказывают о священнике Иване Павлиновиче, запертом в уборной на ночь.

И вот только сегодня, через шесть месяцев, раскрыта, наконец, моя мистификация о этом мифическом Иване Павлиновиче, которого я, конечно, никуда не запирал.

Среды у Вяч. Иванова.

Из новых: М. О. Гершензон и Эрн. Гершензон, оказывается, пишет стихи! А Эрн какой-то весь просвечивающийся и очень белокож. Про П. Е. Щеголева я сказал какой-то незнакомой даме, что это и есть знаменитый Демчинский: предсказывает погоду. А П. Е., как известно, все, что хотите: и плавать умеет и на велосипеде учился, а насчет погоды нет, не может, но та-то, уверовала! Наблюдал за их разговором.

Были еще Мережковские: они только что из Константинопольского путешествия. Но турецкого в них ничего не заметно, как в Зинаиде Николаевне, равно и в Дмитрии Сергеевиче. З. Н. мне дала письмо В. В. Розанова: прошлое воскресенье они были

у нас, и З. Н. подарила мне красную феску, расшитую золотом, очень красивая, только маловата, а В. В. обиделся, почему она не ему?



Любезная, дорогая или
как хотите Зина!

Я с таким удовольствием читал «Тварь» и даже вот-вот готов был написать длинный комментарий! а Вы привезли феску не на ту голову. Голова эта — путаная, с психологией маленькой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманною: а перед Вами был «добрый старый турок, чтущий Аллаха» и зачитывающийся восточной и западной (в стихах) Шехерезадою.

Поблагодарите Митю за милые-милые три письма. Я пред ним очень виноват.

В. Розанов.



12. 9. Был В. В. Розанов.

Рассказывал: когда он первый раз это сделал — ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйка, за 40 — так на другой день с утра он песни пел.

— Сижу и пою.

А так В. В. никогда не поет и никакого голосу.

Для памяти:

1) учитель Полетаев с видением соблазняющих его собак (расск. В. В.);

2) видение в психиатр. больнице: полна палата коров — коровы лежат на койках, задрав хвосты (расск. А. П. Зонова);

3) лавка Комарова и доктор Доминик Доминикович Кучковский (из воспоминаний В. В.);

4) между исповедью и причастием пал со скотиною! А это из Исповедальника (Чин исповедания), где есть и о падении с мравием, и о проч. на монастырской практики.

23. 9. Куплено: зеленый диван у А. С. Волжского за 10 рублей в рассрочку. Диван с просидкой.

24. 9. Был в «Нашей Жизни». Познакомился с В. В. Водовозовым, о котором много слышал хорошего от Шестова, — он точно паутиной обмотан. И еще с Н. П. Ашешовым: на нем жилетка вроде как на Философове.

спички делаются из электричества,
селедки ловятся солеными.



25. 9. Были у Мережковских. З. Н. подарила мне лягушку об одной лапке.

Потом у Розанова.

Познакомился с П. П. Перцовым. «В цветущих женщинах, — сказал В. В., — в их цвете выливается вся страсть, в сереньких же все внутри».

И тихонько из Опытов:

«летом после обеда прилег на диван в халате, замечтался, и села сюда муха и стала ходить, не согнал — ходит и ходит — —»

Л. Б. на это заметил:

— Кажется, полагается (он говорит в нос) две мухи?

Это для моей повести «О табаке».

26. 9. У Г. И. Чулкова в редакции В. Ж. (Редакция переехала на 7 Рождественскую, а мы отдельно теперь на 5-ой).

Читал Осип Дымов. Он изумительно представляет и особенно А. Л. Волынского.

Познакомился с С. Л. Рафаловичем: его стихи в «Содружестве»; а похож он на принца Орлеанского. Был еще Леонид Семенов — этот, как олень.

27. 9. Сегодня Д. Е. Жуковский предупредил меня, что «В. Ж.» возможно и не будут на будущий год. А может, это и лучше — для меня: ведь я же за эти месяцы, кроме этих несчастных листочков, ничего!

28. 9. У Вяч. Иванова занимались спиритизмом. О. Дымов — играл в медиума. А я по плутовской части: и скреб, как кошка, и стучал, как черт. Очень страшно.

Потом: кто как пишет?

В. В. Розанов сказал: когда он в ударе и исписанные листы так само собой не просохшие и отбрасываются, у него это торчит, как гвоздь.

— И ни один наборщик не разберет! — заметил О. Дымов.

30. 9. Умер проф. С. Н. Трубецкой.

1. 10. На Покров был у нас Ф. К. Сологуб, Чулков и В. Б. Ермилов из Москвы, чтец Чехова. Читал. А позже пришел В. В. Розанов.

«В минуту совокупления, — сказал В. В., — зверь становится человеком».

— А человек? Ангелом? Или уж — —?

— Человек — Богом.

Трагический случай; молодой человек, студент, кончил самоубийством из-за любви.

В. В.:

«Женщина влюбленному в нее, хотя бы и не любила его, а не должна отказывать!»

И был большой спор с С. П.

— Ты благородная, но не добрая, а я неблагородный, но добрый! — сказал В. В. ей.

2. 10. Хоронили Трубецкого. Несли на Николаевский вокзал. Демонстрация.

Вечером ездили к Ф. К. Сологубу на В. О. в училище, где он инспектором.

Ивановы, Сюннерберг, Чулков, Кондратьев, Зоргенфрей и, конечно, Василий Иванович (Коренев).

Я писал в альбомы передоновщину: брежу «Мелким бесом».

А когда возвращались домой, какая чудесная была ночь, тихий снег.

Прохохотал всю дорогу: такое выдумывается, не дай Бог!

3. 10. Была у нас Зинаида Николаевна и Т. Н. У З. Н. бывают минуты неподдельно детские. Как хорошо она выговаривает в сказке: «ам!» Играла на рояли. Мережковские собираются за границу.

5. 10. У Вяч. Иванова. Познакомился со Скитальцем и Юшкевичем. Какие они огромные! У Скитальца — голос-гусли, а у Юшкевича — хорошие глаза.

8. 10. Не забыть под Андрея погадать. Одна, гадая, спросила у прохожего:

— Имя?

— Засравитяк.

Вот какое! Не нашел лучшего? Обиделась. А вышла замуж, и что же вы думаете, муж — ничего, одна беда, с животом мучается. Под Андрея гаданье самое верное.

10. 10. Приходил Н. А. Бердяев. И до чего он жизнерадостный. И в Вологде всегда с ним было весело. Пошли к Мережковским. А от Мережковских к Розанову стаей по-шестовски.

(Это Шестов завел такое: если уж куда идти, так с дружиною.)

В. В. рассказывал за чаем заграничный случай: о преимуществе русского человека.

Были они все за границей — и Варвара Димитриевна и все дети — Таня, Вера, Варя, Надя, Вася, и Александра Михайловна падчерица. И случился такой грех: захотелось В. В. в одно место, а как спросить и не знает. А Александра Михайловна отказывается, говорит, ей неловко. Да терпеть уже нет возможности, он под себя и сделал. Господи Ты, мой Бог, в отеле, брать белье отказались, хоть сам мой! А главное-то так стали смотреть все, что пришлось Розановым переехать.

А когда то же самое случилось и в Петербурге: не удержался и обложился, — с каким сочувствием отнеслись дома, прислуга. Сколько сердечности и внимательности.

Ведь это ж несчастье с человеком!

— И нет этой черствости.

11.10. У Чулкова.

Новые:

Н. К. Рёрих — знает всю доисторическую историю, 200 000 лет смотрят через его каменные глаза.

Проф. Е. В. Аничков, автор «Весенней и обрядовой песни», ученик Веселовского: где кончается Рёрих, там начинается Аничков.

Тэффи, сестра Лохвицкой, и Л. Е. Габрилович.

А из старых: С. Л. Рафалович и два молчальника — Блок и Н. П. Ге, внук художника.

12. 10. Первый раз видел желтый туман.

Желтый туман. На просыревшем асфальте зеленый листочек герани.

Какой-то очумел в желтом тумане, грозил на всю улицу:

— Сукин сын, прохвост, обормот, раз я сказал — верх совершенства!

Вечером приходил к нам П. Е. Щеголев и В. В. Перемиловский.

«Всероссийская забастовка железнодорожных рабочих».

13. 10. Среда у Вяч. Иванова. Коновод Аничков. И бесчисленное количество новых. Разговор о событиях. Еще бы!

14. 10. $^1/_2$ 8-го погасло электричество. На улице жуть и темь. Что-то будет завтра? Заколачивают магазины. Кухарки разносят «чудовищные слухи».

16.10. У Розанова. Познакомился с Григорием Петровым. Ну и волос же у человека — кокос!

В. В. все сокрушается, вспоминая Шестова: помириться не может, что Шестов пьет.

А было так: приехал Шестов, повел я его к Розанову, и Бердяев, конечно (ходили стаями!).

А накануне пришепнул я Розанову, что обязательно надо вина:

«потому что Шестов без вина не может».

Вино было. Бутылка красного стояла перед Шестовым.

И мы с Бердяевым все выпили. А у В. В. осталось: без вина Шестов не может!

И вот в разговорах с гостями, вспоминая, все сокрушается.

— Ум беспросветный, все понимает и — —

— И помимо всего вредно для умственных способностей! — сочувствуют гости.

17. 10. Все еще темь.
18. 10. Манифест о свободах.
19. 10. У Вяч. Иванова.

Новые: два старца — В. С. Миролюбов («Журнал для всех») и И. И. Ясинский («Беседа»). Это будут повыше Юшкевича со Скитальцем! И Арцыбашев. Есть сходство с В. В. Водовозовым.

Все еще при керосиновой лампе.

«Завтра обещают пустить электричество», — так сказал Войтинский.

А В. В. Розанов вчерашний день в баню ходил!

20. 10. Приходили к нам Мережковские. Трогательно, когда они друг с другом речь ведут. Бесподобно представляет их В. Ф. Нувель.

В Калише 18 октября на радостях по случаю манифеста качали при криках «да здравствует свобода!» — губернатора, полицеймейстера и... охранников.

Тема:

«Как мы с Чулковым добивались конституции».

21. 10. У Бердяевых: Мережковские, Аскольдов, Карташов и Чулков. Рассказывал один из участников: когда у Казанского собора запели «Вечную память», такое было чувство — подставил бы спину под нагайку и чтобы хлестали.

Видение: огромная иголка, ушки — от земли до месяца, и надо в эти ушки канат вдеть.

23. 10. У Мережковских.

Напуганы.

Из газет: Случайно подслушанный разговор по телефону: «Приходите в трактир Парамонова, спрашивайте дворника с рыжей бородой, по 50 копеек на человека бить жидов и интеллигентов».

25. 10. Улица Жабокриковка, а другая Ткачовка.

Когда я слышу о событиях — о митингах и шествиях, мне приходит на ум маркиз де Сад.

И у нас было бы ему что посмотреть: «одной барышне убитой вбили в низ живота кол» (Томск).

«зажгли дом с демонстрантами: те, кто поспел, — на крышу, а крыша рухнула» (там же).

«грудных детей убивали и потом разрывали на части; взрослых сбрасывали с 3—4 этажа».

«женщинам распарывали животы и набивали в них перья» (Одесса).

А в Иваново-Вознесенске рабочего сварили в котле.

27. 10. Квасовар Корытов.

Купец Лобов.

Экспроприатор Мишка Дутый.

29. 10. Накануне были разосланы письма, получилось и в редакции «В. Ж.». В ночь ожидался погром.

По этому случаю собрались у Бердяевых и до рассвета дулись в короли.

Тема:

«Как мы с Бердяевым предотвратили погром».

30. 10. У Мережковских. Впервые знакомятся с «запрещенной» революционной литературой.

А я как-то устал и особенно от разговоров. И у меня такое чувство: просто ушел бы в лес!

31.10. У Розановых.

Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь — никогда не откажет: какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям.

И весь вечер проговорит. И уж, конечно, ни с кем не спутает. А то бывает так: ходит к нему человек каждое воскресенье и каждый раз В. В. с ним знакомится:

— Розанов.

Я говорю:

— Да ведь он и прошлый раз был и позапрошлый!

— Я не виноват, что на всех похож.

В. В. тоже засел за Дебогория-Мокриевича. И на митинги ходит. Очень ему все нравится: «много влюбленных!»

1. 11. Настоящая зима.

У Мережковских. Познакомился с Андриевским: он, мне кажется, и лето и зиму пледом ноги кутает, а курит сигары.

Д. С. тоже курит сигары — после обеда.

Философов подтрунивает — это все насчет революционной литературы, как Мережковский открывают Америки. А мне вспоминается из детских лет: гимназист агитирует среди курсисток:

— Кеннан-Ренан, что такое нравственность?

2. 11. Электричество погасло — и опять зажглось.

3. 11. Электричество погасло — и не зажглось.

«Вопр. Жизни» окончательно ликвидируются.

4. 11. «Не трудись Господи! ведь я недостоин, чтобы Ты вошел под мой кров» (Лук. 7, 6).

15. 11. Всякий день приносит новость и не проходит дня без события. Это и хорошо и не хорошо. Хорошо — интересно; нехорошо — дело не делается, все отвлекает.

Приехал из Вологды А. Маделунг — это наша живая вологодская память. Не дождался один Каляев!

17. 11. Читаю записки Л. А. Волькенштейн.

Теперь о шлиссельбуржцах много разговору.

Щедрин (арест. 81 г.) вообразил, что половина головы у него пропала. Оставшуюся половину с одним глазом надо во что бы то ни стало спасти. А спасти можно, если не давать смотреть на нее. Он приделал себе шпоры, голубиные перья. И держался гордо, свысока. Шесть лет не выходил из камеры. А когда отворяли у него форточку, кричал: свежий воздух стал для него невыносим.



О ту пору создан был Комитет помощи заключенным шлиссельбуржцам. Собирали посылки. Кто что хотел. Д. С. Мережковский дал свои сочинения. Зинаида Николаевна — духи. В. В. Розанов «Легенду о Великом Инквизиторе» с надписью. Надпись по тем временам показалась нецензурной, и листок из книги вырезали.

(В скобки ставлю зачеркнутое.)



Что самое дорогое в вас, дорогие шлиссельбургские узники? Не планы ваши, не расчеты, не программа борьбы, которую выполните вы или не выполните — это зависит от истории: но то, что у ж е е с т ь н а л и ц о, что достигнуто и факт: ваше братство между собой.

Везде люди ссорятся, ненавидят, завидуют; везде нации, веры. Но когда я вижу русских людей в простых рубахах, в рабочих блузах, косоворотках, с умным задумчивым лицом мыслящего человека, — я думаю: вот в ком умер «жид» и «русский», где нет рабов и господ, нет мусульманина и православного, нет бедного и богатого, нет дворянина и крестьянина, — но единое «всероссийское товарищество». И когда я это вижу, то моих 50 лет как не бывало: я чувствую себя молодым, почти мальчиком, хочется играть, хочется читать ваши прокламации. Знаете ли, вы вернули молодость человечеству. И это уже не мечта, это факт, «налицо». Переводя это психологическое наблюдение на (по) §§ политической программы, я сказал бы: во многих местах есть республика, в Аргентине, Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции: но нигде нет республиканцев. Ибо республика — это братство, и без него ей не для чего быть. У нас же под снегами

России, в Москве и Вильне, Одессе, Нижнем, Варшаве — зародились подлинные республиканцы, — «живая (матер) протоплазма», из коей (слагается) вырастает республиканский организм. Я верю: вы уже скоро выйдете из тюрем. И тогда пронесите это товарищество с края до края света: ибо в этом новом русском братстве, без претензий, без фраз, без усилий, без само-приневоливания, природном и невольном — целое, если хотите, «светопреставление»: это — новая культура, новая цивилизация, это — Царство Божие на земле.

В. Розанов.

1906.



20. 11. Затевается журнал «Факелы». Соединение декадентов с «Знанием». Это все Г. И. Чулков мудрует. («Как мы с Чулковым добивались конституции».) Поладил ли, не знаю. Говорил, что с той и с другой стороны должны быть сделаны уступки. Я, кажется, в числе жертвы с декадентской.

Приехал Мейерхольд. «Факелы» соединяются и с Мейерхольдом. Стало быть, и журнал и театр «Факелы».

Почто-телеграфная забастовка.

«Вопросы Жизни» кончаются.

Д. Е. Жуковский обещал подарить мне стол клеенчатый и стеклянный шкап. В редакцию переезжает А. В. Тыркова.

25. 11. Ходил к Парамонову наниматься. Нет, дело не выйдет. Не гожусь я на службу. Завтра с письмом Д. В. Философова в «Государственный Контроль».

В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает:

«Едешь, бывало, на конке на верху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!»

27.11. Конечно, зря.

Звонил Философов: начальник на меня обиделся и за разговор, а главное за папиросу.

«Так вы на службу смотрите, как на средство к существованию?»

«Да».

«А нам нужны чиновники».

29. 11. Вчера собрание «Факелов». Меня приняли.

И новые:

К. А. Сомов и Е. Е. Лансере, — оба говорят по-петербургски.

30. 11. Собрание «Золотого Руна»: С. А. Соколов-Кречетов («Гриф»), Тороватый («Искусство») — это главные. А проч. — Блок, Соло-

губ, Мережковский, Кондратьев, Дымов и Бакст. Издатель же Н. П. Рябушинский, но его не было.

3. 12. У Мережковских. Познакомился с Андреем Белым. Очарован. Безгрешный и чистый, — белый.

4. 12. Именины Варвары Димитриевны Розановой.

— Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил.



И всегда именины В. Д. справлялись весело.

Много бывало гостей, и знакомые и незнакомые. Бывали Мережковские, Бердяевы, Ивановы, Тернавцев, Коноплянцев, П. П. Перцов, Е. П. Иванов. Б. А. Зак и с ним Д. А. Лутохин, Егоров из «Нового Времени» и батюшки.

Бывало, что именинные гости собирались не вечером, а с утра после обедни прямо к пирогу. И так за полночь: и обедали и отдыхали и чай пили, и еще раз чай пили и ужинали.

Обыкновенно на именинах, когда полагалось, чтобы все честь честью «по-семейному», подымались самые непоказанные разговоры. Начинал, конечно, сам В. В. Розанов.



Ждем.

Серафиму Павловну и Алексея Михайловича без слонов, без зверей и без мифов, без «табаку» и вина 4 декабря в тихую обитель Б. Казачий д. 4 кв. 12

— в е ч е р о м —

Смиренный иеромонах Василий.

1908.

К письму: «вечером» — в рамочке, сделанной пером.

«Табак» — это моя повесть «Что есть табак». В. В. Розанов любил ее.

«Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры».



5. 12. Познакомился с М. Г. Сущинским. Героический человек, дважды бежал из Сибири. Теперь по амнистии приехал из Парижа. Истории его сказочные. Пришел он к С. П., а ее не было дома. И весь вечер просидели мы на «волжском» зеленом диване за разбойными рассказами.

7. 12. У Вяч. Иванова: Андрей Белый, Блок, Габрилович, Сюннерберг, П. В. Безобразов. А. Белый изумительно читает стихи. Он не говорит, я поет — до самых до высоких нот:

пришел, пришел издалека
скиталец из Женевы...

(Должно быть, это про А. Г. Барладеана! — моя догадка.)

8. 12. Третья всеобщая забастовка. Электричество погасло. Приходил Е. Г. Лундберг: ходит он, как птица. Так птицей прошел весь юг России от Каспийского моря до Черного и все Балканские государства, вдоль и поперек.

Приключения его самые невероятные.

Только присутствие духа и находчивость спасали его от верной гибели.

9. 12. Приходил Б. В. Савинков — пальто на нем замечательное. Дал 25 руб. «на бедность».

12. 12. В Москве четвертый день баррикады.

17.12. Кончилось.

1 9 0 6.

3. 1. У Вяч. Иванова. Познакомился с Горьким. Какой умный и сердечный человек! Разговор о новом театре «вообще».

18. 1. Приехал Брюсов.

19. 1. У Сомова на Екатерингофском с Брюсовым. Сомов подарил мне обложки нот с тончайшим шрифтом, а С. П. — узоры для вышивания бисером.

27. 4. Открытие Государственной Думы.



На бланке для поступления в кадетскую партию: «Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии (п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. И т. д.». На обороте адрес секретаря Рождественского Комитета К.-д. партии А. П. Федорова. В примечании: «просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии: привлечением новых членов, распространением программ и т. д.».



Дорогому Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне Ремизовой с просьбой подумать, решиться и подписаться —

В. Розанов.

См. на обороте.

Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка.

1905.

Обезвелволпал

В. В. Розанов был старейшим кавалером обезьяньей великой и вольной палаты.

Обезьянья палата возникала в 1908 году, когда я писал «Трагедию о Иуде принце искариотском»: обезьяний царь Асыка, действующий в трагедии, награждает обезьяньими знаками.

А сама мысль об обезьяньем знаке вышла из игры.

Проездом в Петербург каждую осень мы останавливались в Москве. Из писателей в Москве об эту пору встретить кого было не так просто, все разъезжались по всяким Малаховкам. И я играл с своей маленькой племянницей Ляляшкой (Елена Сергеевна Ремизова).

Надо было чего-нибудь особенное придумывать.

Она приставала ко мне сделать ей такое, чего ни у кого нет.

Вот тут-то я и сделал ей обезьяний знак «для ношения тайно».

Этот знак она, конечно, потеряла, и на следующую осень пришлось новый делать, а для пущего бережения знак висел на стене на видном месте — и никто не мог догадаться, что это означает: висит, а не понятно что, а Ляляшка помалкивает.

После постановки «Иуды» знаками были награждены Ф. Ф. Комиссаржевский, Зонов и Сахновский. Понемногу вырабатывалась и «конституция» обезвелволпала — главным советчиком был обезьяний «кодификатор» проф. уголовного права М. М. Исаев и археолог И. А. Рязановский — князья обезьяньи.

И когда я сказал В. В. Розанову, что он награждается обезьяньим знаком и возводится и старейшие кавалеры обезвелволпала, Розанов сразу ничего не понял, ошеломился, а потом спросил:

— А кто еще старейший там у тебя в палатке?

В. В. сказал не в «палате», а в «палатке», как говорила и Ляляшка.

— Гершензон старейший, Шестов...

Я хотел было еще сказать, что и Иванов-Разумник, Лундберг и Балтрушайтис, но побоялся сразу вводить во все обезьяньи тайны: «обезвелволпал есть общество тайное!»

Гершензон и Шестов произвели огромное впечатление.

— Старейший кавалер, — соображал что-то В. В., — и никогда ни выше, ни ниже?

— Никогда. Так и останетесь старейшим навечно.

— Это мы вроде как митрофорные попы? — обрадовался В. В., — согласен! Стало быть, я старейший кавалер.

— И великий фаллофор обезвелволпала.

— А Шестова сделаем, это по его части, в винодаром!



В конце лета 15 года как-то встретились мы в «Лукоморье».

Я сказал В. В., что С. П. нездорова. И мы поехали вместе к нам на Таврическую. В. В. был чего-то очень взбудоражен. В трамвае, не обращая внимания на соседей, он ругательски ругал «войну»:

— ослы, дураки, негодяи...

Такое пересыпалось и имянно и вообще.

Чтобы немного утихомирить, я перевел разговор на обезьяную палату.

Я рассказал ему о семи князьях обезьяньих и о «мощах обезьяньих», которые представлены в лице И. А. Рязановского, и о П. Е. Щеголеве, старейшем князе, и о гимне обезьяньем...

— Да, я хотел похлопотать за одного человека — так поросенок.

— Кто такой?

— Руманов, — и вдруг В. В. как-то по настоящему, по просительскому наклонился, — нельзя ли ему хоть медаль какую?

Я объяснил В. В., что вообще-то все это зависит от канцелярии, а в канцелярии взяточничество самое зверское: надо подать прошение и при этом обезьяний хабар, но что Руманову, ввиду его книжных заслуг, можно и так дать.

Так в обезьяньем разговоре и прошла дорога.

Но что особенно умилило В. В., это когда я сказал, что на Москве князем обезьяньим сидит Аркадий Павлович Зонов.

— Аркадий Павлович! — В. В. даже привстал, — удивительно! удачно! сверх божеской меры!



В 1906 году, после долгого пропада появился в Петербурге А. П. Зонов.

Давнишнее знакомство и верная дружба связывала нас с Зоновым. Я познакомился с ним, когда он и Мейерхольд учились в Филармонии. Я был выслан в Пензу и тайком приехал в Москву — приютил меня Зонов и Мейерхольд. Мейерхольд — пензенский. На лето он приехал в Пензу и с ним Зонов. Играли в Народном Театре. Народный Театр был центром рабочих собраний. Меня выслали в Устьсысольск. Из Устьсысольска мне удалось пробраться в Вологду. А. А. Богданов (Малиновский) выдал мне свидетельство о болезни, и губернатор Князев оставил меня в Вологде «под присмотром П. Е. Щеголева и Б. В. Савинкова». И в Вологду приезжал ко мне и Мейерхольд и Зонов. А когда кончилась ссылка,

я поехал в Херсон и поступил в театр к Мейерхольду. Там же был и Зонов. Из Херсона театр перекочевал в Тифлис, но я уж не служил больше.

А теперь Мейерхольд затеял Студию в Москве. Готовилась к постановке «Смерть Тентажиля» в моем переводе, проверенном Брюсовым и Балтрушайтисом.

По делам этой Студии Зонов и приехал в Петербург. Ну, как было не показать его Розанову после всех наших египетских разговоров!



Хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового. В Индии не бывал, надо хоть в плечах посмотреть слонов. Я думаю, особое выражение физиономии: «владею и достигнул меры отпущенного человеку». По моему, наиприятнейшая мера 5 вершков: если на столе отмерять и вдуматься, то я думаю, это Божеская мера. Таким жена не наиграется, не налюбуется. Большая мера уже может испугать, смутить, а меньшая не оставит глубокого впечатления. Поэтому, может, я к Вам зайду около 12-ти (ночи) или около 10 сегодня или завтра. Пусть благочестие Серафимы Павловны не смутится поздним приходом и я заранее прошу извинения в позднем посещении.

Ваш В. Р.

1906.



Свидание состоялось.

В нашей теснющей столовой, служившей и местом убежища странникам, на «волжском» с просидкой диване провели мы втроем: я, В. В. и Зонов — много ночных часов, запершись на ключ.

В. В. говорил тихо, почти шепотом: вещи все ведь были деликатные — божественные! — скажешь не так, и можешь принизить и огрубить вещь.

В. В. раскладывал и прикидывал на столе всякие меры.

Зонов отвечал, как на исповеди, и кратко и загадочно по-зоновски.

А я около — каюсь! — поджигал бесом, «творя мечты» и распаляя во-ображение.

Но что особенно поразило В. В., это признание Зонова о степени его неутомимости.

— Учитель Полетаев рассказывал, — вспоминалось что-то В. В., — Доминик Доминикович...

Нет, ни учитель Полетаев, ни Доминик Доминикович такого не знали.

В. В. размечтался. Ему уж мерещилось: у нас, где-нибудь на Фонтанке, такой институт, где будут собраны «слоны» со всей России, со всего мира для разведения крепкого и сильного потомства.



Дела житейские

Дорогая Серафима Павловна!

Пожалуйста приходите поскорее мерить кофту.

Ваш искренно В. Розанов.

1906.



Дорогая Серафима Павловна!

Анна Павловна Философова переслала нам письмо Ветвеницкой, из которого Вы усмотрите, что Вам непременно надо лично с ней познакомиться: иначе ведь та не будет знать, какое место для Вас есть подходящее? Ведь заочно ни на какую должность принять нельзя, (ее) ведь могут просить за глухую, слепую, безногую, истеричную, эпилептичку. А когда люди увидят, что просит цветущая женщина с разумом и образованием, непременно дадут место и даже будут Вас искать для места. Напр. попроситесь в (дол) Библиотеку или в надзирательницы для курсов. Идите же, идите, идите, дорогая!!!

Алексею Михайловичу поклон. А какой скромный и прекрасный Ваш Аркадий Павлович! Вот и судите «по анекдотам», не взглянув на действительность!!

Ваш В. Розанов.

1906.



С 5 Рождественской мы переехали на Кавалергардскую в достраивающийся дом Пундика «просушивать стены».

«Вопросы Жизни» кончились — кончилось печатание моего «Пруда» — кончилось и мое «домовство».

У Парамонова ничего не вышло.

В Контроле тоже.

Ходил еще с письмом А. В. Тырковой на Стремянную — тут и могло бы выйти: ехать в Персию на полгода! — да по-персидски-то я — это П. Е. Щеголев может.

А о издании книг нечего было и думать.

Лев Шестов, у которого было пять читателей и шестой только наклевывался, влияния никакого не имел; Е. Г. Лундберг — его самого нигде не печатали; В. В. Розанов —

За меня была Варвара Димитриевна Розанова, она пять раз прочитала «Пруд»:

— Ничего не понимаю.

Чуть не со слезами говорила она, желая мне добра и только добра.

— Там, Варечка, такое написано, ничего не разберешь: там про хоботы больше! — В. В. подмигивал, толкая под столом меня ногою.

— Про какие про хоботы?

И у С. П. с местом тоже ничего не выходило.

Розановы одно время жили в большой нужде, и они все это понимали, — это когда В. В. в Контроле служил: семья большая, дети, доктору нечего было заплатить и с дворником постоянные недоразумения.

«Перед праздником, — с горечью вспоминала В. Д., — прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Розановы принимали самое горячее участие во всех наших мелочах житейских. Была у них дешевая портниха, надо было на зиму теплое, а у С. П. ничего не было. Затеяли ей кофту шить.

Перед Рождеством зашла С. П. к Розановым.

— Вы поедете, — спросил В. В., — к родным...?

— У нас денег нет.

— А сколько же надо?

— Рублей 50.

— Варечка, Варечка, дай 75!

Засуетился В. В. — он всегда суетился, когда что-нибудь такое трудное и надо скорее решить. С. П. хотела сказать, что как же это так —

— Не смей, не смей говорить ничего! — В. В. не дал слова сказать.

А В. Д. заплакала.

Это большое было личное горе и безвыходное, — и это соединялось с нашим неустройством.

Однажды уж было, — это когда я с театром не поехал и жили мы на Молдаванке в Одессе, потом в Киеве на на Зверинце, вот тогда до переезда в Петербург...

Я писал, а С. П. по урокам ходила. Мне до сих пор стыдно вспомнить. Эти мои писания, ей-Богу же, не стоят того труда ее, и при каких условиях!

И теперь С. П. в гимназии достала уроки — «в образцовой»!

А я писал.

Я писал после «Пруда» и «Часов» — «Посолонь».

Раз встречаю на Николаевском вокзале Леонида Семенова, он в то время из эсеров толстовцем сделался.

— Ну что, — говорит, — вы все еще козявками занимаетесь? — и посмотрел на меня с жалостью.

Я это понимал, и в ту минуту еще больше.

И это как пьянице скажут так —

Но что поделаешь, я не мог отказаться и не писать.

Контрольный начальник прав: как нельзя «служить» между делом, так и «писать».

А писать и молиться одно и то же.

Я в церкви раз увидел, как молилась одна женщина, и вдруг понял: ведь я тоже молюсь, ей Богу, ну совсем как эта женщина, когда пишу —

«отложив попечение».

Розанов это понял.

Да, когда он в Контроле служил, этого он забыть не мог —

И это понимание Розанова еще теснее связало нас.

Теплота в сердце, тревога за человека, а отсюда внимательность к людям — это редкий дар человеку.

И этот дар был у Розанова.



Достоуважаемые Зверюшки!

Приезжайте: чудный сад! Можете ночевать вдвоем. Гамак. Отличное масло и молоко. Ягоды. Приятное общество. Симпатичнейшие дети.

Ваши Варв. и Вас. Розановы.
Гатчина.
Александровская ул., д. 23.

1906.



Дорогой Алексей Михаилович! Что Вы мне пишете, как Архиерею в Консисторию: «Глубокоуважаемый!» Разве мы не социал-демократы и не «товарищи»!

Варя очень хочет Вас видеть. Каждый день вспоминает и ждет. Приезжайте —

Гатчина, Александровская ул., д. 23; 20 минут ходу от вокзала. Уху из налимов (живых) любите? Будет! И все будет — только приезжайте. Оба! Ночевать — сколько угодно. Свинье *** напишу. Правда, забылся. Получили ли мою брошюру? Верно — нет: на сей случай шлю следующий экземпляр. Не будьте суровы и мрачны. Пусть Серафима Павловна не мрачничает. У Вас еще жизнь долгая и, по дарам — счастливая. Я Пирожкову недавно говорю: «Его (Ремизова) только никто не понял: — это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет: ум, спокойствие, археология + style moderne!» Отвечает: «Вот расширится дело». Ах, дорогой, как хотелось бы Вам помочь: ведь

и у меня, как у Варвары Дмитриевны болит по Вас сердце, но от б е с с и л ь я я ругаюсь.

!! п р и е з ж а й т е !!

1906.



«Образцовая» гимназия, где учила С. П., оказалась просто мошеннической.

Путанная история, в которой принимал участие и В. В., кончилась, и как всегда в таких случаях:

тебя же обманут и тебя же обвинят.

«Просушив стены» у Пундика, перебрались мы в комнату на Загородный, а потом в М. Казачий переулок.

А Розановы переехали со Шпалерной в Б. Казачий по соседству.

Опять по письму Д. В. Философова, я ходил в «Гос. Контроль» и на этот раз ничего не вышло.

Р. В. Иванов-Разумник, с которым познакомились о ту пору, достал нам работу: сверять Белинского. Но эта работа скоро кончилась. Ходили по объявлениям. И все неудачно.

Случилась в Петербурге перепись автомобилей и собак —



Дорогой Алексей Михайлович!

Я думал, что Вы виделись с Гриневич: бывши у нас, она сказала, что у нее есть работа по составлению образцового и руководственного каталога, с объяснениями и наставлениями, по детскому чтению. И что помощь ей в этом составлении может оплачиваться ежемесячным жалованием. Так как это интереснее и литературнее переписи собак, да и вообще дело привлекательное и полезное, то я уверен, Вы его возьмете. Покажите-ка Вы ей образец своего 1) почерка, 2) ума и 3) расторопности, сиречь запросите ее, когда можете ее застать дома — и я уверен (как и уверял уже ее), что она почувствует к Вам вкус. Сама же она — баба умная и летучая — не в смысле мази, а в смысле птицы.

Ваш В. Р.

Серафиме Павловне поклон.

Адрес Веры Степановны Гриневич:

Басков пер. д. 38 кв. 8.

А то и так можете прямо часов около 10 утра или 8 дня.

1906



Нумизматика

Новый год наступил.

Луна залила наше окно таким половодьем — в комнате так ясно, что не только деньги считать можно, а и делать.

Я так и сделал.

Я сделал обезьяню монету — л ь в о в у ю:

Löwen — 1 квадрил — lion
аз обезцарь асыка собственнохвостно
упказ А. Бах-рах.

И все это тончайшей комариной ножкой, как нарезано, от царя Асыки до Бахраха упказа.

Такой монеты, Василий Васильевич, и в вашей чудесной коллекции не было.

И скажу, нигде нет на этом свете. Вот бы был вам подарок на именины!

Именины ваши, между прочим, теперь не на Василия, а на Геляриуса, я же на Луку угодил и вроде как на Алексея в Луку обратился.

И куда это вся ваша коллекция девалась — все ваши серебряные, бронзовые и золотые любимцы? Кто на них нынче смотрит, кто трогает?

А теперь я, пожалуй, навострясь на всякой усиной мелочи, я мог бы вам очень точно воспроизвести и самую завитушчатую кривопись и самый замысловатый образ.

А то все собирались, а так и не двинулось дело.

Как и с книгой «О любви».

Вы помните эту нашу затею: собрать и иллюстрировать всю мудрую науку, какую у нас на Руси в старые времена няньки да мамки хорошо знали, да невест перед венцом учили, ну и женихов тоже.

Как-то так с годами и забылось, и сами «старейшины» — ни Сомов, ни Бакст, ни Нувель не вспоминали уж за эти годы.

А одному куда мне было!

А главное, надо сурьёзно. Я понимаю, даже благоговейно.

Ей-Богу ж, Василий Васильевич, я не так уж озоровал, как вы думали и часто сердились, и чувствую, что такая книга могла бы быть существеннейшей и необходимой в каждой новобрачной семье.

Да, именины-то ваши на Геляриуса — 14-го!



Спасибо, добрый Алексей Михайлович, за внимание к моей дряхлости и слабоумию. Никогда не забывайте быть добрым:

умирать легче будет!! Р а с п о л о ж е н н о с т ь без вывертов «любви к ближнему» — самый дорогой товар на этом и том свете.

А знаете, как всякое семя требует vulv'ы, так всякий талант требует «сферы», которая приблизительно и подобно vulv'ы, «талантливое употребления себя» похоже и даже есть то же самое, что совокупление, каковое любит вся талантливая тварь Божия. Посему возлюбленный мой «охальник» (хотел написать «похабник» — да испугался) — не сделать ли нам кое-чего изумительного, кое-чего не вдруг, но помаленьку и полегоньку насчет в самом деле копирования монет? Некоторых, которые не допускают по темноте рисунка фотографирования? «Гм... гм...» Во всяком случае — можно подумать. Безе, безе, безе —

Розанов.

1906.

Сеансы

А если подойти к окну, если заглянуть — —

там — снег,
все в снегу, на крыше даже свисает — —

«Самый холодный у нас месяц, самые сильные морозы. Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка и кабана течка...»

Представляю, что испытывает М. М. Пришвин!

Нет, это луна, как снег, а снегу тут нет, снег там в России.

Я это из календаря о волках и снеге — у меня есть и русский календарь с Герценом — —

вставай проклятьем заклейменный...

Вторую зиму в Германии — второе Рождество.

Под Рождество в кирку ходили. Народу, как на Пасху. Две елки зажжены в церкви. Пение под орган слушали и проповедь — каждое слово, как вырублено, отчетливо. А в домах елки, видно в окнах, огоньки поблескивают. Такое, как у нас на Пасху, ну, все, конечно, по-немецки:

o, du fröhliche,
o, du selige,
gnadenbringende
Weihnachtzeit!

И Пришвин, поди, не спит, и ему в окно манит — от снега луна еще ярче и льется свет в окно беспокойный.

А он от луны еще huhu звернее, зарос, как леший, — почетный косарь! — а в штанах два репья колючих еще с лета, как купался.

Вынул бережно свое старое охотничье ружье — поработало на веку! — подул, погладил.

Завтра еще не звонят к ранней у Большого Вознесенья, постучит сосед Лидин, берлинская трубка пыхнет в мороз и пошли —

«Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка...»

Из всех, ведь, писателей современников — теперь уж можно говорить о нас, как об истории — у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо — теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду — никто так чувствительно не мазал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух —

вот он какой, ваш ученик Пришвин!

А знаете, Василий Васильевич, как нынче хорошо писать стали молодые, те, что за нами — вы их никого не встречали, они начали только в революцию — это какая-то Коляда в русской литературе, Weihnachtzeit! —



За все мои литературные годы, а они как-то вихрем пронеслись между революциями 1905—1917, из встреч и разговоров я заметил сочлененность именную — парность имен: когда одно произносишь, другое уж на языке, как водород и кислород, как Анаксимен и Анаксимандр —

Горький — Леонид Андреев,
Блок — Андрей Белый,
Ленин — Троцкий,
Розанов — Шестов,
Гиппиус — Мережковский,
Мережковский — Минский,
Бунин — Куприн,
Эренбург — Вишняк,
Зайцев — Муратов,
Гоц — Зензинов,
Зензинов — Фондаминский,
Бальмонт — Брюсов,
Мартов — Дан,
Булгаков — Бердяев,
Бердяев — Франк,
Аверченко — Тэффи,



Шкловский — Якобсон,
Пуни — Богуславская,
Рафалович — Габрилович,
Барладеан — Тер-Погосьян,
Бахрах — Лурье,
Соломон — Каплун.
— — — — — — — — — — — — — —

А когда я о Пришвине подумаю, лезет в голову Коноплянцев, тоже ученик ваш.

Оказывается, в Ельце в гимназии у вас учились — и Пришвин и Коноплянцев.



Жили мы по соседству: Розанов в Б. Казачьем переулке, мы — в М. Казачьем; нас разделяли Егоровские бани.

В. В. бывал у нас чуть ли не каждый день.

И всякий раз тайно.

Дома он говорил, что идет в «Новое Время».

Дома он, надо и не надо, говорил, что он на меня сердится и у нас не бывает.

Варвара Димитриевна очень огорчалась. И не раз днем заходила к нам, стараясь что-то объяснить, чтобы я не сердился на Васю.

У нас была тесная квартира, но и в такой не сразу могли устроиться: драпировки нашлись, карнизов не было. Варвара Димитриевна прислала «золотые» карнизы и помогала вешать.

Эти карнизы мы перевозили потом с квартиры на квартиру и берегли их, как память, и только зимой 19-го года пришлось расстаться — на плиту пошли!

Тесно у нас было, а всегда народ.

И это испокон веков.

Одно я заметил: в трудные минуты все куда-то пропадали вдруг, и мы оставались вдвоем.

И еще заметил: у нас бывали всегда «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, опять понемногу-понемногу и пропадали.

На их место приходили другие — народ не переводился.

В Казачьем появился Н. С. Гумилев и некоторое время «до Абиссинии» находился «в рабстве» — в работе: бегал в лавочку за лимоном, бумагой, спичками.

Ему это очень нравилось и впоследствии, по его признанию, он в своем цехе и студии проводил эту систему — беспощадно.

О ту же пору Яков Годин привел А. Н. Толстого. Толстой был с бородой и так хорошо смеялся, сколько лет прошло, а я долго потом, вспоминая, слышал этот смех — —

Пришвин с Коноплянцевым, М. А. Кузмин с С. С. Позняковым, Гр. П. Новицкий, автор «Необузданные скверны», потом Вас. Вас. Каменский, В. Хлебников, с которым слова разбирали.

Это все писатели, а также и не-писателей много перебывало.

Сидели до поздней ночи.

Часто я от гостей уходил в свою комнату и садился заниматься.

И самый поздний звонок полуночный — Василий Васильевич!



Как-то пришел В. В. необычно в сумерки. Я занимался. Серафимы Павловны не было дома. Ее ждала одна знакомая барышня.

— И я подожду, — сказал В. В., — а ты иди, занимайся.

Барышня интересовалась Розановым. И я пошел в свою комнату: пускай поговорят!

Я задумал тогда «Илью Пророка» — Громовника и сидел над всякими книгами, — работа большая. И не заметил, как время прошло. Сорвался на звонок — Серафима Павловна вернулась!

А В. В. уже уходит.



> Посылаю вырезку, руководствуясь правилом: «лучше поздно, чем никогда» —
>
> Поклон С. П. — —
>
> Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую нужно воздерживать. Потом бывает на душе не хорошо. С а м о п о с е б е я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое «нравится», ни тяжелое «залез под подол». Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого-то у меня и нет. Этот легкий полуобман, лукавство, черствость души — ах, как все это производит «душевный насморк». Девушка мне нравится очень. Не как другие. В ней — большое содержание. «Внутренне — дум». Молчалива — это очень хорошо. Человек, а не барышня. А впрочем, верно сделается барышнею же, или попадет в больницу, или застрелится. Впрочем, не застрелится, а утопится. Выстрел — это слишком громко, и может испугать мечтательную душу.
>
> Ну, и кроме души, меня взволновала эта волнующаяся под трауром ночь. Какие у нее груди? Очень интересно! А «прочее?»

Еще интереснее. Как уже давно никто, она мне не давала покоя в воображении, и я все мысленно продолжал разговор с ней, начатый и неоконченный. В тот день у меня был порыв все сказать ей и о всем спросить у нее. Мы летели точно в вечности. Точно не только не было кругом людей, но они и не рождались, даже не могли бы родиться. Вечное одиночество. Т. е. уединение. Было хорошо. Страшно свободно, страшно и мудро.

Мне бы хотелось, чтобы она к о е - ч т о узнала (об э) из этого письма. Мне было бы больно, если б она считала меня пошлым. Еще больнее, если бы подумала, что я воспользовался минутою.

Я думаю, что это была именно «минута», «случай», когда все стало страшно свободно. И совсем неожиданно для меня. Ведь я в общем скучный. Меланхолический. А то была «аристократическая» минута. Ведь что такое крылья? Большая свобода. Что такое ангелы? Те, кто свободнее человека. А Бога уж «ничто не ограничивает» — «будемте, яко бози» не значит ли только: «будемте свободны»... к а к х о ч е т с я и к а к в о о б р а ж а е т с я.

Ну, довольно философии. Если барышня не застрелится, она будет очень долго и очень скучно жить. То чего ей хочется кушать — она не смеет, а чего ей даст мир — то для нее не будет скусно. При таком расположении мировых карт лучше — застрелиться.

Ну, прощай волк и паук. Не сердись на меня. Я нынче в меланхолии.

Розанов.

Точное изображение барышни:

? — и близко локоть да не укусишь.

? — тоже.

!! и я там был, по усам текло, в рот не капнуло!!

25. X. 1907.



А барышня и не застрелилась и не утопилась. Барышня вскоре вышла замуж. И жила с мужем хорошо и ладно.

И хоть ничего особенного такого не произошло на «сеансе», но и «кое-что» я не мог тогда передать из письма.

Потом, конечно, все сгладилось и помирилось.





Пора было вставлять окна.

А как это лучше, мы не знали.

С. П. пошла к Розановым спросить Варвару Димитриевну.

Все были дома: время завтракать.

В. В., услыхав голос С. П., как был в халате, выскочил в прихожую.

— Я по делу к Варваре Димитриевне.

— Варвара Димитриевна нездорова, у нее голова болит, нельзя к Варваре Димитриевне!

— Вася, что ты, перестань! — вступилась В. Д.

— Нет, нет, Варвара Димитриевна, не может! — не унимался Розанов и, улучив у себя же минуту, шепнул С. П.: — не говори ничего про вчерашнее! — да опять.

— Варвара Димитриевна, — крикнула уж С. П., — я хочу спросить, как вставлять рамы?

В. В. уверился — а ведь надо же было вообразить такое, будто пришла С. П. не для чего другого, как только, чтобы В. Д. рассказать про «сеансы», надо же такое придумать! — и вдруг замолчав, убежал переодеваться.

За завтраком все шло мирно.

В. Д. рассказала, как надо вставлять окна — где купить вату и замазку, и сколько на четыре окна замазки и как стаканчики поставить с кислотой, чтобы окно не морозилось.

От окон разговор перешел к стирке и постирушке: стирка — это крупное белье, а постирушка — это платки, салфетки, так мелочь всякая среди недели стирается не прачкой, а прислугой.

С. П. читала стихи Бальмонта:

есть поцелуи, как сны свободные...

В. В. был вообще в хорошем расположении: и уверился — и это самое главное! — да и кушанье было по вкусу.

Стихи ему, видно, очень понравились.

Зорко глядя из под очков и нет-нет подмигивая, сучил он правой ногой.

А когда С. П. кончила, он «как полагается», «как нужно» в таких случаях, не глядя, сказал:

— Ну, что это за стихи: всё о поцелуях!

— Да, — вспомнила С. П., — мы познакомились с Пришвиным: оказывается, ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли.

— Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать!

И опять как в прихожей тогда.

— Вася, перестань, — вступилась В. Д., — мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться!

Завтрак кончился, сидели так.

В. В. все еще сердился.

— Ну, давай помиримся! — и через стол протянул руку.

— Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала!

— Как, противный мальчишка, опять! — и руку отдернул.



Не провокация? Не заговор? Не динамит? Приду — конспиративнейше — или пятницу, но вернее субботу между $2^1/_2$ — 4 дня.

Vale.

В. Р.

23 сентября 1909.

Россия

А как это хорошо, что так и остались вы в России.

И я знаю, представься вам случай — нет, вы никогда бы не покинули Россию.

А ведь Розанов не только философ «превыше самого Ничше!» Розанов — сотрудник «Нового Времени».

И понятно, какой шкурный мог быть бы соблазн уехать из России.

Ведь, кто же его знает, мало ли какие могли бы быть недоразумения.

Русскому человеку никогда, может быть, так не было необходимо, как в эти вот годы (1917—21) быть в России.

Теперь то, да не то — —

Да, много было тягчайшего — и от дури и от дикости, ведь мудровать мог кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается!

А много было, чего в мир и тишину и в благоденствие, просто немыслимо, это порыв — это напряжение до крайности.

И в беде — великое человеческое сердце — —

человек к человеку,
лицом к лицу.

А может, и так, говорю вашим словом, поменьше надо обвинять (и жизнь, и людей) и терпеливо нести свой крест — нести бремя своей судьбы.

Ведь неспроста, в самом деле, и мык жизни и радость жизни!

В мир пришла тяжелая доля — тягчайшая для бедноты.



Конечно, всякому хочется, как полегче и поудобнее устроиться — всякий ищет легкой жизни — чудак! такой больше нет на всем свете.

На всем свете не легкая доля.

И если не зароют в себе «братское сердце», а я верю — и в самую жесточайшую борьбу я видел и чувствовал на себе и в себе — человек с умом и шутливостью победит и самую грозную, горькую невзгоду, устроит свою жизнь на земле по своей воле, без подсиживания, хитрости и злорадства.

И семена нового человеко-отношения брошены были как раз в жесточайшую расправу человека над человеком в эти годы страды — в России.

И именно, потому-то — потому-то и надо было быть в России.

А кому не пришлось — кто попал в веретено, закрутило и выбросило, или кто по малодушию утёк или спасая свою жизнь или спасая добро, что успел захватить, или по недугу, — сколько таких несчастных в чужих землях мучается!

Да, как это хорошо, что до последней минуты Вы остались в России в страде смертельной со всеми, со всей беднотой, и с «убогими».



Мы, Василий Васильевич, бесправные тут.

Я это тогда еще почувствовал, как из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе, когда с нашим красноармейцем мы, русские, простились, а те свой гимн запели.

И уж молчок — ни цыкнуть, ни управы искать.

А в карантине сидя, на каторжном-то положении, стало мне совсем ясно, а когда из карантина на волю выпустили, не только что ясно, а несомненно.

Эх, Василий Васильевич, только обезьянья палата (обезьянья палатка!) уничтожила всякие границы, заставы, пропуски и визы — иди куда хочешь, живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка-то, границ не имеет, так и значения, увы! никакого в ограниченном мире.

С правами, где хочешь, может быть только богатый —

только богатый.

Розанов, когда хотел сказать кому самое обидное, он говорил тому человеку:

«Будете богатым!»

Вы понимаете, Василий Васильевич, тут ужасная несправедливость — кит, которого ничем не сдвинешь.

Ну, а если нет ничего, все-таки на своей-то земле как-никак — «стихия», стены, родная речь...

Очень люди ожесточились, тесно стало, земля перекраивается. И уж кто уцепился, так зубами и держится и ты там хоть пропадай.

Я понимаю —

И не то страшно, что, вот например, с квартиры тебя выгнали, потому что ты не валютчик и платить много не можешь, а то страшно, что в сущности-то никому до этого дела нет, — всяк за себя.

Надо помирать, а лучше умереть, тогда, может и схватятся, а пока еще на задних ногах ходишь, как сказал как-то Пришвин, и как бы там ни жаловался — вот я вам все жалуюсь! — все равно, всяк за себя!

— —

Я, Василий Васильевич, на улице тут громко слово боюсь сказать по-русски — бывали досадные недоразумения! — ну и не хочешь, чтобы путаница вышла.

У них у самих бедовая!

А такая есть здесь бедность, ну как у нас, забыть невозможно, так в глазах: все вижу — —

А что я сейчас подумал: если бы вóвремя отправили Блока сюда в санаторию, ну куда-нибудь в Наухейм, — теперь сюда много ездят с разрешения и М. О. Гершензон где-то тут лечится! — возможно, и поправили бы сердце, а главное, вдалеке-то успокоилось бы сердце и поправился бы и, я не сомневаюсь, поехал бы домой.

Дом — Россия.

Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время — теперь оно, кажется, проходит! — когда здешние про нас, оставшихся в страде — в России, говорили: «продались большевикам!» и это я читал собственными глазами, а, у нас, бывало, чуть что, и «продался международному капиталу!».

Какое надо иметь злое воображение и какие пустяки хранить в душе!

А Россия — —

Я Вам лучше из письма прочитаю:



> «— — начать с того, что нас ели в течение трех лет насекомые всех родов, пришлось впасть в страшную нищету, в Москве, по дороге из Саратовской в Черниговскую, тогда не доезжая до Москвы у нас уже не было хлеба, я по дороге в Третьяковку просила милостыню. В течение года у меня было одно платье, это то, в котором я венчалась. В течение года у меня не было ни одной рубашки и около двух лет я не видела мыла (никакого). Но как то ни странно, я очень мужественно все перенесли: была здорова, сильна и даже весела.



«— — я ведь тоже болела тифом и была стриженная, теперь у меня волосы больше четверти.

«— — Ильюша вот уже скоро 3 недели, как уехал в Петербург, я уже получила от него письмо; он пишет, это второе, но первого я не получала: я его отправила учиться, Н. В. взяла его к себе с тем, чтобы он подготовился и поступил в гимназию. Он очень мало знает, знаний у него за эти 4 года не прибавилось, т. к. я занималась многим, но не учением детей, я много рисовала и зарабатывала им на хлеб и молоко и др. продукты, я даже стала много лучше рисовать. Последние $1^1/_2$ года много читала.

«Кира очень талантливый мальчик, он хорошо, очень хорошо рисует, мальчик с большой инициативой. Данечка очень веселый и очень любит мамочку, а Васенька очень нервный и желчный и все у него бывает запоем, сегодня он писал запоем, он еще только начинает учиться грамоте.

«Дети (кроме Ильюши) в приюте, им плохо, приходится почти все жалование тратить на прикормку. Одеваюсь я очень бедно: теперь у меня 2 рубахи и 3 ситцевых платья. Если бы ты могла мне прислать на голову платок соответствующий моему возрасту и из белья, если что-либо тебе не так нужно.

15. 12. 22.



Да ведь это же Россия —

Россия без рубашки, простоволосая, в единственном уцелевшем венчальном платье — —

Россия, мать, просившая милостыню — —

Россия, у которой подросли дети! — которых сберегла она за эту страду в годы повального мора и голода до людоедства.

Да, да, я ничего не понимаю ни в ваших государственных мудростях, ни в вашей политике, и не могу судить и не сужу, но я чувствую: забыто самое главное или перепутано что-то, только не так — — нет, нет, не так с этой кругосветной политикой, с границами, блокадами, пропусками, визами — —

А вот и еще, это из Саратовской:



«а не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Как в Германии дело с хлебом? Я могу прислать муки, даже белой и пшена. Хлеба у нас много, урожай хороший был».

2. 11. 22.



А помните, Василий Васильевич, как однажды, в отчаянии С. П. (беспросветно стало — это личное!) решилась уехать заграницу.

Это, конечно, минута такая была, а в действительности просто не на что было бы нам и уехать. Да слово-то было сказано.

— —

— Как? без России!



Дорогая и милая
Серафима Павловна!

Мне как-то очень грустно сделалось при вести, что Вы уезжаете за границу, неизвестно — насколько времени, грустно и больно. Так я привык к «моей крикухе», ведь «крикуха» то эта была такая «славная» и словно «своя», так я привык к Вам. И что-то грустное с Вами, чего я точно не знаю. Все это ушибло будто меня, и мне непременно захотелось приехать к Вам и сказать что-нибудь, чего может быть сказать но сумею. Словом, назначьте мне день и час и я к Вам приеду. Пожалуйста! Ведь Вы совсем стали нам родная, хоть последнее время и не видел Вас. Вы без хитрости и прямая, и честная и умная: дары не из частных. И не мелкая, не ничтожная. Тоже не часто!

Ну целую горячо Ваши милые руки. Право, как жаль, как жаль! Ваш горячо преданный и любящий

В. Розанов.

Б. Казачий, д. 4, кв. 12.

Придти я могу и вечером, от 10-ти вечера, и днем от 3—6-ти.
1909.

Опал

А. М.

Не сегодня ли условленное у Бенуа собрание для лицезрения опала? Если да, то поедемте вместе. Тогда зайдите. Так как Вы не пишете, то скажите и разъясните посланному.

В. Розанов.

Я думаю выехать часов в 9?



❖

Ал. Мих.

Вообразите, сейчас по телефону пригласили меня на ужин — проводы св. Петрова и невозможно отказаться. Я собирался хоть на 1 час поехать к Бенуа, но уж очень измотаешься: такие расстояния, да и «засидишься» там, «опоздаешь» здесь и вообще чепуха. Поклонитесь им и извинитесь за мое отсутствие.

В. Розанов.

С. П. поклон и рукопожатие.
1908.



Дождик который день по осеннему.

А когда поехали от Бенуа, не надо было и верха подымать — луна и звезды.

Лицезрение Сомовского «Опала», наконец, состоялось.

В. В. был в необыкновенной игре.

И «Опал» и обещание Сомова непременно показать восковой слепок с некоторых вещей Потемкина-Таврического: эти «вещи» я уже видел и разжигал любопытство В. В.

— Свернувшись, лежат, как змей розовый.

— По указу самой Екатерины.

— В особом «футляре в Эрмитаже.

В игре и в откровенные минуты В. В. говорил «ты», а себя называл Василием.

Но «Опал» расположил к еще большей простоте и безо всяких.

— Не Василий Васильевич, а Балда Балдович.

Так я должен был называть В. В.

Разговорчивый, В. В. чередовал разговорами — С. С. Боткин, Бакст, Сомов, Бенуа, Добужинский —

Комната двигалась и все быстрей и быстрей.

Смехом В. Ф. Нувель нырял по углам.

И вот, нахохотавшись и набалдевшись, ехали молча.

Луна выжимала тесную сырую Гороховую; полунощные прохожие поблескивали, и лужи.

Черная и глухая Фонтанка серебрилась рыбными садками.

Осенью после дождей ночью, как и весною — эта мокрота́, хлюп, сырой воздух, какая-то влажность сквозь звезды.

Трубы Бельгийского завода там — упирались в звезды.

Вылезли в Б. Казачьем переулке.



В. В. пошел меня провожать: через дорогу и мы.

Посередине улицы против Егоровских бань остановились — огромными лупами наставились на нас банные окна.

И вдруг, налегке уж, В. В. заговорил.

Я никогда больше не слыхал такого, не видал его таким.

И сам бы он не мог повторить: недосказывая и перебивая себя, взахлеб.

Как рукопись, в которой слились все буквы —

Розановская.

Уж баня пропала — ни лун, ни луп. И соседнее темное. И только наш край верх залился.

— Так ты все это когда-нибудь и напиши!

«Написать?»

Я сказал:

— Тут надо как-то одним — —

— Так ты одним словом, понимаешь?

— —



и теперь — сегодня удивительный день, прямо весна! — сейчас, в жесточайших днях, когда дни не идут, а рвутся с мясом, когда человек плечо к плечу прет на человека — еда поедом! — ополоумели вы, что ли? — когда на земле стало тесно, бедно, безрадостно — жалобы все глушат и мера мира не радость, а как-нибудь! — несчастная тупая скотина с черствой коркой вместо сердца и камнем вместо хлеба, с таким узким полем около своего носа, таким маленьким миром, не протянувшая никому руки вот — никогда не улыбнувшаяся ни на что, несчастная, ведь нет несчастнее нечеловека в человеке, которому весь мир и враг — одно! и какая скука! сейчас, сию минуту, вдохнув весенний воздух и вырвавшись из этой нечеловеко-человеческой застрявы, продираюсь через годы — а всего-то 15 лет! 15 лет? — через революцию, где год за сто лет, и через войну — бесконечную! —

ночь, бани,
луны — лупы,
лужи,
влажность сквозь звезды — —
— Василий Васильевич!

влажность сквозьзвездья, живая влага, Фалесова hugron, мировая «улива», начало и происхождение вещей, движущаяся, живая, огненная, остервенелая, высь скори, высь быстри, высь бега, жгучая, льнущая —

я скажу — —
на обезьяньем языке словом — одним словом:

кук — ха —

кук — ха!

кукха, проникающая мир сквозь звезды, устой подзвездья, сама живая жизнь, живчик, семя, выросшее и в букашку и в козявку — $3^1/_2$ миллиона в Лондонском музее всяких разных козявок, смотрите! — и в человека с беспокойной, как сама кукха, мыслью от Фалеса до —

кукха, проникающая в кукху,
самопознающая!
кукха, вырывающаяся из себя ——
хочу знать само!
кукха, где все ——
одно сердце,
одна жизнь,
букашки, козявки, таракашки,
слоны,
медведи,
коровы,
люди ——
вырастающая человеком
в самочеловека ——
в пирамиду
В. В.
Розан-
ов.

Убогие

Серафима Павловна всегда считалась «ученицей» Д. Д. Бурлюка.

С Бурлюками знакомство у нас старинное: мы жили с ними под одним кровом, и с Людмилой Д. Бурлюк-Кузнецовой у С. П. многолетняя дружба.

Я же как-то не подходил ни к кому и рисовал под всех и одно время, в шутку, конечно, называл себя учеником Судейкина.

И я и С. П., оба мы рисовать не учились.

И разница была в том, что надо было большое упорство, чтобы приневолить рисовать С. П., а меня и неволить нечего: рисовать мне, что горе-рыбаку рыбу удить, рисовать это моя страсть.

В детстве первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони на спину прохожим.

Отсюда все и пошло.

Конечно, Судейкин тут ни при чем.

И скорее всего ученик я Кандинского, и это я понял уже тут в Берлине после лекции Ив. Пуни.

Занимался я «Бесовским действом»: читал всякие источники и русские и немецкие.

И пришло мне в голову переписать для В. В. Розанова из Киево-Печерского Патерика житие Моисея Угрина — замечательную историю любви.

Помню, М. А. Кузмин восхищался этой повестью.

Переписывал я ее старательно с завитками и усиками.

И когда все было готово, и, не знаю как, задел я чернильницу, чернила на рукопись, я рукопись отдернул — чернила и разбрызгались.

И вот из этих-то пятен, стрел, серпов и волн вышел рисунок: черти с Бабой-Ягой неслись, за ними нежить, нечисть — взвив и взихрь бесячий.

Помню, в канун рожденья Варвары Димитриевны были мы у Мережковских — Мережковские после революции за границу уезжали — были и Розановы.

И вот ровно в полночь я поздравил В. Д. со днем рожденья, а В. В. — подарок: житие Моисея Угрина с бесами.



Милый Алеша!

Прости за «Убогаго» (в папке): ведь это те «убогие» Киева-Ростова, что сродни «Табаку» — — —

Не без тайного предчувствия я хранил сей лист: срисуй мне на (ново) белую бумагу комбинацию левой стороны и этой; т. е. «мухи», «мурья», «ведьма».

Я издаю: «Когда начальство ушло» (т. е. статьи в революцию написанные). Последний отдел будет 1907—1910 (т. е. годы) и там одно слово на листе:

УВЫ.

На следующем листе:

Что же случилось?

И на третьем — твой божественный рисунок.

И больше ничего, обложка.

Но это в абсолютном секрете и даже от Sim'ы. Sime поклон до пояса или лучше сказать... Не сердись на Василия Беспутного.

В. Розанов.

1910.



Милая Серафима Павловна!

«Мудрый Змий» передал мне, что Вас обидело мое письмо к н е м у, — (и он напрасно показал его Вам). Приношу Вам мое извинение: не хотел Вас огорчить. Он и передал мне мотив Вашего огорчения, очень верный.

Нельзя о т к р ы в а т ь, называть г р о м к о то, что должно быть в тайне и молчании. Но Алексей Михайлович верно понял мой мотив, не имевший злого намерения. Обоих вас я очень люблю.

Ваш В. Розанов.

1910.



Книга вышла.

Развернул: — и увы! — что же случилось? — и рисунок.

Но это совсем не то, и только зная, можно еще представить, — ничего моего.

Оказывается, «настоящий художник» поправил!

И вышло: Баба-Яга скачет на помеле, а за ней черти с хвостами, рогами, ну, как всегда рисуют, а бесячьего-то взвива, взвихря — чертей-то нет.

Все излицовано и совсем безлично.

А это тоже, как о т к р ы т ь, что должно быть «в тайне и молчании» — и обеззвучить, обескрасить, обескровить.

Розанов это хорошо знал.

И много об этом разговору бывало.

А вот, как и тут «настоящий художник» с моим диким рисунком — —

— Почему заборное слово отвратительно?

— Почему матерная ругань груба?

— Почему уличное приставание неловко и даже больно?

— Почему открытое прикосновение неприятно?

— Почему откровенная обнаженность пугало?

Ну, скажем, матерная, как и всякая ругань, просто как слово — самородно выбившееся, ведь это цельная стопа — стопа-ступ слов, а по звучности, звончей оплеухи, та́к — прекрасна.

И все прекрасно в своей звезде.

Розанов это очень хорошо понимал.

Язва

В Казачьем переулке в соседстве с Розановыми начало в делах моих книжных было как будто ладно.

Наступил 1909 г. и все кувырнулось.

Простудился — воспаление легких. (Лечил Н. Ф. Чигаев.)

А выздоровел, написал повесть «Неуёмный бубен», прочитал в «Аполлоне», — не приняли.

Трудно мне было выбиваться в «писатели».

И хоть других уж навастривал (А. Н. Толстого, М. М. Пришвина), а самому приходилось околачиваться в «Скетинг-ринге», во «Всемирной Панораме», да и то стараниями А. И. Котылева, действовавшего в выколачивании авансов не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем.

Дело тут не в славе, которую никогда не искал, и не в честолюбии, которого по рождению лишен, дело тут — дела житейские.

И как на грех А. А. Измайлов из побуждений самых высоких, оберегая литературную честь, написал про меня в вечерней Биржовке —

Когда-то в детстве в любительском спектакле и пьесе «Плагиат» играл я плагиатора, и такое совпадение очень меня развеселило.

Я в каком-то прошении — давно уж пишу прошения! даже подписался «плагиатор» и фамилию.

Да в житейском-то деле оказалось не до шуток: в одну туркнулся редакцию и с солидной рекомендацией (К. И. Чуковский написал) — дело верное, а отказали, в другую пошел — там обещан был аванс 15 р., говорят, впредь до выяснения невозможно.

Пришвин, известный тогда, как географ, своими книгами «В стране непуганых птиц» и «За волшебным колобком» (Изд. А. Девриена), только что выступивший «Гуськом» в «Аполлоне», писал также в «Русских Ведомостях» и был на счету «уважаемых», Пришвин, как эксперт — большая медаль из Географического Общества, действительный член — этнограф, географ, космограф! — пошел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали — сотрудник «Русских Ведомостей»! — соглашались, обещали напечатать опровержение, но когда он, взлохмаченный, уходил, опускали, не читая, его автограф на память — в корзинку.

А тут еще схватило живот, думал так — бывало недели одним сыром питались! — ан, дело совсем не до сыру: язва желудка.

И потянулись дни, недели, месяцы, год — —

Книгу бы издать, чтобы как-нибудь, — ведь со спиртовым компрессом дни и ночи, черничный кисель! — написал я во все издательства, какие только знал в Москве и Петербурге.

И до чего все-таки благородно — ответили: от Мусагета (через Андрея Белого) до Сытина (через Руманова) и от Сытина до Вольфа: все отказали.

Помню, Р. В. Иванов-Разумник 3 рубля дал — зелененькую, никогда не забуду.

Это как тогда Розанов — —

Тоже никогда не забыть нам.

Был у нас полный дом, редкий вечер, чтобы гостей не было, а тут —

Это беда распугивает.

Но самое тяжкое не язва, а то, что обузой — ведь какое надо терпение и не тому, кто страждет, а кто неотлучно, как ночной огонек в непроходимой ночи; самое тяжкое — совесть жизни такой.

Писали в московских газетах, не помню, не то в «Русском Листке», не то в «Раннем Утре», чтобы «вычеркнуть меня из писателей» — чудаки! да у меня тогда и претензии этой ну нисколечко не было — какой я там писатель!



Редкий день не вспоминаю я милого Алексея Михайловича, — прикованного к своей комнате-темнице, — и его «язву в желудке»... Но болезнь эта, я всех расспрашивал, — упорна, но не опасна. Крепитесь! Желаю Вам не страдать...

Жму руку и Вам и Серафиме Павловне.

Не у вас ли Алексей Толстой?

Тогда верните: н у ж н а.

В. Р.

1910.

Зеленые березки

На жгучем ляписе (прижигания язвы) и обволакивающей овсянке (единственное питание), дважды выйдя на волю — к Аничкову в новгородские Ждани и к Р. В. Иванову-Разумнику на необитаемый остров Вандрок (Аландские острова), написал я «Крестовые сестры».

И к осени мы переехали с Казачьего на Таврическую в достраивающийся дом Хренова «просушивать стены».

С «Крестовых сестер» стал я поправляться. И опять у нас грём и стук — народу труба.

Но этим дело не кончилось.

От просушки ли стен или еще от чего, а просушка только видимое звено, захворал я опять — воспаление легких. (Лечил С. М. Поггенполь.)

И выздоровел.

Но еще впереди за многое предстояло мне ответить или еще многое принять и телом и душой, а для чего, не знаю.



И вовсе не по несуразности или от дури забирались у нас на вокзал за два часа до отхода поезда даже и тогда, когда ввели нумерованные места и плацкарты.

А все это от неуверенности и недоверия.

Здесь, за границей этого раньше не знали — до войны, сейчас другое дело, и нет ничего удивительного, если и тут спозаранку и загодя никогда не мешает.

Так же и с почтой.

Перед Пасхой я задумал нарисовать В. В. карточку поздравительную — с яйцами, все, как полагается.

И в Великую среду вместе с дальними письмами опустил и городское поздравительное.

И, как оказалось, перестарался.

Яйца пришли к В. В. в Великий четверг.



Среда-Четверг Страстной Седмицы.

Во-истину Зеленые березки...

Поздравляю дорогих Алексея Михайловича и Серафиму Павловну с Троицыным Днем!!!

В. Р.

1911.

На визитной карточке:

Василий Васильевич Розанов

СПб. «Новое Время», Москва «Русское Слово»

СПб. Звенигородская, д. 18 кв. 23.



В. В. Розанов по прежним годам знал, что когда лето приходит, начинаются у нас мытарства — куда деваться?

А познакомились мы о ту пору с Бородаевскими: Валерьян Валерьянович (поэт) и Маргарита Андреевна. И Розанов был с ними в дружбе. Вот к ним-то в Курскую губ. Розанов и предлагал ехать. А нам дорога была — в Париж.



Très chéris Алексей

Серафима!!

1) Прочтите в н и м а т е л ь н о письмо Бородаевского.

2) Конечно — согласитесь на его предложение.



3) Не п о з ж е среды уведомите меня о решении вашем

4) и, приложив обратно его письмо (и адрес) —

чтобы я мог ему отказать, конечно

д а!

Хотелось бы вас повидать.

Ваш В. Розанов.

Звенигородская ул. д. 18 кв. 23.

1911.

Завитушка

С е р г е й х о р о ш...

Русский человек должен говорить на двух языках:

на языке русском — языке Пушкина

и по-матерному.

В. В. Розанов говорил на русском языке.

С присюком — но не по природе, а по возрасту.

Матерную же речь, как и сквернословие, не употреблял, почитая за великий грех и преступление.

— И это такой же грех, — говорил он, — как всуе поминать имя Божие!

П. Е. Щеголев дал мне фотографические снимки с рукописи Кирши Данилова — те места, которые в печатном издания точками обозначены.

Днем зашел В. В.

Жили мы на Песках на 5-ой Рождественской. «Вопросы Жизни» закрылись и я был свободный. После холодной зимы — не столько зимы, сколько квартиры, в которой, по уверению старшего дворника, можно было без рубашки ходить! — с весной я ожил и понемногу писал.

В. В. был по соседству в Басковом переулке у Анны Павловны Философовой с визитом.

Он был праздничный такой, нарядный.

С. П. не было дома.

Я предложил ему кофею. Но кофей остыл, а В. В. любил горячий.

О кофее мы и разговорились — —

что нужно горячий, и холодного и даром не надо.

— Ну, почитай что-нибудь.

Я прочитал крохотное начало из «Посолони», о монашке, который принес мне веточку — этот полусон-полуявь мою, от которой на сердце — горел огонек.

— А ты про зверка еще!

Так называл В. В. «Калечину-Малечину», тоже из «Посолони». Тут мне в глаза бросились снимки с рукописи.

— Давайте я вам лучше почитаю из Кирши Данилова. И стал читать, что точками-то обозначено — —

Сергей хорош...

Конечно, я не мог читать так, как проговорил бы это какой-нибудь сказитель, Рябинин. Я понимаю, такое надо так — скороговоркой, надо — плясать словами.

В. В. очень не понравилось.

— Вот серость-то наша русская: наср... и пёр...! Как это все гадко. Только про это. Да еще — ... в рот! И больше ничего.

Успокоился же В. В. на рукописи:

какой замысловатый почерк, какая цветистость.

— Вот и подите!

X. (Х о б о т)

Поздно вечером, как всегда, зашел к нам В. В. Розанов.

Это было зимою в М. Казачьем переулке, где жили мы соседями.

Я завел такой обычай «страха холерного», чтобы всякий, кто приходил к нам, сперва мыл руки, а потом здоровался. И одно время в моей комнате стоял таз и кувшин с водою.

В. В. вымыл руки, поздоровался и сел в уголку к столу под з м е ю — такая страшная игрушка черная белым горошком, впоследствии я подарил ее людоедам из Новой Зеландии, представлявшим в Пассаже всякие дикие пляски.

Посидели молча, покурили.

На столе лежало письмо, из Киева от Льва Шестова.

— Шестов приезжает! — сказал я, — будем ходить стаей по Петербургу. В конке он за всех билеты возьмет, такой у него обычай. Пойдем к Филиппову пирожки есть с грибами. Потом к Доминику — —

— До добра это не доведет, — сказал В. В.

И умилительно вздохнул:

— Давай х. (хоботы) рисовать.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич. Не умею.

— Ну, вот еще не умею! А ты попробуй.

— Да я, Василий Васильевич —

Тут мне вспомнился вдруг Сапунов, его чудные цветы, они особенно тогда были у всех в примете.

— Я, Василий Васильевич, вроде как Сапунов, только лепесток могу.

— Так ты лепесток и нарисуй — такой самый.

Взяли мы по листу бумаги, карандаш — и за рисованье.

У меня как будто что-то выходить стало похожее.

— Дай посмотреть! — нетерпеливо сказал В. В.

У самого у него ничего не выходило — я заглянул — крючок какой-то да шарики.

— Так х. (хоботишко)! — сказал я, — это не настоящий.

И вдруг — ничего не понимаю — В. В. покраснел — —

— Как... как ты смеешь так говорить! Ну, разве это не свинство сиволапое? — и передразнил: — х (хоботишко)! Да разве можно произносить такое имя?

— А как же?

В. В. поднялся и вдохновенно и благоговейно, точно возглас какой, произнес имя первое — причинное и корневое:

— X. (хобот).

— —

— Повтори.

Я повторил — — и пропал.

— Ведь это только русские люди! — горячился В. В., — наше исконное свинство. Все огадить, охаять, оплевать — —

И я уж молчком продолжал рисовать. Но не из природы анатомической, а из чувства воображения. Успокоился же В. В. на рисунке:

верно, что-нибудь египетское у меня вышло — невообразимое.

— Чудесно! — сказал В. В., — это настоящее!

И простив мне мое русское произношение — мое невольное охуление вещей божественных, рисунок взял с собой на память.

Извините, с яицами

В Пензе у бабушки Ивановой на Николу зимнего в именины ее внука такой бывал пирог именинный — за два с лишним ссыльных года переменил я в Пензе тринадцать комнат, а нигде такого пирога не пробовал.

Старухи Тяпкины, уж по этой-то части, кажется, первые, ну, а против бабушки Ивановой —

— Ирина Васильевна мастер!

И это не я говорю — мне что понимать! — говорит это Сергей Семенович Расадов, самый знаменитый и первейший актер-трагик не только в Пензе, а и во всей великой хлебной округе, для которого, кажется, на Клещевской и Алиповской мельнице сама мука мololась, сама крупчатка.

— Капуста любит сметану, а масла не спрашивает! — скажет так бабушка Иванова и все вот так, попробуй, узнай секрет.

У бабушки Ивановой на пироге был С. С. Расадов. Был и я — увы, это последний мой пирог:

> у бабушки случилось несчастье, летом пропали серебряные ложки и я был обвинен в пропаже этих ложек и уж ход к пирогу мне был закрыт.

За пирогом первый гость Расадов.

Ему и слово: похваливая пирог и умеючи его подъедая — всякое посвоему естся! — раздевшись, рассказывал он всякие кулинарные происшествия за свое долголетнее странствие по театрам.

Рассказал и о каком-то батюшке, который, потчуя гостей, говаривал: «Пирог, извините, с яицами».



В самом начале нашего знакомства, еще на Шпалерной, я рассказал В. В. Розанову о бабушке Ивановой, о Расадове — а хорошая фамилия! — о пироге и об этом «извините».

И помню, это его страшно поразило.

— И до чего это верно, — повторял он, — так и вижу.

И на всю жизнь это ему осталось. Бывало, в воскресенье придет к Розановым какой-нибудь батюшка и начинается разговор за чаем. И, конечно, высоким слогом. А В. В. меня ногой под столом, шепчет:

— Извините, с яицами!

А сам покраснеет — губы кусает, чтобы не рассмеяться.

Все батюшки делились у В. В. на Чернышевских-Добролюбовых и на таких — «с яицами».

И «с яицами» ему были ближе.

— Проще и без лукавства.

Поп Иван

В Москве на Воронцовом поле в нашей приходской Церкви у Ильи Пророка было два священника:

> старший — Димитрий Иванович Языков протоиерей, ученый, благочинный и сын у него знаменитый московский доктор; и младший — просто поп Иван, ни отчества, ни фамилии.

Языков — Кустодиеву рисовать: борода белая, в усах с зеленью, золотые очки. В проповедях про Льва Толстого и всегда Анна Каренина, как живая. А служил истово — всякое слово слышно. И с особенным распевом в возгласах — в возгласе на всенощной:

«Приидите поклонимся...»

и уж сахаровские мальчишки такую паузу выдержат, дух захватит —



«Благослови душе моя, Господа...»

А в Великую субботу на «Погребении» сам читал над Плащаницей «Иезекиелево чтение». И тоже все нараспев особенно —

так в старину знаменную, когда знаменный распев — а идет он от буйвищ и жальников, от Коримы и Усеня! — гремел и перекатывался в сорока-сороках московских, читали так.

И все боялись Языкова пуще огня.

Сурово смотрит из-под очков, не улыбнется. И, должно быть, ни разу в жизни не улыбнулся, а только служил, обличал, блюл устав церковный.

Исповедывались у него только именитые прихожане, такие, как Найденовы, Прохоровы.

У попа же Ивана, хоть и борода — вся рожа заросла, но ниже кадыка не идет и какая-то черно-серая, немытая, пукóм. И служил поп Иван говорком — ничего не разберешь; самое простое, «Богородицу» и «Отче» не разобрать. Проповедей же не говорил — «потому что не мог», но главное — выпивал:

поп Иван спьяну плясать любил и где попало, у кабака ли, в ограде ль ильинской, ему все равно, и скачет и пляшет и —

Дьякон тоже был пьющий, запойный.

И как схватятся вместе служить — и смех и грех.

От благочинного старались скрыть. Да как убережешься, когда это у всех на глазах, да и человек на ябеду падок — писали доносы.

И ходили оба: и поп Иван и дьякон под великой грозой —

«погонят в заштат!»

У попа Ивана все исповедались — все простые прихожане. Да и чистая публика скорее пошла бы к нему на исповедь, да только что неудобно.

И вот допился поп Иван — зимой было — простудился и помер.

Был я на похоронах.

Будни, а народу столько, как в Ильин день, когда крестный ход из Кремля в Ильинскую церковь ходит.

И все жалели попа Ивана.

«Такого батюшку больше не нажить!» — говорили.



Когда я рассказал В. В. о попе Иване для примера:

куда с ним? — ни его к Чернышевскому, ни под «яицы»!

— Это уж блаженные, — сказал В. В., — самое наше, народное.

И это было ему тоже близко.

Только без пьянства; сам он не пил.

— Да, великое это дело — блаженные!

И часто поминал он и не раз писал о священнике Устьинском, подлинно блаженном — в войну поминавшем Вильгельма на проскомидии.

— Ну, а что же ты о серебряных ложках: у бабушки пропали!

— А-а! про это я рассказ написал.

До пояса

У нас в Казачьем переулке.

Вечером за самоваром В. В. Розанов.

Разговор любовный. О чем — из головы вон. Запомнился конец.

— Вот Варвару Димитриевну я никогда не обманывал, это единственный человек.

— Как же так: вот вы к нам пришли, а В. Д. говорите, в «Новое Время» ходите, — это же обман.

— Ну вот еще! Я считаю себя до пояса свободным, а от пояса вниз верен В. Д.

— Бедная Варвара Димитриевна, как мало ей принадлежит.

— Ты ничего не понимаешь: очень много принадлежит.

— А у вас же был роман с гувернанткой!

— Ну, так что? Я только с грудями делал, больше ничего.

За спиной

На вечер у Ариадны Владимировны Тырковой перед ее отъездом в провинцию читать лекции или, как сказал В. В. Розанов, «баб подымать», было много гостей.

Все важные государственные люди и политики: Шингарев, Родичев, Жилкин, Адрианов, Д. Д. Протопопов, Струве.

Был и В. В. Розанов.

В. В. шушукался по углам.

Политические разговоры его совсем не интересовали, его занимало другое. Слушая политического деятеля, в самую решительную минуту его рассказа он тихонечко спрашивал:

может ли он «сноситься» или не может?

А. В. добрый человек — поставила бутылку красного.

Я соблазнял В. В.

Но его никак не возьмешь.

Я же наоборот, вино принимаю и пьяниц люблю, разве что укоризненных и обидчивых... впрочем, нет, всех.

Но вина никто не пил.

Все ведь трезвенники. И такие виноборы, как Адриаша (С. А. Адрианов), который даже духу переносить его не мог, предпочитая всему пиво или просто «очищенную».

Я занимался путаницей.

Я показал В. В. на Жилкина, рекомендуя его как Д. Д. Протопопова, а Протопопа показал за И. В. Жилкина.

И В. В. трогал разбойничьи мускулы Жилкина, хваля Протопопова. И хвалил думскую речь Жилкина Протопопову.

Г. В. Вильямс случайно все разъяснил.

Но уж было поздно.

— У тебя одни дурачества на уме, все путаешь! — рассердился было на меня В. В.

Я не оправдывался.

А сели ужинать и В. В. помирился — помирила икра.

Я сказал, как М. А. Кузмин верно определил одну даму, ее восторженно-говорливую суетливость с низкою талией, будто когда за столом она —

— Она икру мечет.

И хотя этой дамы тут не было, В. В. нет-нет да подталкивал меня ногой, подмигивая:

— Икру мечет!

Очень ему это понравилось.



Заполночь возвращались втроем на извозчике.

Я на коленях у В. В.

В. В. с одной нашей знакомой.

Дождь. С поднятого верха каплет. И фартук мокрый.

Я долго не мог устроиться. Все ёрзал:

не давлю ли костяшками?
удобно ли?

Но и к дождю и к сиденью привыкнул.

Так и ехали.

— —

— Дай пососать палец!

И только от шин по мокрому торцу шлюп. И встречный плёв колес.

— Дай пососать палец!

— Я очень брезгливая.

— А разве я поганый?

— Да, нет...
— Дай мне мизинец!

Не добрая ты. Ну чего тебе стоит!

Эротическое общество

В воскресенье я пошел один к В. В. Розанову.

С. П. была у Бердяевых и собиралась вместе с Л. Ю. Бердяевой попозже.

Ни Н. П. Ге, ни Е. П. Иванова не было. А обыкновенно в воскресенье они являлись первыми.

А может, и были и ушли;

В. Д. — на крестинах,
Александры Михайловны тоже нет,
а В. В. болен.

В халате, с завязанным горлом — вата лезла и к ушам и к носу — самое что ни на есть жалкое и зяблое, а говорил — едва-едва.

Сидел гость — стрютский, такие появлялись иногда у Розановых, в застегнутом сюртуке, приглаженный, а в выражениях самых почтительнейших.

Видно было, что с первых же слов он надоел В. В.

Я отошел в противоположный конец к полкам и стал перебирать книги.

И вот во время рассказа о какой-то земельной реформе — говорил гость — в прихожей звонок:

Серафима Павловна и Лидия Юдифовна.

— А Варвара Димитриевна на крестинах! — сказал В. В., и мне показалось, куда чище, чем отвечал надоевшему гостью.

Горло у него действительно болело, но не в такой степени.

Я заметил, что и С. П. и Л. Ю. стоят в нерешительности и не садятся и не уходят.

Да и неудобно сразу уходить, но и оставаться тоже... У обеих по красной гвоздике.

— А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

В. В. сказал это совсем уж чисто.

— Мы поступили в одно общество, — ответила С. П. и живо и твердо.

— В какое?

— В эротическое.

— Мы собственно и приехали, как делегатки, просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

— Перестань глупости говорить, я хочу действительным.

И это уж сказал В. В. так, как будто у него никакого и горла не болело.

И вдруг сжался, как пойманный, — и вата еще больше полезла, точно хотела прикрыть все лицо и с очками:

этот гость скучнейший, который почтительнейше слушал!

В. В. засуетился, шаря по столу.

— Знаете, замечательное заседание Государственной Думы, речь Жилкина! — и, сунув гостю «Новое Время», повел его в столовую, — прочитайте, замечательное!

А вернулся один и уж совсем другой: к черту всякие заседания, и горло — наплевать!

— Ну, рассказывайте, рассказывайте!

— Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

— Я в женское.

— Мы не можем. Вы там сами скажете.

— Ну, едемте! едемте!

И В. В. сорвал с шеи повязку.

Лидия Юдифовна и Серафима Павловна пошли в прихожую одеваться.

Я и еще раз однажды увижу В. В. таким —

на любительском спектакле на представлении «Ночных плясок» Ф. К. Сологуба в зале Павловой, когда я поведу его за кулисы, где в тесноте кулисной он может быть подлинно, как «бози», т. е. делать все, как хочется и как воображается.

В. В. все делал с неимоверной быстротой: сбросил халат, нашарил воротничок, галстук, манжеты — он ничего не видел, ничего не замечал, все забыл и обо мне и о скучнейшем госте, почтительнейше читавшем в столовой уже читанную (конечно!) газету.

Он весь красный, губы вздрагивали, руки махались, словно на лове.

Ну, вот и готово.

Подмигнул кому-то и выскочил и прихожую.

— Василий Васильевич, — слышу, — мы вас обманули: никакого общества нет. Мы нарочно, пошутили.

— А так вот как!

— —

— За это я вас должен поцеловать.

Они к двери —

и он за ними.

Он по лестнице вниз — Розановы жили на самом на верху — нет, он догонит!

На площадке;
— Ну, давай поцелую.
Увернулись и дальше — —

и он за ними.

И опять:
— Давай поцелую!
С. П. перегнулась к лифту —
а там будто В. Д. поднимается:
вернулась!

— Варвара Димитриевна! — сказала она крепко, как зазвенела, — мы вас не застали.

И вдруг В. В., ну это мгновенно, ну, как мыш, пысь —

И только слышно, как там, на самом на верху, дверью хлопнул.

И опять горло и голосу нету и скорей халат и лечь бы уж —

К и – К и

Странные вещи творятся в мире: дан человеку язык, ну что бы всем говорить по одинаковому, а нет, хуже того — одни и те же слова, но на предметы совсем разные.

И это вовсе не анекдоты из жизни греческой королевской семьи, это — истинная трагедия человечества.

По-русски, скажем, к и т — рыба-кит, который пророка Иону проглотил, а, по-немецки — з а м а з к а (der Kitt).

По-русски г и б е л ь — «гибель надежды», по-немецки — ф р о н т о н (der Gibel).

По-русски м о с т, а по-немецки — б р ю к и (die Brücke).

Про это всякий знает, кто попал в Берлин — Берлин есть город стомостый! — и на Варшавских брюках (Warschauer Brücke) по подземной дороге пересадка.

«Брюки» — это еще туда-сюда и теперь едва ли кого смутит, разве что Ю. И. Айхенвальда, и никакими «невыразимыми» и «продолжениями» нет нужды заменять. Но бывает, что слово неприличное, а для вещи ходовой. И вот изволь произносить во всеуслышание, как ни в чем ни бывало:

наше русское «три» — 1, 2, 3 — по-английски «three!»

А кроме того еще всякие заковырки!

И их надо все усвоить в языке иностранном, чтобы на смех тебя на подняли.

Есть по-немецки глагол «gehen» — ходить, идти.

Помню, в самом начале, когда еще только вывески разбирать стал — иду по улице и вывески все по слогам складываю, а что говорят, все сливается или слышится совсем неподходящее, на лекции Штейнера напр. слышалось одно слово: «мейерхольд!». И вот выхожу раз из подземной дороги на Leipzigerplatz, а навстречу знакомый немец, здоровается:

— Wie geht es Ihnen?

— Nach Zimmerstrasse! — отвечаю.

А тот чего-то засмеялся: чего?

После уж я сообразил, что надо было поблагодарить по крайней мере или ответить:

— Добиваюсь права жительства (Aufenthaltsbewilligung) или ищу комнату.

Ведь это все равно, как спросили б:

— Как поживаешь? А я бы ответил:

— Яблоко.



В. В. Розанов и писал и много рассказывал о своих «итальянских впечатлениях» — П. П. Муратов, слушайте! — заграничные словесные недоразумения.

Но самое ужасное было с ним во французском отеле ночью.

Ночью схватило у него живот ——

«так припёрло, невмоготу!»

Ну, кое-как оделся и в коридор.

И благополучно достиг желаемого места.

— А когда опорожнился, тут-то и началось сущее мытарство. Выхожу, темно. Поискал кнопку электричество зажечь, нету. Иду по коридору, шарю. Бросил уж кнопку, хоть бы комнату-то нашу найти! В одну дверь туркнусь, а оттуда: «ки-ки?» В другую — «ки-ки?» Только и слышно из всех углов. «Je suis, — говорю, — je suis!»

Легенда

М. А. Кузмин написал музыку —

хождение Богородицы по мукам.

Сам он и играл на рояли и пел.

Год 1907-ой прошел под знаком этой песни.

Легенда «Хождения» — из Византии не русская, а как пришла в Россию и как полюбилась, стала русской, самой своей, самой исконной — —

за великое милосердие великого сердца — за «непрощаемый грех», который прощается.

Там на Западе Дантово здание сверху и донизу — от ада до рая — раз и навсегда и этот «грех непрощаемый»,

а тут на Востоке это Хождение —

Богородица ходит по аду во все тьмы, огни и морозы и не хочет возвращаться в рай — хочет мучиться с грешниками во тьме, во огне, в морозе.

По апокрифу Богородица призывает все силы небесные, пророков и апостолов и праведников и просит Бога помиловать грешников. И отпускает Бог грешников — дает им отдых от Великого четверга до святые Пятидесятницы.

Но это еще не все.

Продолжаю апокриф —

может ли великое сердце успокоиться сроком? но и справедливость — кара грешникам за безобразие — не может длить срок до беспредельности (bis auf weiteres).

И кончается тем, что Богородица отказывается от райского блаженства, уходит из рая и идет мучиться с грешниками — в ад — на землю —



Я рассказал В. В. Розанову о этой замечательной легенде.

И о Кузмине, какой это удивительный человек и стихи пишет и музыкант и поет и Бог знает что — —

Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома у сестры своей Варвары Алексеевны Ауслендер появлялся в парчовой золотой рубахе на выпуск, глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится, ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам Фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник.

Я подзадорил В. В.: и Кузмина повидать и пение его послушать —

хождение Богородицы по мукам.

А все что-то мешало, все откладывалось. Прошел год и другой —

уж Кузмин давно снял вишневую волшебную поддевку, подстригся и не видали его больше в золотой парчовой рубахе навыпуск; были у него редкие книги старопечатные (Пролог) и рукописные, и знаменные крюки (ноты) — все спустил, все продал, и голос не тот, в «Бродячей собаке» скричал.

Но все равно.

В первое же знакомство у Розановых Кузмин играл на рояли и пел.

В. В., зорко присматривался к нему — «легенда!» — слушал единственную легенду, в которой все существо наше, вера русская и такая — другая, не Дантова —

хождение Богородицы по мукам.

— Хорошо, как птичка в лесу!

Блудоборец

По весне, как всем известно, в зоологическом саду зверь на звере сидит — слон на слоне, гиппопотам на гиппопотаме, жираф на жирафе, и всякая птица старается, чтобы потом яиц как можно больше накласть, хоть про яйца и нет пока думы.

И так целый день.

И только под вечер угомонятся и дрыхнут по клеткам, свернув натрудившийся хвост: в этих делах хвост — все.

Я заметил, чем крупнее зверь, тем он осмотрительнее, мелкий же — глупый, без всякого разбору и сил не не рассчитывает.

П. Н. Потапов ходил по весне в Зоологический сад для поднимания, как сам он выражался, потенциальной энергии.

Странный он человек! И зачем ему это поднимание, когда и без того вечная его и одна жалоба на обуревание мыслей зоологических.

Вообще П. Н. Потапов странный человек.

Помню, во время войны, уж в конце, когда стало все трудно добывать и всякие кооперативы пооткрывались, принес он как-то красного вина и особых гигиенических печений для С. П. по случаю болезни. Мне досталось так с наперсток — не пил ничего! — а ему остальное. Так бутылку и прикончили во здравие. И что же вы думаете, на другой день получаю счет —

П. Н. просит уплатить ему за вино и печенье.

Ну, разве не странный?

По счету я заплатил.

А уж в революцию перед отъездом из Петербурга принес он мне воротнички, тоже «в дар». А я уж боюсь, не беру. Воротнички № 47, мне

ни к чему, а покупать на запас «для подмазки» денег нет. Долго не решался, а все-таки взял: в дар ведь! И уж наверняка получил бы счет и большущий, да спас меня его экстренный отъезд.

П. Н. Потапов искони называл себя не Петром Николаевичем, а ласкательно-уничижительно — Петюнькой и не сообразно со своей зоологической конструкцией — воротничок № 47 — а в лад и стать с кротостью своего духа и тони голоса.

Служил П. Н. в банке.

Днем в банке, вечером карты. А после карт частенько куда-нибудь так с компанией.

П. Н. не пил, чтобы напиваться, как другие.

П. Н. по его собственному признанию был большой «ловитель» женщин.

Так время и проходило: служба, карты и т. д.

И вот в один прекрасный день захотелось П. Н. «чистой жизни».

А как стал разбираться и искать замутнения своей жизни:

> карты? — нет, в картах дурного ничего не было: ресторан с музыкой? — тоже.

П. Н. как уж сказано, большой был ловитель женщин, — вот оно где!

Еще в реальном училище П. Н. пристрастился к книге и теперь, когда захотел чистой жизни, снова взялся за книгу: в книге он искал себе указания, как достичь этой чистой жизни —

> и сделаться праведником.

Читал он Творения св. отцов.

Читал Бердяева, Мережковского, Гершензона.

Бердяев, Мережковский и Гершензон наводили его на соблазнительные мысли, равно и Франк.

Книги же Шестова отвлекали.

А как и отчего, понять он никак не мог.

У Шестова, я это давно заметил, всегда был читатель какой-то несуразный, нескладный, «бессчастный», какие-то искалеченные, или сумасшедшие психиаторы. Одно единственное исключение — Семен Владимирович Лурье.

И ничего нет удивительного, если в их число записался и П. Н. Потапов.

Больше же всех полюбился ему Розанов:

— Как раз этого места касается!

Но чем усидчивее он читал книги, тем больше стали приходить всякие нехорошие «нечистые» мысли — и уж ни Творения св. отцов, ни Шестов, ни Розанов не помогали.

Все соблазняло.

Все сосредоточилось на этом месте.

Он как-то уж сам, незаметно для себя, превратился в это место.

— И уж сам не знаю, — говорил П. Н., стервенея, — куда себя деватьǃ

Пробовал он ходить по всяким старцам — с легкой руки Распутина о ту пору развелось их в Петербурге видимо-невидимо — но то ли старцы его не понимали, либо он не понимал старцев, а скорее он не понимал старцев, и все советы их ни к чему были.

Доктор, известный в Петербурге под именем Симбада, из психиатров, и тоже большой «ловитель» и читатель Шестова, когда я рассказал ему историю П. Н., страшно развеселился.

— Чудак! Присылайте ко мне, поправлю: банка вазелину и пускай полегоньку втирает ежедневно. Как рукой! — сам смеется.

А П. Н. испугался:

— Это вроде как само собою.

Нет, он на это не согласен. Ему надо прямое и верное средство, чтобы вести чистую жизнь и сделаться праведником.

— А впоследствии, — мечтал П. Н., — причислят к лику святых, и мощи.

Вспомнил я, как еще в училище над одним трунили: носил он мешочек с канфорой.

«Притом же, — думаю, — и слово это немецкое: Kamf, kämpfen, Kämpfer, что означает боец, борец. К блудоборцу очень подходит».

Я и говорю:

— Петр Николаевич, сшейте вы мешочек. Накласть канфоры и подвязать так — и носите себе тихо и смирно. Помогает.

П. И. послушал.

Конечно, советчик в таких делах я плохой. Да, конечно, дело ясное, — не так, совсем наоборот. Но уж молчу.

А Петр-то Николаевич уверовал в мое канфорное слово и, хоть пуще мучился — и книга не читалась и сна не знал уж, и все теснит и давит (воротничок № 47!), а мысли нечистые, как бесы — но мешочек, как «водрузил» себе, так и не снимал и только что в бане, а то и день и ночь носит.

Думал я послать его к Гребенщикову — книгочий! — да раздумался, не стоит Якова Петровича в такое дело путать. И решил: пускай-ка в Комаровку пройдет к князю обезьяньему Рязановскому.

— И. А. Рязановский, — сказал я, — археолог, великий князь обезьяний, носит электрический пояс. Ему и книги в руки. Ступайте.

И все бы хорошо вышло — «великий князь! носит электрический пояс» — да уж и не знаю, к чему это мне пришло в голову: наказал я называть Рязановского не иначе, как «ваше превосходительство».

И все дело испортил.

И. А. Рязановский, до возведения в князья обезьяньи, был и судьей и следователем и при губернаторе состоял, но как-то так случалось, за поперечность верно и самоволье, в наградах и чинах его обходили, и за всю свою долгую службу имел он один-единственный орден, а чин самый маленький.

Ну, а как П. Н. вошел к нему в его тесное Комаровское древлехранилище, да как стал к каждому слову прибавлять «ваше превосходительство», князя-то и смутил.

Великий князь спутался: тычется, шарит по столу — разбирал какую-то старинную затейливую тайнопись! — понять-то уж ничего не может, про какой мешочек и причем канфора.

После сам мне рассказывал.

А уж П. Н. — глаза на лоб.

— Хожу и не знаю, куда себя девать!

Да, вот она, чистая-то жизнь!

А не только чистоты никакой, хуже того — хуже, чем было, когда после карт, после ресторана ехал он с компанией куда-нибудь «оканчивать», как сам выражался.

И решил я, как последнее, поведу-ка Петюньку к В. В. Розанову.

А потом думаю, нет, пускай без меня — — дело вернее, а от меня — письмо.

И написал рекомендацию.

Все, как есть, и о бесах и о мешочке для праведной жизни и о Шестове, помянул и преподобного Макария, о котором сказано в житии —

«досязаше ему даже до пят»

и как преподобный этим беса устрашил.



П. Н. сходил в баню, вымылся, вырядился, пригладился — П. Н. носил прическу «бабочкой» — не как-нибудь чтобы, а женихом явиться к В. В. за напутствием.

Накануне он зашел показаться.

У нас были гости: б. старообрядческий регент Ив. Плат. Пономарьков и писатель В. Н. Гордин. Спорили друг с дружкой о философии долго и путанно, потом пели хором под аккомпанемент Пономарькова —

Был у Христа младенца сад.

П. Н. пел тенорком и я заметил, что от полноты чувств забирал он чересчур высоко, а выводил особенно нежно и чувствительно. А что было у Розанова, я не знаю.

Я знаю, П. Н. твердо решил во всем открыться.
И я ждал с нетерпением, что будет.



Только через неделю появился у нас П. Н.
Он чего-то все улыбался. Веселый:

вчера он после долгого перерыва играл в карты, выиграл, поехали в ресторан ужинать...

— А мешочек?
Мешочек на нем, бессменно.
По-прежнему он хочет чистой жизни, чтобы сделаться праведником.
И это одно другому не мешает:

иногда, ну, раз в неделю, он будет играть в карты...

П. Н., рассказывая, все улыбался.
— Ну, а что же Василий Васильевич?
От В. В. он в восторге.
— Внимательнейший человек, вы себе представить не можете. И как разговаривал!
В этот вечер был у нас, кроме П. Н. еще И. А. Рязановский.
Мне что-то нужно было непременно кончить — переписать рассказ или завитушку, не помню. А, когда переписываешь, тут-то и приходит всегда соблазн переделать все сызнова.
С. П. не было дома.
И гости до чаю уселись в сторонке «не мешать».
Краем уха я все-таки слышал: отдельные слова, спутки слов, узелки слов, усики.
Говорил И. А. Рязановский —

тут все: и иконография и агиография, палеография и историческая география, Ур, Шарпурла, Египет, Китай, китайская революция — любимая тема! — революции за много веков до нашей эры, китайские... потом несколько раз: электричество — пояс электрический!

Тут заговорил П. Н.
И слышу и не слушаю:

— — канфора, канфора, Розанов — —

— — а ты залупи, чего! дурак! А я говорю: Василий Васильевич...
И опять голос Рязановского — —

у него кишка вылезает, и как раз в самые неподходящие минуты и по преимуществу в дамском обществе, должно быть, для равновесия; и уж он не может спокойно сидеть, а встает — —

— — встает для равновесия...



Уж и не знаю, сколько прошло, захожу я как-то в книжный магазин «Нового Времени». И вижу В. В. Розанов: книги рассматривает.

Поздоровались, ну, то да сё.

Вытащил он из груды большущий том, перелистывает: исследование какое-то по церковной истории с гравюрами.

— Ну, и глупый же этот твой Потемкин.

— Какой Потемкин?

— Да вот что с мешком-то.

— Потапов!

— Такой редкий дар!

И вдруг В. В. от смеха покраснел весь и зажевал губами:

— — мешок-то! ну, и дурак! Это ты его что ли?

— Ну, вот еще! Это от философии.

Сны

На нашем зеленом «волжском» диване я нашел такое местечко, если лечь после обеда и угодить в эту лощинку, непременно сон увидишь.

Всякий день я нарочно ложился, а потом записывал.

Вот какая тетрадка!

Понемногу я стал постигать сонную «несообразицу» — стройную по-своему и со своей несообразной последовательностью.

Только надо было ничем не смущаться и наловчиться, как оно привиделось, так и рассказывать до «дура» и «бестолочи» — матери и отца всего сущего.

Случалось, в воскресенье у Розановых за самоваром, а то и так около Шервудского Пушкина рассказывал я эти сны, как сказку.

Навострившись на снах, я заметил, что некоторые сказки есть просто-напросто сны, в которых только не говорится, что «снилось».

Сны я рассказывал всякие.

После уж здесь, встретившись с музыкантом Б. А. Заком — он, тогда еще мальчик, бывал у Розановых по воскресеньям — узнал я, будто эти сказки мои — сны были очень страшные.

А я не помню.

И тетрадь пропала — продана с аукциона с другими нашими вещами (чемодан и корзинка) в Кёнигсберге после войны за 500 м., как вещь подозрительная по порче.

Я помню, как однажды В. В., а это было после двух фельетонов В. П. Буренина в «Н. В.» о моем «Пруде», сказал, наслушавшись этих моих снов:

— Виктор Петрович меня спрашивает: «давно ли ваш Ремизов сидит в сумасшедшем доме?» А ты такое вот напишешь. Это все твой «Табак». И никто ничего не поймет.

— А Шестову, — сказал я, — сны по душе.

— Шестов! — В. В. всегда необыкновенно почтительно отзывался, — ум беспросветный!

И по вере в легенду мою добавил по обыкновению с сокрушением:

— И до чего доводит вино!

Уголок

По русскому обычаю самые настоящие разговоры начинались в прихожей.

Много было слов сказано над калошами.

— Если бы зайцы не были трусливы, они все бы погибли! — сказал В. В. Розанов уж одетый после многократного «прощайте».

— А человек?

У человека — «как полагается»;

«как полагается», «как принято» человечье — трусь зайцева.

Но этого тогда не сказано было.

А как раз это-то и имелось в виду.



Человеку «по своей волю» и это «как полагается» — вот уж подлинная чернота — чернила орешковые — самая черная.

Но как зайцу без труси, так и человеку без «так полагается» (а это ведь «закон»!) не выбороть жизни.

— В глазах черно! — В. В. приходил издерганный, захлебывающийся.

И начинались разговоры.

И из всего ясно было, что это «как полагается» давило тяжестью на плечи, а сбросить не было сил и вот — —

— В глазах черно.



У В. В. был такой уголок — там в черноте своей он мог скрыться, — церковь.

Не знаю, ходят ли в церковь от восторга, чтобы сказать о своем счастье и удаче. В беде ходят — с просьбой. Еще ходят «как полагается» — «пуговицы чистить».

А то, что В. В. рассказывал, тут совсем другое: тут нет никакой молитвы, никакой просьбы, а так —

— Станешь незаметно...

Однажды я зашел в церковь до всенощной. Служили панихиду, потом молебен.

Служил батюшка, такой — Розановский, «извините, с яицами» — говорком, ничего не поймешь. И все шло «как полагается». Но когда после евангелия за возгласом —

— —

мирликийского чудотворца
и всех святых помилует — —

батюшка поцеловал евангелие и дал приложиться — какая-то женщина и дети с ней — я почувствовал необыкновенное умиротворение в этом «мирликийского чудотворца», мир и тишину, и понял, чего такое Розанов — «станешь незаметно», когда «в глазах черно».

Последнее

Дорогой А. М.!

Д-р А. И. Карпинский сказал мне по телефону, что неудобно посылать самому больному Клюеву подробный диагноз его тяжелой болезни и попросил позволения послать мне. Я вам посылаю.

Отчего с матерью Серафимой не заглянете к нам.

Теперь и монашка Вера у нас гостит.

Приходи, брате Алексей.

В. Розанов.

1917 г.



И опять на Шпалерной. Только не в том доме, где когда-то «семейно» и шумно (качалка с Бердяевым, финик Андрея Белого) праздновались именины Варвары Димитриевны.

У Розанова было что-то такое, как это назвать? Над головой — бурный ли приток мыслей, бурно движущийся? И когда он, подложив ногу под ногу и, суча свободной, говорил, это виделось — чувствовалось, точно текло что-то ото лба выше-выше над волосами, и опять и опять, и он как-то краснел весь.

А теперь этой бурности не было, устоялось, — движение равномерно, и совсем белые волосы.

И еще —

Помню, однажды в прихожей — это в Казачьем — В. В. показал мне на целый птичник мелких детских калош и подмигнул —

подмига и улыбки, от которой очки потели, тоже не было.

Как отворила Варвара Димитриевна двери, как мы вошли, как ждали В. В. — он отдыхал — было что-то торжественное —

торжественное,
прощальное,
прощенное,
последнее свидание.

А ели яичницу — поминальную.

Луна светит

— —

на мне это не та, ту, золотом расшитую, я тогда же надел и не на эти свои вихры, а на ковылевую.

«Тебе, — говорю, — медведюшка прислал. Будешь беречь?»

И эта тоже красная с кисточкой, вот! — кисточка-то видите? — ночной колпак, по немецки Schlafmütze, это немецкое, В. А. Залкинд из Цербста привез — конкректор обезвелволпала, градусник привинчивал, бензин в зажигалку наливает — механик! — редчайшей доброты человек.

Я, Василий Васильевич, каждое теперь доброе слово берегу — хорошие есть люди на свете.

Вон и он то же говорит. Это мой советчик тут, Огневик — Feuermännchen — заботится о тепле и свете! — сам к нам пришел, за печкой жил: стали чистить и нашли. Мы с ним и коротаем ночь — —

лу-унную!

А в колпаке сижу, потому что голову мыл.

У нас такой дом, чуть не всякую неделю уборная портится, с трубами что-то, и как поправят, все жильцы ванну сейчас же.

Мы тут уж больше года — все на Церковной (Kirchstrasse) в приходе св. Луизы. Первое время, бывало, заблудишься и вдруг глядь, а шпиль эвон — св. Луиза! — выведет к дому.

А теперь погнали — —

Да, Василий Васильевич, насчет книжек — книжек-то ваших до сих пор не издают.

И достать очень трудно. У Веры Васильевны три, а больше не знаю.

И в России достать не легко.

Шкловский страсть как буянит.

А у нас все ваши книжки были, все с надписями. И все пришлось продать — всю библиотеку продали.

Думали, приедем за границу — на первое время будет: передохнуть. Очень я был болен. Вот на лечение, как это все делают приезжающие, в санаторию куда-нибудь. А ничего не вышло. Так и до сих пор. Уехали-то мы в августе, а деньги получились на следующий год в июле, поздновато: до июля-то сколько всего было, время-то упущено.

И знай, что так выйдет, лучше б было книжникам раздать.

Уж вы не сердитесь! Я это понимаю; со мной тоже — Блок, как за границу задумал (перед смертью), тоже книги стал продавать, слышу, «Посолонь» продал с автографом.

А Апокалипсис ваш у великого книжника на бережении, вернемся в Россию — память.

А помните, Василий Васильевич, как-то вы сказали, еще в Гатчине, на даче, помню, что рассказов писать вы никак бы не могли.

— Просто не умею!

А вот Шкловский книжку написал «Розанов» и там как раз наоборот: если кто за последнее время написал беллетристическое, так это Розанов — «Уединенное», «Опавшие листья» — ведь это целый роман, новая форма!

— Скажи, пожалуйста.

— С чем вас и поздравляю.

Шкловский это такой, у него — нога: идет и, кажется, такие сапожищи — один мой ученик красноармеец-политрук жаловался, выдали сапоги 3 пуда американские! — у Шкловского нога 3 пуда, может разделать, что хочешь.

И вот доказал, а вы горевали.

— Но умею, не умею.

Не умели вы рассказов писать, как это пишется, и слава Богу!

Конечно, пока ходят железные дороги и существуют станции, рассказы будут писать — потребность в «духовной пище».

Ну, а такому, что для вас казалось верх недосягаемым —

«в купе, развалясь на диване и т. д.»

такому песенка, кажется, у нас в России спета, разве, что для американцев.

Новая форма!

На меня, Василий Васильевич, такое остервенение находит: будь у меня в эти минуты власть, заставил бы всех естествознанием заниматься, ну хоть бабочек по заборам собирай или червяков сортируй.

Скучища невероятная!

И скажу, ничего не потеряли, что «книгу рассказов» так и не разрезали.

Ей Богу ж, ну какая разница: «В лугах» или «На заборе» или еще как — ?

Удивительная бесцветность и безъяичность.

— —

А что, Василий Васильевич, теперь вы поняли, что никакой папироски там и не надо?

Я лежал однажды при смерти — это как раз в канун октябрьской революции — и все забыл: и папиросы и что тоже «рассказы» пишу, одно я помнил и мучился, что кашлем моим извожу и надрываю душу тому, кто неотлучно при мне, а если бы этот другой исчез, я мучился бы, что надрывал и изводил, и больше ничего.

А что если вообще ничего больше? Темная точка беспамятства — и это есть вечность — ?

Или сначала темная точка, а потом —

Ну как пробуждение — и ничего подобного нашему: и то, да не то, где самое «хочу» по-другому и разное по месту жительства в вечности.

А как там насчет сроков в этой вашей — что слышно в вечности?

Или так спрошу вас —

У Гауфа — помните сказки Гауфа? — у Гауфа Агасфер притащился из Китая сюда и вот недалеко от нас, в Тиргартене, у него любопытная встреча. Само собой он озабочен сроком — ведь таскаться из страны в страну, это — ! И после рассказа о житье-бытье единственный его вопрос —

— Скажите, Василий Васильевич, который теперь час у вас там в вечности?

— Вечер?

— Нет еще?



У Троицы-Сергия под Москвой лежит В. В. Розанов, скончавший срок своей жизни — странствия по земле со Шпалерной на Б. Казачий, с Казачьего на Звенигородскую — и опять на Шпалерную —

23. 1. 1919 г.
в возрасте 63 лет.
1856—1919.

«Кукха», как и «ахру» —
слово обезьянье, на обезьяньем языке:
ахру — огонь, кукха — влага.

Андрей Белый

В. В. РОЗАНОВ

Раз, когда с Гиппиус перед камином сидели с высокой *«проблемой»*, — звонок: из передней в гостиную дробно-быстро просеменил, дрожа мягкими плотностями, невысокого роста блондин с легкой проседью, с желтой бородкой, торчком, в сюртуке; но кричал его белый жилет, на лоснящемся, дрябло-дородном и бледно-морковного цвета лице глянцевели очки с золотою оправой; над лобиной клок мягких редких волос, как кок клоуна; голову набок склонил, скороговорочкою обсюсюкиваясь; и З. Н. нас представила:

— «Боря»!

— «Василий Васильевич»!

Это был — Розанов.

Уже лет восемь следил я за этим враждебным и ярким писателем, так что с огромным вниманием разглядывал: севши на низенькую табуретку под Гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряские фразочки, точно вприпрыжку, без логики, с той пустой добротою, которая — форма поплева в присутствующих; разговор, вероятно, с собою самим начал еще в передней, а может, — на улице; можно ль назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти возникшие где-то вдали отправленья выбрызгивал с сюсюканьем, без окончания и без начала; какая-то праздная и шепелявая каша, с взлетаньем бровей, но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыслительности было наглое что-то; в невиннейшем виде — таимая злость.

Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей; он хватался за пепельницу, за колено З. Н., за мое; называя меня Борей, а Гиппиус — Зиночкой; дергались в пляске на месте коленки его; и хитрейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки.

Да, апофеоз тривиальности, точно нарочно кидаемой в лоб нам, со смаком, с причмоками чувственных губ, рисовавших сладчайшую, жирную, приторно-пряную линию! И мне хотелось вскрикнуть: «Хитер нараспашку!» Вдруг, бросив нас, он засопел, отвернулся, гребеночку вынул; пустился причесывать кок; волоса стали гладкие, точно прилизанные; отдалось мне опять: вот просвирня какого-то древнего храма культуры, которая переродилась давно в служащую при писсуаре; мысли же прядали, как пузыри, поднимаясь со дня подсознания, лопаясь, не доходя до сознания, — в бульках слюны, в шепелявых сюсюках.

Небрежно отбулькавши мне похвалу, отвернулся с небрежеством к Гиппиус и стал дразнить ее: ведьма-де! З. Н. отшучивалась, называя его просто «Васей»; а «Вася» уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем, — о розовощекой матроне своей (ее дико боялся он); дергалась нервно коленка; лицо и потело, и маслилось; губы вдруг сделали ижицу; карие глазки — не видели; из-под очков побежали они морготней: в потолок.

Вдруг Василий Васильевич, круто ко мне повернувшись, забрызгал вопросиками: о покойном отце.

— «Он же — умер!!!»

Вздрог: выпрямился; богомольно перекрестился; и забормотал — с чмыхом, с чмоком:

— «Вы — не забывайте могилки... могилки... Молитесь могилкам».

И все возвращался к «могилкам»; с «могилкой» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши круглую шапку, ногой не попав в большой ботик, он вдруг повернулся ко мне и побрызгал из меха медвежьего:

— «Помните же: от меня поклонитесь — могилке!»

И тут же, став — ком меховой, комом воротника от нас — в дверь; З. Н. подняла на меня торжествующий взгляд, точно редкого зверя показывала:

— «Ну, что скажете?»

— «Странно и страшно!»

— «Ужасно! — значительно выблеснула, — вот так *плоть*».

— «И не плоть, — фантазировал я, — плоть без “ть”; в звуке “ть” — окрыление; “*пло*” — или лучше два “п”, для плотяности: п-п-п-пло!» В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова:

— «Просто “*пло*”!»

Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного; без всякого повода смякнет, ослабнет: до следующего отправления; действует этим; где люди совершают абстрактные ходы, он булькает, дрызгает; брызнь, а — не жизнь; мыло слизистое, а — не мысль.

Скоро стал я бывать на его «воскресеньях», куда убегал от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это; у Розанова «воскресенья» совершались нелепо, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось утеснения в тесненькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и — рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что — щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов; статный корпус Бердяева всклокоченною головой ассирийца его затмевал; тут же, — вовсе некстати из «Нового Времени»: Юрий Беляев; священник Григорий Петров, самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов; Д. С. Мережковский, осунувшийся, убивался фигурою крупною этою; недоуменно балдел он, отвечая невпопад; с бокового же столика — своя веселая группа, смакующая безобразину мощной вульгарности Розанова; рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками Бакст и пропухший белясо, как шарик утонченный с еле заметным усенком — К. Сомов.

Все — выдвинуты, утрированны; только хозяин смален; мелькнет белым животом; блеснет своим блинным лицом; и плеснет, проходя между стульями, фразочкою: себе в губы; никто ничего не расслышит; и снова провалится между Бердяевым и самодушною тушей Петрова; здесь царствует грузная, розовощекая, строгая Варвара Федоровна, сочетающая в себе, видно, «Матрену» с матроной; я как-то боялся ее; она знала, что я дружил с Гиппиус; к Гиппиус она питала «мистическое» отвращение, переходящее просто в ужас; я, «друг» Мережковских, внушал ей сомнение.

Розанов, взяв раз за талию, меня повел в показную, парадную комнату; она зарела, как помнится, — розовым; посередине, как трон, возвышалося ложе: не ложное; и приводили: ему поклониться; то — спальня.

Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом; и я, отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: непроизвольно; он, слов не расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечерчивал ногтем, поплевывал: «Понимаете!» Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал, подразмяк, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо, впадая в прострацию; физиологическое отправленье совершилось; не мог ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог.

Не забуду воскресников этих; позднее на них пригляделся — впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огром-

ной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, уставился, как бык на красное; вдруг, закрививши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:

— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке!»

И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, — голова; там же, где голова, — лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то.

Однажды я днем зашел; он посулил подарить свою книгу, редчайшую («О понимании»): «Вы приходите за ней; я вам ее надпишу». Закрученный вихрем, признаться, о книге забыл; не зашел; он же ждал: приготовился; и страшно обиделся.

В этот приезд я его повстречал на Дункан; был я с Блоками; взяв меня под руку, он недовольно поплескивал перед собою, мотаясь рыжавой своей бороденочкой:

— «Хоть бы движенье как следует; мертвый живот; отвлеченности, книжности... нет!»

И, махнув недовольно рукою, он бросил меня, не простившись.

Поздней его встретил в «Весах»; М. Ф. Ликиардопуло, гостеприимно его усадив на диван, перед ним разложил животы оголенных красавиц; и Розанов мерил их, как специалист по вопросу, высказывая очень веско и строго суждения, геометрические, — об удобствах или неудобствах младенца: лежать — в животе такой формы; в нем был не цинизм, — что-то жреческое, исправлявшее свою обязанность; вдруг он воскликнул:

— «Вот это — живот: согласился бы крестным отцом быть!» — плевнул он, довольный.

При встречах меня он расхваливал — до неприличия, с приторностями; тотчас в спину ж из «Нового Времени» крепко порою отплевывал; там водворился Буренин, плеватель известнейший; Розанов, тоже сотрудник, равнялся с другими: по плеву; меня это не занимало; при встречах конфузился он; делал глазки и сахарил; значит, — был плев; и поэтому как-то держался в сторонке от Розанова до момента еще, когда прежние его друзья вдруг с усердием, мне непонятным (чего ж они прежде дремали?), его стали гнать и высаживать из разных обществ; а он — упирался; я несколько лет не бывал у него уже.

В 1908 году мокрая осень стояла в Москве; день плаксивился лепетнем капелек; небо дождями упало; весь этот период покрыт мне тоскою и тьмою; в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, раз брел уныло я, пересекая Тверскую; у памятника кто-то дерг — за рукав; оборачиваюсь: смотрю, — мокренькое пальтецо, шапка мятая; в скважинах поднятого воротника — зарыжела бороденка: метелкой; рука без перчатки хватается: мокрая. Розанов!

— «Откуда это, Василий Васильич?»

— «Да вот — проездом; спешу в Петербург; дожидаюсь заведующего газетой. — Схватился руками за локоть и ижицу сделал: — Голубчик мой, не покидайте меня; делать нечего!»

Дергая за руку, дергаясь и пришепетывая, стал он водить и туда и сюда в закоулках, завещанных грязным туманом; воняло; и — брызгали шины; калошами черпали воду; вдруг кинулись мороки красные, белые, синие, «Часы Омега», брызнь кинематографов, перья накрашенных дам; среди мороков — Розанов, сделавши ижицу, мокрой губою выбрызгивал свои «ужасики»: об аскетах святых; и прохожие, остановившись, оглядывались.

Затащивши в кофейню Филиппова, меж освещенными столиками, продолжал он выплевывать «бредики», — мокрый, потертый, обтрепанный до неприличия, — средь щеголей, пшюток, пернатых и размазанных дам; вдруг он выразил немотивированный интерес к А. А. Блоку, к жене его, к матери, к отчиму; я же был и Блоком — в разрезе; и мне было трудно на эти интимные темы беседовать с Василием Васильевичем, он сделался зорким; трясущейся, грязной рукою хватал за пальто, рысино глазки запырскали вместе с очковыми блестками; голову набок склонив, залезая лицом своим, лоснясь в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у Блока.

И тут же, среди чмыхов и брызг, обхвативши карманы свои, стал просить у меня — себе в нос:

— «Уж простите, голубчик, в кармане платка нет; а — насморк, нет мочи; у вас нет платка?»

— «Есть, нечистый!»

— «Давайте же, миленький, какой ни есть: не побрезгую!»

И, отхватив мой платок, суетился над ним: де заведующий ожидает; мы вылетели на бронхитную, рыжую от освещения пырснь; он в ней — канул.

И вновь для меня провалился сквозь землю: на год.

. . . .

Юбилейные дни 1909 года; полный зал: фраки, клики; Москва, вся, — здесь: чествуют Гоголя; и даже я надел фрак, мне пришедшийся

впору (не свой, а чужой); как бездомная психа, ко мне притирается Розанов, здесь сиротливо бродящий; места наши рядом — на пышной эстраде; А. Н. Веселовский уже отчитавший, плывет величаво к Вогюэ и другим знаменитостям; Брюсов, во фраке, — выходит читать; Василий Васильевич в уши плюется, мешая мне слушать; а я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он: общество, орган, газету? Мы все — «представители» здесь (на эстраде); он делает ижицу, делает глазки; и явно конфузится:

— «Я?.. От себя...»

Значит, — «Новое Время», мелькает мне; и мне, признаться, не очень приятно с ним рядом; он, взявши под руки, не отстает; и мы бродим в антракте, толкаясь в толпе; уж не он меня водит, а я его, в тайной надежде нырнуть от него: меж плечей; нам навстречу — Матвей Никанорович Розанов; вообразите мое удивление: друг перед другом два однофамильца, согласно расставивши руки и улыбнувшись друг другу, сказали друг другу:

— «Матвей Никанорович!»

— «Василий Васильич!»

Такие различные Розановы!

У меня сорвалося невольно, весьма неприлично:

— «Как, как, — Вы знакомы?»

Матвей Никанорыч, представьте мое изумление. воскликнул:

— «По Белому, — да!»

— «Как "по Белому"?»

— «Да не по вас, а по городу Белому, где я учительствовал».

И Василий Васильич сюсюкнул с подъерзом:

— «Матвей Никанорыч, — мой учитель словесности — как же!»

И, глазки потупив, такой пепиньерочкой, чуть ли не с книксеном, стал еле слышно поплевывать что-то: Розанов — Розанову.

Я их бросил, нырнув меж плечей; и с тех пор никогда одного из них уже не видел; Матвея Никанорыча видывал после; Василья Васильевича — никогда, никак!

Андрей Белый
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. А. БЛОКЕ

В это время совсем неожиданно к Мережковским явились Свенцицкий и Эрн; оба только что приехали из Москвы с проектами обращения к Синоду от группы церковников, желающих заклеймить синодальное оправдание расстрелов: Д. С. Мережковский, А. В. Карташев и Д. В. Философов впервые тогда познакомились с молодыми людьми (я их знал еще прежде); Волжский восторженно заявил: появились-де *«религиозные радикалы»*. Собрались мы в Пале-Рояле (на Пушкинской) у П. Перцова обсудить предложение *«неистовых москвичей»*: кроме себя, Мережковских и Перцова помню на том собрании Философова, Розанова и Тернавцева; Розанов и Тернавцев тогда отнеслись невнимательно к предложенью Свенцицкого. Помню: Тернавцев сказал:

— Ну, что ж, может быть, вы и пророки: идите, прочтите-ка иерархам то, что написали.

Д. В. Философов воскликнул:

— Как вы, Валентин Александрович, зная наверное, что грозит этим юношам, посылаете их в пасть ко льву?

Но Тернавцев ответил — полушутливо:

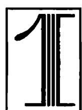
— Что ж? Если считают себя они вправе судить представителей церкви, они и должны быть готовы на все: Даниил ведь был ввержен в ров львиный, а — уцелел...

В. В. Розанов в это время помалкивал, резко блистая дрожащими золотыми очками, подплясывая коленкой на стуле; осведомился он небрежно лишь о происхождении Свенцицкого; а относительно реформационного пыла он выплеснул по адресу синодального строя:

— Было вот навозная куча... осталась навозная куча: так нечего ее и раскапывать...

И тем не менее: бросилось мне в глаза удивительное перемигиванье его и Тернавцева (Тернавцев же был убежденный церковник); они оба поехали от П. Перцова, обнимаясь, — на извозчике; и понял я, что соединяет их не религия, — быт и эстетика культа.

Д. А. Лутохин
ВОСПОМИНАНИЯ О РОЗАНОВЕ

921 г. — год Достоевского. И поминая его, хочется обозреть и тех, кто находится в его орбите.

В сущности говоря, автор «Преступления и наказания» не оставил после себя определенной школы. Правда, влияние его было громадно. Весь европейский модернизм отразил на себе влияние его могучего гения. Писателя крупные у него учились, бездарные ему подражали, списывали из него. Но продолжателей его в области русского романа не было. Многих зато наших мыслителей влекло на страдную дорогу философских исканий Достоевского... Никому, однако, не удалось уйти по этому пути дальше него, кроме Розанова.

Но тогда как все «продолжавшие» Достоевского приходили к нему не сразу, а после долгих исканий, — и, несмотря на усвоение его мировоззрения, оказывались в «свойстве», а не в «родстве» с ним, пожалуй, один Розанов поражает органической близостью Достоевскому. Если литературные направления создаются не только влиянием больших мастеров — случайных продуктов слепой игры стихий — но и какими-то внутренними течениями в области идейного творчества, если в истории литературы приходится открывать как бы массивные горные системы, то нет лучше к тому примера: Розанов — «отрог Достоевского». Они оба из одной жилы.

Зимою 1903/4 года, будучи на 1-ом курсе Петроградского Технологического Института, куда попал из провинции, я с большим любопытством посещал петербургские литературные круги. Зачитывавшись до того модернистскою литературою, был я удручен, однако, мещанским стилем тогдашней нашей литературной общественности. Сплетничали, хоть и с политической окраской, но пошло; мелко спорили, вульгарно флиртовали. Было тоскливо.

Случайно товарищ-технолог И. С. Степанов (тогда с.-д.) предложил мне познакомиться с В. В. Розановым, которого я очень ценил, — я с радостью откликнулся на приглашение и в одно из воскресений попал на вечерний «жур-фикс» к Василию Васильевичу на Шпалерную, 31. Это был период, когда Вас. Вас. жил наиболее зажиточно. Квартира была большая, светлая, с видом на Неву. Гостиная и кабинет завалены были книгами; много редких фотографий; какие-то особенные православные иконы, статуэтки Изиды, католической Мадонны. Все как-то значительно, необыденно, какая-то глубокая культура в рамке русской крепкой семейственности. Это было то, по чем мне тосковалось, и я стал аккуратным посетителем розановских воскресений, изредка заглядывая к Вас. Вас. и в другое время.

В столовой в воскресные вечера был всегда изящно сервирован чай. На столе торты, вино, фрукты. За самоваром обычно сидела жена Розанова — Варвара Дмитриевна или его падчерица — Александра Михайловна Бутягина (автор нескольких талантливых беллетристических произведений). На другом конце большого стола, поджав под себя одну ногу и непрерывно куря, восседал Василий Васильевич. Шел ему тогда 48-ой год. Вот его внешний облик: рыженький, худой, небольшого роста, с маленькими близорукими рысьими глазами, чуточку лукавыми, с высоким голосом и с какими-то немножко шаркающими мягкими шажками. Был он застенчив и не любил больших речей, публичных выступлений. Беседа больше шла около него — с ближайшими соседями по столу. Остальные либо прислушивались, либо вели свои разговоры. Общество у В. В. бывало достопримечательное: кое-кто из Дух. академии и Рел.-фил. общества, из редакций перцовского «Нового Пути», «Мира Исскуства», а изредка, очень изредка кто-нибудь из «Нового Времени». Там его недолюбливали. А некоторые, как Меньшиков и Буренин, и вовсе не переносили. Понимал и любил его один старик Суворин, также отогревший и Розанова, изнывавшего в провинции в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригрел Чехова. Много за это отпустится грехов А. С. Суворину.

Встречал я у Розанова Мережковских, Бердяева, Ремизовых, Белого, Сологуба, Вяч. Иванова, Бакста, о. Петрова, И. Л. Щеглова, Е. А. Егорова. Бывала и молодежь, студенты, литераторы: Пяст, Евг. П. Иванов, Н. П. Ге; музыканты В. В. Андреев, Зак. Бывали и просто молодые люди. Вспоминаю прелестную барышню, дочку horribili dictu * — какого-то чиновника из знаменитого департамента у Пантелеймоновского моста. Розанов звал ее Венерой — и она действительно была очаровательна.



* страшно сказать (*лат.*).



Очень преданы Розанову были молодые Ге и Иванов. Вас. Вас. среди них напоминал греческого философа в своей гимназии. Они вопрошали — а он разрешал все их недоумения. Беседы тянулись долго — часов до 2-х ночи. Прощаясь, Вас. Вас. целовал тех, кто особенно его расположил к себе в этот вечер. Иногда дарил что-нибудь на память, какую-нибудь вещь, автограф, портрет. Не любил только он дарить свои книги — особенно нам, молодежи. «На все сумеете вы достать деньги, только на книжку жалко. А хорошо читается та книга, на которую пятаки откладывают». Гасли огни, — и В. В. уходил один в свой кабинет, к своим монеткам, рассматривая которые он проводил целые часы по ночам, либо садился писать.

Писал тогда Розанов для «Нового Пути» и для «Нового Времени». В последнем Розанову было нелегко работать. Многие из его статей редакция газеты бросала в корзину. Хорошо, если вмешивался Суворин. Но Вас. Вас. искал большой газетной аудитории, а потому мирился с «Новым Временем». Для него было все равно, где писать свои, розановские мысли. Хотелось лишь для них больше резонанса. В. В. был бесконечно аполитичен.

Весной 1905 г. я уехал в Париж. В. В. просил меня передать привет Струве. Оказалось потом, что такие приветствия П. Б. посылались и с другими. Осенью 1905 г. Минский и Ленин начали было издавать «Новую Жизнь». Розанов, зная, что я принадлежу к крайней левой части студентов, почему-то именно меня избрал, чтобы позондировать почву — нельзя ли ему начать сотрудничать в упомянутой газете. Увы, я не преуспел в этой просьбе. Использовать Розанова политической газете было невозможно. Как обрадовался В. В., когда Сытин пригласил его работать в «Русском Слове». Суворин дал согласие — при условии сотрудничать под псевдонимом — и в «Русском Слове» стали появляться фельетоны Варварина (по жене — Варваре).

По заказу В. В. писать не умел. Помню, раз по поводу рескрипта Булыгину, от 18 февраля 1905 г., Розанов поместил в «Новом Времени» восторженное письмо о милости царя, подарившего народу право выборного представительства: очевидно, В. В. была сделана в редакции соответствующая злокачественная прививка, и В. В. искренно заразился умилением. (А было это вскоре после 9 января, глубоко его расстроившего, хоть он и говорил тогда, что «на крови» свобода будет крепче.) Жена В. В., простая, но бесконечно милая — сердцем почувствовала всю неуместность его дифирамба государю. В. В. был крайне сконфужен и имел очень виноватый вид. Не любила жена Розанова и то, что В. В. избрал своей темой пол — и часто пеняла его за это. В. В. сердился и, конечно, теме не изменил.

Многие знают писателя Розанова — правда, не все еще оценили этого удивительного художника-мыслителя. Но не многие знали Вас. В., как собеседника. Пожалуй, в беседе В. В. был тот же, что и за письменным столом. «Мысли стекают у меня с пера», говорил он. Но так же не надумана, даже неожиданна и для него самого была речь его, когда ничто его не смущало. Говорить публично он не умел, несмотря на педагогическую карьеру. А вот за стаканом чая с двумя-тремя приятелями — говорил он прекрасно, глубоко и удивительно смело. Темы были все те же. Религия, пол, литература. Очень интересовали его писатели наши, изучавшие национальное русское лицо: славянофилы, К. Леонтьев, С. Рачинский, А. А. Козлов.

В связи с изучением вопросов пола Розанов построил собственную характерологию. В частности, и писателей делил он на женственных и мужественных. К женственным причислял он Лермонтова и себя. Это не было заимствованием. Вейнингера он не читал — или прочел 2—3 страницы из середины. Читать внимательно современных писателей он не любил: не стоили его внимания. Вот другое дело — писания святых отцов, археологические изыскания.

Литературный критик, Розанов совершенно лишен был *логической* способности, умения *последовательно* мыслить — единства апперцепции, как говорил Зиммель.

Его ассоциации были всегда не по смежности, а по сходству. Он не был мыслителем, а художником мысли — умел мыслить только образами. Алогический ум — ум, который и определяет по Вейнингеру женственные натуры. Но мысль, капризная, произвольная, неожиданная — пенилась, искрилась, бурно играла в Розанове.

В поле боготворил он женское начало во всех его формах. Как-то возвращаясь от него пешком на Троицкий проспект, часу в третьем ночи, я поражен был, видя, как какая-то трепаная гнилая проститутка тащила к себе гимназиста, подростка лет 14, и потом рассказал об этом, оплакивая мальчика, Розанову. «Дорогой мой — да ведь она же как на зеленом лугу будет отдыхать с ним», обрадовался *за нее* Розанов.

Через несколько лет шел я пешком вечером с Розановым, кажется, из театра, по Невскому и я что-то сказал о проходящих невских «девочках», очень подчеркнув кавычки. Но как осердился Розанов: «Никогда не говорите этого гнусного слова: каждая женщина свята. Я каждую мысленно напутствую крестным знамением».

Очень интересуясь всем о поле, он уверял меня, что ни разу не был в обществе проститутки, в публичном доме, в кафешантане.

В то же время он легко прощал пороки. Как-то разговорились о мастурбации у девушек-подростков. «Уверен, — заметил он, — что грешна каждая: иметь в кармане конфекты, да не лакомиться» (sic!).

Многого я не понимал в нем, и он удивленно говорил мне: «В вас какая-то едкость есть, как у католического патера».

Религией Вас. В-ча был *пантеизм* — и природа распадалась для него на элементы мужского и женского. Всегда и во всем бежал он борьбы, противоположностей и высшей формой жизни считал примирение полов в здоровом браке. Не для пошляков говорил он, когда предлагал ложе новобрачных ставить в храме. Ведь здесь источник жизни и потому хотел он освятить начало брака не только молитвой, но и всенародностью. Дурных вещей ведь публично делать не принято.

Повседневное не интересовало Розанова, как вещь an und für sich*: он все рассматривал sub specie aeternitatis** — и презренна была ему политика. Вот почему и просиживал он за древними монетами целые ночи.

Влекло его и к метафизике, к постороннему — «в мир неясного и нерешенного». В этом, как и в своеобразном гуманизме его, близость его с Достоевским, которому родственен он и по языку острому, напряженному, вещему.

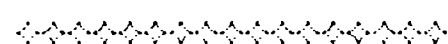
Все земное казалось ему прекрасным. Бога низводил он на землю, усаживая пить с собой чай, хотел убедить его. Розанов — это «человек из подполья» Достоевского, но гениальный в утверждении обывательщины. И облекал он эту обывательщину в прекрасные, вечные формы — из любви к человеку, жалея человека.

Российская «крайняя левая» помышляла о материальных благах для народа — «чтобы хоть через триста лет марки стоили на копейку дешевле», как мечтает где-то у Глеба Успенского сельский писарь. А Розанов хотел сейчас всех насытить материальными благами.

Его раздражало приглашение жертвовать целыми поколениями во имя неизвестного будущего. Как и Достоевскому, Розанову именно за это противна была радикальщина русская всех толков, но за это же восставал он против самого Христа.

Розанов не хотел ничьих страданий — и звал всех униженных и обойденных к семейственности, к церкви, к национальной культуре. Величайших страдальцев видел он в «людях лунного света», к которым причислял и Христа — людях слабых, людях, лишенных способности любить и множиться. Физиологическою неспособностью жить, как все — «нормально» объяснял он неприемлемость для «революционеров» исторических традиционных форм жизни.

Религию почитал он ради умеряющей волнения души обрядности, ради особого ее быта... ради предписываемой ею гигиены.



* сама по себе (*нем.*).

** с точки зрения вечности (*лат.*).



Против Христа восставал дерзновенно — ведь он искренно православным был: не терпел жертвы, умерщвления плоти. Ближе ему был Моисей, еще в начале 900-х гг. увлекался он изучением иудаизма.

Многие считали его антисемитом за его статьи о ритуальных убийствах. Отсюда «легенда», что В. В. раскаялся в антисемитизме перед смертью. Раскаиваться было не в чем. Иудея была второй его родиной — духовной. Детский интерес В. В. к древним таинственный культам, нередко жестоким (перечитайте хотя бы поразительные сцены «Саламбо»!) вызвал у В. В. теорию о том, что у евреев была издавна тайная секта, приносившая человеческие жертвы. При этом он подчеркивает жестокость и многих христианских сект (хлысты, самозакапыватели и т. п.). И в допущении возможности ритуальных убийств В. В. не видел ничего отрицательного для истории евреев. О том же, что погромщики постараются использовать его теорию против еврейства, Розанов не думал: был он наивным ребенком в политике. Кажется, озлобленный травлей против него за статьи о ритуальных убийствах, Розанов написал много несообразного и дурного. Но как все внешне робкие, застенчивые люди, он иногда терял самообладание. И обидчив был он очень. (Интимного для него не существовало — о противоестественных пороках какого-нибудь друга мог он en toutes lettres * написать фельетон в газете. А вот когда я коснулся в беседе с ним его личной жизни, отношения к первой жене и т. п., — о, как разобиделся на меня В. В.! Какие слова злобно изрыгнул! Человек он все же был, хоть и гений (?) — со своими слабостями и грехами, маленькими и большими.

Недолго хорошо жил В. В. Умер Суворин, прекратились издания рел.-фил. ежемесячников «Нового Пути», «Вопросов Жизни». В «Русской Мысли» Розанов оказался лишь гастролером. Не везло В. В. и в домашней жизни. Тяжко, неизлечимо захворала любимая жена В. В. Он почему-то себя считал виновником этой болезни. Лечение поглощало много средств. Скромнее становились квартиры. Переехал на Звенигородскую, в квартиру поскромнее, а потом и в совсем скромную квартиру, на Коломенскую. За год, кажется, до смерти перебрался он в Сергиево-Троицкий посад. Здесь пришлось испытать Розанову форменную нищету. Один из москвичей рассказывает мне, что В. В. можно было незадолго до смерти встретить на вокзале собирающим окурки.

Умер его любимый единственный сын (остальные дети — дочери). Род Розановых оборвался в мужском колене — это было великим ему горем. До конца жизни, однако, сохранил В. В. творческий пытливый свежий ум, яркий, острый язык. Только вот школы после Вас. Вас., как и после Достоевского, не осталось. И Мережковский, и Шестов, и неко-

* напрямик, без сокращений (*фр.*).

торые другие современники Розанова многому у него научились, но они все же не образуют его школы.

Была около него молодежь, любящая, насыщенная розановщиной — но, не знаю почему, розановщина их сушила, и никого не дал литературе этот кружок молодежи, «гимназия» «циника Розанова».

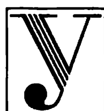
Не только желание в дни о Достоевском помянуть его литературного «двойника», но любовь к незабвенному В. В. продиктовали мне настоящую краткую о нем памятку. Но нужны ли воспоминания о Розанове?

С откровенностью, большей чем у Руссо, написаны им автобиографические признания «Уединенное», два короба «Опавших листьев». Книги, увы, все еще не оцененные.

Гениальность Достоевского раскрылась теперь для всех, даже для политических его антиподов. Родной Достоевскому Розанов, могучий его «отрог», может быть, не такой широкий сложный мыслитель, как Ф. М., ушел в своих откровениях дальше, оказывался дерзновеннее.

Борис Садовской

ЗАПИСКИ



В. В. Розанова бывал я по воскресеньям. Он жил тогда на Коломенской. В кабинете иконы с лампадкой, большой бюст Пушкина; на подставке из черного бархата гипсовая посмертная маска Страхова. Несколько книжных шкапов и на отдельной полке все сочинения хозяина в красном сафьяне. За чайным столом у В. В. дышало провинцией, уездным уютом; казалось, сидишь не в Петербурге, а в Ардатове, не у литератора, а у педагога или чиновника. Варенье, котлеты от обеда, початый домашний пирог. В. В. набивает папиросы, посмеивается, пьет чай под тиканье часов.

При мне у Розанова бывали: балалаечник В. В. Андреев, всегда веселый, с наружностью доброго Мефистофеля, Ремизов, Кузмин, Сологуб с женой, художник Лукомский, поэты Пимен Карпов и Тиняков. Приходил беллетрист Добронравов и пел семинарским басом под рояль «Любви все возрасты покорны».

В. В. очень любил меня. Однажды обнял и с нежностью сказал: «Какой тоненький, настоящий поэт».

В. Пяст

ВСТРЕЧИ

В продолжение той бурной зимы 1905—06 гг. литературные люди «моего» круга собирались не только у Ивановых по средам, — но и по воскресеньям, вечером, либо (часть) у В. В. Розанова, либо у Федора Сологуба на Васильевском, у Андреевского рынка. Но «гегемония» (очень подходящее для классицизма Вячеслава Иванова слово!), «гегемония», несомненно, принадлежала Ивановской башне.

Чего там не перебывало в тот год! Чего и «кого»! Очень разнообразные бывали «среды»! <...>

Я храбро взялся за чтение. Повесть называлась «Четыре». Кто не знаком с этим произведением, — для того я не имею желания его пересказывать. Но, я думаю, и сам почтенный автор повести не удивлялся тому, что я, правда внешне ничем не выдавая своего волнения и смущения, внутренне каждую данную секунду, что называется, проваливался сквозь землю от стыда. Так бывает, когда — в сущности, весьма трусливый — пловец под взглядами зрителей молодечески проплывает порядочное пространство в глубоком месте. Так я читал и читал фразу за фразой это бессовестное сочинение — пока комната наполнялась гостями — и увы! на этот раз из числа хорошо знакомых мне «символистов».

Мережковский сидел за столом, а я все читал, читал, читал... Однако приход В. В. Розанова был уже «каплей», переполнившей чашу. Так как вход этого сравнительно редкого у Иванова гостя вызвал некоторое движение, а именно Вячеслав встал к нему навстречу (хотя Розанов, к моему ужасу, остановившись в дверях, делал знаки рукой, что он-де не желает ни на минуту мешать чтению), — я все-таки улучил минуту, чтобы набраться мужества и «решиться». Со словами: «Не могу больше, в горле першит, что-то не в порядке...» — я быстро соскочил с места, всучив рукопись автору. Реалисты начали было ахи и охи, — но Арцыбашев поту-

шил сожаления своих товарищей тем, что сразу же вызвался заменить меня в чтении. Тут не меньше, чем ранее содержанию повести, я поразился пискливому голосу того, кто взялся ее читать вслух. Он так не гармонировал с «дерзновениями» автора знаменитого «Санина».

Реалисты хотели, по-видимому, диспута по поводу прочитанной вещи. Сколько помнится, он не состоялся. Впрочем, Вячеслав Иванов позолотил, по своему обыкновению, проглоченную автором пилюлю, сказав прилично-продолжительную речь... <...>

Но даже у Розанова, даже секретарь «Нового Времени» (Д. Егоров) держал речь о том, что русским не хватает одного — воли к власти. Что, обладай Совет Рабочих Депутатов такой волей, он бы мог свободно смести правительство и стать на его место, то есть правительством. Но этой воли у нас вообще нет, и вот почему именно правительство арестует Совет, а не наоборот.

Посетитель В. Розанова, сам до того сотрудник «Нового Времени» и секретарь департамента государственного казначейства, В. С. Лихачев, поэт-юморист и переводчик (к слову сказать, литератор первоклассный и незаслуженно забытый), внезапно порвал и с «Новым Временем» и с департаментом, осознал себя близким к социалистам-революционерам, стал помещать едкие эпиграммы в «Сыне Отечества» и, сложившись с тремя другими литераторами по двадцать пять рублей — так, по крайней мере, тогда говорили — на брата, основал первый по времени и один из лучших по качеству сатирический еженедельник «Зритель». Орган имел большой успех и принес издателям некоторые деньги.

Второго журнала редактором был только что приехавший тогда из Одессы, молодой, но уже женатый литератор Корней Чуковский, тогда еще бывший больше поэтом, чем критиком. И не детским поэтом, каким стал впоследствии, а сатирическим. <...>

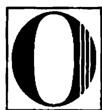
Я скомкаю описание конца той зимы (1906 г. — *В. С.*). Продолжали бывать по воскресеньям кто у Федора Сологуба, а кто — у Розанова. Я бывал и там, и тут; и о тех, и о других «воскресеньях» есть уже воспоминания. Хорошо изобразил вечера у Розанова Д. А. Лутохин, напечатавший свои воспоминания в 1922 году. Я их читал — и живо вставали поблекшие образы — большой, просторной квартиры во много комнат, негусто установленных мебелью, рождественской елки, на которой резвились дети Розанова и их знакомые, барышни и молодые люди; одна из барышень была красива, как сама Венера (вспоминает Д. Лутохин). У Розанова почти не читали своих литературных произведений; но обильно закусывали; долго засиживались за чайным столом; разговаривали, — говорил по большей части хозяин... Потом он вел всех или некоторых гостей в кабинет, — тоже очень просторный, тут было много стеклянных ящиков с аккуратно разложенными монетами: журналист

по профессии, — в эту пору Розанов считал себя по призванию нумизматом, и ничем больше. Страсть к собиранию монет вытесняла в нем тогда все остальное. Но нужно сказать, он умел извлекать из этой нейтральной страсти лучшее для себя и для своих собеседников. Вытаскивая какую-нибудь монету или показывая пальцем на несколько их сразу в витрине, — Розанов начинал объяснять особенности чеканки; по ним отскакивал к другим данным материальной культуры, — и таким образом за ушко как бы вытягивал на свет целый кусочек эпохи. Возможно, он и фантазировал немного, — но во всяком случае почти всегда очень талантливо.



Е. Книпович

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

ба они – и мать и сын – высоко ценили Розанова за тот – в их восприятии – дух глубины и пытливости в исследовании человеческого сознания и подсознания, который живет в «Уединенном» и «Опавших листьях». Но, отдавая должное (может быть, даже больше, чем должное) таланту Розанова, Блок все-таки ощущал его как глубоко чужого. И не только из-за духа «Нового Времени» и личных выпадов против самого Блока.

Думаю, что это ощущение чуждости было взаимным. Несколько лет спустя, уже в Москве, Андрей Белый сказал мне, что Розанов так определял внешность Блока: античная маска, за которой прячется лицо колдуна из «Страшной мести». Я лично оценила в Розанове необычайную тонкость стилистики, блестящую точность выражения мыслей (глубоко мне чужих), загримированную под нарочитую и глумливую небрежность.



А. В. Тыркова-Вильямс

НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ

На тех верхах петербургской интеллигенции, которые я знала, мне редко приходилось слышать горделивые речи о прошлом России. К русской истории было принято относиться сурово, пренебрежительно, насмешливо.

Как-то раз собрались у нас гости. Был и Ф. И. Родичев. Не помню по какому поводу, он разразился речью о том, что у России вовсе не было истории. За тысячелетнее свое существование Россия не выработала личностей, самодержавие не давало им возможности развиваться, а без личностей не может быть и истории.

— Взгляните на земли бывшей Новгородской республики. Посмотрите на берега Волхова. Тысяча лет, если не больше, владеем мы ими. Это места старейших русских расселений, а живут, как жили во времена Гостомысла. Все застыло. Лучше не говорить про русскую историю. Ее просто нет.

С бедным В. В. Розановым, который, пощипывая рыжую бородку, стоял тут же, чуть не сделался удар. Но он не мог ни перекричать, ни переспорить Родичева. И другие гости поддерживали эту чаадаевскую точку зрения на прошлое России.



Проф. Валентин Сперанский

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМЬЕ

очти такими же чертами характеризовал мне Анну Григорьевну (на именинах А. А. Измайлова 30 августа 1916 года) В. В. Розанов, унаследовавший у Достоевского «с великой сладостью и великой горечью» свою единственную законную жену Аполлинарию Панкратьевну Суслову.

— Анна Григорьевна убедила меня окончательно и бесповоротно, что ее гениальный супруг был удобный и уютный обывательский дядя, что-то вроде назидательного «подарка молодым хозяйкам» почти для вегетарианского меню... — сказал Розанов.



Георгий Иванов

ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ

На ежедневно происходившие диспуты тоже ломилась толпа. Мест не хватало для желавших узнать «Куда мы идем?», «Виновата ли она?», «Любовь или самоубийство?», и т. д., и т. д. И так вплоть до остро щекочущего нервы зрелища на вернисаже выставки «Мира Искусства». Там однажды нарядная публика «всего Петербурга», забыв о картинах, теснилась, напирая друг на друга, вокруг гладко выбритого элегантного господина с красной гвоздикой в петлице. Это был Борис Савинков, глава «боевой организации», заочно приговоренный к повешенью. Бесстрашие? Еще бы — и какое! Но можно ли представить себе в такой роли, скажем, Каляева? Невозможно! Так же, как нельзя вообразить Каратыгина играющим «князя Матвея». Или Льва Толстого, ведущего в «Религиозно-философском обществе» спор о «святости пола» с Мережковским и Розановым...

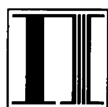
Кстати, как раз имя Розанова — пожалуй, самое характерное из прославленных «имен» предреволюционной эпохи. Были писатели более знаменитые широкой и всероссийской знаменитостью, но ни Леонид Андреев, ни Горький, ни Мережковский все-таки не имели розановского влияния и обаяния. Его одного постоянно называли гениальным. В книгах Розанова самые разные люди — особенно молодежь — искали и находили «ответы» — которых до него не нашли ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у кого.

Безо всяких сомнений — Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? Чему учил? С чем боролся? Что защищал? Какие выводы можно сделать, прочтя его всего — от «Детей лунного света» до «Апокалипсиса нашего времени»? Ничего, ничему, ни с кем, ничего, никаких! Любая его книга с тем же талантом и находчивостью «убедительно» противоречит другой, и каждая страница

любой из этих книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу... Остается впечатление, как будто Розанов неизменно руководился советом одного из персонажей «Le rouge et le noir»: «Если вы хотите поражать людей — делайте всегда обратное тому, чего от вас ожидают». Но стендалевский «prince Korazoff», наставляя так Жюльена Сореля, имел в виду великосветских денди своей эпохи — занятие невинное. Розанов, пользуясь, как отмычкой, тем же приемом, овладевал и без того почти опустошенными душами, чтобы их окончательно, «навсегда» опустошить. Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, «пафос» розановского творчества — непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим «профессионалом разложения» — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивавший Империю к октябрьской пропасти.

М. В. Нестеров

ВОСПОМИНАНИЯ



ятого января [1907 г.] на выставке собралось до шестисот приглашенных. Было оживленно. Все мои близкие на этот день приехали из Киева, из Уфы в Петербург. Выставка понравилась. <...>

Познакомился я на выставке с В. В. Розановым. Его статьи о выставке были наиболее интересными. Появились они в «Новом Времени», «Золотом Руне» и «Русском Слове» (под псевдонимом Варварина).

<...>

Окончив все дела в Москве, я уехал в Кисловодск, где в тот раз у Ярошенко жил В. В. Розанов с семьей. Наши встречи с ним нередко кончались бурными спорами, разногласиями, но не ссорами.

Н. А. Бердяев

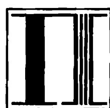
РУССКАЯ ИДЕЯ

В начале века Д. С. Мережковский играл главную роль в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре. Это —литератор, до мозга костей живущий в литературе и словесных сочетаниях и отражениях более, чем в жизни. У него — большой литературный талант, он — необыкновенно плодовитый писатель, но он не был значительным художником, его романы, представляющие интересное чтение, свидетельствуют об эрудиции, имеют огромные художественные недостатки, они проводят его идеологические схемы, и о них было сказано, что это — смесь идеологии с археологией. <...> Христос и антихрист — его основная тема. Возможность нового откровения в христианстве для него связана с реабилитацией плоти и пола. Мережковский — символист, и «плоть» оказывается для него символом и всей культуры и общественности. Его нельзя понять без влияния на него В. В. Розанова. Последний — гениальный писатель, его писательство было настоящей магией слов, и он очень теряет от изложения его идей вне литературной формы. Он не сразу себя обнаружил во весь свой рост. Его истоки — славянофильски-консервативные и православные. Но не в этом его интерес. Писания его приобретают захватывающий интерес, когда он начинает отступать от христианства, делается острым критиком христианства. Он становится моноидеистом и говорит про себя: «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». В действительности он был очень талантлив, но талант его разворачивается на талантливой теме. Это — тема пола, взятая как религиозная. Розанов разделяет религии на религии рождения и религии смерти. Юдаизм, бóльшая часть языческих религий — религии рождения, апофеоз жизни, христианство же есть религия смерти. Тень Голгофы легла на мир и отравила радость жизни. Иисус заворожил мир, и в сладости Иисуса мир

прогорк. Рождение связано с полом. Пол — источник жизни. Если благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол. Христианство в этом отношении остается двусмысленным. Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно даже видит оправдание брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но пола оно гнушается и закрывает глаза на него. Розанов считает это лицемерием и провоцирует христиан на решительный ответ. Он, в конце концов, приходит к мысли, что христианство — враг жизни, что оно есть религия смерти. Он не хочет видеть, что последнее слово христианства есть не распятие, а Воскресение. Для него христианство не религия Воскресения, а исключительно религия Голгофы. Никогда с таким радикализмом и такой религиозной углубленностью не ставился вопрос о поле. Решение Розанова было неверно, это означало или ре-юдаизацию христианства, или возврат к язычеству, он хочет не столько преображения пола и плоти мира, сколько их освящения такими, каковы они есть. Но постановка вопроса была верной и была большой заслугой Розанова. У него было много почитателей священников, которые его плохо понимали и думали, что речь идет о реформе семьи. Вопрос об отношении христианства к полу превратился в вопрос об отношении христианства к миру вообще и к человечеству. Ставилась проблема религиозной космологии и антропологии.

Д. С. Мережковский

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕЛИГИЯ



одобно Соловьеву, вышел Розанов из «крайней правой» Достоевского; но, в конце концов, после всех внутренних и внешних переворотов, очутился в «крайней левой», более крайней, чем даже Ницше. Достоевский ужаснулся бы, увидев, кого произвел на свет в лице этого ученика своего. Начал Розанов, как самая кроткая овечка славянофильского стада. Глубочайший консерватизм, смиреннейшая покорность всем «предержащим властям», в особенности «трем незыблемым русским началам»: самодержавию, православию, народности — такова исходная точка его. Кажется, не было человека с большею, чем он, готовностью жить по преданию, идти по проторенным путям и с меньшим вкусом к открытию новых дорог, к личной ответственности, которую предполагает всякая, в особенности религиозная, революция. И ежели все-таки дошел он до таких метафизических крайностей бунта, то в этом не его вина: не столько он сам дошел, сколько его довели до этих крайностей; он революционер поневоле. В глазах простодушных русских революционеров до сих пор еще тяготеет на Розанове неизгладимое клеймо реакции. Впрочем, бывший сотрудник «Московских Ведомостей», нынешний сотрудник «Нового Времени» сам отчасти дает к этому повод, высказывая иногда революционнейшие мысли с консервативнейшим видом; вообще внешний вид, наружность всегда вредили ему.

— Во мне есть Акакий Акакиевич, — заметил однажды Розанов, стоя перед зеркалом. — Вы не можете себе представить, до чего повредила мне в жизни моя мизерабельная наружность!..

«Мизерабельный» — словечко Достоевского, у которого так же, как у Гоголя, призрачно-исполинское, апокалипсическое вырастает иногда из буднично-пошлого.



Какая, в самом деле, противоположность этих двух лиц, Вл. Соловьева — с его иконописным лицом Иоанна Предтечи и Розанова — с обыкновенным лицом «рыжеватого господина в очках», мелкого контрольного чиновника или провинциального гимназического учителя из поповичей. Но по мере того, как вглядываешься в это лицо, открывается удивительная смесь бесстрашной и почти бесстыдной, цинической пытливости, как бы бездонного углубления тысячелетней мудрости — с детским простодушием и невинною хитростью — смесь Акакия Акакиевича с Великим Инквизитором.

Как произошла эта смесь? Как мирная овечка превратилась в хищного льва, в неистового богоборца или, вернее, христоборца, ибо не с Богом-Отцом, а только с Сыном Божиим, со Христом борется Розанов? Это — тот же вопрос, как о Ницше, но поставленный глубже, потому что реальнее и вместе с тем метафизичнее, острее.

Прежде всего надо понять, что христоборчество Розанова есть нечто небывалое, не имеющее себе подобного во всем историческом христианстве. Ибо все доныне бывшие отступления от Христа имели в последнем основании одно из двух: или демонизм, религиозное извращение, которое ставит абсолютное зло на место абсолютного блага, дьявола — на место Бога; или рационализм, возмущение разума человеческого против *Креста*. В отступлении Розанова нет ни того, ни другого.

Никогда не прельщало его познание «так называемых глубин сатанинских». Он страдает не избытком, а скорее недостатком этого познания. Зло соблазняет его только эмпирически, а величайший для него соблазн метафизический — возвращение к потерянному раю, к золотому веку, к той детской невинности, которая не хочет зла, потому что зла не знает. Он и грешит именно тем, что не столько преодолевает, сколько не видит всей темной демонической стороны мира, отворачивается от нее и жмурится, как маленькие дети от того, что их пугает. Все добро, нет зла — вот во что хотелось бы ему поверить окончательно. Не видит он и собственного демона или черта, потому что «мизерабельный» черт ему более свойственен, чем «великолепный» демон; а если бы он увидел его, то испугался бы, как опять-таки маленькие дети пугаются, и убежал бы к первому «доброму Боженьке», все равно, языческому идолу или христианской «иконке», только бы в уютном домашнем уголке и со «святою лампадочкою».

— Я человек добрый, люблю доброго Бога и терпеть не могу чертовщины, — ответил бы Розанов на метафизические искушения демонизма, и этот самый простой ответ для него самый глубокий.

Рационализм чужд ему в той мере, как демонизм. Если кто-нибудь понял, то это, конечно, он, что все возражения человеческого разума на «безумие Креста» происходят от философского недомыслия или от ре-

лигиозной пошлости. Credo quia absurdum*, — готов он воскликнуть, может быть, с чрезвычайною легкостью. Если же все-таки отступает от Христа, то вовсе не потому, что верит в него мало, а потому, что слишком верит во что-то иное. В самом отношении к рационализму, так же как к демонизму, он впадает в противоположную крайность — грешит не избытком, а скорее недостатком религиозной трезвости: иногда жертвует безумию божественному не менее божественным разумом, Логосом, который ведь все-таки должен господствовать и служить непреложным доказательством религиозной подлинности этого безумия.

Во всяком случае, нельзя не поверить искренности Розанова, когда он признает, что ни разу в жизни не случалось ему читать Евангелия без ясного и неотразимого ощущения, что это — книга, не имеющая не только ничего себе равного, но и подобного среди всех созданий человеческих, что каждое слово ее — как бы зияющий просвет в иные миры, непрестанное чудо: никогда человек не говорил так, как этот Человек. Ни разу в жизни Розанов не усомнился в том, что человек Иисус — не только человек, но что есть в Нем Существо, несоизмеримое ни с чем в порядке человеческом. Говоря о Христе и даже против Христа, никогда не теряет он чувства этой несоизмеримости. Кажется, никто из отступников не приступал снова так близко, так вплотную ко Христу, как Розанов, не всматривался так пристально в то именно человеческое, что заставило мир поклониться «Сыну плотника» как Сыну Божьему; никто из противников Его так не испытывал на себе той неодолимой прелести, которою Вознесенный на древо привлек к Себе мир. И еще кажется, что вот-вот не выдержит он, до того прельстится этою прелестью, что, падая к ногам Христа, воскликнет: «Господь мой и Бог мой!»

— Послушайте-ка, Василий Васильевич, — заметил ему кто-то после яростных нападок его на Христа, которые могли бы казаться кощунственными в других устах, ибо Розанов никогда не кощунствует, — ну, а что, если бы увидели перед собою *живого* Христа, ведь вы не посмели бы посмотреть ему прямо в глаза?

— Посмел бы, видит Бог, посмел бы! Я и Ему в лицо сказал бы все, что вам говорю, — воскликнул он, и такая сила была в этих словах, что собеседник подумал: кто знает, ведь, пожалуй, с него сталось бы.

— Я знаю, — признался однажды Розанов в очень глубокой и сердечной беседе, — я знаю, что как бы я ни нагрешил, чего бы ни наделал, Бог меня все-таки любит и никогда не покинет.

— За что же Бог вас так любит?

— За то, что я простой и добрый человек.

— А Христа не любите?

* Верю, потому что абсурдно (*лат.*).



— Не люблю.

— Почему?

— Потому именно, что Он мне кажется не простым и не добрым.

Чтобы понять опять-таки страшную силу этих слов, надо было видеть «святую простоту», с какой они были сказаны. Даже не овечка, а божья коровка, вдруг вырастающая в апокалипсического льва, в того апокалипсического зверя, о котором говорится: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?

Некоторые обстоятельства жизни заставили его задуматься об отношении сначала православной церкви, затем всего христианства, затем Евангелия и, наконец, самого Христа — к браку.

Брак есть таинство, сам Христос благословил брак — таково общее место христианства, подобное той казенной надписи, которая имеется на всех кредитных бумажках: разменивается на чистое золото. Но тут-то и начинаются сомнения Розанова — сомнения, повторяю, не от маловерия, а от веры в иное.

Если бы действительно Христос благословил брак, то почему же предельною святостью христианскою оказался все-таки не брак, а девство? Физическому закону непроницаемости, по которому два тела не могут быть одновременно в одном и том же пространстве, соответствует закон метафизический, по которому две абсолютные святыни не могут существовать в одной и той же религии: святостью девства уничтожается святость брака, и наоборот. Вот почему христианство, несмотря на словесное принятие брака, только что переходит от слова к делу, неудержимо скользит по уклону безбрачия, до совершенного вытравления пола, до скопчества: есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами, ради царствия Божия. В сторону скопчества и направлены все открытые возможности, все «вмещения», мистическая емкость христианства: могущий вместить да вместит. Недаром же слово это отнесено к безбрачию с такою уверенностью, что никому в голову не пришло, что можно бы отнести его и к браку. Состояние мирское, брачное — minimum, монашеское, безбрачное — maximum христианской святости. И все ее движение совершается от этого minimum к этому maximum, потому что ведь больше и двигаться некуда. Кто женится, поступает хорошо, а кто не женится — лучше. Но лучше и хуже, меньше и больше существуют лишь в порядке относительном, эмпирическом; а в метафизическом, абсолютном — или абсолютное утверждение, или абсолютное отрицание. Это и значит, что брак утверждается христианством только в порядке эмпирическом, а в метафизическом — отрицается.

Сравнивая Новый Завет с Ветхим, Розанов приходит к заключению, что в первом — «кредитные бумажки», а во втором — чистое золото брака; в первом говорится о браке одно, а делается другое, во втором, что

говорится, то и делается. Во главу угла Библии, этой «книги бытия», по преимуществу поставлен завет Отчий: плодитесь и множитесь — и пророчество о последней победе бытия над небытием, Бога над дьяволом силою святого семени: семя Жены сотрет главу Змия. Ветхий Завет и все восходящие к нему ступени, все древние религии Востока суть религии святого пола, святого семени. Общее им всем обрезание указывает на физическую и, вместе с тем, метафизическую точку этого завета, соединение человека с Богом — именно здесь, в поле, в предельной, «крайней плоти», откуда семя изливается и где мужское семя прикасается к женскому. Метафизическое отрицание семени, бессемянное зачатие, поставлено во главу угла Евангелия, «книги небытия», по преимуществу, как утверждает Розанов: по этому новозаветному пророчеству, не «семя жены», а жена без семени «сотрет главу Змия». Блаженны утробы не рождавшие и сосцы не питавшие — таково, по мнению Розанова, единственно подлинное из всех евангельских «блаженств». Отчий завет отменен Сыновним; между Евангелием и Библией разверзается бездна, в которую и проваливается весь христианский мир.

Для того чтобы сделать ощутительным, до какой степени христианством принимается только идеальная видимость, а не реальное существо пола, Розанов предполагает, что чета новобрачных, после совершения таинства, замедлила в церкви, провела в ней первую ночь и то, что благословляется на словах, совершилось на деле — «двое стали в одну плоть», в одну кровь там, где совершается таинство Плоти и Крови. Мерзость из мерзостей, ужас из ужасов! Прикосновение одного из двух мистических полюсов к другому — человеческого семени к Плоти и Крови Христовой — есть то, чего не только нельзя вынести, но о чем и подумать нельзя без неимоверного кощунства, без представления о сатанинском шабаше, о черной мессе. Семя, величайшая святыня Ветхого Завета, становится в христианстве величайшею скверною. Так словами прикрывается непримиримая антиномия первого религиозного опыта, первого Богоощущения в обоих Заветах.

Но если пол — самая огненная точка, самое реальное и в то же время мистическое утверждение бытия в Боге, то отрицание пола есть вместе с тем самое реальное и в то же время мистическое отрицание бытия, «мира сего», мира явлений, земли, плоти. Царство Мое не от мира сего. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот почему все попытки включить в христианство плоть мира с ее ростом и цветом — культурою, наукою, искусством, общественностью — никогда ни к чему не приводят. Возвращаясь к миру, человечество естественно уходит от христианства, становится языческим; и наоборот, возвращаясь к христианству, уходит от мира.

Внешняя видимость совершенно противоположна внутренней сущности Евангелия: извне слово становится плотью; внутри плоть становится словом, бесплотною, отвлеченною духовностью, извне — победа жизни над смертью, внутри — победа смерти над жизнью; извне царствие Божие — брачный пир; внутри — пост безбрачный, скопчество ради царствия Божия: на словах — любовь, уму и сердцу человеческому непостижимая, а на деле — то новое христианское жестокосердие, которое «варит козленка в молоке матери». Недаром в самом Евангелии предсказывается, что при конце мира охладевает любовь, а в Апокалипсисе является перед престолом Агнца некое стеклянное море. Розанову кажется, что пророчество исполняется: весь мир застывает, как в ледяной коре, в этой страшной, отвлеченно-словесной, «стеклянной», «охладелой» любви.

Но не людьми ли искажено подлинное учение Христа? — Нет, отвечает Розанов, не следует сваливать с больной головы на здоровую. Именно здоровье и благость природы человеческой спасают людей от окончательной гибели, которая наступила бы, если бы они исполнили учение Христа. Христианство лишь постольку и приемлемо, поскольку оно изменяет Христу. В этом смысле, утверждает Розанов, священники лучше церкви, церковь лучше христианства, христианство лучше Евангелия. Евангелие лучше Христа.

Блажен, кто не соблазняется о Мне. Человечество не могло не соблазняться нечеловеческою прелестью этого единственного Существа, Которого весь мир не стоит, и, соблазненное, отдало Ему все, что имело, «не возлюбило за Него души своей даже до смерти» и, умирая, пело акафист Иисусу Сладчайшему. Он один сладок и, по сравнению с этой сладостью, весь мир кажется горьким. «От этой сладости весь мир прогорк». Воскресение Христа — умерщвление мира, принятие Христа — отвержение мира. По виду Сын Божий приносится в жертву миру: в действительности мир приносится в жертву Сыну Божьему. Это словами в Евангелии не сказано; но последняя тайна всякой религии остается несказанною. Не словом, а мановением поманил Христос человечество к небытию — и на это мановение ринулся мир.

Но ежели Христос есть отрицание мира, то одно из двух: или Христос воистину Сын Божий, и тогда отец мира — не Бог; или Бог — Отец мира, и тогда Христос — Сын другого Отца.

Отсюда последний ужасающий вывод, которого не делает, по крайней мере не высказывает, Розанов, но которого нельзя не сделать. Вывода этого не делает он отчасти по той «мизерабельности», которая у него не только в наружности, — по самой обыкновенной житейской робости, закоренелой консервативной привычке, не выходить из пределов дозволенного русскою цензурой. Великий Инквизитор снова превращается

в Акакия Акакиевича, яростный лев в смиренную овечку или даже божью коровку, которая, при малейшей опасности притворяясь мертвою, заваливается ножками вверх.

— Не виляйте же, Василий Васильевич, ответьте, наконец, прямо, кто, по-вашему, Христос? — спросил его однажды собеседник после долгого и, как всегда, тщетного спора.

— Как же вы не понимаете? — зашептал Розанов, наклоняясь к самому уху собеседника и боязливо оглядываясь. —Об этом говорить не надо. Христос ведь это и есть Денница... прости, Господи, мое согрешение!..

И он торопливо начал креститься мелкими частыми крестиками: точно так же он крестится, когда во время домашнего молебна старенький батюшка Всех Скорбящих подымает Владычицу на руки, а Василий Васильевич, по древнему народному обычаю, для получения наибольшей благодати, согнувшись почти до полу, как будто на четвереньках, пролезает под иконою.

Но последняя причина того, что Розанов не делает этого вывода, — не робость, а что-то более глубокое и подлинно религиозное. Он смутно чувствует, что, сделав этот вывод, тотчас бы погиб, провалился бы окончательно, если не в безумие, как Ницше, то в благоразумие, в позитивную плоскость, пошлость и скуку, ту метафизическую скуку, когда вечность делается, как для Версилова, однообразным шарманочным «мотивом из Лучии», как для Свидригайлова — «закоптелой баней с пауками по углам». Розанов отрицает Христа, но этим отрицанием только и живет, и дышит, и движется. Хочет уйти, отступить от Него навсегда порвать с Ним последнюю связь, но не может, и опять возвращается, приступает, пристает к Нему, вглядывается в него все пристальнее, как будто чего-то ждет от Него, как будто чувствует, что есть в Нем какая-то загадка, которую ему, Розанову, не дано разгадать. «Меня всю жизнь Бог мучил», — говорит один из героев Достоевского. Меня всю жизнь Христос мучил, — мог бы сказать Розанов. И каждый раз, когда он готов отречься от Христа окончательно, безвозвратно, в последнюю минуту слышит он знакомый и чуждый зов: *Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? Трудно тебе прать против рожна.* Умом прет против рожна, отрицает и ненавидит Христа, а сердцем влечется к нему неодолимо и кажется, повторяю, вот-вот упадет к ногам Его и воскликнет: Господь мой и Бог мой!

Всякое слово и хула, которое произнесут люди на Сына Человеческого, простится им, не сказано ли это о таких именно отступниках, как Розанов? Ведь он делает то, что делает, — не во имя свое и не по воле своей; и не столько сам делает, сколько это делается с ним. Вот почему не с него это спросится, а с тех, кто довел его до этого.

Отступление Розанова, неизбежное следствие всего исторического христианства, обнаруживая скрытую, но всегда существовавшую анти-

номию Ветхого и Нового Завета, Отчей и Сыновней Ипостаси, показало непереступаемые мистические пределы христианства. Не во имя свое, а во имя Отца Розанов восстал на Сына. Но ежели некогда Отец возлюбил тех, кто восставал на Него, во имя Сына Грядущего, — то и Сын Пришедший не возлюбит ли тех, кто восстает на Него и борется с Ним, во имя Отца и, может быть, Духа Грядущего.

Недаром Вл. Соловьев не кому другому, как именно Розанову, открыл свою самую святую и несказанную тайну о «религии Св. Духа», и недаром Розанов, хотя сам не понял этих слов, но запомнил и передал их нам как самое глубокое и загадочное в своем великом противнике.

Розанов не мог бы войти ни в одну из настоящих поместных церквей христианских; но в грядущую, вселенскую церковь он должен войти.

Почему Апокалипсис, как признается сам Розанов, есть возвращение Нового Завета к Ветхому, конца к началу — откровение не только Сыновней, но и Отчей Ипостаси — величайшее утверждение мира, плоти, земли? Почему предсказано в Апокалипсисе не только «новое небо», но и «новая земля»? Почему грядущий Иерусалим сходит с неба на землю? Почему будет «царство святых на земле»? На все эти вопросы ничего не мог бы ответить Розанов. А между тем ответ на них примирил бы его со Христом.

Отступление Розанова — не только неизбежный вывод прошлого, но и необходимая предпосылка будущего. Если бы не отступил он, или, вернее, не отступился на великом рубеже, отделяющем христианство от Апокалипсиса, то не было бы и тех, которые переступят этот рубеж. Если бы не разделил он Отца и Сына последним разделением, то не было и тех, кто соединит их последним соединением, кто исповедает нераздельную и неслиянную Троицу — Единого в Трех и Трех во Едином.

Казнь Розанова в том, что огромная религиозная сила его остается почти бездейственной. Друзьям церкви он кажется отступником, врагам ее — изувером, а большинству равнодушному — просто юродивым.

Единственные люди в России, которые поняли и приняли его, как великого, может быть, величайшего из современных русских писателей, — так называемые «декаденты».

Н. А. Бердяев

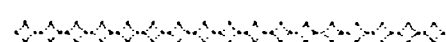
САМОПОЗНАНИЕ


же в конце XIX века у нас были течения, обнаружившие разрыв с традиционным материализмом и позитивизмом интеллигенции, с утилитаризмом в искусстве. В «Северном Вестнике» и в «Вопросах Философии и Психологии» печатались такого рода статьи. Я читал эти журналы еще до своего марксистского периода. А. Волынский был одним из первых в защите в литературной критике философского идеализма, он хотел, чтобы критика была на высоте великой русской литературы, и прежде всего на высоте Достоевского и Л. Толстого, и резко нападал на традиционную русскую критику, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, которые все еще пользовались большим авторитетом в широких кругах интеллигенции. Это был разрыв с традицией «просвещения». Но неприятная манера писать Волынского, недостаточная определенность его философской позиции и отсутствие исторической перспективы мешали его влиянию. Большее влияние имел Д. Мережковский. Его книга о Л. Толстом и Достоевском имела большое значение. Он пытался раскрыть религиозный смысл творчества великих русских гениев, хотя его критика была слишком схематической. Он пробуждал религиозное беспокойство и искание в литературе. В. Розанов начал давно писать, но значение он приобрел лишь позже, после Религиозно-философских собраний, где его проблематика господствовала, и после появления «Нового Пути». Основным в новом течении было влияние Достоевского и Л. Толстого, отчасти Вл. Соловьева и из западных — Ницше и символистов. Это было время нового эстетического сознания и новых течений в литературе и искусстве. Но был ослаблен социально-эстетический элемент, столь сильный в XIX веке. Наряду с течениями в литературе возникли течения в философии. Но главные книги философского творчества еще не появились.

Начали искать традиций для русской философской мысли и находили их у славянофилов, у Вл. Соловьева, но более всего у Достоевского. <...>

Журнал «Вопросы Жизни» был местом встречи всех новых течений. Сотрудниками были люди, пришедшие из разных миров и потом разошедшиеся по разным мирам. Кроме редакторов, С. Булгакова и меня, в журнале участвовали: Д. Мережковский, В. Розанов, А. Карташев, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, А. Ремизов, Г. Чулков, Л. Шестов, М. Гершензон, С. Франк, П. Струве, кн. Е. Трубецкой, П. Новгородцев, Ф. Зелинский, Б. Кистяковский, Волжский, В. Эрн; из политиков — радикалы-освобожденцы и некоторые более свободомыслящие социал-демократы. <...> Еще до переезда в Петербург меня очень заинтересовали петербургские Религиозно-философские собрания. Я даже написал о них под псевдонимом статью в «Освобождении». Собрания эти были замечательны как первая встреча представителей русской культуры и литературы, заболевшей религиозным беспокойством, с представителями традиционно-православной церковной иерархии. Председательствовал на этих собраниях нынешний митрополит Сергий*. Преобладала проблематика В. Розанова. Большое значение имел также В. Тернавцев, хилиаст, писавший книгу об Апокалипсисе. Говорили об отношении христианства к культуре. В центре была тема о плоти, о поле. Эту тему Мережковский получил от Розанова, который был более перворoден и оригинален. Я придавал огромное значение постановке новых проблем перед христианским сознанием. С этим связана была для меня возможность приближения к христианству. Но как философ, прошедший через философскую школу, я находил, что в этой нефилософской среде происходила путаница понятий. Мережковский завел страшную путаницу с символом «плоти», и я ему это много раз говорил. Но он испытывал экстаз от словосочетаний. Путаница, по-моему, заключалась в том, что в действительности в истории христианства было не недостаточно, а слишком много «плоти» и было недостаточно духа. Новое религиозное сознание есть религия духа. Но и само противоположение «духа» и «плоти» мне представлялось ложным. Проблема в другом, в противоположении свободы и рабства. В ренессансе начала XX века было слишком много языческого. И это элемент реакционный, враждебный свободе и личности. По-другому я с этим столкнулся у П. Флоренского, в некоторых московских настроениях.

<...> У Мережковского, как и у многих других русских того времени, ницшеанство связывалось с половым оргиазмом. Мне всегда казалось, что сам Мережковский очень далек от той «плоти», к освящению кото-



* *Примечание 1944 г.* Недавно избранный патриархом и скоро после этого умерший.

рой призывает, и что его отношение к этой «плоти» носит ментально-эстетический характер. Он иногда употребляет слово «свобода», но проблема свободы у него отсутствует, он ее никогда не ставит. «Плоть» поглощает у него свободу. Свобода есть дух. Более всего меня оттолкнуло от него отсутствие темы о свободе. Это ведь и есть тема о достоинстве человека. «Плоть» превратилась у него в символ пола. Мережковский был совершенно прав, когда говорил о правде любви Анны и Вронского против неправды законника и фарисея Каренина. Но эта тема должна быть формулирована как борьба за свободу и достоинство человека против неправды законничества и авторитета, унижающего человека. Мережковский утопил это в своей схеме плоти и духа, в мистическом материализме пола. Дух есть свобода, а не аскетически-монашеское отрицание и умерщвление плоти. У Розанова, проблематика которого не носит такого ментально-литературного характера, «плоть» и «пол» означали возврат к дохристианству, к юдаизму и язычеству. Но эта реабилитация плоти и пола была враждебна свободе, сталкивалась с достоинством личности как свободного духа. Не преображенный и не одухотворенный пол есть рабство человека, плен личности у родовой стихии. У Розанова и нет личности. У него жизнь торжествует не через воскресение к вечной жизни, а через деторождение, т. е. распадение личности на множество новых рожденных личностей, в которых продолжается жизнь рода. Розанов исповедовал религию вечного рождения. Христианство для него религия смерти. Мережковский в этом не шел за ним. У него пол не рождающий. Розанов был натуральный, у Мережковского же ничего натурального нет. Но этим самым задавленный в природном смысле пол превратился в ментальное состояние, окрашивающее все литературное творчество. Между мной и Розановым и Мережковским была бездна, потому что для меня основной проблемой была проблема свободы и личности, т. е. проблема духа, а не «плоти», которая находится во власти необходимости. И это менее всего означало тот аскетический дух, против которого боролся Мережковский. Но постановка в центре проблем личности и свободы означает большую роль момента морального. Эстетический аморализм меня отталкивал, как равнодушие к достоинству человека. О Розанове нужно сказать специально.

В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплевывая. Самые поразительные

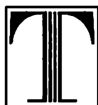
мысли он иногда говорил вам на ухо, приплевывая. Я, впрочем, не задаюсь целью писать воспоминания. Хочу отметить лишь значение встречи с Розановым в моей внутренней истории. Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами. Ко мне лично Розанов относился очень хорошо, я думаю, что он меня любил. Он часто называл меня Адонисом, а иногда называл барином, при этом говорил мне «ты». О моей книге «Смысл творчества» Розанов написал четырнадцать статей. Он разом и очень восхищался моей книгой и очень нападал на нее, усматривая в ней западный дух. Но никто не уделял мне столько внимания. Наши миросозерцания и особенно наши мироощущения принадлежали к полярно противоположным типам. Я очень ценил розановскую критику исторического христианства, обличение лицемерия христианства в проблеме пола. Но в остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне христианства, потому что это значило для меня быть на стороне личности против рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ человека. Розанов был врагом не церкви, а самого Христа, который заворожил мир красотой смерти. В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, много плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу. Свечечка конкретно-чувственна, Бог же отвлеченен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно. Розанов подтверждал, что в церкви было не недостаточно, а слишком много плоти. Его это радовало, меня же это отталкивало. Когда по моей инициативе было основано в Петербурге Религиозно-философское общество, то на первом собрании я прочел доклад «Христос и мир», направленный против замечательной статьи Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира». Это не нарушило наших добрых отношений. Он очень любил Лид<ию>. За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он производил тяжелое впечатление, заговаривался, но временами был блестящ. Он сказал мне на ухо: «Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису». Розанов производил впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспособляется. Но я думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся. В его писаниях было что-то расслабляющее и разлагающее. Он много способствовал моде на проблему пола. Я как-то написал о нем статью «О вечно бабьем в русской душе». Влияние Розанова противоположно всякому закалу души. Но он остается одним из самых замеча-

тельных у нас явлений, одним из величайших русских писателей, хотя и испорченных газетами. На его проблематику не так легко ответить защитникам ортодоксии. Он по истокам своим принадлежал к консервативным кругам, но нанес им тяжелый удар. Впрочем, я заметил, что правые православные предпочитали В. Розанова Вл. Соловьеву и многое ему прощали. Розанов мыслил не логически, а физиологически. По всему существу его была разлита мистическая чувственность. У него были замечательные интуиции о юдаизме и язычестве. Но уровень его знаний по истории религии не был особенно высок, как и вообще у людей того времени, которые мало считались с достижениями науки в этой области. Вспоминаю о Розанове с теплым чувством. Это была одна из самых значительных встреч моих в петербургской атмосфере.



Борис Зайцев

ГОГОЛЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОМ

ак что гоголевские торжества проходили неважно. Единственно весело оказалось на ночном рауте в Думе.

...Около полуночи подымались мы по лестнице, среди разодетой, нарядной, живой толпы. Николай Иванович Гучков, городской голова, во фраке, во всем параде, встречал прибывающих у входа. Залы быстро наполнялись. Много было света, гула, знакомых и незнакомых; с кем-то знакомились, кому-то нас представляли...

Москва показала гостеприимство. Фрукты, угощения, цветы, шампанское. Какие-то опять речи — кажется, приветственные иностранцам, — но все это быстро потонуло в общем и веселом гомоне. Разбились по компаниям, расселись по столам, и началось московское объедение и хохот. Мало походило это на Европу. И благонамеренный gogolian realistic в пуританских воротничках не без удивления озирался, как и старый Вогюэ в зеленом мундире с пальмами.

Мы засели с Василием Розановым. Кто-то подсаживался, кто-то отсаживался, лакеи таскали бутылку за бутылкой шампанского — могу сказать, хорошо я тогда узнал Розанова... — всю повадку его, манеру, словечки, трепетный блеск небольших глазок, весь талант, зажигавшийся чувственностью, женщиной. Очень был он блестящ и мил в ту дальнюю ночь гоголевских торжеств.

Все шутки его, и блестки отблистали, как и ночь прошла.

Мы возвращались на рассвете мимо Гоголя того же, детища Николая Андреича, из-за которого столько наговорили ораторы. Гоголь сумрачно сидел на бульваре. У ног его, с барельефов, глядели Чичиковы, Хлестаковы, знакомый Гиляровский-Бульба, воробьи чирикали. Бульвар был пустынен.

Праздники кончились. Наша жизнь пошла нам данной чередой — Гоголева по-своему. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность.

П. М. Пильский

В. В. РОЗАНОВ

1

Как мало интересных людей!.. Горсть! Что такое: «интересный»? Урод! В психологическом отношении это — то же, что заспиртованные головастики, люди с тремя руками или бесхвостые обезьяны. «Интересные» — неожиданность. Они — исключение. Ум, красота, сила, даже талант — обыкновенное. Но «интересные» — редкость.

Таким интересным, единственным, ни на кого не похожим был В. В. Розанов. Недаром многие смотрели на него, как на некое явление.

— Он был, — говорит З. Н. Гиппиус, — до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно называть «явлением», нежели человеком*.

Это — метко. Но как бы ни стремиться к абстрагированию, как ни заменять человека схемой, жизнь — формулой, Розанов остается реальным существом, человеком, писателем.

Он был странный и странствующий.

Умственное кочевничество в эту четверть века в России стало распространенным. Эта одержимость у нас окрасилась притемненным светом какого-то сквозного нигилизма, как бывает сквозной ветер. И, собственно, в идейном странствовании Розанова нет ничего ни удивительного, ни исключительного.

Его эпоха не шла ровным шагом, а бежала, все время припадая то на одну ногу, то на другую. Стремилась, волочась. Интерес розановской личности заключался в том, что он был еще и странен.

* *Гиппиус З.Н.* Живые лица. Выпуски 1-й и 2-й. Изд-во «Пламя». Прага. 1925 г.

И одной из сторон его общей странности было его одиночество. И оно казалось особенным. Эта внутренняя отгороженность не заслоняла мира и не строила глухой стены. Эти перегородки были сквозные. Через них Розанов был виден миру, и мир был виден ему. Но оба друг от друга были занавешены. Разделяющую грань не переступали. Полного сближения не было. В обоих жило большое и острое взаимное любопытство. Но и оно было необычно. В этом взаимном прищуренном разглядывании таилось недоверие, это недоверие происходило от незнания, потому что даже интеллигенция, даже писатели не знали Розанова, как и он, в свою очередь, не знал мира, людей и жизни. Отсюда — скептицизм, из скептицизма — неприязнь. Скептицизм и неверие, т. е. неуверенность, — обычные спутники неведения. И Розанов боялся, а мир его отрицал.

2

Впрочем, уединенная душа Розанова была обречена некоему отшельничеству еще и его некрасивостью. Он этим тяготился. Себя, внешнего, он не любил и этим мучился. В своей замечательной книге («Уединенное») он так и записал:

> — Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом... «Сколько тайных слез украдкой» пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять — зеркало: «Ну, кто такого противного полюбить?» Просто ужас брал... В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего?..

Это было горькое чувство. В нем надо искать корень розановской трагедии. Для него она была особенно тяжка. Надо помнить, что «пол» для него играл первенствующую роль. Все свое мироистолкование Розанов сводил к этой «проблеме». В его философии пол роднился с Богом, и разгадка и восприятие божества им чуялись не в путях ума, а все там же и в том же — в поле.

Этот вопрос его беспокоил. Розанов был им навеки растревожен. В этой области было зажжено его наибольшее любопытствование.

Женщина влекла его, как загадка. Он был полон какой-то особенной, нервной чувственности. Может быть, жадной страстностью. Его раздумье над семейным вопросом, над браком пронизано редкой напряженностью. Тут он был у себя дома. Даже собственные писания, свою вдохновенность он выводил отсюда же — из чувства пола. Об этом есть печатное

свидетельство. Сравнительно недавно вышла книга о письмах Розанова. Это — «Кукха» Алексея Ремизова. И он говорит о том же: «Разговор зашел на тему о писательстве — кто как пишет. Розанов сказал: когда он — в ударе, и исписанные листы так сами собой, непросохшие, и отбрасываются у него...»

Дальше идет слишком интимное признание.

Как-то у Ремизова собрались гости. Были Сологуб, Чулков и Ермилов из Москвы, чтец Чехова. Читал. А позже пришел Розанов.

> «В минуту совокупления, — сказал Василий Васильевич — зверь становится человеком».
>
> — А человек? Ангелом? Или уж?..
>
> — Человек — Богом*.

В этом вопросе он был воистину одержимым.

3

Почти гениальный, человек редких прозрений, оригинальнейший мыслитель, бесстрашный в своих признаниях, заключающий в себе властные очарования и гибельную опасность многодушия, таящийся отшельник, абсолютно лишенный чувства общественности, не считавшийся и не желавший считаться с ее мнением, судом и приговорами, погруженный в тихую, таинственную глубь интимной мудрости, автор «Семейного вопроса», ребенок, напуганный шумом и силой мира, он лепился к неслышному, к отгороженному, к затененному, жил «в мире неясного и нерешенного», мыслил «в своем углу» ** и был один и в своих идейных розысках и в построении своей философии, в своей необщительности, аморальности, противоречивости и в своей дерзкой искренности утверждений.

Строгая последовательность мысли отметила лишь его неизменное отношение к полу и семье. Дом, ограда, женщина, дети являлись предметом его хлопотливых забот и единственным успокоением. Он был откровенен и в этом:

> — Общественность, — записывает Розанов — кричат везде, «пробуждение» общественного интереса... Когда я встречаю человека с общественным интересом, то не то, чтобы скучаю, не то, чтобы враждую с ним: но просто умираю около него. Весь смолкнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер.

Бросал как вызов:

* *Ремизов Ал.* Кукха. Розановы письма. 1923 г.

** «В мире неясного и нерешенного — книга В. В. Розанова. «В своем углу» — постоянный отдел Розанова в журнале «Новый Путь».

— Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков?..

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это, что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил. Я — первый... Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца!..

Эти признания — искренни. У Розанова не было рисовки. Позерство ему было чуждо. Общественность он просто не понимал. Ему она говорила как бы на иностранном языке. Он ее совсем не чувствовал. От ее холодного рационализма Розанов зяб. Писал, что было на душе, — то, что жило в ней вот сейчас, в эту минуту, без системы, без плана, без программ.

Долго работал в «Новом Времени» и никогда ничем не был с ним связан. И в общем представлении тоже никогда не казался сотрудником этой газеты. Его аполитичность, общественная безучастность были так наглядно-явны, что с этой стороны к нему никто не подходил всерьез. Только поэтому он мог параллельно работать и в «Новом Времени», и в «Русском Слове», и в «Русской Мысли». Это было противоречие. Но для Розанова никаких противоречий не было. Он сам являлся как бы живым воплощением сплошной и необычайной противоречивости. Про самого себя удивленно говорил:

— Душа моя — какая-то путаница...

Помню, в Петербурге мне рассказывали о Розанове, быть может, анекдот, быть может, истинное происшествие. Он принес статью в консервативный «Русский Вестник». Ее приняли. Розанов прислал вторую. В редакции развели руками. Розанову сказали:

— Василий Васильевич! Вы, должно быть, ошиблись адресом. Несите эту статью в какой-нибудь либеральный журнал.

И он отнес. Статью приняли. Через некоторое время Розанов принес вторую. Теперь уже в либеральной редакции ему сказали:

— Это не для нас, Василий Васильевич! С этой статьей Вам надо идти в консервативный «Русский Вестник».

И Розанов отправился, сдал, был принят и т. д., и т. д. Сказка про белого бычка. Повторяю: рассказ, вероятно, анекдотичен. Но для Розанова он очень характерен. Таким его понимали и считали все, потому что сам он был не «как все».

4

Безобщественный, он, однако, не чуждался иных кружков — религиозных, эстетических, но мог бы стать участником и эротических. В на-

чале века кружки были модны и распространены. Петербуржцы их помнят. Среди них особенно многолюдным и интересным кружком была «башня» Вячеслава Иванова. Там бывали все: поэты, беллетристы, критики, философы, общественники, издатели — вся тогдашняя петербургская интеллигенция. Бывал там и Розанов, когда «там водили "хороводы" и пели вакхические песни в хламидах и венках», — так пишет теперь З. Н. Гиппиус.

Должен признаться, сам я этих «хороводов» никогда у Вяч. Иванова не видел, а когда-нибудь о виденном и слышанном расскажу с большим удовольствием как о приятном и интересном воспоминании. Это были годы кружков, дни наших литературных встреч. Конечно, среди этих обществ можно было припомнить много курьезного, забавного, нарочитого, и З. Н. Гиппиус рассказывает о каком-то «радении» у поэта Минского, «где для чего-то кололи булавкой палец у скромной, неизвестной женщины, и каплю ее крови опускали в бокал с вином».

Словом, карикатурное было. Иные любили играть в загадочность. Кое-кто нарочно распускал дутые слухи. Было в ходу мистификаторство. Ал. Ремизов вспоминает, как однажды его жертвой стал Розанов. К нему приехали С. П. Ремизова и Л. Ю. Бердяева. У Розанова болело горло, и он решил просидеть дома. У обеих дам было по красной гвоздике.

> — А откуда у вас цветы и почему одинаковые?
>
> Василий Васильевич сказал это совсем уж чисто.
>
> — Мы поступили в одно общество — ответила С. П.
>
> — Какое?
>
> — В эротическое. Мы, собственно, и приехали как делегатки просить Вас быть почетным членом за Ваши большие заслуги в этой области.
>
> — Ну, рассказывайте, рассказывайте!
>
> — Там три отделения: мужское, женское и смешанное.
>
> — Я — в женское.
>
> — Мы не можем. Вы там сами скажете.
>
> — Ну, идемте, идемте!

Конечно, никакого «эротического общества» не было. Над Розановым подшутили. Меж тем, я очень хорошо помню, как и мне тогда с большим воодушевлением рассказывали о таком обществе и о том, что там принимает участие Розанов, и какие там происходят оргии, с удивительными подробностями, обстоятельностью, именами, с описанием ритуала, с расписанием дней, часов и даже оргиастического порядка. Лгали много. Выдумывали, кому не лень. На самом деле все было очень просто, скромно и в то же время и весело.

5

Но для Розанова этот эпизод типичен. В этой области он страдал большим любопытством. В то же время это был прекрасный семьянин, прилежный и верный муж. Но семейная жизнь у него сложилась не сразу. Его первый брак был воистину страшен. 18-летним мальчишкой Розанов женился на 40-летней женщине, любовнице Достоевского. Она была похотлива, ревнива и зла. Розанов едва спасся. Тишину семейного уюта принесла с собой его вторая жена, бледная, незаметная, молчаливая и очень религиозная женщина, Варвара Дмитриевна.

Революция сбросила в могилу и Розанова. От потрясений, голода, холода, пустынности он сник, у него сделалось кровоизлияние, потом второе, он сломился, стал недвижим. Еды не было, лекарств не было, он жил под Москвой, в Троицко-Сергиевом Посаде. Сына Васю забрали в красную армию — он заразился брюшным тифом и умер. Очередь пришла за Розановым. На смертном одре он писал:

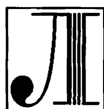
> — Душа восстанет из гроба и переживет, каждая душа переживет — и грешная, и безгрешная — свою невыразимую «песнь песней». Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь.

В своей жизни, в своих книгах, чувствованиях, в своих тайных притяжениях, в своей необыденности пред нашим взором прошел интереснейший и замечательный человек любопытной и замечательной эпохи. Но и ей он принадлежал только частично, ибо своей гениальностью, своей редкой, исключительной оригинальностью он отдан не времени, а временам, не одному поколению, а будущему.

Это был человек, не имевший в мире двойника.

И. И. Ясинский

РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ

юбопытный был человек этот Розанов. О нем начальник печати Соловьев говорил, что вся его мудрость заключается в мизинце и что он с большим талантом умеет высасывать ее оттуда. В «Новом Времени», подделываясь к общему направлению газеты, Розанов, при всем его кажущемся прямодушии и «необыкновенной откровенности», ухитрялся писать прямо иногда невозможные вещи. Так, вдруг появилась его статья в «Новом Времени» о том, как «Русское Богатство» было подкуплено японцами, которые заплатили народным социалистам, работающим в этом органе, сто тысяч рублей. Такой извет или донос на «Русское Богатство», которое только что обрушилось на меня как на писателя другого направления, не признающего авторитета Михайловского, показался мне, тем не менее, крайне гнусным. Я при встрече с Розановым объявил ему, что дальнейшее сотрудничество его в «Новом Слове» не может быть терпимо и по какой именно причине. Розанов сконфузился и оправдывался:

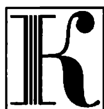
— Помилуйте, мне говорил Струве!

До последнего времени я считал, что Розанов просто клеветник. Но вот в «Былом» в 1917—1918 годах были напечатаны воспоминания Бориса Савинкова. Он подробно рассказал историю своих сношений с Азефом и, между прочим, упомянул, как о факте неоспоримом, о ста тысячах, полученных сотрудниками «Русского Богатства» за статьи против войны и за соответствующую революционную пропаганду в стране. Между прочим, на эти деньги был снаряжен пароход, а на пароход погружено огнестрельное оружие, которое должно было быть доставлено в Россию, но потерпело крушение в Балтийском море...



А. В. Руманов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ: ВИТТЕ, РАСПУТИН И ДРУГИЕ

роме основного сотрудничества в «Новом Времени» В. В. Розанов много работал и для «Русского Слова», где он подписывался как Варварин, по имени его жены.

Когда в «РС» стали сотрудничать Мережковский, Гиппиус и Философов, вначале они вполне терпимо относились к соседству с Розановым, — он был до известной степени их единомышленником, по «Религиозно-философским-собраниям». Но с обострением политической обстановки в России это соседство оказалось для них неудобным, и они поставили Сытину условие: или они, или Варварин.

Сытин поручил своему представителю в Петербурге деликатную миссию: сообщить Розанову, что его сотрудничество прекращается, и одновременно предложить ему материальную компенсацию. Произошла следующая сцена:

— Василий Васильевич, ваши фельетоны такие длинные, а «РС» так дорожит местом, что нам придется отказаться от их печатания.

Розанов в ужасе:

— Что же мне делать?

— Но первого числа вы будете регулярно получать жалованье.

— Как? Буду получать жалованье, даже если ничего не поместите?

— Да. И притом — каждое первое число в течение целого года.

Розанов так обрадовался, что запрыгал на месте.

— Варя, Варя, иди скорее, какое счастье привалило, я буду целый год получать жалованье и могу не писать ничего целый год! — и он бросился обнимать злосчастного сытинского «вестника».

А. М. Ренников

МИНУВШИЕ ДНИ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ



реди всех старых сотрудников «Нового Времени» наиболее интересной фигурой был В. В. Розанов.

В силу своеобразия своего беспокойного мышления этот оригинальный философ политически не укладывался в определенные рамки и бывал то правым, то левым, смотря по тому, к какому самостоятельному выводу приходил в том или в другом вопросе. Оставаясь всегда честным перед самим собою, он одновременно сотрудничал и в «Новом Времени», и в «Новом Пути», и в «Русском Слове», и в «Русской Мысли». И, как ни странно, левые критики не предавали Розанова анафеме за участие в изданиях Суворина. Им казалось, что «основной» Розанов принадлежит именно им. Точно так же, как нововременцы считали его своим. На самом же деле он не принадлежал никому: ни им, ни нам и даже — ни самому себе, а чему-то вне его, что говорило и писало при помощи его странного мозга.

Рассказывали, что Розанов иногда смешивал редакции, в которые давал статьи. Придет в «Русскую Мысль» и принесет с собой то, что предназначалось им для «Нового Времени» или «Русского Вестника». В «Русской Мысли» статью прочитывали, морщились и укоризненно говорили:

— Василий Васильевич, простите... Но это не для нас.

— Ах, да, — спохватывался Розанов. — Совершенно верно. Но ничего: я и для вас напишу.

А иногда наоборот. Придет в «Русский Вестник», даст статью, а ему отвечают:

— Вы ошиблись, Василий Васильевич. Это для либералов.



В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощущение. Его книга «О понимании», логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ничего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальнобойных орудий своего тяжеловесного мышления; но ему замечательно удавались темпераментные набеги на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли и блестящие парадоксы. Его скепсис проявлялся не столько в сомнениях о возможности познания, сколько в сомнениях о ценности рассудочных и научных методов проникновения в загадки мира.

— «Что такое наши университеты и науки сравнительно с Церковью? — спрашивает он. — Науки, университеты, студенты — только трава, цветочки: пройдет серп и скосит».

И органическое недоверие Розанова к систематическому логическому мышлению особенно ясно сказывалось в его афористической манере изложения мыслей. Он эти мысли не развивал путем связного ряда силлогизмов, а бросал просто в виде образов и неразработанных утверждений, чтобы читатель сам их не столько понял, сколько прочувствовал.

Поэтому теоретики социальной жизни, партийные люди и разного рода утописты были чужды Розанову и вызывали в нем не то страх, не то отвращение. Все эти доктринеры с «общественным интересом», как он выражался, казались ему угасшими людьми, живыми покойниками.

Из всех загадок бытия внимание Розанова особенно привлекал вопрос сексуальный. Он много работ посвятил ему, часто к нему возвращался в отдельных статьях. Но стройного исследования и общей системы тут тоже не дал, как и в других областях своего философствования. К тайне пола подходил он мистически, находя в ней нечто от божественной сущности мира; и потому особенно подчеркивал присутствие этого элемента в различных религиях.

Дружественное отношение Василия Васильевича мне очень льстило. Тем более что сравнительно с ним я был тогда еще молодым человеком. Мне иногда даже казалось, что было бы заманчиво сделаться его учеником. После разочарования в умствованиях классической западной философии меня тянуло к этой чисто русской мудрости, основанной не на определенном мировоззрении, а на интуитивном прозрении.

Но как быть учеником того, который ничему не учил, ничего не проповедовал, а только метался вокруг вечной правды, чувствуя, что всецело овладеть ею невозможно? Розанов сам признавался, что «душа моя — полная путаница».

От него можно было не научиться мудрости, а заразиться. И эту «заразу» я радостно воспринимал, несмотря на легкомыслие молодости.

Как-то, говоря о свойствах нашего национального характера, Василий Васильевич писал:

> Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...
>
> И все понятно.
>
> И не надо никаких слов.
>
> Вот чего нельзя с иностранцем.

Именно этот «острый глазок» взаимного созвучия в мироощущении и связывал Розанова со своими почитателями. На все окружающее Розанов тоже смотрел острым глазком. Смотрел не как человек, надолго обосновавшийся на нашей планете, а как проезжий наблюдатель, как любопытствующий странник. И хотя жил он оседло, и жил как все, часто вникая в мелочи жизни, однако все это только скользило по нем. Он был немного блаженным и чуть-чуть даже юродивым в глубоком смысле этого слова. А странничество было основным свойством его мысли и чувства. Отсюда — его некоторая чудаковатость, детская наивность, неумение ориентироваться в простых житейских вопросах.

До некоторой степени напоминал он бродягу-философа «старчика» Григория Сковороду. И смело мог выбрать для себя эпитафию, которую Сковорода составил для своей будущей надгробной плиты: «Мир ловил меня, но не поймал».

В редакции «Нового Времени» у нас с Розановым была общая комната, где находилась часть отдела «Внутренних известий»; и мне приходилось видеть, как он работает. Писал Василий Васильевич свои статьи нервно, иногда в каком-то странном возбуждении. Он не садился за стол так, как все, не усаживался плотно на стул, не раскладывал спокойно листы бумаги и другие письменные принадлежности. Стул ставил куда попало, иногда у угла стола; садился на кончик его и подергивал ногой все время, пока писал. А иногда вдруг вскакивал, ходил по комнате, не обращая ни на кого внимания, и затем порывисто возвращался к столу.

Впрочем, так нервно писал Василий Васильевич только статьи, в которые вкладывал свои любимые мысли и свой темперамент. Когда же у него бывала другая, более спокойная работа, сидел он чинно и деловито, как все. Иногда приносил с собой материалы для очередной книги и разбирался в них с видом кабинетного ученого.

Как-то раз подозвал он меня к своему столу и показал, как хорошо перерисовал в Публичной библиотеке план древнеегипетского храма. Ему это было нужно для книги о религии древнего Египта, в которой он старался показать наличие значительной доли эротического элемента.

На самом деле рисунок был сделан ужасно. Контуры храма вышли волнообразными; параллельные линии сходились под острым углом. Все напоминало детский рисунок.

— И это вы хотите вставить в свое исследование? — испуганно, но достаточно вежливо спросил я.

— Да. Клише уже заказано.

— А не лучше ли было бы, Василий Васильевич, все это начертить как следует, по линейке?

— Ты ничего не понимаешь. Так уютнее.

Над книгами Розанов работал с любовью, усердно. Но что на него наводило уныние, это — очередные рецензии на некоторые книги, присылавшиеся в редакцию для отзыва. В этой области он нередко проявлял даже обидное отношение к авторам. И не то что к начинающим, но и к имеющим громкое имя.

Как-то раз, разбирая свой ящик со старой корреспонденцией, Василий Васильевич показал мне письмо Победоносцева, адресованное ему касательной одной из рецензий. Победоносцев писал;

> Многоуважаемый Василий Васильевич! Я ознакомился с Вашим отзывом о книге «Социологические основы гражданского права». Я привык к тому, что критики меня ругают. Но обычно они ругают меня за то, что я написал или сделал. Вы же перещеголяли всех этих господ: вы выругали меня за ту книгу, которую я никогда не писал. Автор ее — приват-доцент М., а я дал вначале только несколько вступительных слов об авторе. О том, что Вы, глубокоуважаемый Василий Васильевич, обычно не читаете тех книг, о которых пишете, я хорошо знаю. Но что Вы не даете себе труда прочесть хотя бы обложку критикуемого произведения, это мне до сих пор не было известно. Примите уверение в совершенном уважении к вашей литературной работе и к Вам. К. Победоносцев».

— Должно быть, вам было очень неприятно,— сочувственно произнес я, когда Розанов с виноватой улыбкой всунул письмо обратно в ящик.

— Да, конечно, — задумчиво согласился он. — Но ничего. В виде извинения я похвалил его за какую-то другую книгу. Надеюсь, что на этот раз автором был действительно он.

— А вам, Василий Васильевич, много приходится читать книг для отзыва в течение месяца?

— Да, порядочно. Только я их целиком не читаю. Просмотрю несколько страниц, затем закрываю глаза и нюхаю. Это дает мне полную картину и стиля и содержания...

В. В. РОЗАНОВ В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Оригинальный в своих мыслях, Розанов быль оригиналом и в своих поступках.

Наружностью он обладал довольно невзрачной; когда говорил, шепелявил и, кроме того, съедал некоторые слова, заменяя их бормотаньем. Все это немало огорчало бедного Василия Васильевича, имевшего очень мало успеха у женщин, несклонных увлекаться философией. Будь он поэтом при такой внешности, у него, как у Лермонтова, мог развиться пессимизм маскарадного байроновского типа. Но внутренний облик Розанова подавил и отодвинул на второй план облик внешний; вместо пессимизма выработал он в себе блаженную покорность судьбе, а любопытство к жизненным вопросам пола перенес в область теоретическую, болезненно связывая сексуальность с религиозностью.

Внешний «мизерабельный вид», как говорит Розанов в своей книге «Уединенное», заставлял его в молодости «украдкой проливать слезы».

> Лицо красное, волосы торчат кверху, совсем нелепо... Стою перед зеркалом: ну кто такого противного полюбит? Просто ужас брал. Что же остается? Уходить в себя, жить с собой...

При своем увлечении теоретическими вопросами пола, Василий Васильевич оставался практически в этой области чрезвычайно деликатным, застенчивым. Душа его в глубине своей была чиста, нежна, чужда грубости реальных житейских отношений. Когда мы с ним достаточно сблизились, он иногда поверял мне свои милые секреты...

Как-то раз были мы с женой приглашены к Розановым на обед. Собралось довольно много народа. Сначала все сидели в гостиной, беседуя на разнообразные темы, начиная с загробной жизни и кончая игрою Варламова на сцене Александринского театра. Затем радушная хозяйка пригласила гостей в столовую. Из гостиной туда нужно было идти по узкому коридору, в котором почему-то не горело электричество.

На следующий день Василий Васильевич по обыкновению пришел в редакцию. Кроме нас двоих в комнате никого не было. Естественно, заговорили о вчерашнем обеде, о гостях. И вот Розанов оглядывается, придвигает свой стул ко мне и взволнованно, с явным чувством раскаяния говорит:

— Послушай, Ренников, какой ужасный случай со мной вчера произошел!

Кстати сказать, всем молодым сотрудникам, к которым он относился благожелательно, Василий Васильевич говорил «ты».

— А что случилось? — тревожно спросил я.

— Подумай, как постыдно! Когда гости проходили по коридору, я стоял, прижавшись к стене, пропускал их вперед... А последней шла эта

самая... — он назвал фамилию дамы. — Не знаю, что со мною случилось. Никогда раньше не бывало! Идет она, такая красивая, такая пышная, духи у нее какие-то замечательные... Проходит совсем возле меня, чуть ли не задевает плечом. А тут, рядом с плечом, — огромное декольте. Чертик ли меня толкнул, или просто кровообращение нарушилось, но совершенно невольно, совсем того не желая, протянул я руку и на мгновение обнял ее.

Розанов смолк, опустил голову.

— Ну, и что? — с сочувственной осторожностью спросил я. — Как она отнеслась?

— Замечательно благородно! Даже не рассердилась. Посмотрела только с глубоким упреком, покачала головой и пошла дальше. Нет, ты скажи: почему я обнял? В чем дело? Может быть, у меня прогрессивный паралич начинается?

— Ну, что вы, Василий Васильевич! С какой стати паралич?

— Ты уверен?

— Разумеется! Такие вещи случаются и без всякого прогрессивного паралича.

Я успокаивал Василия Васильевича, как мог, а про себя думал: «Удивительно! Человек обследовал проблему пола у древних евреев, у греков, у египтян, — а у себя лично не успел!»

Наивность Розанова в мелких житейских вопросах была всем известна в редакции. В общей комнате с нами работал один из молодых технических сотрудников, некий Коростелев, занимавшийся вырезками и сводкой сведений из провинциальных газет. Этот Коростелев любил говорить Василию Васильевичу всякую чепуху, чтобы убедиться, до каких пределов может дойти его доверчивость. Однажды Розанов попросил у него совета: какой кафе-шантан лучше всего посетить, чтобы получить полную психологическую картину современных нравов.

— А вы мост Петра Великого знаете? — серьезно спросил Коростелев.

—Да.

— Башенки с двух сторон его видели?

— Ну?

— Так вот, в правой, если идти от нас, и помещается самый пикантный кафе-шантан «Мон Плезир».

— А может быть, он очень циничный?

— Ничего. Побываете несколько вечеров, привыкнете.

А было в другой раз — явился утром на работу Коростелев после бурно проведенной ночи вне семейного очага. Сев за стол и желая достать из кармана платок, он неожиданно для себя вытащил оттуда совершенно посторонний предмет: женскую подвязку с бантом. От этой предатель-

ской подвязки, конечно, нужно было спешно избавиться, чтобы не забыть и не прийти с нею домой. И Коростелев, не зная куда ее выкинуть, решил надеть эту вещь на небольшой абажур лампы Василия Васильевича.

Придя в редакцию значительно позже и расположившись у стола, Розанов заметил необычное украшение на своей лампе.

— Коростелев! — обратился он к соседу. — Ты не знаешь, откуда на абажуре атласная лента с бантом?

— Знаю. Это редактор Михаил Алексеевич только что приходил, нацепил вам. Сказал, что такая лента будет знаком отличия для тех главных сотрудников, которые хорошо пишут.

— В самом деле? Приятно. А Меньшиков тоже получил?

— Наверно, и Меньшиков тоже.

Около месяца Василий Васильевич любовался женской подвязкой в перерывах между писанием статей, пока бессовестный обман случайно не обнаружился. Как-то раз Суворин зашел в нашу комнату и заговорил с Розановым.

— Между прочим, Михаил Алексеевич, — сказал тот. — Спасибо за украшение для абажура. Я очень тронут.

— Какое украшение? — удивился Суворин.

— А это.

Редактор направил удивленный взгляд на абажур, надел пенсне, чтобы лучше разглядеть странный предмет, и изумленно воскликнул:

— Дорогой мой! Да ведь это женская подвязка! Откуда вы ее взяли?

Негодному Коростелеву сильно влетело от Михаила Алексеевича за то, что он обижает своим враньем Василия Васильевича.

В общественных местах и в собраниях Розанов обычно терялся, не знал, куда войти, куда выйти, а иногда спрашивал незнакомого соседа: ради какой цели люди собрались.

Однажды мы с женой повели Василия Васильевича в кинематограф.

Войдя в вестибюль, он прежде всего объявил, что ему спешно нужно в уборную, чтобы вымыть руки. Пропустив начало представления из-за неожиданного мытья, мы вошли в темный зал и при помощи барышни с электрическим фонариком стали пробираться к свободным местам. Василий Васильевич совершал это путешествие очень сложно. Натыкался на расположенные по бокам прохода кресла, хватал за головы сидящих зрителей, которые издавали в ответ какие-то угрожающие восклицания; в одном месте повалился на барышню с фонариком, умудрившись споткнуться на гладком ковре прохода. И, наконец, со вздохом облегчения сел между мной и женой, с любопытством воззрившись на экран.

Несколько минут он молчал. А затем начал засыпать меня и жену вопросами:

— А это кто?

— А это что?

Понятно, фильм тогда был немой. Но надписи поясняли, что происходить.

— Да вы бы читали, что написано, — осторожно посоветовал я.

— Не успеваю. Я очень нервничаю. А в общем, что происходит? Комедия или трагедия?

— Трагедия, Василий Васильевич.

— Ага.

В антракте мы рассказали Розанову подробно содержание того, что он видел. И потому вторую часть фильма Василий Васильевич смотрел уже более спокойно, почти не задавая вопросов. Но зато, когда вся драма уже приходила к концу, когда герой с героиней проводили последнюю сцену, разлучаясь навеки друг с другом по воле жестокой судьбы, и когда некоторые зрители плакали, Василий Васильевич нагнулся ко мне и удивленно спросил:

— А кто этот незнакомый субъект, который с ней разговаривает?

— Так это же возлюбленный!

— Ах, вот что, теперь понимаю.

Как-то раз Розанов завтракал у нас в числе некоторых других приглашенных. В таких случаях он обычно мало говорил, или говорил о незначительных вещах, причем часто без всякой связи с общей беседой. В театрах он бывал редко, нетвердо знал фамилии знаменитых артистов, иногда путал певцов с актерами, актеров с художниками. На нашем завтраке Василий Васильевич тоже особенного красноречия не проявил. А когда после сладкого подали кофе, выпил чашечку, встал, отвел меня в сторону и заявил, что хочет немного поспать.

— Конечно, конечно, — слегка испуганно, но любезно ответил я. — Сейчас жена распорядится, чтобы вам постлали в кабинете.

— Да, но только я как следует разденусь.

— Разумеется, Василий Васильевич.

Кожаный диван в кабинете был спешно превращен в уютную постель. Оставив Василия Васильевича и пожелав ему спокойного сна, я вернулся к гостям. Оживленная беседа за столом продолжалась. Все засиделись после завтрака часа на два.

И вдруг в соседней гостиной, куда была открыта дверь из столовой, раздаются шаги. Кто-то кашляет. И на пороге появляется загадочная белая фигура. Эту фигуру можно было бы смело принять за привидение, если бы дело происходило ночью. Но был еще день. Кроме того, башмаки на ногах и растрепанный галстух, съехавши на сторону из-под воротника на крахмальную грудь рубашки, указывали, что это вовсе не призрак.



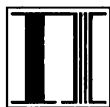
То был Василий Васильевич, без костюма, в одном нижнем белье. Остановившись в дверях и тревожно осматривая сидевших гостей, он отыскал меня взглядом и нерешительно проговорил:

— Послушай. Я, кажется, заблудился. Покажи, пожалуйста, где можно вымыть руки...



А. Кауфман

ЕЩЕ ДВА СЛОВА О РОЗАНОВЕ

ишущему эти строки Розанов после доклада в одном историческом кружке по поводу ритуальных убийств прямо заявил:

— Вот вы говорите, что докладчик клевещет. А Иегову зачем изображают в виде глаза с ноздрёй? Ноздря символизирует, что Иегова любит запах иноверческой крови...

В. П. Крымов

САМЫЙ СТРАННЫЙ ПИСАТЕЛЬ, КОТОРОГО Я ЗНАЛ



то Розанов.

«Фамилия у меня совсем неподходящая для писателя, Розанов, цветочное что-то, что у меня общего с розаном... и вообще много неподходящего», – сказал как-то он. Действительно, ни на какой цветок он похож не был.

У Розанова было много почитателей, еще больше читателей и, несмотря на его совсем непривлекательную внешность, у него были даже поклонницы, особенно среди курсисток. Его книги имели широкий тираж, переводились на другие языки.

Л. Троцкий в своей книге «Литература и революция» написал о Розанове: «Пресмыкающийся человек и писатель, извивается, склизкий, липкий, свертывается когда нужно или ползет куда-то, как выгоднее, отвратительный червяк...».

Профессор протоиерей В. Зеньковский, философ и богослов, в своем капитальном труде «История русской философии» пишет: «Розанов едва ли не самый замечательный писатель среди русских мыслителей, но он и подлинный мыслитель... Розанов один из наиболее даровитых и сильных русских религиозных философов, смелых, разносторонне образованных и до последних краев искренних с самим собой. Оттого-то он имел такое огромное (хотя часто и подпольное) влияние на русскую философскую мысль XX века».

Профессор Кенигсбергского университета Н. Арсеньев в своей книге о новой русской литературе оговаривается, что берет только более видных писателей этого периода, и много места отводит Розанову. Но Розанов для него не философ, создавший свой особый стиль, а писатель странный, иногда неприличный в своих выражениях, но один из виднейших в начале XX века.



Ив. Тхоржевский в своей объемистой «Истории русской литературы» тоже отводит много места Розанову, считает, что Розанов, как и Лесков, создал свой особый стиль и оказал известное влияние на других писателей, но как о христианском философе или богослове он ничего не говорит.



Не могу понять, как можно считать Розанова религиозным христианским мыслителем или философом, когда у него всюду, на каждом шагу отталкивание от Евангелия и Христа. Розанов прямо говорит, что Христос принес на землю много несчастий, больше, чем кто-либо, что «Христос — зло». Сопоставляя Евангелие с Ветхим Заветом, он видит много мудрого и даже радостного в Ветхом Завете и ничего не находит благостного, ведущего к счастью людей в Новом Завете. Для Розанова культуры Вавилона и Ассирии, а тем более Египта, мудрее и радостнее христианского учения, христианство разрушает семью, не понимает, что в основе всего пол, христианство возвеличивает иночество, аскетизм, скопчество и монастырь, а монашки и иноки помрут с голоду, если им из соседней деревеньки не будут доставлять пропитания...

Розанов признает Вифлеем, потому что там новорожденный, но Голгофа для него отвратна. Прежде всего пол, семья, дети; главное, необходимое — то, что нужно плоти и для продолжения здешней жизни: «Душа свободна, только если в комнате тепло натоплено».

Он все время нападает на христианскую Церковь, и настоящие откровения видит в записях Ветхого Завета, и как его могут делать христианским религиозным мыслителем — кажется совершенно непонятным.

Розанов пошел в «Новое Время», потому что там платили больше, чем в других газетах; одновременно писал и в «Русском Слове» под псевдонимом (там тоже хорошо платили).

Со своим настоящим юмором Осип Дымов как-то рассказывал мне:

Я часто встречался с Розановым, и совсем неожиданно он однажды попросил меня, не могу ли я устроить его сотрудником «Нашей Жизни», где я тогда писал время от времени. Просьба меня удивила: в «Новом Времени» он получал большой гонорар, а в «Нашей Жизни» платили гроши, да и направление было совсем иное, чтобы не сказать — противоположное. Однако он настаивал, и я пошел в редакцию для переговоров. Я знал там только редактора. Ко мне в приемную вышел секретарь, я рассказал ему, в чем дело, и он пошел доложить редактору, а я остался один в приемной. Через некоторое время редактор вышел, осмотрелся, что никого в приемной больше нет, и спросил меня:

— А тут был еще какой-то идиот, пришел сватать Розанова...
Я сказал, что он уже ушел.



Во время процесса Бейлиса по недомыслию редактора «Нового Времени» Розанова послали корреспондентом газеты в Киев. Этот знаменитый позорный процесс можно сравнить только с более грандиозным и еще более позорным для государства процессом Дрейфуса. Первые же телеграммы Розанова из Киева оказались такими сумбурными и глупыми, что решено было немедленно вызвать его обратно, и вместо него на процесс послали молодого секретаря редакции Кривенку; телеграммы Кривенки тоже не подняли ни тиража, ни умственного уровня газеты. Помню, что многие в редакции возмущались этим процессом.

В своих книгах Розанов с уверенностью утверждал, что есть ортодоксальные еврейские секты, употребляющие христианскую кровь для своих ритуалов. И он этим не только не возмущался, а видел в этом особую глубину и значение и с некоторой грустью вспоминал о культе Ваала и некоторых других древних культах Египта, Перу и Юкатана, с человеческими жертвоприношениями, сожалел, что таких культов больше нет.

Розанов особенно восхищался «Песней Песней», считал это величайшим произведением.

> Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего пахучего, ароматного; как бы подчеркнуто расхождение с цветком Библии — «Песней Песней», этою песнею, о которой один старец Востока выговорил, что все стояние мира недостойно того дня, в который была создана «Песнь Песней».

И Розанов прав. Не только в «Песни Песней», но и в других текстах Ветхого Завета — мирра, нард, амбра, корица и шафран, всякие благовонные масла, но нет ни слова о запахах в Евангелии. Розанов рассказывает о жертвеннике Ваала, что в нем были с боков особые отверстия, чтобы аромат сжигаемой жертвы доходил до верующих и до небес. Что касается курения ладаном, принятого в теперешних христианских богослужениях, то это явилось уже много позже и заимствовано именно из Ветхого Завета и еще более древних религий.

«Песнь Песней» — это радость плоти, это гимн возможному рождению, на это все время устремлены мысли Розанова, и мир без любовного экстаза для него холодная пустыня и призрак смерти. Иногда в своих высказываниях о поле он доходит до таких несдержанных выражений и подробностей, что читать во всеуслышание невозможно — однако очень многие читали, и этим именно привлекал их Розанов в своих произведениях.





Когда я в первый раз приехал к Розанову, дверь приотворила девочка лет десяти-двенадцати, закутанная в теплый платок; приотворила, спросила кто, захлопнула дверь и побежала спросить, впускать ли. Через минуту впустила в темную переднюю. Вышел Розанов.

— А, очень рад, пожалуйста, раздевайтесь, я вам сейчас всю семью представлю.

В следующей комнате была уже вся семья, видимо, было так принято у них — всем выходить сразу навстречу. Полная простоватая женщина, закутанная в большой шерстяной платок (такой, как носила когда-то моя нянька), рядом несколько девочек, побольше и поменьше — все в платках. В квартире было тепло, платки были просто частью наряда, своего рода стиль.

— Это моя жена, а это мои деточки.

Каждую он чмокнул в голову и погладил, поцеловал и жену, все время с радостной улыбкой.

Я что-то пробурчал, не знал, что говорить с этой женщиной и с этими девочками, но они и не ожидали, что с ними будут разговаривать.

Пошли в его кабинет, говорили об египтологии, о Религиозно-философском обществе, о его книгах. Он показывал свою коллекцию монет, потом опять вспоминал о своих деточках:

— А правда, у меня хорошая жена и деточки?

Я не знал, что сказать. Эта женщина казалась мне совсем неподходящей женой для философа и писателя, казалось, что она ни о чем вне житейских дрязг говорить неспособна. Читает ли он ей когда-нибудь свои рукописи? Вероятно, нет — она и книг его, может быть, не читала, зачем ей?

Над столом вся полка была уставлена собственными произведениями Розанова, каждая книга в особом переплете, некоторые в ярко-цветных.

— Для каждой книги нужен свой цвет, другой не подойдет, оскорбит ее... Я для каждой выбираю подходящий, у каждой книжки своя душа, своя особенная. Оскорбительно было бы всем им одинаковые переплеты...

Я заехал за Розановым, чтобы куда-то его везти. Он пробовал было отказаться:

— У меня вечером заседание Религиозно-философского общества, надо подготовиться.

— Опять будете там спорить с Мережковским и Гиппиус о канонах и догматах? Лучше бы вели с Гиппиус споры по сексуальным вопросам, тут у нее больше авторитетности, — пошутил я. — А вы заметили, что мистическая религиозность всегда связана с повышенной сексуальностью? Блудники и развратники часто кончают монастырем.

Розанов оживился:

— Да, это интересно... это очень интересная тема. Так и должно ведь быть — и там и тут тайна. Величайшее таинство жизни... Я, пожалуй, поеду с вами, только ненадолго.

Опять провожать высыпала вся семья. Опять каждого Розанов чмокнул, громко и влажно, и жена его перекрестила на дорогу:

— Ну, поезжай с Богом, Христос с тобой...



Как-то мы случайно вместе с Розановым выходили из редакции «Нового Времени» в Эртелевом переулке. У подъезда стоял мой ярко-красный открытый автомобиль (купил сдуру в Париже по случаю, сосватал приятель).

— Это ваш?.. Я никогда не ездил в автомобиле.

— Поедемте, Василий Васильевич.

— Поехать... А вы меня не убьете, это не очень страшно? — шепелявил Розанов.

Я смеялся. Он боязливо сел рядом со мной, зажал в руке рукав моего пальто. Когда выехали за город, разлетайку Розанова стало трепать ветром, сорвало у него шляпу. Он ухватился за меня обеими руками, так что я с трудом мог управлять рулем.

— Не надо... Не надо, я не хочу умирать, вы видели, сколько у меня детей, еще маленькие... Семье останется всего тридцать тысяч... На что они будут жить?.. Не надо так скоро, не надо...

Когда повернули обратно, ветер был сзади. Розанов привык к скорости, и ему стало нравиться, стал улыбаться.

— Есть что-то особенное в автомобиле, героическое... Хочется полететь, как птица... Мне кажется, что я уже лечу на крыльях... А вы мне папироску дадите?

— Сигару хотите?

— Нет, лучше папироску, я сигары не умею, мою возьмите, выньте у меня из кармана.

Руки у него были заняты, он крепко держался за меня и боялся отнять руку, чтобы самому достать. В кармане у него, кроме папирос и коробки спичек, было много каких-то крошек и что-то липкое. Я вынул папиросу и спички, протянул ему.

— Нет, вы закурите для меня... Возьмите в рот и закурите, обслюнявьте папироску, я так люблю. Вы ее пожуйте немножко, чтобы была мякенькая и мокренькая.

Вполне благополучно доставил его домой. Он потребовал, чтобы я вошел в квартиру и подтвердил жене, что он ездил в автомобиле со страшной быстротой и даже под конец не боялся. Дверь отворила жена, в пе-

реднюю высыпали дети в платках. Розанов всех целовал и, прощаясь, сказал, что с удовольствием поедет еще раз.



Розанов всегда сам приносил статью в редакцию и как будто неуверенно — подойдет ли она — протягивал редактору, что-то при этом шепелявил и потом молча уходил. Понятно, он был уверен, что статья будет напечатана, редакторы считали даже неудобным прочитывать статью Розанова до набора, просто наверху в уголке ставились буквы «п. к.» — плотный корпус. Некоторые из главных сотрудников посылали иногда статьи прямо в набор. Розанов никогда этого не делал.

В редакцию присылалось много книг для отзыва, отзывов печаталось мало, но книги немедленно исчезали в карманы сотрудников и там навсегда оставались. Розанову книг не перепадало (разве что по религиозным вопросам, которыми другие не интересовались), но читал он много. При большом построчном гонораре Розанов зарабатывал все-таки меньше некоторых других сотрудников (Меньшиков не в счет, тот получал пятьдесят копеек за строчку и писал иногда подвалы); каждая статья была кусочком его души — иногда сумбурная, но выношенная, пережитая, как будто продуманная или продуктом чтения многих книг. Были сотрудники и с другими приемами, вроде Ванечки Мануйлова, который, смотря в свежий номер «Фигаро» или «Тан», писал большую статью, начинавшуюся словами: «Как нам сообщают из весьма осведомленного источника» — и т. д.; таким образом он наколачивал сотни строк по десять копеек, и это почти ежедневно.

Впрочем, один раз Розанов погнался за деньгами: надо было поскорее получить три тысячи рублей за книгу, а материала для нее не хватало, выходило слишком мало страниц. Он собрал разные письма, полученные за последнее время, и всунул их в книгу, страниц сорок, ни к селу ни к городу и не совсем корректно по отношению к писавшим.

— Что же вы, Василий Васильевич, начиняете пирожок чужим фаршем, точно Ванечка Мануйлов, — пошутил я.

— Да-да, сам понимаю, что нехорошо, деньги были очень нужны... Семья большая, вы видели, маленькие еще, а у меня еще и сорока тысяч нет...

Через несколько лет Шкловский написал свою книгу об этой книге Розанова и особенно тонкую художественность и логичность мысли автора увидел именно в этих втолкнутых в книгу чужих письмах!

У Розанова всегда не хватало денег на любимую нумизматику, и надо было откладывать для многочисленной семьи. Ни в каких закулисных коммерческих комбинациях он никогда не участвовал и только удивлял-

ся, как это другие зарабатывают двести рублей в месяц, а проживают пятьсот.



В своих книгах Розанов не стесняется ни в сути, ни в форме выражений; ставил как эпиграф: «Написал, сидя в уборной».

И, как это ни странно, такие штучки нравились многим читателям, придавали тираж книге, и читатели ждали, какую еще новую штучку выкинет Розанов.

Вдруг прерывая свои размышления о чем-то, записывал: «Мир без начинки... Пирог без начинки. Вкусно ли? Но действительно, Христом вывалена вся начинка из пирога, и это называется христианством».

После революции Розанов написал: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать (надо бы — "надевать") шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Выходит, что железный занавес, разделивший Европу, пошел не от Черчилля, а от Розанова...

В статьях для «Нового Времени» Розанов все-таки несколько сдерживался, а то ночной редактор Тычинкин, приятель Танеева, управлявшего канцелярией его величества, вычеркнет что-нибудь, ибо «Новое Время» доставляется царю полными номерами, не так, как другие газеты — только в вырезках... Как-то по недосмотру была напечатана в газете его большая статья, в которой он проводил параллель между Девой Марией, Венерой и Афродитой. Статья очень не понравилась Святейшему Синоду, о статье в Петербурге много говорили, но никаких кар не последовало.

Наряду с пикантными и необычными статьями, написанными особым розановским стилем, бывали и совсем простые, даже сентиментальные и трогательные. Когда умер Гей, старейший сотрудник «Нового Времени» (читатели его совсем не знали), друг старика Суворина, работавший с ним, когда еще сами набирали номер, Розанов написал вместо некролога как бы сказку. Уже в день своей смерти Гей встретился на том свете с А. С. Сувориным: «Здравствуйте, Алексей Сергеевич! Ну вот и я наконец приехал». «Здравствуйте, здравствуйте... Очень рад, давно жду». Старики обнимаются, и Суворин расспрашивает Гея, что делается там, в Петербурге, в редакции. Далее идет простой, как бы наивный разговор двух стариков, но он произвел такое впечатление, что некоторым, знавшим обоих, хотелось заплакать, и все находили, что замечательно написано.



— Василий Васильевич, еще чаю и вот кусок торта я вам положу...

— Нет, я лучше этих бараночков в чай положу.

Он втолкнул горсть сушек в стакан чая, так что перелилось через край, и стал размешивать ложечкой, пока они сделались совсем размокшими, склизкими, липкими. Вынимал пальцами теплую, склизкую сушку, долго ее облизывал, причмокивая, обсасывал и только тогда съедал; капли с сушки падали на скатерть и ему на колени.

В это время он говорил о египтологии, восхищался каким-то редким атласом в Публичной библиотеке. Опять вытягивал сушку и любовно мусолил ее в руке. Пил стакан за стаканом, наливал в блюдечко, дул. Лоб становился потным, растрепанные волосы прилипали неряшливыми космами, что оставались от лысины.

Вдруг повернул голову, уставился на сидевшую недалеко мою гостью и стал шепелявить:

— Миленькая, баронессушка, какие грудки... Ах, какие грудки, дайте чуть-чуть пальцем дотронуться, позвольте. — И он протянул к ней руку. — Я только потрогаю тихонечко, ведь я старичок.

Дама чуть-чуть отодвинулась, смотрела на него с недоумением.

Это была баронесса Ливен, моя соседка по Каменному острову, писательница, красивая, остроумная и снобка — необычное сочетание. Она написала уже две книги, большую пьесу «Цезарь Борджиа», была сотрудницей моего журнала «Столица и усадьба», по-настоящему знала несколько языков. В своем снобизме она доходила до того, что добрую половину петербургского высшего общества называла выскочками, нуворишами, чинушами и даже хамрюшками, считала, что у нас почти нет настоящей аристократии, всем еще недавно цари давали пощечины и палкой били, из истопников и брадобреев делались князьями; настоящая аристократия только в Австро-Венгрии — там у нее была сестра замужем за австрийским магнатом, послом в Соединенных Штатах, и она каждый год ездила гостить к сестре в какой-то роскошный замок под Веной.

И вот она просила непременно познакомить ее с Розановым. Баронесса встала и немного отошла от стола. Розанов за ней. Видимо, она колебалась, рассердиться ли, обругать его или все принять в шутку. Обратила в шутку, стала убегать от него вокруг стола. Розанов бежал за ней, протягивая вперед руки и что-то шепелявя, неловко лавируя среди стульев, наконец за что-то зацепился и растянулся на полу; поднимаясь, стал сначала на четвереньки, получилась фигура неподражаемо комическая, она стала его поднимать, я тоже, все хохотали.

Потный, раскрасневшийся Розанов ладонями обтирал пот со лба; может быть, у него и был носовой платок, но он о нем забыл.

Магда Ливен ушла раньше. Розанов еще оставался, я не мог точно определить ее отношение к нему. Но через несколько дней она позвонила по телефону и настойчиво просила устроить еще свидание с Розановым, «замечательно интересный человек», сказала она, и я опять устроил их встречу.



Магда Ливен очень обиделась бы, если бы ее причислить к так называемой широкой публике, к тем читателям, которые делали Розанову популярность и даже известность, однако и она захотела еще с ним встретиться. Многочисленные читатели, создававшие тираж не философским книгам Розанова, его туманными космологически-пантеистическими рассуждениями не интересовались, о них писали, как вот В. Зеньковский, только очень немногие, для других это было совсем непонятно, как будто туманно и для самого Розанова. Его самая объемистая книга «О понимании» мало кем читалась и в печати прошла незамеченной, популярность Розанова и тираж создавались такими книгами, как «Люди лунного света» или «Опавшие листья».

Так называемая широкая публика носилась с Розановым, как с писаной торбой, но вот и совсем не широкая публика, а авторитетный в то время критик князь Святополк-Мирский написал в одной из своих статей: «Розанов, гениальнейший из людей своего времени...».

На собраниях Религиозно-философского общества он иногда как будто соглашался с православными докладчиками, но тут же вдруг вставлял что-то такое, что шарахались от его слов.

Сидя у себя дома за столом или в каком-нибудь заседании задумавшись, он начинал что-то рисовать на листке бумаги; уходя, прятал этот листок в карман — всегда это были части мужского и женского тела, какие запрещалось выставлять на картинных выставках или печатать как иллюстрации в книгах и журналах. Я как-то попросил показать мне листок с рисунками, но он, что-то шепелявя вполголоса и улыбаясь, отказал, но потом дал мне листок.

— Трэдль у Диккенса в «Давиде Копперфильде» все рисовал в тетрадях чертиков, а я люблю вот это... И в детстве всегда рисовал, и теперь люблю рисовать. Самое святое, святая святых... тайна бытия и смысл мироздания.

У меня было несколько бронзовых и железных статуэток, копии помпейских, хранящихся теперь в особом отделе Неаполитанского музея, куда вход только по особым разрешениям. Две-три из них остались в развалинах Помпеев, и проводники показывают их тайком за особую плату только мужчинам.

Розанов подолгу рассматривал их, то в тени, то повертывал к свету, гладил, почти что целовал и потом возмущался:

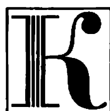
— Неприличное!.. Говорят, что неприличное! Кто это говорит, как у них язык повертывается... святая святых, тайна жизни, а не неприличное. Не доросли до понимания этого...



Возникает иногда сомнение, кто подходит для серии портретов необычных людей, но относительно Розанова сомнений нет: трудно найти более необычного, очень талантливого. Одни относились к Розанову с отталкиванием и даже презрением, другие считали его чуть ли не гениальным. Я никогда не приписывал себе права делить людей на отрицательных типов или положительных и не сужу, к какому типу относится Розанов, но что он необычный и очень интересный человек — в этом нет сомнений.

В. П. Крымов

В. В. РОЗАНОВ

ак и полагается много думающему человеку, пишущему, занятому своими идеями, В. В. Розанов не читал газет и журналов или случайных книг — только то, что было в области его мышления. Видимо, около года он даже не знал, что я издаю какой-то журнал, но как-то, уже в подъезде редакции или на тротуаре, он сказал мне:

«А вы, говорят, какой-то журнал с успехом издаете, так пришлите мне, пожалуйста, я покупать не могу, он дорого стоит, я зарабатываю мало, а семья у меня большая...»

Зарабатывал Розанов больше других журналистов, в «Новом Времени» ему платили достаточно, его книги хорошо продавались и он еще писал под псевдонимом Варварин в «Русском Слове», в самой распространенной московской газете, там тоже хорошо платили. Как-то сказал мне по секрету, что уже собрал шестьдесят тысяч рублей, отложил в государственной ренте, но этого мало для обеспечения семьи.

Я послал ему несколько номеров своего журнала и в одном из них как раз была эта статейка Шебуева о пуделе. При следующей встрече В. В. отвел меня в редакции в темный угол коридора и тихонько стал говорить:

«Шебуев талантливый журналист, но бульварный, озорной, а ваш журнал идет к высшим мира сего, там есть и думающие люди. Грань между человеком и всем живущим именно в идее Бога, обезьяну можно научить работать инструментами и даже управлять машиной, но идею божества ей внушить нельзя. Именно тут непроходимая пропасть между человеком и животными, когда у человека впервые появилась идея божества, тогда он и стал человеком, а пудель не может думать о божестве. Шебуев написал кощунственное...»

«Значит, выходит, Василий Василич, что так называемые атеисты идут назад и приближаются к животным?»

«Атеисты думают, что они уже отжили период религии, им Бога больше не нужно, все идет из вечности в вечность само собой, все только материя, из мертвой получилась живая, но это просто несчастные люди, я их очень жалею, им гораздо труднее жить, а умирать будет еще труднее...»

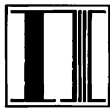
Несомненно, Розанов был очень талантлив, но талант этот был странный, необычный, его охотно читали. Его книги шли, но, прочтя книгу, нередко пожимали плечами, недоумевая, что же он хотел сказать. Он был глубоко верующий человек. Умирать поехал в Троице-Сергиеву Лавру, там перед смертью написал свой «Апокалипсис», но его вера строилась не на Евангелии, а на Ветхом Завете.

Для христианских богословов Розанов был неприемлем, и сам относился к богословам иронично и даже неприязненно, хотя нередко выступал в петербургском Религиозно-философском обществе, вместе с Мережковским и православными богословами. Не было, кажется, в наше время более странного мыслителя и философа, а в частной жизни он был совсем удивителен, ни на кого не похож, но, несомненно, большой редкий талант, оригинальный и неподражаемый.

И. И. Кольшко

ОСКОЛКИ

Глава XXVI. Розанов

осле обломков русской власти и общественности следует коснуться и обломков русского гения. Ибо ведь и этот пышный цветок на голенастом стебле русского быта приложил свою руку к процессу нашего распада.

Два сокровища, как два клада у пушкинского Кочубея, были у нас: наш несравненный язык и наш несравнимый талант. Кому еще Бог отсыпал в такой мере этих сокровищ? Данте, Шекспир, Гете, Сервантес! Облечены ли они были, как наши Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, миссией и мощью отобразить весь гений своего народа, всю святость и весь грех его, и эту ношу на виду и на пользу всего человечества пронести к престолу всевышнего, как Кочубей нес к этому престолу свой третий клад? У Кочубея он был: «святая месть». У русского гения — святое прощение. «Ныне отпущаеши» — такова сердцевина русского гения — таковой она **должна** быть.

Достоевский сказал Мельхиору Вогюэ: «В нас, кроме русского гения, есть гении всех народов, — поэтому мы можем вас понять, а вы нас понять не можете»... Но ведь понять, значит простить. Если гений — осколок божества, то сущность его не может быть ничем иным, кроме любви. Об этом ведь и думал Достоевский в своей знаменитой речи на пушкинском празднестве в Москве. Это повторил он и французскому писателю, — о ноше, о долге любви, которыми оделен, не в пример другим, русский гений. А между тем, сам он был злюкой. Вогюэ называет его «соединением медведя с ежом». Такими соединениями запестрел с середины прошлого века весь пышный ковер нашего гения, с преобладанием в отдельных случаях то медведя, то ежа.

Как и общественность, и власть, гений заразился общим нам недугом — злостностью. Наш талант стал «жестоким». Вслед за Белинским большим пошли Белинские малые: плеяда одареннейших поэтов, беллетристов, философов и журналистов, вырастивших на своих дарованиях осиные жала. Уже к первой нашей революции эти жала искусали тело русского быта. А ко второй тело это представляло сплошной волдырь. Таким оно остается и поднесь, по ту и по сю стороны русского шлагбаума.

Потеряв любовь, наш гений потерял и свою вселенскость. Мы еще утешаем себя: нация, давшая Герцена, Пушкина, Гоголя, не погибнет. Мы даем здесь некоторые образы правопреемников Герцена (Меньшикова, Дорошевича, Амфитеатрова) и образы виднейших правопреемников Пушкина и Гоголя. Не разновидность и силу их таланта мы имеем в виду, а лишь общую им черту: отсутствие любви. Ибо только эта хворь русского гения способствовала распаду России. Одушевленные лучшими намерениями, сверкавшие чарами своих дарований, тянувшиеся, как цветы к солнцу, к истине, наши богоискатели и правдоискатели, властители наших дум, заглядевшись на самих себя и злостно друг с другом столкнувшись, не нашли ни Бога, ни правды, а потеряли Россию.



Про Дорошевича говорили — «Влас», про Розанова — «Васенька». О бок с осанистым, гудящим бояриной «Власом» вихрастый, сюсюкающий «Васенька» казался приказной крысой. У Розанова эта приказность отталкивала еще больше, чем у Меньшикова: Меньшиков сглаживал ее угрюмостью, Розанов подчеркивал гаерством. «Ванечка» Мануйлов, «Васенька» Розанов и «Юрка» Беляев — были тремя веньяминчиками газеты Эртелева пер<еулка> («Нов<ое> Вр<емя>»). Философ, гуляка и пройдоха в поздние ночные часы поднимались из подвалов редакции в роскошный бельэтаж Суворина и там тешили скучавшего старика, один — глубокомыслием, другой — шантажной ловкостью, третий — пьяным враньем. Всем трем до зарезу нужны были деньги и все трое под утро их добывали.

Про Розанова Суворин как-то писал: «У нас лишь два философа — Соловьев и Розанов (не считая Сковороды); но Соловьев уже переспел, а Розанов не доспел»... У барствовавшего Суворина была слабость к заискивавшему Розанову: оттого ли, что Суворин ничего в розановской философии не понимал, или оттого, что Розанов был типичным разночинцем, напоминавшим «великого Достоевского». Бесконечные философские беседы с Розановым старик прерывал неизменным рефреном: «Вы все врете, Василий Васильевич»... Розанов хихикал, а старик вбирал и выпускал паучье жало и любовно поблескивал змеиными глазками. Нововременские киты ущемляли это учреждение между безднами глу-

бокомыслия и легкомыслия, между похотью Фавна и беспутством Вакха. Поругивая то и другое, Суворин тянулся к тому и другому. Розанов обольщал его не только своим бездонным глубокомыслием, но и своим безбрежным сладострастием. В этом сюсюкающем приказном, до геройства дерзком мыслями и трусливым до подхалимства плотью, сочетались слон и насекомое. Своими слоновыми мыслями Розанов импонировал, своими жучьими чувствами — бесил. Про Розанова в левой печати писали, что он «выходит на улицу в нижнем белье и даже без белья»...



Явление Розанова заслуживает не фельетона, а книги. Под внешностью шута билась в вечном трепете извилистая, ущемленная между пропастями душа, достойная анализа Достоевского. Под вихрами неопрятной головы покоился мозг, достойный бессмертия. Но от розановской души остался чад, а от розановского гения — если уже не истлевшие, то скоро имеющие истлеть бессвязные, порой безумные, устремления. Не в одной России на закате 19-го века вспыхивали, что ржавые зарницы, такие полубезумные гении. В европейской обстановке Розанов дал бы русскую разновидность маркиза Сада и Спинозы. Оголенные, дразнящие проблемы пола и духа, культ фаллоса и чадородия, причудливая, туманящая смесь языческого с божественным, Аполлона с Моисеем, — вот что пока осталось от розановского гения.



Типичнейший российский интеллигент, Розанов, как и Суворин, начал свою карьеру бедным учителем. Литературную известность дала ему книга «Сумерки просвещения». Книгой этой Розанов вонзил нож в самое больное место царского режима — в царскую школу, где лепили российских верноподданных. Книга эта революционнее многого, что писали о России Герцен и Чернышевский. Естественное русло развития розановского гения после такого начала должно было устремиться в сторону революции, где плескались в ту пору муза Михайловского, Стасюлевича, Скабичевского. Из Розанова мог бы выработаться русский Вольтер. Но судьбе угодно было загнать этого опасного подкапывателя под российские устои в стан охранителей и эксплуататоров этих устоев. С ним случилось то же, что и с Меньшиковым — оба попали в золотые нововременские сети, оба продали свое старшинство за чечевичную похлебку.

Огромный розановский интеллект шел на буксире никчемной розановской оболочки и мелкой, трусливой душонки. «Люблю теплый навозец», — восклицал он в минуту распоясанной откровенности. Объятый вечной похотью и в соку российской обывательщины, Розанов-человек барахтался в этом навозе, покуда Розанов-мыслитель решал надзвезд-

ные проблемы бытия. Никто не любил так темных щелей российской обывательщины с запахом кухни и детской, жидким чаем на блюдечке и жирным поцелуем на вечно ищущих губах, никто так наивно-цинично не сознавался в своих животных слабостях, не демонстрировал их и не освещал, возводя акт размножения в высшее духовное задание человечества. Выбегая на улицу в нижнем белье, он тащил за собой полуодетыми свою жену и детей. В одной из таких своих экскурсий Розанов восклицает: «В дни, следующие за удовлетворением моей половой любви к жене, чувствую себя божественно: не кровь, а молоко в жилах...»

Жена краснела, а муж облизывался. На закате дней Розанов написал книгу (заглавия не помню), где изложены сокровеннейшие помыслы и ощущения этого насекомого с мозгом Сократа. По смелости и глубине книга эта гениальна. Но она непристойна даже для дома свиданий. А Розанов воспитывал на ней своих детей...

Три грани, о которые бились маленькая душа и крупный ум этого человека, были: пол, религия и политика. В корню этой тройки был пол, этика и политика скакали в пристяжках. Но пристяжные так резво навозили, что коренник едва за ними поспевал. Розанов-Свидригайлов то и дело кутался в тогу Савонаролы и Пожарского. И оскорблял. После кн<язя> Мещерского и Меньшикова никого так злостно не терзала наша левая, да и правая печать, как Розанова.

Для русской либеральной мысли розановский одиум был в его политических взглядах. Для мысли религиозной — в его чувственном иудаизме. Но и политика, и религия лишь омывали изрезанные, хаотичные берега его существа, не касаясь загадочной глуби материка.

До сотрудничества в «Нов<ом> Вр<емени>» и до основания «Религиозно-философского общества» Розанов вовсе не проявлял ни своих политических, ни религиозных взглядов. Как всякий русский разночинец-интеллигент, он был в оппозиции самодержавному правительству и официальной православной церкви. В качестве истолкователя гения Достоевского и его продолжателя Розанов не забывал ссылки великого писателя и его тезиса: «Церковь в параличе». Но Розанов был трус и обожал «теплый навозец» русского быта. Навозец этот для него был в столовой, спальне и детской. Только пройдя через них и получив в них полное удовлетворение, Розанов становился философом и антицерковником. За спиной своей он должен был чувствовать жирную кулебяку, жирную жену, шумливых детей и светящую лампадами божницу. Самые глубокие и смелые мысли Розанов ронял, отирая свой мокрый рот, прижимаясь к жене и детям.

В цитадели Эртелева пер<еулка> Розанов раздобрел и осмелел. Переселившись из Мещанской на Шпалерную, обзаведясь стильной гостиной и красного дерева кабинетом, этот интеллигент-пролетарий почув-

ствовал себя буржуем-капиталистом. А ласка всемогущего Суворина, бесшабашная удаль эртелевского редакционного быта и возможность за стенами нововременской цитадели решительно все говорить и писать, дав развитие низменным инстинктам этого бурсака, перенесли розановское хулиганство извне вовнутрь его. Ароматные, хотя и резко оппозиционные мысли его до вступления в «Нов<ое> Вр<емя>» были последними. С конца прошлого века Розанов все смелее и злее углубляется в скабрезно-лукавое философствование. Венцом этой философии стали его два творения: политическое — «Когда начальство ушло» и религиозное — «Сладчайший Иисус». Политическую идею Розанов продал за кучку «теплого навозца». Христианскую — за торжество своей распоясанности. В первом случае ему нужно было одеть и обуть семью; во втором — насолить церковности.

❖ ❖ ❖

Розанов был философом Божией милостью, — но философом не абстракции, а субстанции. Розановский ум, шутя, одолевал философские Монбланы Декарта, Карлейля, Конта, Канта и Фихте. «Критику чистого разума» он цитировал, как роман. По философской эрудиции в России не было ему равного. (Страхов, Данилевский, Соловьев превосходили Розанова цельностью мировоззрения, философским планом, но не эрудицией.) Такие «умники» из розановских современников, как Мережковский, Гиппиус, Лев Шестов, Бердяев и друг<ие>, трепетали перед «Васенькой»: хихикая и сюсюкая, этот жук бил слонов.

Но вот, покуражившись на верхах, жук оседал к низам, на свой «навозец», с Олимпа прыгал в спальную и детскую. И тогда его брали голыми руками: тогда любой осел лягал правопреемника Достоевского и Соловьева...

❖ ❖ ❖

На жизнь с ее загадками и глубинами Розанов глядел сквозь экстаз пола, но не глазами развратника. В этом и было заблуждение врагов Розанова. Он и впрямь поклонялся культу фаллоса, но не как помпеец, а как иудей. Розановское сладострастие целиком устремлялось к чадородию. Этот жук был чадородцем Божьей милостью. Он не прочь был бы даже метать икру*. Обожествив пол, Розанов приник к нему с вожделенной молитвой. В одном из своих сочинений он писал: «Опустите на дно брачного завитка икону, и мерзкое станет святым». Плотская любовь была для него подлинной молитвой. Хлыстовщина? Быть может. Но эта

* Розанов утверждал, что живородящие рыбы были сладострастнее насекомых (прим. автора).

хлыстовщина сидела у него не только в нервах, в коже, но и в мозгу. Он был вечным рыцарем плоти. Он был вечным врагом аскетизма. Красивый самец говорил ему больше, чем св<ятой> Антоний, древний храм с альковами для брачующихся ему был дороже базилики св<ятого> Петра.

— Девство должно отдаваться у подножия алтаря, а не в спальном вагоне, — говорил он. — Истинное целомудрие приобретается только под венчальной фатой... Целомудренны женщины, а не девушки... Разврат внесли в мир девственники и аскеты.

Целые тома розановской «навозной» философии посвящены этим дразнящим темам. Темы эти воспринимались не так, как хотел Розанов, а так, как хотели «огарочники» и вся развинченная, сластолюбивая молодежь 900-х годов. Сексуальная философия Розанова уготовляла путь теперешней сексуальной большевизации; его религиозная философия — теперешнему безверию. **А между тем, если читать Розанова умом и сердцем, а не нервами, многое, за что его казнили, может быть ему прощено и даже от него воспринято. Розановская философия плоти и духа сводилась к тому, чтобы сблизить, а не разъединить эти два элемента жизни, чтобы одухотворить плоть, чтобы низменное поднять до религиозного.** Но нервные последователи Розанова устремились к плоти, перешагнув через дух — к фаллосу, опрокинув Вифлеем. И не икону заложили они в «брачный завиток», а бутылку шампанского и парижскую модель.

Огромное влияние на тогдашнюю молодежь возымели и розановские выступления в «Религиозно-философском обществе». Общество это он основал вместе с Мережковским, Гиппиус, Карташевым, Тернавцевым, еп<ископом> Антонином и друг<ими>.

С первых же заседаний общества обнаружились два его непримиримых полюса, две ипостаси, два интеллекта, вокруг которых завилась тогдашняя духовно-революционная мысль: иудаизм и эллинизм, философия Востока и Запада. На этих двух осях вертелся злой спор тех дней, — спор, по существу своему революционный, хотя в нем принимали участие высшие иереи той эпохи и на нем была пломба архиреакционного правительства Сипягина. Спор этот, между прочим, положил начало известности епископа Антонина, тогда еще скромного, но уже злостного архимандрита Александро-Невской лавры, в келье которого бурные диспуты сменялись еще более бурными дебошами. «Васенька» был неизменным участником и этих диспутов, и этих дебошей, вполне подчинив своему влиянию бурный темперамент и исключительную ученость будущего главы живой церкви. Эта церковь, как и половая мораль современной России, — дело рук тщедушного сюсюкающего Розанова.



В области духовно-нравственной «Религиозно-философское общество» сыграло почти ту же роль, как впоследствии Государственная дума в области политической — роль не примиряющую, а разделяющую. Истоки духовной русской революции — на Чернышевой площади Петрограда, в здании бывшего Министерства народного просвещения. Доклад Розанова «Сладчайший Иисус» произвел на русское общество той эпохи впечатление милюковского «Глупость или предательство?». Основы христианства и православия были поколеблены именно тогда. На Чернышевой площади, под сенью высших иереев церкви и под охраной самодержавия, Христос был если не распят вторично, то еще раз оплеван и осмеян. Нововременский сотрудник вознес над Голгофой и над христианским смирением торжествующий альков и самодовление.

Разорвавшаяся бомба не произвела бы большего впечатления, чем доклад о «сладчайшем Иисусе». Как сейчас вижу дьявольский смешок на мокром рту Розанова и его лукавый, косой взгляд на шарахнувшихся, уцепившихся за кресты иереев. Вижу искривленное гримасой бледное лицо Мережковского, тонкую улыбку Гиппиус и застывшую в ужасном ожидании аудиторию.

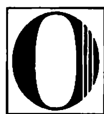
— Христос — варенье. Христианство — спитой чай. Все вместе — чай с вареньем... Религия импотентов... Прав «великий инквизитор» — в наши дни Христа посадили бы на цепь: за лукавство, провокаторство, бунт и проповедь бесплодия...

Таковы главные тезисы этого трактата. Между двумя столпами Религиозно-философского общества — Розановым и Мережковским — начался тогда спор об оплотении духа и одухотворении плоти, об аскетизме и чадородии, о Моисее и Аполлоне, об эротизме освященном и эротизме освящающем, словом — та духовно-плотская абракадабра, что разрешалась потом в поэзии футуризмом Маяковских и Брюсовых, в прозе эротизмом Сологубов и Арцыбашевых и почти всеобщим свальным грехом.

Заканчивая на этом наш весьма поверхностный очерк (скорее — профиль) одного из крупнейших интеллектов XX-го века, ставшего благодаря обстановке, где он работал, дурному пониманию его современниками и отсутствию всепрощающей любви, одной из причин духовно-плотского распада России, мы надеемся, что наступят дни, когда философия Розанова будет лучше понята и воспринята, и что в таком случае она еще сыграет роль в духовном русском возрождении. В политике...

А. З. Штейнберг

НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ. Встреча с В. В. Розановым



сенью 1913-го года внимание широких кругов русского общества и международной прессы было приковано к так называемому «делу Бейлиса» — судебному процессу, организованному в Киеве. Судили приказчика кирпичного завода Бейлиса, еврея. Обвинение было основано на том, что убийство малолетнего русского мальчика Андрюши Ющинского было совершено по чисто религиозным мотивам еврейского ритуального характера. Я в это время жил в Петербурге и сам слышал, как мать маленького кадета, которого собирались поместить в пансионе знакомой мне вдовы военного врача Перельман, услышав, что хозяйка пансиона Мария Григорьевна — еврейка, сказала: «Нет, простите, во времена таких ритуальных убийств я боюсь оставить мальчика в еврейском пансионе, как-то боязно!» «Кровавый навет», как называли дело Бейлиса либеральные газеты, успел, очевидно, завладеть умами широких слоев населения всей страны. Не только правая пресса, но и газеты, считавшие себя умеренными, под давлением общественного мнения не возражали против существовавшего особого сектантского ритуала, связанного с кровавыми убийствами христианских детей. Правые газеты, такие как «Русское Знамя» или «Земщина», старались заручиться громкими именами знаменитых писателей, которые бы поддерживали открыто в прессе это обвинение. И вот Василий Васильевич Розанов, читателем которого я был уже много лет, перед которым я преклонялся, писатель не только с большим талантом, но и с тонкой мыслью и незаурядным умом, стал регулярно снабжать «Земщину» статьями в защиту судебного процесса над Бейлисом. Тот Розанов, который до последнего времени писал в высшей степени своеобразные статьи о евреях, объясняющие, что евреи по природе своей — вегетари-

анцы, так как согласно библейским текстам по еврейским обрядам, прежде чем употреблять в пищу мясо, должны его посолить и вымочить так, чтобы в нем не осталось ни капли крови. Статьи Розанова о еврействе производили на всех большое впечатление, а на меня в особенности. И вдруг оказывается, что евреям нужна кровь христианских младенцев, чтобы справлять праздник Пасхи – праздник освобождения евреев из египетского плена! Для меня оставалось загадочным, что заставило Розанова изменить свои прежние убеждения?

Я долго терпел, читая аккуратно его статьи в «Земщине», но однажды, прочитав особенно ядовитую статью, не выдержал и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, нашел телефон Розанова и позвонил ему: «Могу я поговорить с Василием Васильевичем?» Он сам подошел к телефону и спросил: «Кто говорит?» — «Говорит человек, который занимается философией, еврей, большой почитатель ваших работ до недавнего времени, читающий ваши статьи в "Земщине" и старающийся разгадать загадку. Может быть, вы бы нашли время выслушать мои вопросы?» — «А вы тоже пишете?» — «Пишу кое-что». — «Ну хорошо, хорошо, вы, вероятно, хотели бы поговорить со мной о деле Бейлиса? Знаете, набил нам оскомину этот ритуал, однако я к вашим услугам. Приходите в воскресенье вечером». Об этом «приглашении» я не сказал никому. Пошел по нужному адресу и позвонил.

Открыл сам Розанов, и я сразу оказался лицом к лицу с Василием Васильевичем. «Ах, такой молоденький, этого я меньше всего ожидал. Идемте, идемте, очень интересно», — сказал он и как любезный хозяин взял меня под руку и ввел в столовую, в которой за длинным столом сидело порядочно народа. Среди них я узнал очень известного актера Малого театра – Юрьева, других я не знал. Василий Васильевич посадил меня за стол по правую руку от себя. Одной из своих трех дочерей, помоему младшей, он наказал: «А вот ты, Катя, поухаживай-ка за нашим гостем». Я заметил, что все присутствующие с необыкновенным интересом оглядывали меня. Очевидно, Розанов успел предупредить гостей о приходе какого-то еврея, он даже не знал моего имени, который желает говорить о процессе Бейлиса, о ритуале. Было очевидно, что все интересовались, «кого это евреи нам подослали». Может быть, мое замечание и несправедливо, но для ряда гостей Розанова и для его дочерей я был неожиданным угощением на этом званом обеде. Мне придвинули блюдо с разнообразными закусками, и Василий Васильевич начал расспрашивать меня, кто я и откуда, где учился философии и т. д. Мне этот светский разговор казался не к месту. Я пришел не для того, чтобы вести легкую застольную беседу, и не ожидал, что буду одним из гостей Розанова. Я представлял себе, что буду сидеть за рабочим, письменным столом наедине с Розановым и постараюсь выяснить и понять, что побудило его

так резко переменить свои взгляды на евреев. Получилось совсем не так, как я ожидал. Я сидел за столом, как обычный гость на вечеринке Розанова, и, поглядывая на Василия Васильевича сбоку, на его ласковое лицо, прислушиваясь к гостеприимным ноткам в его голосе, думал, когда же мы дойдем до дела? Неужели серьезный разговор начнется при всех этих людях? Однако, «взялся за гуж, не говори, что не дюж»!

И вот, Василий Васильевич сам начал говорить о процессе Бейлиса: «Так вы пришли, чтобы поговорить о ритуале?» — «Как я уже сказал вам по телефону, Василий Васильевич, я все ваши книги читал и знаю ваше мнение, что евреи как бы все поголовно вегетарианцы. Я и сам получил очень хорошее, основательное еврейское воспитание и образование и твердо знаю, что подобного ритуала среди евреев быть не может, это противоречит всем принципам еврейской веры». — «А-а, вы думаете, что и я не верю в возможность такого ритуала? Нет, я верю. А вы, такой молоденький, думаете, что все тайны знаете? Во всем еврейском народе, может быть, только пять-семь человек об этом знают». Я немного рассердился: «А вы, Василий Васильевич, как же знаете?» — «А я — носом, чутьем. Вы не понимаете главного. Согласитесь, ведь это совершенно необыкновенное явление — народ рассеян, без земли, без общего языка, — а вот как-то держится, и не только держится, а силу проявляет! Посмотрите на себя, вот вы сотрудничаете в журнале "Русская Мысль", а русским себя не считаете». Я возразил, что такого требования нет, чтобы только русские писали в русских газетах. — «Так ведь вся наша печать, за немногими исключениями, в руках евреев, они руководят всей прессой и в конце концов захватят власть в России. А почему? Потому что держатся крепко, обособленно. Вот Бейлиса, человека совсем ничем не выдающегося, обвиняют в ритуальном убийстве, и все евреи, как один человек, во всем мире поднялись на его защиту. Как же вы это объясняете? Нет более сильной связи, чем через кровь. Для этого-то и совершаются время от времени кровавые убийства, еврейский народ тогда еще крепче объединяется! Вы же не будете отрицать того, что все, что бы мы ни делали, для вас — погано!» Я развел руками. «Вот, — продолжал Василий Васильевич, — моя дочь поставила перед вами угощение, а вы не прикасаетесь!» — «Василий Васильевич, да вы же лучше других знаете, что евреи по закону не могут употреблять в пищу мясо, из которого не удалена вся кровь. Кроме того, есть пища, которая не употребляется евреями не потому, что она "погана", а потому, что запрещена еврейским законом. Я не ем ветчины, но не потому, что она на столе *у вас*, — я вообще никогда не ем ветчины!» — «Да, это, может быть, и так, но все-таки вы считаете нас людьми второго сорта, если вообще считаете людьми! А как объяснить, что вы на меня смотрите и сердитесь?» — «Я не сержусь, я очень огорчаюсь. Я вам не льстил, когда сказал по телефону, что

был большим почитателем вашего таланта, ваших произведений, я многому у вас научился». — «Вот вы хотите меня взглядом околдовать!» Не знаю, что он видел в моем взгляде особенного: «Простите, Василий Васильевич, может быть, вы разрешите мне откланяться и уйти, я не хотел бы быть помехой вашему воскресному обеду». Тогда он довольно громко сказал: «Нет, я верю, верю в ритуал!» Это громкое восклицание было явно сделано для того, чтобы привлечь внимание всех сидящих за столом. Человек, сидевший недалеко от нас, с окладистой седой бородой, вмешался в разговор. Я уже и раньше заметил, что он прислушивается к нашей беседе: «Нет, Василий Васильевич, тут я с вами не согласен. Вы не правы в ваших выводах об обособлении евреев. Когда я был студентом в Петербургском университете, я был дружен с русскими старообрядцами, которые приходили в университет со своими собственными кружками, чтобы не пить из тех кружек, из которых пьют "еретики" — просто православные».

Василий Васильевич познакомил нас. Это был знаменитый Эфрон, автор пьесы «Контрабандисты», направленной против евреев в России. Он описывал евреев, которые селятся вдоль границы и занимаются контрабандой и другими преступлениями. Эфрон сотрудничал в «Новом Времени», был крещеным евреем и говорил по-русски с легким еврейским акцентом. Пьесу его ставили в Малом театре. Тот факт, что Эфрон, будучи евреем, отошел от еврейства, очевидно, заставил его вмешаться в наш разговор. Розанов был доволен, что этот разговор становился общим. Дочь Розанова, Катя, сидевшая неподалеку от Эфрона и ухаживавшая за гостями, как-то вскипела и неожиданно сказала: «А почему вы даете папе такие вещи писать, почему вы только тут критикуете его, а не напишете письмо в редакцию? Ведь погромы могут быть!» — «Успокойтесь, Катя, погромов не будет». Василий Васильевич снова овладел разговором: «Вот видите ли, когда мои дочери приходят из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет! Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вот вы на меня смотрите! Конечно, вы и берете власть. Но надо же, наконец, и за Россию постоять!» Я снова, во второй или уже в третий раз, был глубоко разочарован. Так вот в чем загадка! — «За Россию постоять!» Дело не в ритуале, все дело в политике! Я вдруг почувствовал, что не следовало бы предпринимать этого экстравагантного визита.

Однако эта встреча с Розановым дала мне возможность лучше понять не только его самого, но и многие явления русской жизни. Я решил

высказать Розанову, что теперь вполне понимаю, почему он считает нужным и важным, пользуясь процессом о ритуальном убийстве, как-то предупредить русский народ, чтобы остерегались евреев. По моему мнению, это идеи политические, а не религиозные, не философские, и потому мне нечего сказать на это. «Как это — не философские? А почему евреи критикуют все у других, а у себя ничего не критикуют? У евреев — все хорошо! Слышали ли вы, чтобы евреи сами себя критиковали так, как они критикуют правительство, безграмотность народа, пьянство?» — «Василий Васильевич, неужели вы никогда не слышали о таком движении, как сионизм? У вас же в Петербурге выходит еженедельник “Сионистский рассвет”, возьмите его в руки, вы увидите, что он полон критикой еврейства в рассеянии. Вы говорите, что евреям необходимы убийства христианских младенцев, чтобы сплотиться в рассеянии, а сионисты говорят, что им необходимо восстановить свою святую землю со столицей в Иерусалиме. А покуда она не восстановлена, евреям грозит опасность! Критика евреев и еврейства на каждой странице — это легко проверить!» — «А я вам скажу, что евреи грабят наших крестьян. Я сам видел в Бессарабии, где мы были летом на даче, как евреи, покупая у крестьян зерно, проделывали в мешке дыру и заставляли их добавлять меру-другую!» — «Очень возможно; в еврейских книгах уже давно написано, что торговля не повышает морального уровня того, кто занимается ею». Я даже употребил пословицу, которую Кони ставил в упрек русскому народу: «Не обманешь — не продашь!» «Простите, Василий Васильевич, то, что я сейчас услышал от вас, дает мне право откланяться. Я не в обиде на то, что пишут в печати. Мне обидно, что под некоторыми недостойными статьями стоит подпись Розанова, которого я так уважал и до сих пор уважаю, несмотря на мое разочарование». Было уже поздно, и гости постепенно стали расходиться. «Ну, вы тонкий дипломат, — сказал мне Розанов, — вы хотите сказать, что не принимаете моих аргументов, что я сам не верю тому, о чем пишу. Если уж вы такой дипломат, то дайте мне совет. Перейдем в кабинет, я вам покажу кое-что, вы скажете свое мнение. Как посоветуете, так и сделаю. Согласны?»

Надо сказать, что я не остался бы и не пошел с Розановым, если бы не выражение лиц Кати и ее двух сестер, какое-то грустное, подавленное, им было как будто стыдно за отца, как если бы он сделал нечто неприличное. Мы пошли в его кабинет — соседнюю комнату. В кабинете, в кресле полулежала женщина, укутанная в теплый шерстяной плед. Мне показалось, что она парализована. Розанов представил меня ей. Когда мы приближались, Розанов шепнул мне: «Вы знаете, мой друг очень болен, не надо ЕГО волновать. (Розанов говорил “его”.) Будем продолжать беседу вполголоса». Во всем тоне и поведении Розанова было столько ко мне расположения и доверия, неожиданного в этой обста-

новке, что у меня возникло двойственное чувство к нему. Вместо того чтобы обличать черносотенца, который клевещет на еврейский народ, восстанавливает русское население, и главным образом духовное сословие, против евреев, я как бы вошел в семью Василия Васильевича, как-то сроднился с ним в такой короткий срок. Это был один из тех случаев, который позволял мне понять своеобразие, большое, неискоренимое своеобразие русского характера. Мы уселись. Розанов указал мне место на диване и придвинул кресло ко мне. Из шкафчика он достал четыре листка почтовой бумаги и подал мне: «Вот прочитайте, пожалуйста, и скажите, что с этим делать?» Это было письмо, написанное недостаточно образованным человеком, хотя и без грамматических ошибок: «Василию Васильевичу Розанову – предупреждение. За ваши статьи в "Земщине" по поводу процесса Бейлиса вы будете соответственно наказаны, еврейство вам этого никогда не простит. По старым своим заветам искоренит не только вас, но и все ваше семейство и все ваше потомство. Все это будет сделано согласно ритуалу. Сообщаем вам, что под зданием Большой Хоральной синагоги на Офицерской, в подвале, в затаенном углу стоит алтарь, на котором такие люди, как вы, враги евреев, приносятся в жертву во имя спасения великого еврейского народа и всего обращенного в еврейскую веру человечества. Бейлис будет осужден в Киеве, но мы не успокоимся, подадим кассацию; дело будет передано на новое рассмотрение, где обнаружится, что Бейлис ни в чем не повинен. Он будет оправдан. Вы же и все вам подобные будете уничтожены». Я прочитал и невольно улыбнулся. Мне было ясно, что это подделка. Но кто бы мог написать это письмо? Были ли это те, которые действительно хотели попугать Розанова, или, наоборот, те, которые пытались содействовать обвинению Бейлиса? Глупо было и то, что сообщался адрес, как бы специально затем, чтобы полиция занялась этим. Мне кажется, что главной целью этих людей было поиздеваться над Василием Васильевичем. Я удивился той серьезности и беспокойству, с которым Розанов обратился ко мне. Неужели этот умница из умниц может так легко попасться на такой простой крючок. «Прочли? Так вот, я и хочу с вами посоветоваться. Некоторые говорят, что я непременно должен передать это письмо полиции, а другие не советуют, так как я могу выставить себя в смешном виде. Как вы думаете? И вообще серьезно ли это?» Я сидел и думал про себя, может быть, Василий Васильевич издевается надо мной, хочет посмотреть, принимаю ли я всерьез его озабоченность? Дочери его прислушивались к нашему разговору с каким-то беспокойством, а Друг, как Розанов называл женщину в кресле, спросила: «В чем дело?» Впоследствии я узнал, что это была та самая женщина, на которой Розанов не мог жениться, так как Суслова отказывалась дать ему развод. Беспокойство овладело и мною, и я подумал, а что если какие-ни-

будь изуверы действительно собирались повредить Розанову, побить одну из его дочерей, например, а потом предъявить это как месть евреев? «Знаете, Василий Васильевич, полиция в таких вещах разбирается лучше нас с вами. Они прежде всего проверят адрес и, может быть, даже определят почерк. Кто бы ни писал это письмо, тут явно нет никакой хорошей цели, и я счел бы правильным передать это дело в полицию». — «Видишь, Катя, наш гость тоже считает правильным обратиться в полицию» — «Папа, так ведь он же из вежливости это говорит», — заметила Катя. Мне это замечание очень понравилось. Василий же Васильевич сказал: «Может быть, вы и правы. Но я еще подумаю. Во всяком случае, спасибо. Я бы хотел вам еще кое-что рассказать о евреях».

И он стал рассказывать о том, что евреи задумали исключить его из русского общества. Какие евреи? Те, что группируются вокруг Струве. Я был молодым человеком, жившим долгое время в атмосфере культурного университетского города в Германии — Гейдельберга; конечно, я не вращался в кругах, собиравшихся вокруг Струве. Для меня это был совсем другой мир, мир нереальный, и мне стало жутко. Не успел я прийти в себя, как услышал очень громкий голос человека, которого я до сих пор не замечал, вероятно, он пришел уже после обеда. Он незаметно прошел в кабинет Розанова и стал у окна противоположной стены. Глаза его были расширены, он как будто косил: «Что ж вы, все об одном и том же говорите?» — «Тише, тише, — старался успокоить этого человека Розанов, указывая глазами на Друга. — Вы не знаете его? Он почти сумасшедший. Не слышали? Анатолий Бурнакин. Вот, познакомьтесь». Бурнакин же не унимался: «Что это? Он хочет поразить нас своим благородством? А мы, что же мы — не люди? Приходят тут к нам со своим благородством». Он, очевидно, уже давно слушал наш разговор и был чем-то очень возмущен. — «Ты потише, Толя. Не забывай...» И Розанов снова указал на больную. А одна из дочерей его упрекнула: «Не говорите так — это наш гость!» — «Ах, мне все равно, ведь вот Грузенберг (один из защитников Бейлиса, известный адвокат), ведь вот взял же он 10 000 рублей за защиту Бейлиса! Еще представляют себя благородными!» — «А-а, Толя, ты против Грузенберга? А я разве не взял двадцать тысяч рублей за свои статьи в "Земщине"?» * Почему-то Бурнакин не нашел худшего

---

* «Земщина» не была, конечно, платформой для Розанова. Издательство ее называлось «Палата Михаила Архангела». Это был орган Черной сотни, и финансировался миллионершей по фамилии Полубояринова, которая была тесно связала с Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем, депутатом Государственной думы. Это была организованная группа, целью которой было, очевидно, «спасти Россию». Ею и был выдвинут лозунг «Бей жидов — спасай Россию».

порока в евреях, чем то, что еврейский адвокат Грузенберг брал большие гонорары. На это Василий Васильевич, нисколько не стесняясь, заметил, что он и сам за гонорары. Это произвело на меня впечатление некоего откровения и как-то, совершенно непроизвольно и неожиданно, восстановило в моих глазах престиж Розанова — «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И Бурнакин, который был значительно моложе Розанова, вероятно, ему было не больше тридцати лет, а Розанову уже за пятьдесят, принужден был понизить голос. Мы продолжали беседу. Розанов, как ни в чем не бывало, стал снова расспрашивать меня о Гейдельберге, как там преподают философию и чему там можно научиться, с такими подробностями, что я подумал, не собирается ли Розанов отправить в немецкий университет одну из своих дочерей? Василий Васильевич не преминул отпустить несколько колкостей по адресу немцев, хотя тут же прибавил, что ведь недаром Пушкин писал о своем любимом поэте Ленском: «с душою прямо геттингенской»; что уже во времена Пушкина чувствовали и знали, что немецкое образование сродни чему-то поэтическому, возвышенному.

Однако настал момент, когда нужно было собираться домой. Я поблагодарил за гостеприимство, полагая, что это мой первый и последний визит к Розановым, но Василий Васильевич заявил: «Ну нет, если вы думаете, что вот поговорили и прощайте, то ошибаетесь. Теперь вы должны нам показать, что мы для вас не поганые. Вы должны бывать у нас». Была ли это шутка или интерес ко мне, я не понимал и не знал. Мне не хотелось бы стать застольным гостем Розанова наряду с таким плохим, как мне тогда казалось, человеком, как автор «Контрабандистов», но я согласился. Тогда Василий Васильевич позвал Бурнакина: «Иди и проси прощения за свою грубость у нашего гостя». Мы были уже в передней. Туда же втащили Бурнакина, который протянул мне руку и сказал: «Простите». Мне было неприятно пожать ему руку, но я ответил: «Ну что вы, не беспокойтесь!» — «Так помните же, — повторил Розанов, — мы ждем вас снова, когда вам будет угодно. Мы можем беседовать и на другие темы». Я ушел. Посещение Розанова оказалось для меня «самообразовательным». Этот вечер показал и раскрыл мне многое. Я был еще слишком молод, я верил, что писатель с таким громким именем, как Розанов, должен обладать солидным философским образованием. Наша беседа с ним, однако, не обнаружила в нем больших познаний в развитии новейших идей. Василию Васильевичу просто следовало бы заняться философией. Было очевидно, что он отстал, а может быть, поддался очарованию своего собственного ума? Что касается Бурнакина, то он тогда только еще начинал писать, но я уже читал кое-что из его работ. Была в них какая-то острота, нечто очень искреннее, но уже отравленное злобой. Все, что в политике считалось относящимся к левым

взглядам, вызывало в нем неприязнь и злобу. Один вид его: бледный, с косящими глазами, напоминал человека ненормального или находящегося под действием наркотиков.

На следующей неделе я был на Невском. Перед витриной «Вечернего Времени», вечернего издания «Нового Времени», толпились люди. Среди них я узнал депутата Государственной думы Пуришкевича. Он был в шинели с меховым воротником и цилиндре. Некоторые депутаты Думы, как и члены парламента в Англии, носили цилиндры. Сенсационное объявление гласило, что Бейлис оправдан. А Пуришкевич очень громко заявил: «Бейлис оправдан, но ритуал — признан!» Где он вычитал это — неизвестно! Вскоре после этого я прочел в «Новом Времени» статью Розанова «На их улице праздник». В статье говорилось, что евреи добились своего, что не следует преуменьшать их сил. Розанов рассказывал: в его квартире не умолкая звонит телефон: он подходит и слышит: «Это Розанов? Ну что вы теперь скажете?», а за спиной говорящего слышен шум и радостные крики. Издеваются!

Спустя некоторое время совершенно случайно я встретился с дочерью Розанова на лекции Льва Иосифовича Петражицкого о равноправии женщин, которая проходила в зале Калашниковской биржи. Петражицкий, обрусевший поляк, был членом Первой Государственной думы, психологом и довольно значительным теоретиком философии права. Дочь Розанова подошла ко мне в перерыве и упрекнула в том, что я не бываю у них после того вечера: «Вы не хотите к нам приходить, вы нас презираете. Отец очень хотел бы, чтобы вы пришли, мы даже собирались послать вам приглашение, но отец побоялся, что вы могли бы это ложно истолковать. А вы бы истолковали это ложно?» — «Нет, не думаю. Я бы принял приглашение вашего отца как проявление вежливости. В прошлый раз я пришел к вам, чтобы выяснить кое-что, я не думал быть гостем вашей семьи». Встреча эта происходила весной трагического 1914-го года. Я хотел во что бы то ни стало успеть до войны, которая казалась мне абсолютно неизбежной, закончить свою диссертацию «О понятии реального» — «Der Begriff der Realität», о чем я уже заранее сговорился с профессором Эмилем Ласк. Поэтому заводить новые светские знакомства я не собирался. Все это в мягкой форме я объяснил дочери Розанова, как вдруг она сказала с беспокойством: «Смотрите, вот Бурнакин, который вас страшно ненавидит. Он до сих пор считает, что евреи употребляют кровь христианских детей на Пасху; что, конечно, Бейлис убил для этого Андрюшу Ющинского. Он не прекращает говорить, что вы нанесли обиду всему честному Петербургу тем, что пришли без всякого предупреждения так нахально обвинять нас во лжи. Ну как же не обидеться? Вот он вас и ненавидит. Он всегда приводит вас как пример еврейского нахальства. Нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам.

Мы пригласили бы Бурнакина, если вы ничего не имеете против. Вы бы смогли с ним объясниться. Мы все, и папа тоже, объясняем Бурнакину, что вы просто невинный младенец и пришли к нам, чтобы услышать от "великого мыслителя Розанова" новую правду, как иронически говорит папа. Приходите к нам. Здесь не надо говорить с Бурнакиным».

После окончания процесса Бейлиса вышла статья Петра Бернгардовича Струве о Розанове под названием «Большой писатель с органическим пороком», в которой он говорил о двойственности Розанова и отказывался печатать его. Розанов, под псевдонимом Варварина, давал в либеральной московской газете Сытина «Русское Слово» и в черносотенном «Новом Времени» совершенно противоположные оценки одному и тому же событию. В то же самое время «христианским делом» Мережковских было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Тон в этом обществе задавали, конечно, Мережковские: Дмитрий Сергеевич и Зинаида Гиппиус. Мережковский проповедовал новое христианство, о котором говорил, что это не только учение или теория, на христианстве основана вся русская культура. Он утверждал и верил, что Россия живет только одним христианством, которое должно быть не только церковным, смиренным, молитвенным, но и активным. Настоящее христианство — это действенная любовь, ему нужно действие. Я услышал эту формулу непосредственно от Мережковского на его лекции в Религиозно-философском обществе о религиозности Пушкина. По инициативе Мережковских состоялось собрание в большом зале Географического общества, главной целью которого было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Зал вмещал несколько сотен человек, и потому я не видел Розанова, но мне говорили, что он где-то в зале. По неопытности, наивности или простодушию я не мог тогда найти оправдания решению исключить Розанова. Это же комедия — какое же это христианское дело? Впоследствии я узнал, что и Блок тоже протестовал против исключения Розанова, как и многие другие.

Когда я вышел покурить в соседнюю небольшую комнату за залом, я увидел ту самую дочь Розанова, которая рассказывала о ненависти ко мне Бурнакина. Она, бедная, сидела в кресле и плакала. Мне и теперь еще так жалко, когда я вспоминаю ее, бедную, убитую горем, несчастную, с опущенной головой, с лентой в волосах и челкой, которая тогда входила в моду. В первую минуту я даже не узнал ее, так она не была похожа на себя. Заметив меня, она вздрогнула, как будто увидела привидение. Не помню точно, как я к ней обратился. Кажется, я сказал что-то вроде: «Не принимайте все это так близко к сердцу». Я знал, что все, что бы я ни сказал, звучало бы фальшиво. Сквозь слезы, срывающимся голосом она заговорила: «Когда я думаю, какими большими друзьями, совсем родными, были Дмитрий Сергеевич с папой, — и что теперь проис-

ходит, как он старается папу опозорить, мне становится так плохо. Ну да, конечно, папа многое делает неправильно, но почему именно он, Дмитрий Сергеевич? Почему не кто-нибудь другой?» Она, по-видимому, впервые столкнулась с хрупкостью человеческих отношений. Она страдала за отца, за то, что его выставили к позорному столбу. Она тоже его осуждала за многое, но не отрекалась от него. Настоящая печаль и горечь! Я присел, стараясь ее успокоить. Что и как я говорил — не столь существенно. Я говорил, может быть, наивно, но искренно. Что-то о возможности взаимного понимания между людьми, даже если они находятся на различных полюсах, гимназическими, непосредственными и наивными словами стараясь внушить бедной девушке всепримиренчество. И она как-то овладела собой. Однако раздался звонок, заседание возобновилось. В перерыве были подсчитаны голоса и оставалось только объявить результаты голосования. Как и ожидалось, огромное большинство высказалось за исключение Василия Васильевича Розанова из Религиозно-философского общества. Дочь Розанова, когда услышала звонок, снова заплакала, вся горечь опять всплыла. «Вот теперь папу окончательно опозорят». Она вдруг схватила мою руку и сказала: «Дайте мне слово, что вы еще к нам придете». «Честное слово, приду», — обещал я. Давать «честное слово» было для меня необычно, но мне хотелось сказать и сделать ей что-то приятное. — «Могу я папе это передать?» — «Конечно». Розанова исключили.

Надо сказать, что я был против исключения Розанова, хотя и не голосовал, так как не был полноправным членом Религиозно-философского общества. Я имел право присутствовать на собраниях без права голоса. В той ночной беседе с Александром Блоком я услышал от него самого, что он голосовал против исключения Розанова, так как был тогда склонен к очень отрицательному отношению к евреям. Я рассказал ему очень подробно о своей встрече с Розановым. Блок необычайно заинтересовался этим. Ему несомненно приятно было слышать, когда я сказал, что тоже был против исключения Розанова, сказал об этом его дочери и, кроме того, дал «честное слово», что приду к ним.

Я уехал к своим недописанным работам в Германию. Началась война, я оказался в германском гражданском плену. А когда я снова вернулся в Россию, все изменилось, а Розанова уже не было в живых. О том, что случилось с ним, пока я был в Германии, я узнал из разных источников, главным образом от Ольги Дмитриевны Форш. Очень для меня лично важное дополнение к моему рассказу о Розанове я получил неожиданно для себя от самого Розанова, вернее, из его статьи, которая попала ко мне случайно. В двух словах: жили мы в то время в голоде и холоде, без отопления и освещения, без средств сообщения. Однажды, когда заседание нашего философского общества затянулось за полночь.

Разумник Васильевич, живший в Царском, не имел другой возможности, как переночевать в городе, в квартире своего отца, старшего железнодорожного служащего, погибшего трагически на заготовке дров. Железнодорожные служащие имели право рубить дрова в окрестностях Петербурга, перевозить их в город в специальных открытых вагонах, а потом распределять их между собой. В одну из этих поездок Василий Иванович, отец Разумника, упал с платформы вагона, разбился и, будучи очень слабым и старым, не поправился и умер. Помимо дров в квартире отца было огромное количество и другого топлива для печурки-буржуйки: плотной бумаги, хорошо нагревавшей, – комплектов «Нового Времени», которые Василий Иванович почему-то не выбрасывал, а складывал год за годом в огромные кипы, доходившие уже почти до потолка. Перед тем как их сжигать, Разумник разворачивал каждый номер и просматривал, нет ли там статей Розанова. И если находил, то старательно вырезал и собирал, потому что все, что писал Розанов, было интересно, своеобразно, оригинально, а иногда и мудро. Разумник знал в подробностях о моей встрече с Розановым и полагал, что между Розановым и человеком, который считает себя евреем, ничего общего быть не может. Ночуя этой ночью в квартире своего отца, Разумник по своему обыкновению развернул «Новое Время», перед тем как его сжечь, и вдруг наткнулся на статью Розанова обо мне.

Это был довольно большой фельетон, в половину страницы «Нового Времени», озаглавленный «Тогда все лгали». (Я, может быть, не совсем точно помню его название.) Он был написан через несколько месяцев после окончания процесса, когда я уже был за границей. Василий Васильевич подводил итоги сенсационного процесса Бейлиса в Киеве. Он подчеркивал, что все одинаково лгали тогда: те, кто верил в ритуал и поддерживал обвинение, и те, которые отрицали вину Бейлиса, за исключением двух человек. Один из них, профессор Бартольд, очень известный специалист по исламу (переводы его работ сделаны на несколько языков, главным образом – на французский), искренно верил в ритуал и вину Бейлиса, без всяких побочных мотивов. Другой – молодой сотрудник «Русской Мысли» – А. З. Штейнберг, который так же искренне был убежден в том, что это – невозможно! Василий Васильевич в этой статье открыто признавался, что выступал в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье – «еврейское иго». Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго. И чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Разумник Васильевич, прочитав статью, очень радовался тому, что покойный Розанов поддержал мой престиж, хотя и сам был уверен, что по природе своей я не способен ко лжи. Очевидно, Розанов как-то почувствовал, что я не глуп, но очень наивен. Сам

Розанов был простодушным мудрецом, подстать классическому библейскому Иосифу Прекрасному, который как бы сочетал в себе голубиную кротость и змеиную мудрость. Недаром Василий Васильевич написал замечательное предисловие к первому полному собранию сочинений Карла Маркса. Он понял, что Маркс — мыслитель, а не просто гуманист. А комментарии к «Великому инквизитору»?! Мало кому дано проникнуть в то, что понимал и чувствовал Василий Васильевич Розанов! Он понял мое простодушие и наивность, направившие меня к нему объясняться, а поняв, — признал, что я не лгу, не хитрю. А это такая редкость среди людей, с которыми он общался! Надо сказать, что и Александр Блок то же самое говорил мне о евреях, которые требовали от него, чтобы он опровергал обвинение в ритуальных убийствах, хотя сами они отрицали даже свое еврейство.

После исключения из Религиозно-философского общества Розанов, пользовавшийся дурной славой, поселился в Троице-Сергиевской лавре и начал писать свой «Апокалипсис», в котором было обращение к «великому еврейскому народу». Это обращение, скорее всего, было связано с его желанием посмертной славы — «малого бессмертия», желанием сохранить свое литературное наследие. Это было вполне дальновидным шагом, Розанов понимал, что и евреи могут поинтересоваться его посмертной славой. Вскоре после моего возвращения в Россию из Германии была сделана попытка издать произведения Розанова. Человек, который собирался это сделать и которого я мало знал, по словам Блока и Белого, не внушал не только симпатии, но и даже доверия. Это был издатель Гржебин, который, как всякий хитрый предприниматель, решил включить в это собрание лишь работы Розанова с левым уклоном, во избежание придирок к тому Розанову, за которым установилась репутация черносотенца. Гржебин привлек к этому делу Иванова-Разумника и меня. К сожалению, издание не осуществилось. И попытка, сколько я знаю, никогда не повторялась в Советской России.

В конце жизни Розанов очень нуждался и старался как мог обеспечить своих дочерей, которых он так любил. Василий Васильевич был страстным курильщиком. Попав в тяжелое положение, он, как рассказывал мне впоследствии Григорий Рочко, бродил по московским бульварам и подбирал окурки. Григорий Рочко служил в московском банке и был большим поклонником Василия Васильевича Розанова. Когда появилась, кажется в 13-ом году, «Песнь песней» с введением Розанова, Рочко написал ему восторженное письмо, но прибавил, что очень удивлен тем, что Розанов не заметил современности библейской поэзии. Розанов был потрясен критикой неизвестного автора: «Скажите мне, кто вы и чем вы занимаетесь? Вы же поэт, мой дорогой. Напишите и расскажите мне побольше о себе». А «дорогой поэт» ответил Розанову, что он

всего-навсего служащий банка. Однако в известном смысле письмо Розанова определило судьбу Григория Рочко. Он стал делить свое время между работой в сфере финансов и литературой. Рочко стал сотрудником «Русских Ведомостей» и писал рецензии на поэзию.

В середине двадцатых годов приехала в Берлин Ольга Дмитриевна Форш. Именно она передала мне подробности кончины Розанова в Троице-Сергиевской лавре. Василий Васильевич постепенно терял силы, вероятнее всего, от истощения. Если мои впечатления меня не обманывают, у Василия Васильевича было очень нежное сердце. Он очень любил и жалел своих дочерей. Дочери отвечали ему взаимностью, были чрезвычайно привязаны к нему и благодарны за то, что он отказывался от лишней крошки хлеба, чтобы не обделить их. Перед смертью он захотел причаститься. Пригласили, кажется, отца Флоренского — философа, который имел духовный сан. Все совершилось, как полагается по православным обрядам, но когда священник ушел и Розанов остался наедине со своей старшей дочерью, он вдруг неожиданно сказал: «Ты думаешь, это все? А я тебе скажу, что после смерти еще покажу вам всем язык!» Умер Розанов в небольшом домике, на втором этаже. По словам Ольги Дмитриевны, дочь его, которая была очень обеспокоена словами отца после причастия и ожидала какой-нибудь антицерковной, антирелигиозной шутки от него, вошла в комнату покойника и приоткрыла лицо его, закрытое простыней. Она в ужасе увидела язык отца, он как будто показывал ей язык. Это произвело на нее такое потрясающее впечатление, что вскоре после похорон Василия Васильевича старшая дочь его покончила жизнь самоубийством. Повесилась.

Я старался узнать о Розанове и от других русских эмигрантов, приезжавших за границу, но никто уже больше ничего не знал о нем. Василий Васильевич Розанов — русский Ницше, как его теперь называют, — не умер для потомства. И хотя Розановым в России в настоящее время не занимаются, очень скоро нельзя будет обойти его имени в истории русской литературы и культуры первой четверти настоящего столетия. И, может быть, мы и увидим еще полное собрание сочинений Василия Васильевича Розанова с его многогранностью, причудливыми поворотами, с его изнанкой и всей той глубиной, которая является истинным библейским простодушием.

П. Б. Струве

БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРОКОМ

Несколько слов о В. В. Розанове

Возвращаюсь к этому писателю более чем через десять лет. В 1899 г. приходилось убеждать и доказывать, что Розанов крупный писатель *.

В «прогрессивной» печати видели тогда в Розанове только Иудушку из «Московских Ведомостей», как его окрестил Вл. Соловьев в знаменитой полемической статье, изувера, писавшего в «Русском Обозрении», что Ходынка есть искупительная жертва за 1-е марта 1881 г., нашедшего себе затем теплый приют на столбцах «Нового Времени» и там вволю юродствующего.

Много раз в те времена я на примере Розанова (и еще — Константина Леонтьева) убеждался, насколько трудно «реакционному» писателю добиться в русском общественном мнении даже чисто формального признания как литературной «величины». Но время шло, силы писателя развертывались, захват его дарования ширился, к старым «интеллигентским» темам он подходил так своеобразно, что его нельзя было не замечать, и, кроме того, сам он выдвинул целый ряд жгучих, проникающих в самые глубины «быта» тем, которые заинтересовали и интересовали решительно всех («Семейный вопрос»!). Все эти темы он трактовал со своеобразным художественным талантом, меткую характеристику

* Если не ошибаюсь, моя статья о Розанове «Романтика против казенщины», напечатанная в журнале «Начало» за 1899 г. (и перепечатанная в сборнике «На разные темы», СПб., 1902 г.), была в прогрессивной печати первым указанием на политическое и литературное значение писаний В. В. Розанова.

которого читатель найдет ниже в «Библиографическом отделе» в заметке Андрея Белого.

В русской литературе обозначился блестящий литературный талант, создавший почти новый вид художественно-конкретной публицистики, в которой мысль, философская или политическая, всецело сливалась с образами действительности, и исторической, и повседневной. Для художественного критика и для историка литературы благодарной задачей было бы сравнить абстрактную и сухую кисть Салтыкова-Щедрина как сатирика современной ему «исторической» действительности с конкретным и сочным карандашом Розанова как публициста своей эпохи.

Кажется, можно было забыть давние изуверства Розанова, тем более что по мере того как Россия шла к «революции», Розанов явно «левел», и в то же время художественное дарование его крепло.

Но... и тут речь должна идти о явлении, может быть, единственном в русской литературе, на котором нельзя не остановиться.

От реакционной розановщины «Московских Ведомостей» и «Русского Обозрения» Розанов, частью оставаясь в «Новом Времени», частью отправляясь на отхожие заработки в «либеральные» издания, ушел так далеко, что дал ни с чем не сравнимое в остальной русской публицистике обличение старого порядка и любовно-художественное оправдание освободительного движения. Ничего подобного розановской книге «Когда начальство ушло» в нашей литературе не имеется — рядом с этим произведением все, в том же жанре написанное, вяло, бледно, серо, безжизненно и безобразно. Превращение из реакционера в прогрессиста ничего удивительного не представляет, так же как ничего удивительного не представляло бы и превращение обратное. Но вот что изумительно: когда революция спала, когда начальство вернулось из своего отсутствия, Розанов в «Новом Времени» напечатал две (а может быть, и больше) статьи, в которых вместо любовного оправдания революции с невероятной злобой, с которой может только соперничать невежество, обличал русскую революцию. Пожалуй, даже и этому можно было бы не удивляться: почему в развитии идей у каждого писателя может быть только один перелом, почему в его идейной линии может быть только прямой подъем в ту или другую сторону и не может быть спуска, — словом, почему его духовная линия не может быть «кривой»? Изумительно и загадочно то, что свое любовно-оправдывающее революцию лицо Розанов показывает одновременно с лицом, ее злобно-обличающим. Ибо книга «Когда начальство ушло» издана в том же 1910 г., что и те статьи в «Новом Времени», которые сами просятся под другую обложку с названием: «Когда начальство пришло».

В чем же правда для Розанова? — имеет полное право спросить читатель. Или Розанов стоит по ту сторону правды и лжи?

«Напор революции есть напор дикости и самой грубой азиатской элементарности, а не напор духа и высоты. Революция не была другом философии — это никогда не надо забывать. Она всегда шла враждебно поэзии — это тоже факт. Весь застой России объясняется также из революции: не Магницкий, не Рунич, не Аракчеев, не Толстой или Победоносцев — но Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней»

(«Новое Время», № от 4 сентября 1910).

«Без Чернышевского и “Современника” Россия имела бы конституцию уже в 60-х годах; без Желябова, как “благодетеля”, она имела бы ее в 1881 году».

(«Новое Время», там же).

«Наша “революция” или “эволюция”, смотря по вкусу и удачам будущего, есть только фазис в попытках человека заработать счастье своими руками. Революция — отдел науки. Прежде всего, в ней бездна научных элементов, она вся копошится научными теориями и все ее двигатели читают и перечитывают книжки и брошюры, — думают, спорят и, словом, так же действуют “во имя науки”, “найденного и доказанного”, как мученики действовали, когда шли в Рим “во имя Евангелия”. И как в мучениках и победе над Римом главное было не человеческий состав и не катакомбы, а Евангелие, так и в революции главная суть не сами революционеры, а наука.

Революция — *отдел науки*. И потому-то она непобедима. Секут головы, секли, а она все двигалась, побеждала, ширела. Как и христианство ширилось и после казней, потому что было за ним Евангелие».

(«Когда начальство ушло», СПб., 1910, с. 351)

«Все, что творится в спокойные эпохи, выходит несколько лениво, апатично; все, что творится среди беды, волнения, опасности, живуче, крепко. Так родился европейский строй нашей армии при Петре и другие его преобразования. Десятилетия мы жалели, негодовали, отчего конституция не даруется “своевременно” и “сверху”; но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили в 81-м году мертворожденной Лорис-Меликовской или Игнатьевской конституции, что все пошло своим чередом и до конца, старый порядок, можно

«А притеснения земства? А репрессия печати? Без этих "благодетелей" мы шагнули бы вперед как европейская держава в точности на полвека: как Япония сумела же в полвека преобразоваться из изолированно-дикой страны в просвещенную по-европейски страну».

(«Новое Время», там же).

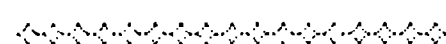
сказать, "выворотил свою душу наружу" в японской войне и конституция пришла как гнев возмездия, пришла сама, а не была "приведена за ухо", что она явилась как энергия и работоспособность, а не благоразумное новое учреждение».

(«Когда начальство ушло», с. 255).

«Не будь министерства народного просвещения, то в России, по крайней мере, так же, как в Японии 40 лет (sic!) назад*, в эпоху трехгодичного плена русского адмирала Головнина, были бы все грамотны. Наверно, иначе и нельзя представить у народа с историей, с церковью, с всевозможными ремесленниками-учителями по селам, с учителями-любителями и филантропами. Ведь грамотны же все у наших сектантов и старообрядцев. Но создалось министерство народного просвещения и сказало просвещению: "стоп". Оно стало "тащить и не пущать" учеников, учителей, библиотеки, книги».

(«Когда начальство ушло», с. 165—166).

Число таких сопоставлений можно было бы значительно умножить, но и сделанные достаточно выразительны. Статья, из которой я заимствовал розановское наивное восхваление революции, помнится, была прочитана им в 1906 г. в одном религиозно-философском собрании, устроенном Н. А. Бердяевым. Присутствовавшие в этом собрании С. Н. Булгаков и я возражали тогда же против этой, на наш взгляд, совершенно некритической идеализации материалистического радикализма 60-х гг., преподносимой рядом с довольно грубым высмеиванием христианства. Булгаков в прениях заметил тогда Розанову, у которого он учился в Ливенской гимназии, что они поменялись ролями: когда-то Булгаков, будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной и ее



* Головнин был в плену в Японии не 40, а почти 100 лет тому назад!

наивным культом положительной науки, а Розанов стоял на почве идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Розанову, переживающему рецидив гимназического увлечения писаревщиной. Свой доклад, теперь напечатанный в сборнике «Когда начальство ушло» под заглавием «Отчего левые побеждают центр и правых», Розанов хотел напечатать тогда же в «Русской Мысли». Я готов был поместить его с надлежащей отповедью; но ни С. Н. Булгаков, которого я просил написать эту отповедь, ни я сам не собрались написать ее (то были дни второй Думы) — и так розановский гимн революции как науке оставался, если не ошибаюсь, ненапечатанным до 1910 г., когда он оказался включенным в сборник «Когда начальство ушло». Как далеко заходил Розанов в своем увлечении революцией, об этом свидетельствует блестящая статья «Ослабнувший фетиш», напечатанная в свое время отдельным изданием и теперь перепечатанная в сборнике «Когда начальство ушло». Эту статью я в свое время *решительно отказался* напечатать в «Полярной звезде», хотя своим художественным рисунком она пленила меня. Сделал я это вовсе не потому, что тут приходилось считаться с законами о печати. Ничего недопустимого по законам о печати в статье не было, и она была в этом отношении гораздо менее рискованной, чем другие статьи в «Полярной звезде», за которые прокуратура привлекала меня к суду. Но в 1906 г. поддакивать самому крайнему из русских политических настроений и направлений, говорить ему приятные вещи, когда каждое слово имело практический смысл, было ответственным актом, представлялось мне в моем положении, как политического деятеля-редактора, непозволительно легкомысленным, прямо бесчестным. И я отказался напечатать литературно-эффектную статью Розанова.

В самом деле: для Розанова написать такую статью — означало создать новую художественную арабеску, с моей стороны напечатать такую статью — означало произвести политическое действие.

Но все-таки я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочайшей любовной солидарности с самыми крайними течениями освободительного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих течений и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобызать, и оплевывать одновременно, будет обличать морально террор, одновременно с усмешечкой признаваясь печатно, что он в свое время радовался убийству Плеве *.

* «Мой “добрый друг” г. А. С–н в самом начале революционного движения передал возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед сельской церковью, взяли от нее крови и “помазали иконы в храме”, и о том, как возмущенные мужики, связавши их, “отрубили им всем головы

И вправду, *цинизм* есть надлежащая и единственная надлежащая характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не может быть и речи ни с какой точки зрения, ни с консервативной, ни с либеральной, ни с революционной. Тут можно только констатировать, описать факт и задуматься над его объяснением.

Что же это такое?

Я думаю, загадочное и страшное явление, как оно ни кажется простым. Есть, конечно, люди, которые просто объяснят такое поведение низменными расчетами, приспособлением к господствующей силе и велениям ее духа, носящегося в редакции «Нового Времени». Правда, в отличие от блещущего талантом, художественного оправдания революции, новейшие обличения ее у Розанова вымучены и почти бездарны. Однако я думаю, что объяснять весь этот маскарад рассчитанным приспособлением было бы слишком просто и грубо. Конечно, это — приспособление к силе, конечно, — над всеми этими самоновейшими жестами Розанова можно было бы — подражая заглавию его книги — поставить заголовок: «Когда начальство пришло», но это объяснение все-таки недостаточно: оно слишком примитивно и не дает понять самого важного и самого страшного. Розанов потому так легко не то что приспособляется, а духовно льнет ко всякой силе, что у него нет никакого собственного стержня и упора, что он подлинный нигилист по отношению ко всему «историческому». В нем как в литераторе и человеке живет потребность не только быть в «хорошем обществе», ему приятно и хочется в то же время постоянно купаться в самой нигилистической и нигилистически свободной атмосфере. Такова в известном смысле атмосфера «Нового Времени». Он сам не раз подчеркивал, что «святыней» для него является только частная жизнь, семья. Что такое Розанов в семье, в своей семье, — об этом я ничего не знаю и, пока он жив, пока он не стал совсем «объектом», историческим «предметом», ничего не хочу знать. Но сам он говорит, что это — *его единственная святыня,* и я ему в этом верю.

> Я единственное утешение нахожу только в домашней жизни, где всех безусловно люблю, меня безусловно все любят, везде «своя кровь», без примеси «чужой», и «убийца» не показывается даже как «тень», «издали». Кроме «домашнего очага», он везде стоит. Вот от-

---

перед этой самой церковью". Г-н А. С–н, друг Соловьева и такой тоже прекрасный "вообще христианин", рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительности, для решения важного вопроса. И я не осуждаю его. *Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался»* («Когда начальство ушло», с. 284–285. Подчеркнуто мной).

чего я давно про себя решил, что «домашний очаг», «свой дом», «своя семья» есть единственное святое место на земле, единственное чистое, безгрешное место: выше Церкви, где была *инквизиция*, выше храмов, ибо *и в храмах проливалась кровь*. В семье настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьей), натуральной, натуральной любовью сцепленной — никогда! В семье и еще в хлевах, в стойлах, где обитают милые лошадки, коровы: недаром «в хлеву» родился и «наш Боженька», Который бессильно молился в Гефсиманском саду... («Когда начальство ушло», с. 278)

В политике же, в культуре, в религии Розанов — нигилист, никакому Богу не поклоняющийся, или, что то же, готовый поклониться какому угодно Богу по внушению исключительно своего «вкуса» в данный момент и разных «наваждений». Вот где корень его публицистического бесстыдства, безотчетного, органического. Это не приспособление Меньшикова, всегда до мелочей обдуманное и рассчитанное; это нечто внутреннее, стихийное, натуральное. Если бы Розанов не был так умен и хитер, можно было бы сказать, что его бесстыдство детски безгрешно. Увы! — именно в этой детскости есть что-то гадкое и страшное.

Помню, еще гимназистом я был поражен меткой аксаковской (К. С. Аксакова) характеристикой Ивана Грозного как «художественной» натуры. Как Иван Грозный был в исторической жизни «художественной» натурой, стоявшей вне добра и зла, правды и лжи, и потому и радикально-злой, и радикально-лживой, так и Розанов-писатель в своем отношении ко всему «историческому», к «революции», «правительству», к «республике», «монархии» тоже является художественной натурой. Он если не все, то многое видит. Но скажет ли он правду или ложь, — это, очевидно, зависит от какого-то живущего в нем мелкого и низменного беса, который боится и трепещет всякой фактической, в данную минуту непреодолимой или кажущейся непреодолимой силы.

Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура. Между прочим, органическая безнравственность Розанова как писателя обнаруживается в одной любопытной психологической черте, или черточке. Этот певец конкретности, быта, этот наблюдатель мельчайших черт реальности абсолютно беззаботен относительно фактов. Он фактов не знает и не любит. Он их презирает и безжалостно (бессовестно?) перевирает. По той причине, что они для него не «факты», не «дело», а бисер в его художественных узорах. Поэтому-то он часто попадает впросак и целые выводы строит на — sit venia verbo! * — глупейших фактических ошибках, т. е. на невежестве



* да будет мне позволено так сказать! (*лат.*)

или безграмотности. В предисловии к книге «Когда начальство ушло» целое рассуждение исходит от утверждения, что Кларан, Вевэ и Монтрэ – части «кантона Женева», тогда как всякому, со вниманием к «фактам» жившему в тех местах или наведшему справки в какой-либо «географии», известно, что эти поселения принадлежат к кантону Ваадту или Во. Вся характеристика Желябова как «бретера и хвастуна» есть объективно плод совершеннейшего невежества. Желябов не только не был тем, чем его изображает безграмотный по этой части Розанов, он в истории нашего революционного движения – фигура прямо исключительная по своему государственному смыслу. Есть что-то глубоко трагическое в том, что этот государственный умница сыграл заглавную роль в таком противогосударственном и нелепом акте, как деяние 1 марта 1881 г. В. Я. Богучарский совершенно прав в своей оценке размеров *личности* Желябова. И если Розанов говорит, что Богучарский не может «привести хотя бы одного его (Желябова) слова, хотя одного его афоризма революционно-философского», то эти слова Розанова свидетельствуют только о его глубочайшем невежестве. Ибо всякому знакомому с историей нашего революционного движения хорошо известны выдержки из писем Желябова к М. П. Драгоманову (убежденному противнику террора), в свое время опубликованные самим Драгомановым. Эти выдержки, в которых замечательны не только мысль, но и стиль, свидетельствуют об огромном именно *государственном* уме и о *национальном* смысле Желябова, – в этом отношении особенно характерны его суждения о необходимости для России политического преобразования, к признанию чего Желябов пришел *благодаря* своему государственному смыслу и *вопреки* народнически-социалистическим предрассудкам, и его возражения против федерализма.

В области фактов, повторяю, Розанов – гомерический неряха и выдумщик.

В литературе вообще, в русской литературе в частности, я думаю, еще никогда не было подобного явления.

Как относиться к нему? – над этим невольно должен задуматься всякий, для кого вопрос о Розанове решается не просто справкой о том, что он состоит сотрудником «Нового Времени». С одной стороны, ясновидец, несравненный художник-публицист, с другой – писатель, совершенно лишенный признаков нравственной личности, морального единства и его выражения, стыда.

Такое соединение именно потому является единственным в своем роде, что речи тут не может идти о падении или падениях Розанова. Нелепо, таким образом, говорить и об его исправлении. Я знаю, что я пишу нечто страшное, что нужно говорить весьма осторожно и весьма обдуманно. Да, Розанов не падает никуда, его безнравственность или

бесстыдство есть нечто органическое, от него неотъемлемое. Прежде и я думал, что Розанов исправляется или, вернее, исправился, излечился от реакционного изуверства и стал «хорошим русским писателем, сочувствующим всему хорошему», только от «лютого телесе озлобления», т. е. ради монеты, пишущим в «Новом Времени». Конечно, и в «Новом Времени» он пишет, и в прогрессивные издания он ходит на отхожие заработки отчасти ради монеты. Но не это самое главное. Розанов, даже если бы захотел, не мог бы быть просто наемным писателем. Дело, стало быть, вовсе не в простом приспособлении. Теперь, даже если бы Розанов трижды отрекся от «Нового Времени», Меньшикова и пр. и пр., — я бы этому отречению не придал никакого значения. Точно так же как — с противоположной стороны — я не придал бы никакого значения отречениям Розанова от оправдания революции и восхваления революционеров и торжественному обещанию никогда не ходить на отхожие заработки в прогрессивные издания. Отречься от себя Розанов не может, а бесстыдство есть органическое существо его «художественной натуры».

Можете ли вы после всего, что вы говорите о Розанове, давать его произведениям место на своих страницах, и можно ли вообще пускать его в «прогрессивную» печать? — так спрашивают меня те, с кем я делился своим окончательным мнением о Розанове. Пока я верил, что Розанов падает и исправляется, исправляется и падает, я считал своим долгом не закрывать перед ним a priori страниц редактируемых мною изданий. Не только из терпимости. Нет, одним из моих мотивов было всегда признание большой объективной художественной ценности писаний Розанова, на которую я указывал еще тогда, когда о Розанове не говорили иначе как с презрительной усмешкой. Розанов один из первых русских писателей, и его бесстыдство есть большое горе нашей литературы.

Но все-таки литературные произведения суть *творения*, а не *выделения*, и литературное сотрапезничество есть общение между людьми, а не взаимодействие между нейтральными «организмами» или «системами», человеческое естество которых безразлично. Как ни замечательны в литературном отношении произведения Розанова, — именно в них так ярко обнаружилась его нравственная личность, что литературное сотрапезничество с ним невозможно для человека, видящего в писателе не «выделительный аппарат», а цельную и ответственную творческую силу.

Вопрос о нравственном образе писателя, да и вообще всякого человека, страшно труден. Но я этого вопроса в общей форме здесь не ставлю. Случай Розанова, по моему глубокому убеждению, совершенно особенный, не похожий ни на какие другие. Во-первых, тут вопрос ставится не о частной жизни человека, которая может быть безупречной или на-

оборот и до которой, впрочем, вообще никому нет дела. Даже, я повторяю, речь тут идет не о литературных падениях вроде тех, о которых Некрасов писал:

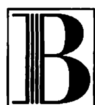
Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...

Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, о его существе и естестве, неотъемлемом и непоправимом.

Большой писатель с органическим пороком!

Г. В. Рочко

ВОСПОМИНАНИЯ ПОПУТЧИКА



В это время, когда мы так ушли в себя, появилось «Уединенное» В. Розанова, к которому очень многих потянуло уже по одному названию книги.

> Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.
> — Что́ это? — ремонт мостовой?
> — Нет, это «Сочинения Розанова»...

Кто это писал? Какой недруг, злой критик Розанова?.. Он сам. Ну что ж, бывает. Вот Гоголь в тяжелые часы угнетенности просто бросил в огонь 2-ю часть «Мертвых душ»... Если развороченные в разные стороны сочинения Розанова — безумие, то в этом безумии, как у Гамлета, есть система.

Приведем его собственные слова.

> Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели — с бесцветностью. Вот из этой «заковыки» и вытаскивайся.

Вот из этой «заковыки» получились развороченные мостовые.

> Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти.
>
> Да, я коварен, как Цезарь Борджиа: и про друзей своих черт знает что говорю. Люблю эту черную измену, в которой блестят глаза демонов.

Какие страсти-мордасти! И Цезарь Борджиа, и глаза как у демонов. Я его видел, был у него, пил чай у него, когда мы уже были в раздоре, и вышел от него живым.



— Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?

— Полное.

Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню...

Вот и поклонитесь «Розанову» за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их «на одну сковородку»...

И сделал это с восклицанием:

— Со мною БОГ.

Цезарь Борджиа превратился в повара. Яички-то он действительно разбил, а вот насчет того, участвовал ли при этом бог, сомневаюсь. Но мне еще рано сомневаться. Просто спрошу, куда ведет такая дорога?

Может быть, Розанов шел такой дорогой к раю? Увы, он не только не верил в рай, но даже в «преддверие» рая. В церковь он себя втаскивал за уши и не мог втащить. Но если это не шествие в рай, то, может быть, покаянная в русском стиле исповедь больной и грешной души? Но вот Розанов смотрится в зеркало и говорит:

Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь «очень милым человеком».

Однако милый человек чувствует себя совсем не по-милому.

Запутался мой ум, совершенно запутался...

Болит душа, болит душа, болит душа...

В письмах ко мне постоянно — «устал» и даже «изустал».

Если кто будет говорить мне похвальное слово «над раскрытою могилою», то я вылезу из гроба и дам ему пощечину.

Скажут: вы приводите самохарактеристики, так сказать, собственные показания подсудимого. Вы же на своем опыте знаете, чего стоят такие показания, не подкрепленные никакими фактами. Да, знаю. Потому приведу и факты.

4 сентября 1910 г. Розанов пишет в «Новом Времени»:

Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней.

В то же время он пишет в «Уединенном»:

Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлени-

ем, граничащим со злодеянием... такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы.

О Достоевском в одной и той же книге:

> Достоевский, как пьяная нервная баба, вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее.
>
> Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом.

Он признавал гениальность Толстого, но считал, что Толстой холоден и не умен и что он сам и его черносотенный приятель Рцы умнее Толстого. Считал так считал! Сам Толстой грешил против Шекспира. Но вот вопрос факта. Умер Толстой. Всеми предшествующими сообщениями мы были готовы к этой смерти. И все же, когда я с моим школьным приятелем, тогда вольноопределяющимся, встретились на одной из московских улиц, обрадованные встречей, но вдруг, из окриков газетчиков, узнали, что умер Толстой, — мы оба лишились голоса, и по лицу товарища потекли недержимые слезы. Все темы умерли, все слова угасли. Так мы и разошлись, не поговорив друг с другом. Правительство сделало все, чтобы ограничить похороны Толстого. Не давали добавочных поездов, и люди плакали, не попадая на поезд. Холодный Валерий Брюсов, бывший на похоронах Толстого, писал: «Все свершилось очень просто, но было что-то более сильное, чем волнение и шум многотысячных толп на иных погребениях».

А вот что писал Розанов по поводу смерти Толстого:

> Мне кажется, Толстого мало любили, и он это чувствовал. Около него не раздалось, при смерти, и даже при жизни, ни одного того «мучительного крика вдруг», ни того «сумасшедшего поступка», по которым мы распознаем настоящую привязанность. «Все было в высшей степени благоразумно»; и это есть именно печать пошлости.

Салтыкова он не читал, о его жизни почти не знал, но сказал о нем, что он волк, напившийся русской крови.

> Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть.
>
> Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»...

И через несколько страниц:

> Р<очко> (талантливый еврей в Москве), написав мне 3-е письмо (незнакомы лично), приписал: «Моей сестре вот-вот родить».
>
> Да. Их нельзя ни порицать, ни отрицать...

Вот за эту приписку он амнистировал евреев, а я ее сделал потому, что он писал мне, что беременность является для него чуть ли не высшей формой красоты. Потом, в «Опавших листьях», он подтвердил, что постоянно хотел видеть весь мир беременным.

Розанов очень много и очень своеобразно писал о семье. Из-за нее он, пожалуй, любил Ветхий Завет, в котором было больше семейного и семейственности, чем в Евангелии. Он очень любил свою жену и дочерей и ценил их привязанность к себе. Но вот что он пишет про свою мать, которая, по его же словам, одна вытаскивала, бедствуя, большую семью: «Когда мама моя умерла, то я только то понял, что можно закурить папиросу открыто. И сейчас закурил. Мне было 13 лет».

Вряд ли в литературе найдется много таких циничных признаний.

Мне опять скажут: «Вы все приводите слова».

Но и но! В словах изображены факты, а главное, у писателя слова — самые важные факты. Мне кажется, портрет ясен. У Розанова не было костяка — скелета, не было и мяса, а одни лишь хаотически кричащие в разные стороны клеточки нервов, базар первичных ощущений, всяких и всяких.

Семнадцатилетняя приятельница или родственница Розанова, по-видимому девушка умная, по его же утверждению, сказала ему:

— У вас *мужского* только *брюки.*

И, пожалуй, лучше не скажешь. А между тем Розанов очень интересовался половыми вопросами, писал об очень рискованных вещах, но с какой-то умственной высоты, без тени вожделения.

В чем же, однако, было влияние и притягательность этой уникальной в литературе фигуры, этого бескостного «Фуше» литературы?

На этом стоит остановиться. Розанов до «Уединенного» написал немало книг, в которых он показал себя первоклассным стилистом и проницательным наблюдателем, но настоящую большую славу ему создало «Уединенное».

Я должен о себе сказать — я это много раз замечал, — что во мне нет большой оригинальности. Когда я откликаюсь на какие-то события, то потом оказывается, что точно так же чувствуют и очень многие другие, т. е. по термометру у меня под мышкой можно довольно точно определить «среднюю температуру» значительной части моих современников.

Когда я прочел «Уединенное», я почти тотчас написал Розанову взволнованное письмо и получил от него быстрый ответ, что я его тронул индивидуальным подходом. И тут же он стал рассказывать о своих семейных делах, горестях. Письмо, хоть и интересное, не давало мне ничего нового о Розанове, а я был не тщеславен, чтобы просто переписываться со «знаменитостью». Я не ответил на письмо. Тогда я получил

запрос в розановском стиле: что Рочко — миф? сказка? сон? почему он молчит?

Я снова заговорил и попутно к чему-то коротенько написал ему о своем путешествии по Швейцарии. Он мне опять ответил, а еще через некоторое время пригласил сотрудничать в «Новом Времени». Я отказался, он очень обиделся и наговорил много несуразного о евреях, но попутно объяснил, чем я его пленил. К чему я все это вспомнил?

«Уединенное» взволновало меня и тысячи таких, как я. Попытаюсь по-своему ответить, чем «брал» Розанов и в чем своеобразие «Уединенного». Первое очень легко. Цитаты из Розанова своей меткостью, проникновенностью, хотя бы частичной правдой сами сделают свое дело:

> С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека.

Вспоминая Ницше и Достоевского, чувствуешь хотя бы частичную правду этого.

> В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил» или кого-нибудь «обобрал». *Труда* собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается.
>
> Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...
>
> И все понятно.
>
> И не надо никаких слов.
>
> Вот чего нельзя с иностранцем.

Уже перед самой смертью он написал маленькую притчу об интеллигенции и революции, разумея интеллигенцию, стоявшую вне революции. «Полюбовавшись вдоволь на это ужасное зрелище, мы сказали — теперь наденем шубы и пойдем домой. Но оказалось, что шубы украдены, а дома заняты».

У меня в запасе еще столько же цитат, наспех выписанных, но хватит. Конечно, это не значит, что с точки зрения стилистики Розанов все время ронял «алмазы». У него есть и муть, и многословие, но алмазов хватит на десятерых.

Теперь об особенностях «Уединенного». Свои 18 строк об «Уединенном» я не помню, да и вряд ли мог бы в той же «невинности души» повторить их сегодня. Но Розанов, как всегда, хитрит. Сам он объяснил «Уединенное» короче и, наверное, лучше меня.

> Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумыс-

ли, получувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, — без всего постороннего... Просто, — «душа живет»... т. е. ... «жила», «дохнула»...

Я так хорошо не скажу, а сказать хочется.

Есть частицы атомов. Им жизни миллиардная доля секунды, а сила в них огромная. Мысль, которая вспыхивает в какую-то долю секунды, попадает в перерабатывающий аппарат логики, начинаются всякие «ведомственные» согласования. Если она выживает, она выходит из всей этой переделки неузнанной, если она умирает, мы ее вообще не видим. В чем «научная находка» Розанова? Он хотел первые же блестки мыслей, частицы атомов донести до читателя ценою хотя бы того, что он даст не синтезированного, не благоустроенного, а расщепленного человека, так сказать, кричащие, мыслящие частички «я». Это была утопия, потому что еще Тютчев говорил, что «мысль изреченная есть ложь». То есть, облекаясь в слово, мысль уже совсем не та, какою она хотела быть. Возможно! Дело, как говорится, темное. Но, во всяком случае, Розанову как никому удалось донести до читателя расщепленные мысли, частички атомов, с максимальным приближением к первоначальному состоянию. И он ловил эти кричащие частички повсюду: на ходу, на извозчике, в поезде, за нумизматикой и даже в ватерклозете.

Это была розановская находка, хотя сегодня я думаю, что нам важнее «собрать» человека, чем расщеплять его.

Найдя новый метод, он продолжил его в «Опавших листьях», но, пожалуй, хуже и многословнее, а под конец второй части «Опавших листьев» стал уже просто истошным, синтезированным черносотенцем, без всяких скидок на расщепление атомов.

Я был у Розанова раза два-три. Рыжеватый и подвижный, он был в жизни приветлив и несчастлив. Он переживал не только семейную драму, длившуюся многие годы, — болезнь жены, но и свою литературную отверженность. Никто о нем хорошо не писал.

Выросши в православной семье, имея рядом религиозную жену, которая неустанно молилась, религиозных друзей, страшась как никто смерти, он гнал себя все время в церковь, уговаривая себя по-разному и тем, что в церкви надышанное людьми тепло, и как же он может быть в другом месте, чем друг и мамочка, что самое дорогое в России — это старые церкви, что позитивизм — холодная плаха с холодным железом, что его лучшие друзья — церковники. Словом, он гнал себя в церковь, как в преддверие рая, а верить не мог себя заставить. Достигнув 56 лет, он из 54-х возможных случаев был в церкви «со свечечкой» только 12 раз. Я не меньшее число раз в пасхальные ночи христосовался с хорошеньки-

ми девушками, но не стал православным. Он обещал, что начнет «великий танец молитвы». Характерное выражение. Он, словом, представлял себе молитву как шаман, с бубнами и танцами. Не веруя, он буквально кричал, что церковь основывается на «нужно». И повторял это «нужно» курсивом, крупными буквами. Он слишком хорошо знал, что установленный церковью день 25 декабря как Рождество Христово был у язычников днем возрождающегося солнца. Но у Розанова была тяга к религиозности независимо от того, какой бог, и художественное чутье ритуала. Он клал все на одну доску: культ египтян, которым он больше всего увлекался, культ язычников, иудеев и православие. Но бесполое Евангелие он читал реже и любил меньше, чем Ветхий Завет.

Своим литературным душеприказчиком он назначил Флоренского, ученого, ставшего священником, но и о нем, подчеркивая его пристрастие к церковности, сказал: «Засыхают цветочки Франциска Ассизского». Так обстояло дело, пока Розанов был в литературе. Я не знаю его последних дней после Октябрьской революции, когда, поселившись в Троице-Сергиевской лавре, он в великой нужде подбирал на шпалах железной дороги окурки от папирос. Люди, близкие к нему, утверждают, что он умер в состоянии умиления и экстаза, писал покаянные письма евреям и точно, с помощью Флоренского, выполнил всю православную обрядность, положенную умирающему. Судороги души, спазмы и «просветление» перед смертью!.. Увы, Гейне, правда по другому случаю, сказал: «Das ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer nee».

Оставил ли Розанов какой-нибудь след в литературе своим мастерством? Я могу лишь сказать, что, проглядывая дневник Пришвина, человека весьма благоустроенного при жизни и не расщепленного, я почувствовал нечто от розановской манеры — без ее силы. После этого случилось, что я зашел к приятелю, с которым мы в один день и час кончили институт. У него я нашел много портретов Пришвина с трогательными надписями. Они, оказывается, дружили. Там же я увидел изумительную фотографию черного кота с надписью Пришвина:

«Зверь все знает, но не может сказать.
Человек все может сказать, но не знает».

Это уж была чисто розановская формулировка.

Когда я на это обратил внимание приятеля, тот сказал, что, читая еще в рукописи дневники Пришвина, он намекнул автору на влияние Розанова. Пришвин, не отрицая, хитро сощурил глаза и приложил палец ко рту. Я палец от своего рта отнял и рассказываю об этом. Но хватит Розанова. Нет, все-таки еще два слова. Розанов мало читал, тем не менее он читал Конан Дойля и часто поминает Холмса. Что привлекало в нем Розанова? Розанов тоже выискивал и судил по малому о большем. Он, од-

нако, не анализировал «мельчайшие улики», весь этот пепел, упавший с сигары, а воспринимал художественным чутьем. «Что́ я имею против Венгерова, — спрашивает Розанов, — он труженик и всю жизнь посвятил изучению Пушкина. Но у него толстый живот и он черен. Он жук».

Мне довелось один раз, не помню, по каким делам, быть в ученом кабинете Венгерова. Я не помню его писаний, а копающийся жук остался. Розанов в литературе был Холмсом, схватывая отдельные штрихи и строчки и рисуя по ним целую картину.

И только видя всю картину, Розанов мог писать:

> Таких, как эти две строчки Некрасова:
>
> Еду ли ночью по улице темной, —
> Друг одинокий!..
>
> Нет еще во всей русской литературе.

И мне действительно начинает казаться, что так, если, разумеется, представить всю картину.

Л. Розенталь

КАК ИЗГОНЯЛИ РОЗАНОВА


одумать только, в «религиозке», когда изгоняли Розанова, был и Александр Блок, а я тогда не знал этого!

В ту зиму я видел его там несколько позже один-единственный раз. Но зато лицом к лицу. Воспользовавшись заминкой, он покидал уже начавшееся заседание. Я же, стеснительный студентик-второкурсник, пытался пробраться на лучшее место. Не то чтобы в первых рядах, но хотя бы посередке. Я остолбенело загородил ему дорогу и услышал вежливое «извините». Вместе с ним уходили три-четыре человека, так, как и он, одетых с несколько необычной для «религиозки» респектабельностью.

«Религиозка» — неумное, но отнюдь не презрительное, а лишь развязное, непочтительное прозвище Петербургского Религиозно-философского общества, чьим смиренным завсегдатаем т. е. «членом-соревнователем», я в ту пору состоял. Кого только нельзя было увидеть на собраниях Петербургского Религиозно-философского общества. Воистину Ноев ковчег, неуважительно именуемый «религиозкой». Богоискатели, владимиросоловьевцы, раскаявшиеся декаденты, ученые политэкономы, засевшие за чтение Достоевского и Льва Толстого, священники, отважно либеральничающие, но рясы не снявшие, поэты-символисты, рясу надевшие. Множество всяких «бывших»: индивидуалистов, соборных анархистов, эсеров, эсдеков, пытающихся примирить Маркса не только с Махом, но даже с Библией. Также оккультисты, теософы, антропософы. Само собой разумеется — студенты, курсистки, взыскующие Града Господня и просто чего-то ищущие... конечно, дамы, дамы просто и дамы-мироносицы.

Доклады читались о чем угодно. Кто в чем горазд. В прениях каждый говорил о своем. Но слушали все покорно. Однако после заседания, слу-

чалось, что-то еще договаривали, толпясь кучками на площадке лестницы и в раздевалке.

Председательствовал, и притом нельзя лучше, Антон Владимирович Карташов. Под обличием молодого, несомненно весьма талантливого профессора — выправка семинариста. Воплощенная честность, убежденность и последовательность мысли, мечты не о реформе и даже не о реформации, а об исполнении церкви, глаза, всегда опущенные долу, веки кажутся особо выпуклыми. Затертый горсткой неуемных спорщиков, он покорно признавал тягостность непутевых прений на руководимых им заседаниях. И все же пытался оправдать эту бестолковую прю надеждой, что нет-нет, а вдруг мелькнет что-то настоящее, искреннее, значительное.

И действительно изредка мелькало, брезжило. Конечно, подлинно «взыскующих» было маловато. Святое беспокойство прорывалось, но не такое, которое бы следовало истолковать как начатки «религиозного сознания».

Изгнать Розанова затеяли было перед тем, как заслушать доклад Георгия Чулкова. Открывая собрание, Карташов предложил на этот раз избрать другого председателя. Назвал Евгения Васильевича Аничкова. Известен как историк литературы, для Общества не то чтобы свой, но и не посторонний. Согласитесь — человек подходящий.

Розанову инкриминировались его выступления в печати во время процесса Бейлиса. Содружеству Мережковский—Гиппиус—Философов, верховодившему в Обществе, и его ближайшему окружению стало, наконец, невмоготу соседство их бывшего друга, отчасти соратника, почти наставника. Все было как на ладони. Дело Бейлиса вызвало тогда возмущение во всем мире. Вспоминали борьбу за оправдание Дрейфуса. Царский суд хоть и не отверг возможности ритуального убийства, все же был принужден признать невиновность Бейлиса. Всколыхнулись самые широкие круги российской интеллигенции, почувствовав на своей совести всю гнусность антисемитских измышлений. «Религиозке» даже при всей умеренности ее либеральничания никак нельзя было остаться безгласной. А все же выражение элементарных гражданских чувств представлялось для нее делом непривычным. Подвергнуть гонению писателя по церковным и религиозно-философским вопросам, привычно почитаемого вопреки юродничанию и моральной нечистоплотности, разве на такое можно сразу решиться? Совет Общества предложил ему самому уйти. Но где там! Розанов, конечно, ответил отказом.

И вот началось обсуждение на общем собрании. Тотчас же кое-кто встал на защиту изгоняемого. Розоволицый, в золотом пенсне, в нимбе никак не подобающих солидному человеку пушистых светлых кудрей, весь какой-то неправдоподобный, до ужаса похожий на свои портреты

Вячеслав Иванов оказался подлинно, по шутливому прозвищу, придуманному для него Александром Блоком, «Языкавом Чесаловым». Чего только он не наговорил! Говорил спокойно, веско, убежденно. Его доводы могли бы сойти за математические формулы. Моральной сути он не касался, и казалось, что поистине это не имеет никакого отношения к писателю столь высокого ранга, чуть ли не «сверхписателю» наподобие «сверхчеловека» Ницше, как Розанов.

Раздавались и другие голоса не то чтобы в защиту, но и не против. Аничков, человек как будто и самоуверенный, и все же очень уж деликатный, даже растерялся. Спохватились, что для вынесения какого-либо решения действительных членов на собрании маловато. Стало быть — лучше отложить до следующего раза. Перешли к слушанию чулковского доклада.

На следующий раз народу привалило видимо-невидимо. Предусмотрев столпотворение, Императорское Географическое Общество предоставило ютящейся у него «религиозке» не малый зал, как обычно, а большой, парадный на верхнем этаже. Похоже было не то на концерт заезжей знаменитости, не то на театральную премьеру или вернисаж выставки. Завсегдатаи собраний растворились в шумливой разномастной толпе.

Но даже и среди всей этой пестряди лиц, обличий, одежд совершенно неожиданно передо мной предстала фигура человека не то чтобы хорошо, но все же достаточно знакомого. Он был здесь вчуже, стоял как бы одиноко, хотя был даже в сопровождении двух дам. Но его спутницы, типичные, стандартно некрасивые перезрелые курсистки были, так же как и он, из совсем другого мира, из мира ассимилирующейся еврейской интеллигенции. Фамилия — Гальперин, отчество — Рудольфович, такая славная бородка, очки, сдержанная речь, а также ореол прикосновенности к подпольным революционным кругам. И даже то, что будучи человеком женатым, он был принужден временно пробавляться частными уроками, вызывало во мне симпатию. На мой недоуменный вопрос, как он попал сюда, ответил своим милым приглушенным баском; «По гостевой повестке. Надо же посмотреть, как турнут Розанова».

«Турнут» — это прозвучало отрезвляюще. Оно, конечно, Розанов — на грани гениальности. И к тому же «по Достоевскому» беспощадно правдив, у него смелость «человека из подполья». Проникновеннейший литературный критик, постигавший также и суть искусства вообще. Более того — едва ли не умнейший, мудрейший из современных российских мыслителей, добирающийся, ничего в себе не щадя, до последней правды. А вместе с тем — газетный писака, преданнейший сотрудник верноподданнического «Нового Времени», ухитрившийся, однако, в годы, «когда начальство ушло», т. е. в момент революционной смуты, пе-

чататься также, конечно под псевдонимом, и в либеральной прессе, циник, порой даже доносчик и вообще пакостник! Что-то вроде античного Протея, но на отечественный лад, иной раз сходствующий с мнимым юродом, хулиганствующим черносотенцем Пуришкевичем! Не сторониться, отмежевываться, разоблачать, изгонять, а именно — турнуть!

Нелегко сказать такое. За всю свою жизнь что-то не припомню другого такого вечера, где бы я наслушался столько всякой всячины, поносной и славословящей. И явной чепухи, и чрезмерных мудрствований. Ораторствовали, спорили. Поначалу походило на парламентскую прю. А под конец парламент обернулся каким-то шабашем.

В зале было заметно присутствие священнослужителей в рясах. Их количество превышало привычную норму. Они не оставались безучастными. Почему-то запомнились выступления троих из них. Священник Константин Агеев, которого я особенно уважал за магистерскую диссертацию о толковании христианского вероучения Константином Леонтьевым, от всего сердца старался сочетать христианское всепрощение и политический либерализм. Но он никак не решался призвать к прямым действиям взамен слов и убеждений, т. е. тому, чтобы гнать Розанова, а не спорить с ним. Не так-то легко связать уважение ко всяким прочувствованным идеям и элементарное чувство порядочности. По существу, Агеев только мямлил. Более решительным был другой, также весьма интеллигентный батюшка, знающий, речистый и неглупый. Он находил нужные слова в ограждение Розанова не только как писателя по церковным вопросам, но и как выдающегося религиозного философа. Далее, совсем уж грозно, словно самим Святейшим Синодом посланный, выступал третий священник. С общим настроением аудитории он не привык считаться. В критике столь заслуженного перед Россией и православием писателя усматривал едва ли не посягательство на государственный строй и на Церковь. (Напомнил об особой, очевидно — высокохристианской заслуге Розанова, предложившего «незаконных детей» именовать лишь «внебрачными».) И вознегодовал на присутствие в зале большого количества студентов и курсисток, намекая также на возможное наличие лиц нехристианского вероисповедания.

Признаться, я тогда немножко струхнул. Уж очень страшен был этот синодальный Савонарола. Такого в Обществе я видел впервые. Вот-вот призовет громить: «Бей жидов и интеллигентов!». Теперь мне представляется, что он мог бы послужить неплохой моделью для какого-нибудь из анафемствующих персонажей на неосуществленной картине Павла Корина «Уходящая Русь».

Еще больший разнобой был в выступлении ораторов-мирян, облаченных в пиджаки. Снова «языкавчеславил» Вячеслав Иванов. Все о том же, о неподсудности писателей такого калибра, такой категории, как Ро-

занов. Говорил он на этот раз еще уверенней, еще убедительнее, как говорит тот, кто умеет загодя себя убедить в своей убежденности. Наверное, неплохо говорили, то ораторствуя, то из глубины сердца многие другие. Но как на грех их выступления слились для меня сейчас в какую-то общую массу неразрешенностей и недосказанностей.

В Университете мне незадолго перед этим довелось участвовать в «кошачьем концерте», устроенном профессору судебной медицины, который на суде над Бейлисом выступал как эксперт весьма неблаговидно. Мы полчаса исправно свистели и улюлюкали, не давая «бескорыстному ученому» раскрыть рот, чтобы начать лекцию. Он мужественно восседал на кафедре, пока не пришел ректор и не увел его. Но здесь, в парадном зале Географического общества, все было по-иному. Розанова, которого я хорошо знал в лицо лишь по замечательному портрету Бакста в Третьяковской галерее, в зале не было. Была лишь одна из его дочек, давно притерпевшаяся к папиной «безответственности». Никто не улюлюкал, и лишь росла невнятица, которую нес один оратор за другим.

Туган-Барановский был по-профессорски велик телом и представителен. Для роли председателя он более подходил, чем излишне суетящийся Аничков. Ему и предложили вести собрание, которое, как заранее можно было предвидеть, требовало особой общественной сноровки. Для Общества он, известный ученый-экономист, прикосновенный к марксизму, внезапно проявивший интерес к общемировоззренческим вопросам, был человек новый и еще совсем, по сравнению с Аничковым, чужой. Но это обещало еще бóльшую беспристрастность и, следовательно, бóльшую решимость как председателя. И подлинно, он действовал уверенно. А когда надо — властно. Однако уж близился час последних трамваев, словоизвержению же не предвиделось конца. И даже мощь Тугана-Барановского, его наторелость в общественных делах начали сдавать.

Уж очень разное говорили. И поэтому в памяти залегло лишь общее впечатление от всей этой сумятицы, невнятицы, неразберихи суждений, воззрений, идей, чувствований. Какая-то мешанина эстетского аморализма со сверххристианской терпимостью и кротостью, А также едва ли не буддийской отрешенности от всего житейского с равнодушием запуганного обывателя. Как будто глубоко прочувствованная решимость ничего не отвергать на пути религиозно-философских исканий, а все же с ясно выраженным призвуком политического недомыслия, с отчетливым привкусом черносотенства.

Под конец начало казаться, что вся затея с изгнанием была зряшняя. Ведь Розанов всегда оставался Розановым и к его пакостничеству, граничащему с лукавым юродством, уже давно следовало бы привыкнуть. Не к чему восставать сейчас, когда дело дошло до кровавого навета на евреев, если раньше терпели другие, правда, несколько поменьше, пако-

сти, подлости. Лучше, пожалуй, последовать примеру тех, кто, предупреждая о безответственности, едва ли не о невменяемости Розанова, рекомендовал с ним не связываться. А все же сердце сжималось от мысли, что дух нерешимости и какой-то «розановщины» так пропитал большинство без толку несколько часов просидевших здесь в большом зале Географического общества людей, что собрание не сможет вынести осуждающей резолюции. Началось по-парламентски под умелым спикерством Тугана-Барановского, а кончилось российско-интеллигентским Брокеном.

Но тут Карташов, словно на палубе гибнущего корабля, бросился на помощь капитану к штурвальному колесу. Он произнес гневную речь. Говорил зло, ожесточенно, воистину — гражданственно. В его словах, как мне тогда послышалось, звучала суровая требовательность; коли ты воистину встал на путь религиозного сознания, то тут уж нужны не только переживания и размышления, а и дела. Религиозно-философскому обществу надлежит очиститься от скверны, которая к нему липнет.

После его речи поднатужились и составили проект резолюции. Конечно — согласительной. Без каких-либо поползновений на изгнание, но с деликатным выражением чувств неприязни. Точной формулировки воспроизвести не могу. Что-то вроде того, что собрание находит дальнейшее пребывание Розанова в Обществе неудобным, нежелательно обременительным, несовместимым с какими-то представлениями, взглядами и т. п. А далее слова пошли «парламентоподобно». Избрали счетную комиссию. Тщательно следили, чтобы голосовали одни лишь действительные члены, а не «соревнователи» и гости. У «действительных» были особые повестки с проколом для отрывного талона, на которых надо было написать «да» или «нет». Кто-то из рясоносных розановских защитников сунулся было с обычной повесткой, но его шуганули,

Лёля (Елена Михайловна) Тагер, курсистка, только что кончившая стоюнинскую гимназию, в своих более поздних воспоминаниях об Александре Блоке рассказывает, как она, сидя на собрании случайно рядом с поэтом, нескромно заглянула в его повестку, тревожась за то, что он там напишет. И обрадовалась, когда увидела «да».

Подсчет производился тотчас же при подаче голосов. Когда кончили, на столе президиума возвышались две стопки повесток. Та, что была с «да», т. е. за резолюцию, оказалась внушительнее другой. Не так чтобы очень, но все же достаточно.

Это было похоже на победу, а все же «религиозке» пришлось посылать подвергшемуся моральному остракизму Розанову повестки по-прежнему. А в это время «Новое Время» при его деятельном содействии чернило, как только могло, Мережковского. И лишь несколько месяцев спустя Карташов на очередном собрании перед заслушиванием назна-

ченного доклада огласил заявление Розанова о его выходе из Совета Общества, которое приняло в число своих членов Грузенберга, защищавшего Бейлиса на суде. Получилось, что не Розанов позорит общество, а он не захотел позориться дальнейшим пребыванием в нем. В заявлении, как отметил Карташов, были допущены две неточности. Розанов лишь сиживал на собраниях за столом президиума, но в Совет не был избираем. А в члены Общества недавно был принят не известный присяжный поверенный Оскар Осипович Грузенберг, а его брат, Семен Осипович, философ.

Розанов, конечно, притворялся, что спутал двух братьев. Это была очередная его выходка наподобие шутовского вызова на дуэль, посланного Пуришкевичем Набокову.

Вскоре затем началась война. О Розанове в Обществе больше не вспоминали. Зинаида Гиппиус отважно выступила с докладом против войны. Евгений Васильевич Аничков появился в военной форме и призывал ненавидеть немцев. Выступал Андрей Белый, вынужденный покинуть Дорнах, недосозданную антропософскую мекку. Промелькнул надевший священническую рясу Сергей Соловьев, племянник философа и поэт. Предоставляя слово заслуженной социал-демократке, философу-марксисту Ортодокс, Карташов старательно отчеканивал ее имя-отчество-фамилию: Любовь Исааковна Аксельрод-Гирш. Событием должен был стать, но не стал долгожданный доклад самого Карташова о судьбах Православной церкви, занявший два вечера и изданный затем Сытиным отдельной книжкой. За столом президиума можно было увидеть Александра Бенуа, безмолвного и что-то рисовавшего в альбомчике, и члена Государственной думы Керенского, заговорившего об общем долге в час испытаний. До Февральской революции оставалось совсем немного времени.

А при ней было уже не до религиозно-философских исканий. И все же поздней весной Общество еще раз собралось. Быть может, в записях неофициального историографа Общества Каблукова сохранился след об этом последнем собрании. Мне помнится, что доклада не было. Был лишь свободный обмен мнений. Чудаковатый и все же последовательно рассуждавший теософ говорил тоже все о своем: религиозное сознание должно чураться политики. С ним не соглашался Карташов. Для него борьба за религиозное сознание лишь теперь начиналась по-настоящему. Он был преисполнен надежд и убежденности. Приняв участие в делах Временного правительства, он стал соучастником в ликвидации Синода, открывшей путь к восстановлению патриаршества.

В тот вечер уличная страсть к митингованию казалась влившейся в чинный малый зал Географического общества. А по окончании собрания снова излилась на улицу. Разговоры, споры продолжались между

расходившимися в волшебном сумраке теплой по-петербургски белой ночи, не гнушавшейся даже прозаическими окрестностями Сенной площади.

Прошло немногим более полугода. Блок написал «Двенадцать». Мережковские, а также немалое число их единочувственников ополчились на поэта с той же силой, с которой пытались изгнать Розанова. Даже лучший друг Блока, Евгений Павлович Иванов, метавшийся в свое время между Мережковским и Розановым, и тот отвернулся.

Автор же «Людей лунного света», «В мире неясного и нерешенного», лучшей книги о Достоевском, «Уединенного», «Опавших листьев» вскоре кончил свою жизнь в нищете. Ютясь в Сергиевом Посаде, он писал нечто апокалиптическое, прозорливое, надрывно мудрое и дальновидное. Превознося иудаизм, каялся в своей вине перед евреями. И с подленькой, не внушающей доверия смиренностью, испрашивал сочувствия и помощи у тех, кому раньше бездумно пакостил.

Е. М. Тагер

БЛОК В 1915 г.

 опять по-другому я вижу его весной 1915-го года в зале Географического общества в Демидовом переулке. В этом зале происходили заседания петроградского Религиозно-философского общества <...> на повестке дня стоял вопрос о поведении В. В. Розанова, — критика, философа и религиозно-мыслящего публициста. Со свойственным этому деятелю глубоким презрением к нормам общественных приличий, он перешел все границы допустимого в своем злобном газетном выступлении, обращенном к русским политэмигрантам. Руководство Религиозно-философского общества предложило исключить Розанова из состава членов. Выступая по предложению, джентльмен и сноб, Д. В. Философов отбросил свою отлично выделанную выдержку, отказался от привычных своих мягких полутонов. Он начал с силой: «Даже “Новое Время”, — само “Новое Время”! — отступилось от Розанова! Ему пришлось перекочевать в татарскую орду “Земщины”!»

Бледнея от гнева, Философов не читал, а выкрикивал циничные сентенции Розанова по адресу русских революционеров: «Захотели могилки на родной стороне?! Нет для вас родной стороны, — волки, волки, волки!» И на каждое слово зал отвечал негодующим гулом.

Вслед за Философовым выступает корректнейший и скучноватый профессор-историк Карташев. Лектор превратился в трибуна: гремит, пророчествует: «Индивидуализм! Вот куда он ведет! Индивидуализм! Вот где зло, вот общественная опасность!»

Но слышатся и другие голоса. Нет, не все согласны на исключение Розанова. Ни за что не согласен литературовед Е. В. Аничков, вся его небольшая, кругленькая фигурка бурлит, пышет гневом: «Недопустимо,

чтобы судили писателя за его убеждения! Нельзя судить мыслителя за мысли! Меня самого судили, — а я не могу и не буду никого судить!»

Как «рыцарь бедный», стоит перед толпой худощавый, рыжеватый Е. П. Иванов: мольбой и рыданием звенит его тихий голос, отчаяние на его бледном, страдальческом лице: «Богом молю вас, — не изгоняйте Розанова! Да, он виновен, он низко пал, — и все-таки не отрекайтесь от него! Пусть Розанов болото, — но ведь на этом болоте ландыши растут!»

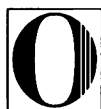
А Блок? Он непроницаем. Чем больше шумят и волнуются в зале, тем крепче замыкается он в себя. Неподвижны тонкие правильные черты. Он весь застыл. Это уже не лицо, а строгая античная маска. С кем он? За кого он?.. <...>

Звонок председателя. Философов объявляет: ввиду важности вопроса — голосование тайное. Голосуют только действительные члены Общества; каждый сдает в президиум свою именную повестку. Те, кто против исключения Розанова — поставят на повестке знак минус; те, кто голосуют за исключение — поставят на повестке знак плюс.

В напряженной тишине Философов вызывает поименно всех действительных членов. Блок пробирается меж рядов. У него в руке полусвернутая повестка. Он идет мимо меня, — я успеваю заглянуть в этот белый листок — и явственно вижу: карандашом поставлен крест... Плюс! Он за исключение! Он проницателен! «Ландыши» не соблазнили его...

Ю. К. Терапиано

ВСТРЕЧИ

днажды, — к сожалению, я не обратил тогда на его слова достаточного внимания, — Тихомиров сказал: «Сегодня у нас будет к обеду интересный гость». За столом в тот день было довольно много народа. Перед самым обедом Лев Александрович вышел из кабинета с одетым в поношенный коричневый костюм пожилым человеком невзрачного и даже неопрятного вида и все время за обедом проспорил с ним о каких-то, мало интересных для меня, церковных вопросах.

— Какое впечатление произвел на тебя Розанов? — спросил меня Тихомиров, когда мы остались одни.

До сих пор не могу утешиться, что проглядел Розанова!

М. М. Спасовский

В. В. РОЗАНОВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Василий Васильевич Розанов умер в январе 1919 года, но страсти вокруг него, борьба «за Розанова» и «против Розанова» не утихли до сих пор и, пожалуй, никогда не утихнут среди тех, кто так или иначе близок к религиозно-философским течениям мысли, — вообще к пытливой мысли о неумирающих вопросах.

Розанов — это фельетонист и газетный обозреватель, философ и богослов, исследователь древних вер и культов, прежде всего иудаизма и религиозной истории Египта. Розанов — это создатель нового стиля и новой формы в литературе, это — предтеча француза Марселя Пруста и ирландца Джеймса Джойса, когда словами говорит уже не разум, а сердце и даже сама душа, — когда нельзя читать вслух или слушать автора из чужих уст, когда надо самому читать и обязательно видеть его строчки, — до того у Розанова важна каждая мелочь вроде кавычек, скобок, запятых, курсивных и жирных слов и так или иначе оттененных выражений.

Некоторые розановские образы, выраженные писателем в двух-трех абзацах, как будто бегло и как будто небрежно, стоят целого исследования, вызывают вдумчивые размышления и удивляют глубиною прозрения, краткостью и яркостью изложения, большим содержанием в малых словах. А некоторые его зарисовки вот такими скупыми, но образными словами производят такое же впечатление, как огромная картина великого мастера-художника, где вы видите все и потрясены всем.

Это особенно ярко и осязательно чувствуется по небольшой статье Розанова о картине И. Е. Репина «Заседание Государственного Совета», помещенной в его книге «Когда начальство ушло». В этой статье, мимоходом написанной, в не всегда законченных мыслях и даже фразах перед

читателем встает жуткая перспектива всех начал и причин, почему Россия должна была докатиться в 1905 году до Цусимы, до Октябрьского манифеста, до Государственной думы, до вынужденного и ненужного участия в европейской войне, до революции 17-го года, до большевизма... А ведь Розанов в этой своей статье совсем не о том говорит. Это — одна из граней гениальности Розанова.

Розанов — это религиозный мыслитель, толкователь Библии и иудаизма, это борец с казенным христианством и с казенным черничеством. Это — возродитель древнего фаллического культа, тонкий аналитик сексуального вопроса в плоскости исканий божественной сущности мира...

И никак и нисколько не приходится удивляться кипению тех страстей вокруг Розанова, которое продолжается до сих пор и которое едва ли когда уляжется. Одни приходят от Розанова в восторг, другие отплевываются от него. Но многие ли имели возможность и силу чутко и вдумчиво прочесть такие книги Розанова, как, например, «Темный Лик», «Семейный вопрос в России», «Из восточных мотивов», «В мире неясного и нерешенного», «У церковных стен», «Легенда о Великом Инквизиторе», «Русская Церковь», «В соседстве Содома», «У истоков Израиля», «Люди лунного света», «Уединенное» и его два короба «Опавших листьев»? Те немногие, которые вместили в себя всю эту богато сверкающую гамму розановских мыслей, образов и зарисовок, поймут всю многогранность Розанова, — поймут, что Розанов шел своей собственной дорогой, только ему одному свойственной и только ему одному под силу, — что гений Розанова несравним ни с кем по своему широкому своеобразию, по своему удивительному подходу к миру и к жизни мира, по своему исключительному проникновению в нутро мира, восприятию этого нутра и отражению его в словах и чувствах, — поймут, что Розанова нельзя мерить аршином маленьких людей.

О Розанове можно писать книги, и их написано не мало, но их будет написано еще больше. Розанов — тема необъятная и неохватная. Тема о Розанове далеко не только для философов и богословов. Розанов, не помню сейчас где, писал, что хотя он был человеком с философским образованием и выпустил трактат «О понимании», но считает, что лучшая из лучших его книг «Уединенное» написана так просто и читается так легко, что ее поймут даже дети малые.

И это правда. Тяжелые рассуждения западных доктринеров, их мешкотные, неповоротливые, где-то и как-то копошащиеся исследования в ворохах всегда нудных и безмерно скучных поисков «разгадки бытия» были органически чужды Розанову. Всех этих «аналитиков», «догматиков» и, выражаясь современным языком, «комментаторов» общественной жизни, создателей и «апостолов» текущих философских и особенно политических доктрин Розанов называл утопистами, а то и просто она-

нистами. Эти теоретики вызывали в нем отвращение, они возмущали его плоскостью своего мышления, своего подхода к миру, к пониманию ими «подспудных законов» жизни. В партийных людях он видел «органическую узость», отсутствие в них духовной глубины, кривое восприятие ими мира и человека и считал их «фактическими мертвецами», трупный яд которых смертелен для живых и здоровых и государственно опасен для народов земли...

Розанов — это «нумизмат, обыкновенный обыватель и гениальный от рождения мыслитель», как сказал о нем другой замечательный русский человек, тоже мыслитель первой величины и тоже мало кому известный большой богослов-философ, ныне покойный протоиерей Павел Александрович Флоренский, профессор Духовной Академии, разоблачивший ересь учения о св. Софии, — автор книги «Столп и утверждение Истины», на изучение которой не жалко посвятить несколько лет своей жизни.

Розанов не любил ни писать, ни говорить о своем происхождении, — не о чем было писать и нечего было рассказывать. Родился он 20 апреля 1856 года в убогой, очень бедной мещанской семье, в уездном городке Ветлуга Костромской губернии. Гимназическое образование получил в Симбирске и Нижнем Новгороде, а затем окончил курс историко-филологического факультета Московского университета.

Единственно, чем он гордился, это своим чисто русским, как он выражался, *коренным* происхождением. Под этим выражением «коренным», насколько можно было понять Розанова, он имел в виду не только чистоту своей славянской крови и не только свою низовую генеалогию, но и свою здоровую, природную и никак и ничем не поврежденную, как теперь пишут, *русскость*.

По профессии Розанов был преподавателем словесности, истории и географии в Елецкой гимназии и разночинцем в провинциальном обществе — скромный и незаметный. В 1893 году Розанов попадает в Петербург чиновником Государственного контроля, прослужив по учебному ведомству всего тринадцать лет.

В русскую литературу он вошел незванным и совершенно неожиданным гостем. Остающееся от педагогической деятельности время он посвящал «пописыванию» в разные издания, но это «пописывание», это его первые литературные шаги ничем не отличали Розанова из рядовой «пишущей братии».

В 1898 и 1899 годах он опубликовал даже две свои книги в скромном издании П. Перцова. Одна представляла сборник статей Розанова на педагогические темы, другая — «Литературные очерки». Обе книги были «как все», ничего особенного, умно и толково написанные, и только. Ничего «розановского», как мы теперь понимаем это, в них не было.

Не сразу Розанов выявил себя известным нам Розановым. Семена его исключительного дарования долго лежали «под спудом» как бы несуществующими, переживая медлительный процесс брожения и всхождения. Это был период поистине мистический, — не то чтобы «исканий» и расчетливых размышлений и поисков, куда бы и как бы приложить свои силы. Это был момент созревания бутона неведомого цветка, и едва ли сам Розанов сознавал, *что* именно выйдет из этого бутона. Ни темы своей жизни, ни канвы своего творчества, ни стиля своего языка, ни манеры подхода к миру и к людям, — вообще ничего о себе в тот период Розанов не знал, — кто он, «пописыватель» или гениальный мыслитель и негаданной силы литератор.

И только в самых первых годах XX-го века, уже на склоне своих лет, когда его фельетоны стали появляться на страницах влиятельнейшей петербургской газеты «Новое Время» (А. С. Суворина), бутон неведомого цветка начал распускаться, — облик подлинного Розанова быстро формировался в явление исключительного порядка. Известность Розанова стала стремительно расти и привлекать у одних благожелательное внимание, у других настороженное.

Газета «Новое Время» повсеместно в России читалась высшими представителями правительства, чиновниками всех министерств и ведомств, иерархами Церкви, военными кругами и гвардией и вообще всеми монархически настроенными кругами русского общества. Газета эта в своем политическом кредо стояла на страже государственных интересов исторической России.

И посему левой российский интеллигенцией называлась «консервативной» газетой, не идущей в ногу с «прогрессивной» политической мыслью, — «косной» и «отсталой». Эти круги встретили появление Розанова, выплывающего на большую волну, сперва сдержанно и крайне подозрительно, а затем вскоре открыто возненавидели его. Розанов оказался не их лагеря, а когда некоторые статьи Розанова появились и на страницах так называемой «либеральной» печати, эти круги стали ругать его «двурушником» и, наконец, «заклеймили» его «Иудушкой».

Левые круги, меряя все и всех шаблонной меркой, не могли разглядеть Розанова и понять, что широкий горизонт умственных озарений Розанова не укладывался ни в какие партийные шоры. Розанов по природе своей был вне всяких шор, он просто не умещался в них и не мог уместиться в них никак, — он видел то, чего они не видели, и понимал то, что им было органически недоступно. Они требовали «ответ по шпаргалке», «бег в крепкой узде», печать «передового борца», а Розанов бросал им «слова по существу», открывал им такие бездны в их «больных вопросах» и в ими же надуманных теориях «социального благоустроения», что г<оспо>дам «прогрессистам» ничего не оставалось

делать, как или ругать Розанова, или замалчивать его и вообще отмалчиваться. Так они и поступали.

Спорить с Розановым, в серьезном смысле этого слова, г<оспо>да «прогрессисты» не могли. Они выступали с палками, а Розанов бил их пулеметом. Борющиеся стороны были разного калибра. И врагу, умственно слабому, но сильному своим напором, своей организованностью и своими деньгами, оставался лишь один путь, — улюлюканья и «запрета на Розанова». Но как замолчать того, о котором говорила вся читающая Россия, без мнения которого не обходился ни один религиозно-философский спор, с голосом которого считалась и голоса которого искала вся умственно чуткая русская элита!..

И Розанов шел своим путем, не обращая никакого внимания на это улюлюканье и даже не замечая его. Травля со стороны левых не мешала Розанову расцветать, с каждым годом увеличивая длинную вереницу своих искренних друзей, почитателей и поклонников. Правда, в крайне правом лагере были скептики, отвергающие Розанова, упрекавшие его в «заумничаньи», в «неуместном пересоле», в «странной гибкости» и даже не то чтобы в безбожии, а в каком-то «кощунственном язычестве».

Но все это никак не колебало поступь Розанова. Он знал, что внутренне он прав, что во всей этой возне вокруг его имени много вздора, клеветы, интриг, зависти и страха. Завидовали потому, что рядом с ним никак нельзя было встать «в одну шеренгу». Как всякого гениального писателя, Розанова нельзя было имитировать, под него нельзя было подделаться и его нельзя было подделать и подражать было невозможно. Розанов был и остается явлением в своем роде единственным и неповторимым.

Страх у левых перед Розановым был обоснован. Если бы влияние его и понимание его ширилось и углублялось по периферии всех русских общественно-политических кругов, то революционная акция по расшатыванию государственных устоев исторической России не только приостановилась бы, но стала бы сокращаться. Поэтому злоба против Розанова и поношение его вполне понятны, — как понятно и то, что эта стихия черни, умственно и морально урезанная, болталась где-то у ног и под ногами Розанова, вызывая у него лишь досаду и брезгливость. Он эту стихию называл (вернее, — ругал) одним словом — «социал-демократией», желая подчеркнуть этим этическое ничтожество этой стихии, ее политическое убожество и невежество, — «передовое невежество», по его выражению. Насколько Розанов был «вопиюще» прав, это теперь хорошо и наглядно известно всем.

Что пророка и провидца всегда травили и даже побивали камнями — история обычная. Так было и так, очевидно, будет, ибо чернь есть чернь.

У нас так было с Гоголем, с Достоевским, с Константином Леонтьевым. Так случилось и с Василием Васильевичем Розановым.



Но время шло. И вчерашние враги Розанова, наиболее совестливые, умственно наиболее трезвые и духовно наиболее свободные, мало-помалу убеждались, насколько глубоко подходил Розанов к шуму земли и насколько он верно хлестал своим словом тех «вонючих разночинцев», которые подрубали русские корни, чтобы заменить их ядовитой паутиной «осуществленного социализма».

В частности, наиболее отрезвевшими были Алексей Ремизов, Зинаида Гиппиус, Бердяев... Все они в конечном итоге своего «жизненного опыта» пришли к одному выводу, к заключению о том, что Розанов был «огромное явление в русской литературе», что он был «замечательным и оригинальным мыслителем», что «его недооценили в свое время» и «плохо понимали». При этом Бердяев то ли в шутку, то ли с вдумчивой мыслью как-то назвал Розанова «гениальным обывателем».

Да, Розанов был и обывателем, но и обывателем он был особенным, и главная особенность его сказывалась прежде всего в искренности и честности, в его простоте и доступности. И в наивности до порою непонятной вроде как бы юродивости. Какой другой писатель и философ мог так говорить о себе при жизни, как говорил и писал про себя Розанов в своих «Опавших листьях»:

> Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя...

И тут же рядом Розанов пишет:

> Люблю чай, люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвалось). Люблю жену, свой сад (на даче).
>
> Хочу ли я играть роль? Ни малейшего желания (с. 507).
>
> Хочу ли я, чтобы очень распространилось мое учение? Нет! Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон (там же, с. 95).

Запись в Сергиевом Посаде от 9-го мая 1918 года. Великий Четверток:

> Только что простоял «со свечечками». И опять пережил умиление.

Обывательское все это?

— Ну, конечно, обывательское, — скажет читатель, но в голосе его послышится какая-то осечка.

Все это обывательское, — верно. Но написано все это не по-обывательски. Простоял «со свечечками»... Всего-то здесь два с половиной слова, а какая гамма впечатлений! Вот эта гамма впечатлений проходит через все литературное творчество Розанова, — гениальное творчество, «неудобное» для русских недругов, но близкое и дорогое русскому сердцу.

Только не надо смотреть на Розанова по-обывательски. Трудно это передать словами, — Розанова надо чувствовать.



Тут же, сейчас же хочется сопоставить эти розановские «свечечки» и это розановское умиление от Четверговой службы с фразой Феофана, впоследствии архиепископа, а тогда инспектора Петербургской Духовной академии, сказанной им в объяснение, почему он вышел из комнаты, завидев Розанова:

— Оттого ушел, что Розанов пришел, а он — Дьявол!

Но дальше.

Такие вопросы, как:

— Был ли Розанов церковным человеком?

или:

— Был ли Розанов антисемитом?

или:

— Был ли Розанов монархистом? —

такие вопросы о Розанове бесполезно, да и нельзя было задавать, их в серьезных кругах и не задавали. Не умещается Розанов в рамках вот таких обывательских вопросов, ибо такие вопросы обычно задавались, чтобы сопоставить с кем-то и определить то или иное лицо, — чтобы или укорить и обличить, или похвалить и порекомендовать — вообще как-то охарактеризовать. А с кем Розанова можно было сопоставить, коли он был единственным по своему глубокому и многогранному своеобразию?! Чтобы «легко и просто» определить Розанова с обычной точки зрения, нужно быть или предвзятым, или органически узким, или вообще верхоглядом, не отдающим отчета в своей болтовне.

Так обычно и шло определение Розанова. Когда вышла его книга «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», еврейские круги с яростью «заклеймили» его антисемитом, варваром и мракобесом, но не посмели назвать лжецом, а Розанов в этой книге никакой пропаганды против евреев не вел, — он вскрывал в ней отношение евреев к крови в мистическом плане обрядовой стороны, также как это он делал, копаясь в «египетских пирамидах». Евреев возмущало, — зачем Розанов вскрывал это отношение и шел в своем анализе так далеко. «Какое ему дело до наших обрядов?»...



Когда же вышли такие розановские книги, как «Когда начальство ушло», «Темный Лик» и «Люди лунного света», те же еврейские круги и та же «передовая» печать считали Розанова если не своим, то своим «без пяти минут», — он «вскрывал пороки царского правительства», он «обнажал темные стороны омещанившегося христианства», он «уличал черноризцев в праздности и тунеядстве»... Тогда как на самом деле ни того, ни другого, ни третьего в этих книгах Розанова не было, но толковать их можно было и вкривь и вкось, прилаживая те или иные отдельные мысли Розанова к тому или иному трафарету или к тому или иному политическому коленцу или «философскому» выверту розановских «обозревателей».

То же и по монархической линии. Книги «Когда начальство ушло» и «Люди лунного света», выпущенные Розановым в 1905—6 годах в Париже, очень не нравились петербургским монархистам. Они укоряли и даже обвиняли Розанова в «нелояльности», в «чрезмерном вольнодумстве», в «бесцеремонном нарушении и даже попрании верноподданнических чувств», чуть ли не в измене «Трону и Церкви». И в то же время, «под секретом и втайне», учились «монархической мудрости» по розановской книге «О подразумеваемом смысле нашей монархии», выпущенной в 1912 году, в которой особенно штудировали VII-ую главу (с. 48—54).

В этой книге Розанов освещал глубинную сущность монархического начала вообще и Русской Монархии в частности так, как никто не освещал до него и после него. Наиболее яркие, характерные и показательные выдержки из этой книги читатель найдет дальше.

Эта одновременная «любовь» и «ненависть» к Розанову, тяга к нему и отталкивание от него, приятие его и его отвержение лишь повторно показывают, что нельзя ценить или не ценить бриллиант по тому или другому *одному* лучу. Розанов поистине был велик и поэтому к его творчеству приходится и нужно подходить с величайшей осторожностью — не в смысле боязни принять «гнилушку за породу», а в смысле уразумения его.

Розанов честен до конца и во всем. И если что-то в нем нам не нравится, кажется «странным» и «неудобоваримым», то исключительно потому, что мы еще «не охватили предмета». Умные враги Розанова понимали силу глубины розановских озарений и его провидений и поэтому молчали о нем «до крайнего случая», видя не только бесполезность, но и вред и даже комизм спора с ним. Что бы, как бы и где бы Розанов ни писал, конечные выводы и утверждения Розанова никак не совпадали с «программными установками» его врагов, — Розанов твердо шел к Богу и к Царю, но шел не нашими путями. У него был свой аршин, свои ве-

сы и свой ланцет, чего мы часто не учитываем и потому до сих пор называем его «путанным».

Путанного у Розанова и в Розанове ничего нет. Он не прыгал по кочкам, не метался по боковым тропинкам, никогда не делал никаких заячьих петель. Перед ним, в его нутре развертывалась ясная и прямая дорога, и он в каком-то смысле, как сомнамбула, даже не шел, а несся по этой дороге, видя и рассказывая нам то и так, что не всегда укладывалось в нашем мозгу и не всегда бывает близко нашему осознанию.



О Розанове как в свое время, так и теперь много писалось и пишется «за» и «против». И что всего характернее, как те, так и другие в своей критике Розанова не дают его какое бы то ни было определение. Кто же Розанов, что он собою представляет, — положительное явление на ниве русской мысли или отрицательное? Вопрос этот элементарный и плоский, ибо даже «злой» гений по внутренней сути своей есть явление положительное, — ибо гений есть гений, — отмеченная богом особь. Но именно с таким вопросом если не открыто, то «втайне» подходят к Розанову. И потому теряются в его определении — «Розанов как будто бы положительное явление» и в то же время он «как будто бы и отрицательное». Отсюда недоношенность всей критической литературы о Розанове.

Все сходятся на том, что Розанов — гениальный публицист, что он обладал даром глубокого аналитика в отношении людей и событий, умел проникать в суть и понимать эту суть, что не было таких вопросов и тем, на которые не откликался бы Розанов с присущим ему озарением, что влияние Розанова было и остается огромным, но, как пишут критики, влияние это малозаметно, ибо «Розанов был растрепанным в своих мыслях» или, как выражался о нем Ив. Солоневич, — «путанным».

Каждый из критикующих Розанова, как бы ни старался быть «объективным», — мысленно, а то и «конкретно» сравнивал его с кем-либо из «больших» писателей, сопоставлял и неизбежно находил из этого сравнения «пороки» Розанова: кто «ложность» его, кто — «бесстыдство», а кто даже и «кощунство». Так, суживая свой подход к Розанову и при этом всегда забывая сугубое своеобразие гениальной даровитости Розанова, которое начисто исключало возможность сравнивать Розанова с кем бы то ни было, господа критики ограничивали поле своего зрения и видели Розанова лишь в какой-то его части или в каких-то двух-трех «разрозненных» частях, а не в целом. И фактически не Розанов выходил из-под пера этих критиков «растрепанным» и «путанным», а понимание, знание и оценка этого мыслителя получалась у критиков и растрепанной, и путанной.



Розанова надо брать в несравнимой его самоцветности и в неповторимой его индивидуальности. Как человек, да еще с такой пытливой отзывчивостью буквально на каждую «злобу дня», Розанов мог в суете своей журнальной (ежедневной) работы делать «неувязки», тот или иной «перегиб» или «недогиб», ту или иную крайность или недосказанность, — но не в них, не в этом ворохе обыденщины и не в этих мелочах текущей прозы жизни ценен, важен, интересен и значителен Розанов.

Ценен и значителен Розанов полнотою и чистотою своего русского гения. На его миро-*ощущении* нет даже тени влияния извне. Розанов был настолько силен и сила его гения настолько глубока, что его вернее всего рассматривать как самородок в его первозданном виде, — как самородок золота, а не слиток золота. Различные философские системы Розанов знал хорошо, но он был вне их. Эти системы были не в его масштабе, не в его перспективе. Розанов не видел в них «последнего слова», — в них ему не к чему было прислушиваться, и они проходили мимо, внутренне не задевая и никак не «трансформируя» его. Гений Розанова настолько само-*цветен* и само-*бытен* и в то же время энциклопедичен по своей интуитивной природе, что искать чего-то или каких-то ответов и откровений «на стороне» у него просто не было надобности. В этом смысле Розанов был несомненно феноменальным явлением. И оценивать Розанова по той или иной грани его творческой мысли, это значит просто не понимать его, — не видеть его в целом, не чувствовать его всего.

Единственным «серьезным недостатком» Розанова является отсутствие у него «стройно изложенной доктрины», как это принято понимать у «классических» философов и богословов. Этот свой «недостаток» или «упущение» или «пробел» Розанов и не стремился исправить, — он не стремился все свое собрать воедино, — свое «учение» уложить в какие-то стройные рамки, разбить на отделы, главы и параграфы. Это он считал и смешным и ненужным.

Возможно, у Розанова не хватало времени, чтобы заняться этим «укладыванием в рамки» длинной цепи своих мыслей, — но возможно и то, что он и не искал, а если и искал, то не находил этих рамок, — в которые уложилась бы его доктрина, как он ее понимал, и чтобы ее поняли другие.

Но будет время, и в этом сомневаться не приходится, когда найдется «исследователь Розанова» — *понимающий* его, который и соберет мысли Розанова, рассортирует их по духу и по их прозрениям, как-то систематизирует их, выявит их цельность и ясность и тем оформит розановское учение. Близкие ему по своему душевному настроению и по складу своего умственного характера видели связанность розановских мыслей и их определенность, — определенность его миро-*ощущения,* и потому не находили в Розанове ни «растрепанности», ни «путанного».

Автор этих строк и до революции и после нее многократно сталкивался с этими многими *близкими* Розанову и никогда не слышал от них «гнева» на Розанова, недоумения или раздражения. Правда, не было и «осанны», того современного демагогического кликушества вокруг рекламируемых кумиров улицы, которое так всегда отдает дешевкой. Но зато было главное, *не*-приемлемое улицей, тем «вонючим разночинцем», который сегодня так ликующе справляет «бал» своей торжествующей пошлости, — было самое главное: — принятие *внутренней* преданности Розанова Церкви, Царю и своему Народу Русскому и страха Розанова за судьбу всех их — «взятых в горсть»...

И рассматривал Розанов это триединое начало, специфически *русское* начало, не с политической точки зрения партийного порядка. Всякую политику, а партийную в особенности, Розанов презирал, — он рассматривал это начало с государственной, вернее, религиозно-государственной точки зрения, то есть, проникал в сердцевину существа вопроса. И, так как Розанов был *свободен* в своей мысли, чист и честен, то вскрывал *подлинные основы народного цветения,* извлекая эти основы из-под шелухи преходящего. И смеялся над теми «парт-работниками», которые дальше этой шелухи ничего не видели или не смели видеть и которые превращали эту шелуху в фетиши и лозунги своей «борьбы за счастье народное», за «невыразимо прекрасное будущее».

Все это упускается критиками Розанова.

Частые встречи и беседы с Розановым неоднократно убеждали автора этих строк, что Розанова надо или приять положительно, или отвергнуть целиком. Рассматривать же — «критиковать» Розанова в плане лишь какой-то одной грани его творчества — значит спекулировать им, даже больше, — дискредитировать его гениальную даровитость как большого русского самородка-мыслителя исключительного порядка.



Каково значение Розанова для России? Громадно, — и в русской литературе, и в русской истории, и в русской науке. Значение именно *для* России, ибо Розанов вложил в сокровищницу русской культуры поистине богатый и диковинный дар глубокой *русской* мысли.

Наша русская вина в том, что мы очень медленно раскрываем Розанова, не ищем его и подхода к нему, — чтобы ближе, лучше и внимательнее разглядеть его и через него ярче и тверже осветить свой *русский* путь...

Мы не ставим Розанова в ряд с кем бы то ни было из русских мыслителей, не вплетаем его имя и в жемчужную нить наших славянофилов, полной мерой взвесивших и определивших этот наш русский путь. Роза-

нов по духу своему, по своему душевному настроению и по своим умственным озарениям был очень близок ко всем им и, в частности, особенно к Достоевскому. И входил в плеяду именно этих звезд, но горел Розанов настолько особо и свет его звезды настолько своеобразен и силен, что он невольно выделяется из всех своей феноменальной индивидуальностью, находясь как бы «на отлете» от них, но крепко и природно пребывая в общей орбите подлинно русской даровитости и подлинно русского мировосприятия, до конца сохранивших свою чистоту — в своей независимости.

Из того немногого, скупого и беглого, что приведено нами *розановского*, читатель видит, как много у Розанова *поучительного* для всех нас, русских людей, верящих в Россию и любящих ее, религиозно и государственно историческую. Но и правые и левые держали Розанова «за железным занавесом», не давая ему хода в широкие круги русского общества. Правые «вели» себя так потому, что не охватывали его в целом и потому не понимали его, — и потому что не видели в Розанове того источника живой воды, который помог бы им лучше ориентироваться в судьбах русской истории и определить полнее дух, объем и направление своей работы.

Розанова читали «как всех читают». Но Розанов не для чтения, а для воспитания — умственного и душевного. *Только* читающие Розанова проходили мимо него тепло-прохладными и в русской жизни пропадали для России...

Левые держали и держат Розанова «за железным занавесом» из-за вполне определенной неприязни к нему. Розанов — не их поля ягода. В нем, как и во всем исторически-русском, они усматривали и «выпирали» наружу только одно «темное» и «отрицательное» и заведомо малозначащее и совсем не-характерное для Розанова и тут же смаковали все то «корявое», что так «царапало» в Розанове правых. И представляли его «публике» скорее «своим», чем «чужим». В общем, — буквально сбивали у своих читателей мозги набекрень.

Левые боялись Розанова, они понимали его русскую громадность, — громадность его авторитетной, бесспорной и острой мысли. Они прекрасно сознавали, что широкое раскрытие этой громадности грозило их посягательствам, и потому всегда держали и держат Розанова в тени, на отшибе от «ведущей элиты», в нарочитом умалении розановского дарования, розановского значения для России, для борьбы за Россию и не только за нее...

Закончим мы свою книгу выдержкой из статьи Э. Ф. Голлербаха напечатанной в «Летописи Дома литераторов» № 8—9 от 25 февраля 1922 года (Петроград).



Вот что пишет Голлербах:

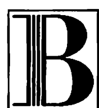
Предсмертные дни В. В. Розанова были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли заглушить в нем радости духовной, — «поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос Воскресе! Как радостно, как хорошо!.. Со мной происходят, действительно, чудеса, а что за чудеса, — расскажу потом когда-нибудь»... Перед самой смертью страдания утихли. Он четыре раза причащался по собственному желанию, — один раз соборовался, три раза над ним читали отходную, во время которой он скончался без мучений, спокойно и благостно.

22 января по ст. стилю, в час дня, 1919 года,
в Сергиевом Посаде, — под Москвой.

Юрий Иваск

РОЗАНОВОРАВНАЯ ВЕРА

Вера Александровна Мордвинова-Шварц (Александрова)
1895—1966 (Ковно — Нью-Йорк)



В нач<але> 50-х гг. я знал В. А. — редактора Чехов<ского> изд-ва. Маленькая, горбатилась. Что-то от вечной курсистки. Писала очень скучные очерки о сов<етской> литературе (для НЖ). Г. П. Федотов сказал о ней: Очень милая... но глупая». К моему проекту ИЗБР. РОЗАНОВА отнеслась холодно, но все-таки книга была издана. Как-то сказала: — Пишите проще, чтобы было понятно народу... А ее англ<ийской> истории сов<етской> литературы от Горького до Солженицына я не читал.

Только что получил переписанные А. Н. письма В. В. Мордвиновой В. В. Розанову 14-го и 15-го гг. Розанов поместил их в студ<енческом> журнале ВЕШНИЕ ВОДЫ. Понятия об этом не имел.

Был потрясен, читал всю ночь.

19-летняя Вера. Курсистка в Одессе, потом в Москве. На столе — портреты Царя, Царицы, Наследников (все — с большой буквы!) Тут же русский флажок. Любила городовых — они народны, они — защитники. Издевалась над Чацким, над Герценом. Случайно наткнулась на книги Розанова. От 27-го сент. по 27 ноября 1914 г. написала ему ок<оло> 45 писем, и он отвечал (но его ответы, вероятно, не сохранились).

В. А. ждала от Р-ва поучений: Выходите замуж, рожайте детей. М. б., он так и поучал, но явно перестал.

Это был великий роман в письмах, на уровне переписки Гёте с Беттиной фон Арним.

Письма В. А. растрепанные, сперва думаешь — какая-то истеричка! Но это неверно. Такой прямоты, безо всякого девичьего кокетства — ка-

жется, ни у кого не было. «Учение» Розанова о святости пола В. А. не разделяла. Вообще ее эрос был весь перелит в думы, раздумья.

Ее яркие наблюдения. Видела, как по утрам кроты греются на солнце. Грохотание грома казалось ей отеческим, богоотеческим. Вечность — «протяженный звук»... Вечность — где сливаются все вздохи души.

О себе: у меня нет творческого огня, есть только творческий трепет. Нет чувства формы. Писателем не буду... Можно назвать ее Музой Розанова. И вся переписка: общение двух душ (у которых гётевское избранное сродство). Душ очень земных, с земными интересами, с жалостью к земле, иногда и с земной радостью, но это именно души. С таким душевным строем нечего делать на земле — пусть и любимой.

Т. н. серебряный век (1894—1920) не на уровне нашего 19-го века.

Слишком много тонкости, например, у Зинаиды Гиппиус, но и у ней не было тонкости этой Веры и Вас. Вас. в переписке с ней. Где тонко — там и рвется. У Веры и Вас. Вас. нет декадентства, внутренне они здоровы, а жили в этой переписке *оттенками*. Может быть, В. В. и влюбился. Не Вера. Для нее Розанов друг — несчастный — жалеемый гениальный друг. Заботится о его здоровье, просит не писать по ночам (вредно), но сама ночей не спит — и В. В. о ней заботится. Они встретились в Петрограде в декабре 1914 года (и еще раз в 15 г.). Но как встретились — не знаем.

Как В. А. дошла до социализма, меньшевизма? Не знаю. После революции, уже при большевиках, она работала в СОЮЗЕ БОЛЬНИЧНЫХ КАСС, где дружила с рабочими-меньшевиками (Гуль). Может быть, В. А. упростилась по линии жалости. В эмиграции она и ее муж меньшевик С. М. Шварц (женаты с 19-го г.) яростно разоблачали большевистский террор (увы, таких социалистов академик Шафаревич не приметил...). Их друзья Николаевский и Даллин написали документальную книгу о сталинщине. Кажется, был и английский перевод. Но ясно — девичьего творческого трепета в статьях В. А. не было...

Дед по отцу В. А. был мельник, отец — военный генерал, верный слуга своего Государя. Мать — урожденная Урбан. В детстве Вера жила в имении деда в Литве, говорила с ним по-немецки. Это была атмосфера дворянского гнезда, хотя и на немецком языке. Свой быт В. А. хорошо изобразила. Дружила с городовыми, дворниками, жалела мужиков, но — никакого народничества, что удивительно. Типичнее было бы, если бы стала «красной» (но В. А. М., вероятно, читала ВЕХИ!). Верила в народную монархию. Под влиянием Розанова заинтересовалась евреями и порозановски называла их «жидами»...

Близких людей — любимых младших братьев и Розанова определяла по их запаху душ...

Вера — именно творческий трепет (в те годы). Ласточка в клетке. А потом, видно, стала меньшевистским волом терпения.

Конечно, нужно издать ее письма Розанову. Издаст ли ВЕСТНИК? Удастся ли убедить?

Кое-что Розанов заменил точками — в каких-то интимных записях В. А. о братьях.

Одна запись, — на все ради Вас готова, кроме... (точки). Догадка: кроме связи!

Гипотеза: начиная с Леонтьева в русской литературе появились так называемые андрогинные люди: Бердяев, Мережковский, Гиппиус. Им по существу был и Розанов — отец 5 детей (четверо выжили), и В. А. называла его и себя странниками. Вера в письмах очень даже женственна, но ум у нее мужской, и было что-то материнское по отношению к Вас. Вас.

Розанов писал, что все ученые курсистки (напр., читающие Маркса) лесбиянки! Вера это отрицала, а сама дружила только с какой-то «курсихой» Калиночкой и эпистолярно с Розановым. Это только чуть-чуть Лесбос... Вообще же, так называемые половые признаки в переписке Веры с Розановым *вторичны*, как у любых душ... Она писала о «духовном гнездышке», которое она свила у Розанова, и в этом гнездышке она скорее мать птенца — 57-летнего Вас. Вас.

Замечательны ее размышления о русском народе. Русские — бесформенны — заимствовали у Византии, потом у Запада, и это не новое наблюдение, то же самое писал еще Леонтьев. Русские гениальны в комментариях, в резкой отметке ногтем на иностранных книгах. Если России не будет — надо будет поставить памятник России: трем братьям Карамазовых с отцом — Федором Павлычем... (Достоевского она обожала, а Толстого не любила, даже презирала.) Она сама героиня или геройдуша-идея из Достоевского, как и Розанов. Затаенная мысль, которую всегда отгоняю... Может быть, в России никогда не будет ЛАДНО, как у порядочных людей, и не будет России Пушкина в 2040 г. (пророчество Гоголя). Погибнет и останутся только русские ОТТЕНКИ в комментариях. Ибо — Россия при всем хамстве, пьянстве, рабствовании — на самом деле не от мира сего (юродивая). О, не народ-богоносец (это чепуха), а Христа ради юродивая. Так думали Вера и иногда Розанов. *Не хочу этого...* но мало ли чего я не хочу... Кто же осилит: Александр Пушкин или Николай юродивый, убитый Грозным? Не фатально ли, что не удалась великая Россия Милютиных, Столыпиных — и пророческая — Достоевского, Розанова в лучшие годы: 1861—1917 г.? Тогда, и совсем не вопреки самодержавию, был несомненный здоровый прогресс... нормализация. И тогда Розанов мечтал о круглом теплом русском Доме. Но сам оставался юродивым, как Вера в 19—20 лет.

Рядом с УЕДИНЕННЫМ и ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ должен стоять томик писем Веры Мордвиновой. Эти последние книги старой России. Ее последний вздох. Как был поверхностно нормален Тургенев, а ведь и он в рассказе ОТЧАЯННЫЙ изобразил «человека со вздохом». Неужели Россия существует только для того, чтобы вздыхать? Можно вздыхать и без юродства, как Пушкин (Иных уж нет, а те далече), как Мандельштам (Что же ты, молчишь, скажи, венецианка...). А оба были и ИМПЕРСКИЕ ПОЭТЫ (Люблю тебя, Петра творенье или Адмиралтейство, солнце, тишина...) Русский арап и русский иудей... Я за них, хочу быть с ними... а всегда соблазнялся не юродством, а хлыстовством!



И. В. Грузинов

С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ



сенин читает В. Розанова. Читает запоем. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его как стилиста. Удивляется приемам его работы. Розанов в это время для него как поветрие, как корь. Особенно нравились ему «Опавшие листья».

Стоим под аркой в кафе «Домино», под аркой, разделявшей «Домино» на два зала. Есенин упоминает об одной из книг Розанова.

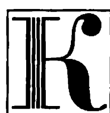
Я спрашиваю его:

— А ты был, Сергей, знаком с Розановым?

— В Петербурге, когда я юношей приехал туда, я познакомился с Розановым. Розанову нравились мои стихи. Однажды Розанов, встретив меня, приласкал, как мальчика, погладил по голове и сказал: пиши, пиши! Хорошие стихи пишешь!

А. И. Цветаева

В. В. РОЗАНОВ



то дал мне эту удивительную книгу? В моих руках — дневник старика — «Уединенное». Читаю, точно свое. Так знакомо!.. И мы с Мариной не знали, что *есть* такой человек!.. Сколько лет мы прожили на земле в *то же* время и не знали — он о нас, мы — о нем!

Как ни сядешь, чтобы написать что-то: сядешь и напишешь *совсем другое*. Между «я хочу сесть» и «я сел» — прошла одна минута. Откуда же эти *совсем другие*, мысли, на *новую* тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их *именно* записать...

Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только «сделать писателя». Но он не писатель...

Читаю не отрываясь.

Почему я так желаю известности (или влияния) и так (иногда) тоскую (хотя иногда и хорошо бывает от этого на душе), что «ничего не вышло из моей литературной деятельности», никто за мной не идет, не имею школы?..

Больше *одна* я не захотела читать.

Я бросилась к Марине. Марина отобрала у меня книгу, села за нее — и от нее встала в знакомом мне в ней книжном бреду. Ее глаза были пусты и жалобны. Она отсутствовала. Она была там, в книге, с неведомым от века родным человеком. Но на этот раз право первенства было явно мое. И я тянула Марине мое письмо к Розанову — его зовут Василий Васильевич, и он живет в Петербурге. А сегодня Макс приедет из Коктебе-



ля, и я ему расскажу, — он, наверное, знает о нем, может быть, даже его знает?..

«Дорогой Василий Васильевич! Только что кончила Ваше "Уединенное". Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы, потому что Вы пишете о том, что вне возраста, и Ваша книга — родная...» Так начиналось примерно мое письмо.

— Ты *нарочно* подписываешься не «Цветаева»? — спросила Марина, прочтя мое «А. Трухачева».

— Конечно. Мне не надо вовсе, чтобы он мне ответил как дочери папы. Папу он не может не знать. Посмотрим, отзовется ли на фамилию, ему *неизвестную*...

— Молодец! Я бы тоже так сделала...

В этот же день пришел Макс. Он выслушал мое волнение и сказал, улыбаясь:

— Мне жаль тебя огорчать, Ася, но я думаю, что он тебе не ответит: Розанов стар, перегружен литературным трудом, большая семья — сама же читала: «Папа, учебнички...», «Папа, башмачки...» — и вряд ли у него станет сил отозваться...

— *Ответит*! — сказала я.

Прошла неделя. Начала ли я уже поникать? — когда почтальон передал мне два письма со штемпелем «Петербург».

Мелкий, без строк — еще беспорядочней, чем почерк Эллиса, — полупрямые, полукосые буквы, разорванные слова...

Первое, с простой маркой, было коротко. Второе — заказное, длинное — было послано вдогонку первому. «Настя, — писал он, сделав мне чужое уменьшительное из "Анастасии Ивановны Трухачевой", — как ты? Что ты пережила? Откуда такой *глубокий* тон в 19 лет?..» И взволнованно текли с его пера повелительно в слова — чернила, рождая каракули откровенья и дружбы, удивленья и интересов, беспорядочного рассказа о себе и вспышки вопросов — мое безмерное, без названья, счастье в ответ. Я читала на ходу, вверх по короткой лесенке парадного хода, застыв на какой-то ступеньке, все позабыв, застрянув в таинственном колодезном срубе непонятной, наспех прочитанной фразы; я читала, войдя к себе, держа на коленях Андрюшу, мне переданного няней, читала, когда он заснул, читала и перечитывала оба и вновь писала — и с трофеем поднималась по горе на дачу Редлих — к Марине.

— Марина! Письмо от Розанова! Два! Сразу! Вот Макс удивится! Помнишь, он говорил, что переписка если и будет, то что-нибудь вроде Мопассана и Марии Башкирцевой — недоразумение... Читай!

Марина прочла. Ее лицо пылало за меня.

— *Теперь ты напишешь* ему «Цветаева»? — И уже не мне, а ему: — *Молодец!*

...Ночь. Я сижу за дневником, отослав мой ответ Розанову, и я счастлива, как только может человек на земле быть счастлив. И другого счастья — не надо! Не хочу любви! Спаянности с *одним*, терема! Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, перекличка чувств, мыслей... Свобода! И писать и писать...

Когда Розанов узнал, что Трухачева (фамилия, которой я в первый раз подписалась) я по мужу, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека. Это еще более сроднило нас. Он обещал мне прислать свои книги и ждал нашей встречи — я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в Петербург. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным трудом, о том, что везет воз большой семьи, дивясь раннему опыту жизни во мне, но не сомневался во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком. Я искала и не находила его «Опавшие листья». <...>



«Туман, лондонский» — так говорят о Петрограде. Я вступаю в него в первый раз.

Нет, это не туман, туман стелется (вечером, над болотом, далеко на лугу в Тарусе). Это спущены завесы сверху, а между этих завес, в них исчезая, снизу стелются им навстречу очертания домов. Не менее волшебно, чем Венеция!

Я не ликую, как многие, что мы, нападающие войска, «захватываем» что-то. Отчего я только вновь и вновь потрясаюсь звуком солдатских песен, уходящих с ними — умирать? Воем баб на вокзалах, провожающих сыновей и мужей... Спешу. Стыдно туда опоздать — к шестидесятилетнему, к восьмидесятилетней Камковой, которая ждет!

Туман и озноб. Еле видны дворцы у остановки трамвая, где его жду, стерегу огонек за поворотом... Дождь? Запахиваю пальто, втягиваю шею, как птица нахохленная. Гляжу в двери, высокие, пугающие чуждостью, как в квартире того «философа», откуда завиделся издали и шагнул мне навстречу Василий Васильевич Розанов. Молниеносное, вне воли — глаза в душу — наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб — вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства — и у папы шире глядят — у́же, острее и хитрее, что ли?? И в этой неизбежной ему «хитрости» — тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают ласку — какие путаные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них не сразу услышала голос. Из-за них не сразу нашла свой. Задохнулась как-то, будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась — его. Щурюсь (неприлично, к глазам лорнет не поднимаю) и от этого вижу еще смутнее, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне — в доме! Звуки шагов? Поспешное двиганье стульев? Отовсюду — люди. Девушки. Мальчик-подросток, головастый, на отца похожий... Но, раздвинув (детей? стулья?) впереди, — женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И в сердцах на себя, внезапная трезвость... Поднимаю глаза «воспитанные». С улыбкой — руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас!):

— Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: вмиг, как в театре, — вверх занавес!

Каждый актер — свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре — в моей руке. Не расплескать бы на блюдце, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство «семейного счастья», как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...) Пропустила огонек за поворотом! Уже у плеча звонок трамвая. Еле успела вскочить!.. <...>

«И еще говорят, что Достоевский выдумывает такое, что бредовый писатель! Вот бред — рукой подать!» — думала я, добираясь по широким и узким вечерним улицам до редакции, где оставался подолгу работать Розанов, ждал меня. И несправедливо я вчера мысленно на его семью обрушилась за кажущееся благополучие! За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За прокаленную преданность жены его, матери его детей? Мещанством назвала! Вот это было мещанство во мне — жест дешевый... И мелькнуло перед глазами личико одной из дочек его, запомнившееся. Без красоты милое, умное, худенькое... чем-то похожее — на него? Таня... А он похож — чем-то — на Федора Михайловича...

И вот мы сидим вдвоем в глубокой тихой редакционной комнате; он отбросил рукописи и книги, без конца говорим. Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, я ее перепишу, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающегося отчаяния, что нет Бога, мое полное отвержение веры. Все знакомо ему. Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против его веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий голос говорит мне о том, какие еще перемены меня ждут...

Часы идут, вечер, поздно. А мы все говорим, не можем расстаться.

— А все-таки, Василий Васильевич, я чувствую, что больше вам сил отдаю, чем вы мне! Что до конца, до самой глубины вы меня не поняли. Нет, постойте, дайте сказать! Если бы поняли по-настоящему, вы были бы счастливы мной! Я была бы вам драгоценной находкой! Весной в вашу старость! А вы...

Он прерывает меня:

— Слушай, Ася, ты не права. Ах, как ты не права! Это — от молодости, от нетерпенья... Пойми же меня: я стар! У меня — семья. Столько людей на мне! Разные возрасты. Столько работы! Не души во мне не хватает, как тебе показалось, а только сил... Времени!..

Я слушала, стараясь понять! Весной в его старость! Эти слова я от него услыхала — сказал их мне в наше свидание в 1917-м, три года спустя.

Начало вечера. Мы снова долго сидели с Розановым в редакции. Я рассказала ему вкратце Маринину и свою жизнь. А теперь он идет показать мне улицу, где жил Достоевский. Он попробовал меня убедить, что счастье женщины — в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу!

— Ты прочти мое «Люди лунного света» — понравится. — И еще мне: — Нет, ты — не бархат, ты — шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь — твой лунный свет!

...Туман — густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мглистых фонарей, редких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая — в гору, мост или — Кузнечный переулок). Он говорит: «Тут он жил, вот его дом!» Подымаю голову, и вдруг — трепет озноба. Испуг! Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни — я схватила за руку Розанова... (но и почти семьдесят лет спустя я эту минуту помню).

Через два часа я стою у окна в поезде, ночь, полет... Курю. Петроград тает лунной мглой. <...>



В крестные отцы Алеше я выбрала Розанова. Мы переписывались. Откормив Алешу, я поехала в Петроград — отдохнуть. Остановилась у старшей сестры Сережи, Анны Яковлевны Трупчинской.

С Розановым мы не виделись два с половиной года. Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, старческая гордость, что к нему, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двадцати трех лет! Революция, война, его старость и юность моя — все смешалось.

— Ты — моя весна! — говорит он смеясь и хочет непременно со мной сняться на память, и мы идем к фотографу, но, когда карточки готовы, я ему на них кажусь непохожей.

— Я с тобой как молодой... — удивляется он.

— Вам потому так и хорошо со мной, — отвечаю я, — что я вам товарищ и спутник, и когда мы бродим по улицам — разве вы не чувствуете, что мы как два бурша — старый и молодой, два — мастеровых из гофмановских сказок?

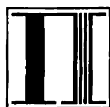
Бродили, говорили о всех переменах в стране. Тогда возлагали большие надежды на Временное правительство, — может быть, накормит страну? Но мне надо возвращаться к моим сыновьям, а у Марины — две дочери, как жизнь летит, нам уже двадцать пять и двадцать три года!

Розанов едет проводить меня на вокзал. Мы берем билет. Солдатами забиты поезда. Он волнуется, как я поеду одна. Я езжу с шестнадцати лет, я ничего не боюсь. Но Розанов трогательно, как отец, поручает меня кондукторше, поясняя, что «не от мира сего» и чтобы меня никто не обидел...

Тогда же на прощанье он рассказал мне: «Ася, я для твоего ума исходил вчера пол-Петрограда, ища у букинистов и у друзей первую мою философскую книгу "О понимании" — так я хотел тебе ее подарить, но ее не нашлось — нигде»...

Э. Ф. Голлербах

В. В. РОЗАНОВ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ервая встреча моя с Розановым состоялась в Вырице (М. В. Р. ж. д.), у него на даче, куда я приехал 23 июля 1915 г. в ответ на его письменное предложение познакомиться.

Восстав от послеобеденного сна, писатель плескался за стеной, а я поджидал его, шагая по маленькому дачному кабинету. На столе лежал «Короб 2-й – "Опавших листьев"», тогда только что увидевший свет. Вскоре ко мне вышел мелкими шажками небольшого роста старичок, самой мирной и ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого «Обломова», с рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого, бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой, – изжелта-седыми усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он показался мне одновременно и тревожным, и сосредоточенным. Первые слова, им сказанные, были: «Ну, рад с Вами познакомиться... Вы – немец, лютеранин?»

В самом начале беседы выяснилось, что больше всего ценит Розанов в людях влечение к религии (вообще к религиозности) и отталкивание от позитивизма.

Разговор шел о церкви и церковности, об университете (Петроградском) и студенчестве, о Вл. Соловьеве, Н. О. Лосском, Бергсоне, Метерлинке и др. Я смотрел на В. В. с жадностью. Так вот каков тот человек, вокруг которого – давно ли, года три-четыре тому назад (до его исключения из Религиозно-философского общества в 1913 г.) – группировалась петроградская аристократия ума и таланта, – человек, в кабинете которого велись, как выразился один свидетель, разговоры «изумительные», по содержанию – единственные в Европе, единственные по самобытности и пламенности тем.



Писатель прочитал мне несколько отрывков из своей новой книги «Опавшие листья» (т. II). Кстати посетовал на критиков. Мимоходом рассказывал кое-что о Толстом, Мережковском и др. Расспрашивал о Е. В. Де Роберти и С. А. Венгерове, узнав, что я был их слушателем в Психоневрологическом институте. В Венгерове его озадачивало сочетание «шестидесятничества» с увлечением Пушкиным.

В Розанове все показалось мне тогда необычайным, кроме внешности. Внешность у него была скромная, тусклая, тип старого чиновника или учителя; он мог бы сойти также за дьячка или пономаря. Только глаза — острые буравчики, искристые и зоркие, казались не «чиновничьими» и не «учительскими». Он имел привычку сразу, без предисловий, залезать в душу нового знакомого, «в пальто и галошах», не задумываясь ни над чем.

Вот это, «пальто и галоши», действовали всегда ошеломляюще и не всегда приятно. В остальном он был восхитителен: фейерверк выбрасываемых им слов, из которых каждое имело свой запах, вкус, цвет, вес, — нечто незабываемое. Он был в постоянном непрерывном творчестве, кипении, так что рядом с ним было как-то трудновато думать: все равно в «такт» его мыслям попасть было невозможно, он перешибал потоком собственных мыслей всякую чужую и, кажется, плохо слушал. Зато слушать его было наслаждением.

Он нисколько не «играл роли» знаменитого писателя, не рисовался, не кокетничал. Во всем был прост, непринужден, не страшась бестактности и «дурного тона». В нем часто бывали резкие переходы от одного настроения к другому, от нежности к раздраженности, от грусти к веселости. Мысль его (в разговоре) всегда шла как-то зигзагами, толчками. Иногда он говорил что-нибудь неожиданное и очень странное, так что казался юродивым, чудаком, ненормальным. Из внешних привычек В. В. отмечу постоянное, почти непрерывное курение: он чуть ли не весь день набивал папиросы, коротенькие, с закрученным концом, и курил их одну за другой. Своеобразна была его манера ходить — шмыгающая, словно застенчивая, но прямая. Сидел он обычно, поджав под себя одну ногу и тряся непрерывно другой ногой.

После первого свидания в Вырице я встречался с В. В. в Петербурге, на Шпалерной. В 1917 г. он был весь погружен в свои «Восточные мотивы», которые начал тогда издавать (издание прекратилось на третьем выпуске): возился с египетскими рисунками, облюбовывал, обдумывал каждую деталь, умилялся, восторгался различными символами и обрядами Древнего Египта, ругал последними словами ученых египтологов, особенно Масперо и Шампольона, за то, что «дураки, ни уха, ни рыла не понимают в Египте, а туда же». Его, «розановская», египтология была действительно своеобразна, — это была какая-то фаллическая лирика

(изображение фаллоса повергало его в экстаз), почти осязательное прикосновение к святыням древности, сочувствие и сомыслие, доходившее до нежнейшей влюбленности...

Квартира Розанова походила на своего хозяина: в ней не было ничего банального, — нельзя было понять, какая разница между «гостиной», «кабинетом» и «спальней»; в гостиной библиотека, множество книг, гипсовая маска Страхова, Мадонна, нумизматическая коллекция. Здесь принимали гостей, вообще это было место «разговорное» и «проходное». Рабочий кабинет (он же спальня В. В.) был местом священнодейственного труда и дружеских бесед, интимных tete-a-tet'ов.

Помню маленькие, узенькие листочки, раскиданные на письменном столе. Только на таких полосках бумаги он и писал, других не признавал. А иногда писал на обрывках, клочках, на оторванном клочке книжной обложки, на папиросной коробке. Книг у него в кабинете не было, кроме самых любимых и нужных. «Дневник писателя» Достоевского был его настольной книгой. Библия тоже. Над столом большой портрет А. А. Рудневой (тещи В. В.). Фотография дочерей и репродукция с портрета Розанова работы Бакста (портрет этот находится в Третьяковской галерее). Беседы наши иногда прерывались неожиданно: вдруг осенит Вас. Вас. желание окончить начатое вчера письмо или начать статью («Вы позвольте мне кончить письмо, давайте, не будем стесняться друг друга, я живо, а вы сядьте тут рядом, нам будет хорошо помолчать»). Если было воскресенье, он часов в девять начинал переодеваться и с увлечением рассказывал о какой-нибудь древнеегипетской рукописи, барахтаясь в крахмальной рубашке, упорно не влезавшей на своего владельца. Попутно ругал одних, хвалил других писателей. Очень любил он Флоренского, Эрна, Булгакова. Хорошо относился к Лернеру (но не без брезгливости и опаски), к Чуковскому (тут лицо его расплывалось в развеселую улыбку). «В. В., что вы думаете о Бердяеве?» — спросил я его как-то. «Ничего не думаю и думать не хочу». Не любил Розанов Амфитеатрова, Гр. Петрова. О Л. Толстом говорил разно — то с оттенком раздражения, то благоговейно. Толстой показался ему при встрече прекрасным и величественным, полубогом. «Старик был чуден. Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала "Войну и мир" и "Анну Каренину" и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя: "Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости"». Все это не помешало, однако, Розанову объявить (в «Уединенном»), что «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». Он пытается уверить нас, что Толстой не знал страдания, не знал тернового венца и героической борьбы за убеж-

дения, что Толстого мало любили и смерть его никого по-настоящему не взволновала.

Раз, показывая мне фотографию Толстого, Розанов сказал: «Вот, фотографию мне прислал через Страхова, а надписать ее не захотел. Ну, Бог с ним. Все-таки, знаете, какой богатырь!»

Такое же двойственное отношение было у Розанова к Вл. Соловьеву, с которым у него было много идейных разногласий и все-таки много точек соприкосновения. Некоторые идеи Соловьева он упорно игнорировал, даже презирал, вернее, они нагоняли на него скуку. По мнению Розанова, Соловьеву недоставало «русского духа», «русского тепла». Он считал его «международным, европейским писателем», рассматривая это как недостаток. «Он был весь блестящий, холодный, стальной (поразительно стальной смех у него, – кажется, Толстой выразился: "Ужасный смех Соловьева"). Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек».

В дни, когда Розанов трудился над книгой «Из восточных мотивов», когда весь он был погружен в Египет и ни о чем другом говорить не мог, он вспоминал рассказ Соловьева, как тот распивал шампанское у подножия какой-то пирамиды. «Какое кощунство, – волновался Розанов, – пирамида, тысячелетняя мудрость, красота, вера, все тут, а он со своим цилиндром и шампанским. Ну как тут не ругать Соловьева, вы подумайте!»

О Чехове Розанов сказал однажды так: «Чехов? – Ничего особенного. У меня он вот где сидит (показал на шею). – Что Чехов? Глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стали читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю». Об Ин. Анненском: «Из декадентов он мне больше всего нравился. Запишите о нем все, что помните, чтобы осталось в литературе. Как ужасно он умер, внезапно и так рано».

Перейдя на мысли о смерти, сказал (это было в 1916 г.): «Ну вот, исполнилось мне 60 лет, еще несколько годков – и могила».

Про «Новое Время» говорил в 1917 г. (после революции): «Вот ничего не печатают, сволочи, – сердито роясь в рукописях. – Ведь это все деньги, а лежат зря».

Меньшикова В. В. недолюбливал, порицал за жадность.

Общность некоторых устремлений связывала Розанова с А. Л. Волынским. Но по складу ума, по манере мышления они всегда были чужды друг другу. «Очень уж вы последовательны, – говорил Розанов Волынскому, – очень уж обтачиваете мысль. Вдобавок, у вас римский нос, а мы, русские, любим нос "картофелькой": вот римский-то нос и мешает нашей близости». Он называл Волынского «евреем-православником», очень ценил его интерес к православию, к личности Христа, к судьбе

церкви и пр. Особенно же дорог был Розанову поход, предпринятый Волынским против критиков-радикалов. Однажды в Малом театре, на выступлении Айседоры Дункан, одновременно присутствовали Волынский и Розанов. Внезапно последний выбежал из ложи, направился к сидящему в партере Волынскому и поцеловал его, сказав: «Вспомнил ваш подвиг с русскими критиками и побежал вас поцеловать».

О Мережковских он избегал говорить. Только раз сказал со страхом про З. Н. Гиппиус: «Это, я вам скажу, не женщина, а настоящий черт — и по уму и по всему прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее...»

С интересом говорил о Евг. П. Иванове.

В те годы, когда я бывал у Розанова (1915—1917 гг.), Религиозно-философское общество уже не заглядывало на его «воскресения». Многие писатели порвали с Розановым по так называемым «моральным» причинам, ничего общего с подлинной моралью не имеющим. Из писательской братии продолжали изредка бывать у него, если не ошибаюсь, — А. М. Ремизов, К. И. Чуковский, М. А. Кузмин, Н. О. Лернер, А. А. Измайлов и кое-кто из «правого лагеря».

Новых писателей, «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен. Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: «Ну-ка, покажите, что тут есть хорошего — Вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю». Книги были с автографами Брюсова, но и эта почтительная предупредительность не повысила внимания к ним Розанова. Вяч. Иванова он считал «Семирадским в поэзии», но охотно верил, что он «настоящий поэт», потому что «Поликсена Соловьева сказала, что у него есть два-три гениальных стихотворения, а этого достаточно, даже если остальное хлам и неразбериха».

В библиотеке В. В. была особая полка, на которой стояли, кроме его собственных сочинений (переплетенных кем-то в роскошные красные кожаные переплеты), «Столп и утверждение истины» Флоренского, «Русские ночи» В. Одоевского и еще что-то, все в одинаковых переплетах. Любимыми его писателями после Достоевского были Н. Страхов и Лесков.

Менее определенно было отношение Розанова к искусству изобразительному. Разумеется, он немало понимал в этой области, «чуял» прекрасное, как никто, но особых пристрастий и верований, кажется, не имел. Достаточно сказать, что он способен был одновременно восхищаться грубым, вульгарным анекдотизмом Репина и тонкой, нежной молитвенностью Нестерова.

С большой симпатией относился Розанов к Александру Н. Бенуа. В одном из писем ко мне он писал: «Лукомскому и А. Н. Бенуа привет. Бенуа и любовь. Умный». В другом предсмертном письме он снова шлет привет «благородному Саше Бенуа».

Интересовался Розанов скульптурой Паоло Трубецкого. Очень дорог ему и близок был весь «Мир Искусства». Сам не будучи «эстетом», он умел ценить «эстетизм» в других. Древность, античное искусство, классицизм повергали его в умиление. Отсюда — любовь к нумизматике, особенно к древнегреческим монетам. Была у него монета с «Афиной, окруженной фаллосами», — предмет частого любования и нескончаемой радости.

С Нестеровым Розанова связывала давняя дружба. Приезжая из Москвы, художник непременно навещал В. В. Помню одно из таких посещений, необычайно занимательную беседу, в которой собеседники с полуслова угадывали мысли друг друга, и чувствовалось, как много созвучий в их душах. Запомнился мне один эпизод, характеризующий рассеянность В. В. Я собрался уходить, Нестеров остался в столовой. Прощаясь со мной в передней и целуя, Розанов сказал: «Ну, счастливого пути, Христос с вами. Поклон москвичам, Флоренскому непременно, Булгакову и всем, кого увидите». — «Почему москвичам, В. В.?» — «Ах, забыл я — ведь москвич-то Нестеров, а не вы... Ну, я с Нестеровым целуюсь и с вами целуюсь, вот и спутал...»

Великолепен бывал Розанов в полемике. Это не были в сущности «споры» (ибо какой же спор возможен с Розановым), а так, умственный турнир, фехтование. Вспоминаю одно из «воскресений» (день приемов), когда В. В. был особенно в ударе. Публика собралась разная: много дам-«поклонниц», какая-то маленькая писательница с оригинальной фамилией (не помню, кажется, Безграмотная или нечто в этом роде), какой-то художник из Крыма, проф. В. В. Суслов, А. М. Коноплянцев, Ф. Я. Тигранов и др. Разговор был жаркий, перекрестный, причем весь «жар» проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в «неприличие». — «Что? Автономная Украина? — кричал он на девицу, набожно глядевшую ему в рот. — Вот вам автономия!» — и кукиш взлетел к носу девицы. Он не стеснялся, если нужно было (по ходу мысли) касаться «альковных тайн», а однажды поведал, что когда пишет, то «для вдохновения» держится левой рукой за «источник всякого вдохновения» («лучше пишется»).

Типично для Розанова, что в разговорах о литературных и общественных деятелях он больше всего интересовался личностью, «лицом» данного человека. — «А как он выглядит? Сколько лет ему? Женат? Дети есть? Как живет? Состоятельный или бедняк?» «Физиология» человека занимала его в первую голову. Отсюда он выводил все остальное. Многие «левые» деятели были ему как-то физиологически антипатичны. Значит, и «труды их не стоили внимания». «Не целоваться же с ними».

Вообще в человеке он прежде всего любил и почитал человека, а уж потом его «шкуру» и «разные разности».

Проблема пола (в аспекте религиозно-философском) была любимой темой разговоров Розанова. Но он предпочитал говорить на эту тему «с глазу на глаз», а не в большом обществе. «Вообще, знаете, об этом нужно говорить *шепотом*, — он понизил голос и весь как-то сжался, — *шепотом*, как о самом тайном, о священном... А мы горланим, книги пишем, бесстыдники».

Его тяготение к половой проблеме, по-видимому, не встречало сочувствия со стороны «домашних». Он заговорил однажды о новой своей «половой статье», восторженно, с подъемом. «Гадость ты написал, больше ничего», — сказала одна из его дочерей с гримасой. В. В. затрясся в беззвучном смехе. «Вот так лет пять она будет твердить — "гадость, гадость", а потом поймет и еще как поймет...»

Дочери часто с ним спорили, одна из них нередко прибегала к истерике как аргументу неопровержимому. Жена В. В. просто засыпала на этих беседах (от болезненной слабости, но и от скуки). Видимо, она была вне круга розановских мыслей. Но он очень ценил ее, считал «нравственным гением», заботился очень. Иногда бывал с ней резок. Один раз ответил ей грубовато на какой-то вопрос. Но когда она вышла из комнаты, вдруг всполошился. «Знаете, я, кажется, мамочку мою обидел, — пойду попрошу прощения», и шаркающей, семенящей своей походкой прошмыгнул в соседнюю комнату. Пошептался там, пришел назад, сияющий: «Ну, вот, все хорошо».

Насмешник он был большой руки. Злая издевка не была ему свойственна, сарказм его был добродушен, но в известных случаях неумолим.

Насколько отчетливы были литературные симпатии и антипатии Розанова, настолько трудно разобраться в его общественно-политических вкусах. «Когда начальство ушло», он принялся бранить начальство. Когда оно снова «пришло», он стал критиковать его врагов. То восторгался революцией, то приходил в умиление от монархического строя. Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за «младенца, замученного Бейлисом». Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма к еврейскому народу. Впрочем, письма эти загадочны: в них и «угрызения совести», и нежность, и насмешка. Несомненно одно: «антисемитизм» Розанова и антисемитизм «Нового Времени» — явления разного порядка. Вообще в консервативном лагере Розанов очутился

случайно, вовсе не стремился «пристроиться» там, а просто «пригнало течением» к правому берегу. «Я писатель, а не журналист, — говорил не раз В. В., — и мое дело писать, а куда берут мои статьи — мне все равно».

Помню, в каком экстазе был В. В. в 1917 г. после Февральской революции. Он тревожился, волновался, но вместе с тем восхищался событиями, уверял, что все будет прекрасно, «вот теперь-то Россия покажет себя» и т. д. В одном письме он говорил: «Я разовью большую идеологию революции и дам ей оправдание, какое самой революции и не снилось».

Продолжался этот восторг недолго. Наконец, стало совсем не до восторгов, когда придавила нужда. Не раз приходилось унижаться ради куска хлеба. Писатель, всю жизнь упорно трудившийся, собирал окурки у трактиров и на вокзале, чтобы из десятков окурков собрать табаку на одну папиросу. «Из милости» пил чай у какого-то книготорговца.

Но все так же клокотала в нем мысль, жажда жизни, жадный интерес к людям. Как человек голодный и холодный, он «сдал». Но как писатель не «поджал хвоста» и ни к чему не «примазался». Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад многие объясняли малодушным желанием скрыться с горизонта. Отчасти это верно. В. В. пережил состояние отчаянной паники. «Время такое, что надо скорей складывать чемодан и — куда глаза глядят», — говорил он. Но вовсе не был он трусом. В московской газете «Вертоград» он помещал статьи довольно рискованные и в своем «Апокалипсисе» обнаружил немалое бесстрашие. Осенью 1918 г., бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно». Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрашивал его замолчать, но тщетно.

Что бы ни творилось в России — он любил Россию, любил страстной, ненасытной, преданной любовью. Не слепая была эта любовь, не зоологический патриотизм: вера, вера в Россию, нежность к ней безмерная. В одном из последних писем ко мне он писал: «До какого предела мы должны любить Россию: до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до "наоборот нашему мнению", убеждению, голове. Сердце, сердце, вот оно. И если вы встретите Луначарского — ищите в нем тени русской задумчивости, русского странствия по лесам и горам».

Тэффи

РАСПУТИН

Бывают люди, отмеченные умом, талантом, особым в жизни положением, которых встречаешь часто, и знаешь их хорошо, а сказать о них нечего, кроме того, что все знают; был высок или мал ростом, женат, приветлив или надменен, прост или честолюбив, жил там-то, встречался с тем-то... Мутная пленка любительской фотографии. Смотришь и не знаешь — не то девочка, не то баран...

Тот, о котором хочу рассказать, только мелькнул двумя краткими встречами. И вот твердо, отчетливо, тонким клинком врезан его облик в моей памяти.

И не потому, что был он так знаменит — ведь много довелось мне встречать на своем веку людей, прославленных настоящей, заслуженной славой.

И не потому, что он сыграл такую трагическую роль в судьбе России. Нет. Человек этот был единственным, неповторяемым, весь словно выдуманный, в легенде жил, в легенде умер, и в памяти легендой облечется.

Полуграмотный мужик, царский советник, греховодник и молитвенник, оборотень с именем Божьим на устах.

Хитрым называли его. Одна ли только хитрость была в нем?

Расскажу две мои краткие встречи с ним.

1

Весна 1916 года. Петербургская оттепель. Неврастения.

Утро не начинает нового дня, а продолжает вчерашний серый, тягучий вечер.

Через большое зеркальное окно-фонарь видно, как на улице унтерофицер учит новобранцев тыкать штыком в соломенное чучело. У новобранцев сизые, иззябшие сыростью лица. Баба с кульком, унылая, уставилась и смотрит.

Тоска.

Звонит телефон.

— Кто?

— Розанов.

Удивляюсь, переспрашиваю. Да, Розанов.

Говорит загадочно:

— Вам Измайлов сказал? Предлагал? Вы согласились?

— Нет. Я Измайлова не видала и не знаю, о чем вы говорите.

— Так, значит, он еще будет с вами говорить. Не могу вам ничего объяснить по телефону. Только очень прошу — непременно соглашайтесь. Если вы не пойдете, я тоже не пойду.

— Господи, да в чем же дело?

— Он все объяснит. По телефону нельзя.

Аппарат щелкает. Нас разъединили.

Очень все это неожиданно и странно. С В. В. Розановым я встречалась редко. С Измайловым тоже. Сочетание Розанова с Измайловым тоже показалось мне не из обычных. В чем же дело? Почему Розанов не пойдет куда-то, если я не пойду?

Позвонила в редакцию «Биржевых Ведомостей», где работал Измайлов. Оказалось слишком рано, и в редакции еще никого не было.

Но ждать пришлось недолго. Часа через два он сам позвонил.

— Предстоит одно очень интересное знакомство. К сожалению, лишен возможности сказать по телефону... Может быть, вы догадаетесь?

Я решительно ни о чем догадаться не могла. Сговорились, что он заедет и все объяснит.

Приехал.

— Неужели не поняли, о ком речь идет?

Измайлов — худой, черный, в черных очках, весь точно чернилами нарисованный, голос глухой. Даже жутко стало.

Измайлов вообще был человек жутковатый; жил на Смоленском кладбище, где отец его был когда-то священником, занимался чернокнижием, любил рассказывать колдовские истории, знал привороты и заклинания и сам худой, бледный, черный, с ярко-красной полоской узкого рта, похож был на вурдалака.

— Так и не понимаете? — усмехался он. — Разве не знаете, о ком нельзя по телефону говорить?

— Об императоре Вильгельме, что ли?

Измайлов посмотрел через свои черные очки на обе двери моего кабинета, потом поверх очков на меня.

— О Распутине.

— А-а!

— Живет в Петербурге некто Ф., издатель, — слышали о нем? Нет? Ну так вот — есть такой. И бывает у него довольно часто Распутин. Обедает. Вообще, почему-то дружит с ним. К Ф. часто бегает небезызвестный в литературных кружках М-ч. Знаете?

М-ча видела. Он был из типа «рыб-спутниц», ходящих в свите крупных писателей или артистов. Одно время он обожал Куприна, потом перекочевал к Леониду Андрееву, потом притих и будто даже совсем скрылся. И вот теперь выплыл.

— Этот самый М-ч, — говорил Измайлов, — предложил Ф-у пригласить кое-кого из писателей, которым интересно посмотреть на Распутина. Общество будет небольшое, список составлен тщательно, чтобы лишние люди не попали и не вышло бы какой-нибудь неприятной истории. Тут недавно один мой знакомый случайно попал в одну компанию с Распутиным, а кто-то потихоньку снял их всех. Да мало того, отправил фотографию в журнал. Распутин, мол, среди своих друзей и почитателей. А знакомый мой очень видный общественный деятель, человек серьезный и вполне порядочный, Распутина терпеть не может и прямо считал себя опозоренным навеки, что его в этой живописной группе запечатлели. Ну так вот, во избежание всяких неприятностей такого рода я и поставил непременным условием, чтобы лишних людей не было. Ф. обещал, а сегодня утром прибегал ко мне М-ч и показывал список приглашенных. Из писателей будет, значит, Розанов, который во что бы то ни стало желает, чтобы вы тоже были, а без вас, говорит, и идти не стоит. У него, очевидно, какой-то план.

— Какой же это может быть план? — призадумалась я. — Может быть, лучше не ходить? Хотя любопытно посмотреть на Распутина.

— Вот в том-то и дело, что любопытно. Хочется лично убедиться, действительно ли это такая значительная личность или только орудие в руках ловких людей. Рискнем, пойдем. Будем держаться вместе и долго не останемся. Все-таки особа как-никак историческая. А пропустить случай, может быть, больше другого и не представится.

— Только бы он не подумал, что мы набиваемся на знакомство с ним.

— Нет, не подумает. Хозяин обещал, что и не скажет ему даже, что мы писатели. Он, говорят, писателей-то и сам не любит. Боится. Так что от него это обстоятельство скроют. Нам тоже выгоднее, чтобы он не знал. Пусть держится совсем свободно и обычно, как в своем кругу, а если начнет позировать, ничего интересного и не будет. Так, значит, едем? Обед назначен на завтра поздно, не раньше десяти вечера. Распутин всегда так поздно приезжает. Если же его задержат в Царском Селе и он приехать не сможет, то Ф. обещал всех нас предупредить по телефону.

— Странно все это. Я ведь и хозяина-то не знаю.

— Да мы лично тоже не знаем, ни я, ни Розанов. Но вообще он ведь лицо известное. Вполне приличный человек. Значит, решено: завтра в десять. <...>

3

<...> Днем снова звонил Измайлов, подтвердил приглашение, обещал, что Распутин будет непременно и просил от имени Розанова принарядиться «пошикарней», чтобы Распутин отнюдь писательницы во мне не заподозрил, а думал бы, что с ним беседует просто «барынька».

Эта просьба о «шикарности» очень меня рассмешила.

— Розанов положительно навязывает мне роль какой-то библейской Юдифи или Далилы. Вот уж, наверное, провалю. Ни актерских, ни провокаторских талантов в себе не чувствую. Право, только дело испорчу.

— Ну, там видно будет, — успокаивал Измайлов. — Прикажете за вами заехать?

Я отказалась, потому что обедала у знакомых и оттуда меня должны были проводить.

Вечером, одеваясь, обдумывала, что для мужика значит «пошикарнее».

Надела золотые туфли, кольца, серьги. Очень неистово расфуфыриваться стыдно. Не станешь же всем объяснять, что это заказной «шик»!

За обедом у знакомых, на этот раз без всякой с моей стороны хитрости, зашел разговор о Распутине (правы, значит, были те, кто вывешивал на своем камине запрещающие плакаты).

Передавали, как всегда, сплетни о взятках, которые шли через старца в карманы кого следует, о немецких подкупах, о придворных интригах, нити которых были в руках Распутина.

Даже «черный автомобиль» сплели почему-то с именем Распутина.

«Черный автомобиль» — до сих пор неразгаданная легенда. Этот автомобиль несколько ночей подряд мчался через Марсово поле, пролетал через Дворцовый мост и пропадал неизвестно куда. Из автомобиля стреляли в прохожих. Были раненые.

— Это распутинское дело. Это его рука, — приговаривали рассказчики.

— Да причем же он здесь?

— Ему все черное, злое, непонятное выгодно. Все, что сеет смуту и панику. Перед теми, кто ему нужен, он сумеет объяснить все для своей выгоды.

Странные были разговоры. Но так как в те времена вообще много было странного, то никто особенно и не удивлялся. А наступившие вскоре события смели с памяти черный автомобиль. Не до него было. Но тогда, за обедом, обо всем этом говорилось. Главное же — удивлялись

необычайной наглости Распутина. Н. Разумов, бывший тогда директором Горного департамента, рассказывал с негодованием, что к нему явился чиновник его ведомства из провинции с просьбой о переводе по службе и как протекцию принес листок, на котором рукой совершенно с Разумовым не знакомого Распутина было коряво нацарапано:

> «Милай, дарагой, исполни прозьбу подателеву а у меня в долгу не останешься. Григорий».

— Подумайте — наглость-то! Наглость-то какая! И очень многие министры рассказывают, что получают подобные записочки. И очень многие (о чем, конечно, уже не рассказывают) просьбы эти исполняют. И мне даже говорили — неосторожно, мол, с вашей стороны, что вы так рассердились, ему передадут. Нет, вы подумайте только, какая мерзость! Милай, дарагой! И тот хорош — с записочкой явился. Ну, я ему показал «дарагого»! Говорят, через четыре ступеньки по лестнице бежал. А ведь на вид такой приличный господин, да и по службе довольно крупный инженер.

— Да, — сказал один из присутствующих. — Я уже много раз слышал о рекомендациях вроде «милаго, дарагого», но что прошению не был дан ход, встречаю в первый раз. Многие негодуют и, тем не менее, не считают возможным отказать. Распутин, говорят, мужик мстительный.

4

Было уже больше десяти часов, когда я подъехала к дому Ф-а.

Хозяин встретил меня в передней. Любезно сказал, что где-то уже был мне представлен, и повел в свой кабинет.

— Ваши уже давно здесь.

В накуренной небольшой комнате сидело человек шесть.

Розанов со скучающим и недовольным лицом. Измайлов, какой-то напряженный, точно притворяющийся, что, мол, ладно, когда на самом деле что-то не выгорело.

М-ч у притолоки, с видом своего человека в доме, еще двое-трое неизвестных, притихших на диване, и, наконец, Распутин. Был он в черном суконном русском кафтане, в высоких лакированных сапогах, беспокойно вертелся, ерзал на стуле, пересаживался, дергал плечом.

Роста довольно высокого, сухой, жилистый, с жидкой бороденкой, с лицом худым, будто втянутым в длинный мясистый нос, он шмыгал блестящими, колючими, близко притиснутыми друг к дружке глазами из-под нависших прядей масленых волос. Кажется, серые были у него глаза. Они так блестели, что цвета нельзя было разобрать. Беспокойные. Скажет что-нибудь и сейчас всех глазами обегает, каждого кольнет, что, мол, ты об этом думаешь, доволен ли, удивляешься ли на меня?

В этот первый момент показался он мне немножко озабоченным, растерянным и даже смущенным. Старался говорить «парадные» слова.

— Да, да. Вот хочу поскорее к себе, в Тобольск. Молиться хочу. У меня в деревеньке-то хорошо молиться, и Бог там молитву слушает.

Сказал — и всех по очереди остро и пытливо кольнул глазами через масленые пряди своих волос.

— А у вас здесь грех один. У вас молиться нельзя. Тяжело это, когда молиться нельзя. Ох, тяжело.

И опять озабоченно всех оглядел, прямо в лицо, прямо в глаза.

Нас познакомили, причем (как, очевидно, уже условились товарищи по перу) меня ему не назвали.

Посмотрел на меня внимательно — словно подумал: «Из каких-таких?»

Настроение было скучно-напряженное, никому не нужное. Что-то в манере Распутина — это ли беспокойство, забота ли о том, чтобы слова его понравились, — показывало, что он как будто знает, с кем имеет дело, что кто-то, пожалуй, выдал нас, и он себя чувствует окруженным «врагами журналистами» и будет позировать в качестве старца и молитвенника.

От журналистов он, говорят, действительно много претерпел. Сплошь и рядом появлялись в газетах заметки с разными лукавыми намеками. Писали, что Распутин в тесном кругу друзей, подвыпив, рассказывал много интересного о жизни весьма высокопоставленных лиц. Была ли это правда или просто газетная сенсация — не знаю. Но знаю, что у Распутина была двойная охрана. Одна, с его ведома, охраняла от покушений на его жизнь. Другая, от него тайная, следила, с кем он водится и не болтает ли лишнего, подмечала и доносила куда следует. Думаю, что кому-то хотелось престиж Распутина при дворе подорвать.

Он был чуткий, звериным нюхом чуял, что окружен, и, не зная, где враг, шарил глазами, искал осторожно, исподтишка, весь начеку...

Настроение моих друзей передалось и мне. Стало скучно и как-то неловко сидеть в незнакомом доме и слушать, как мучительно выдавливает из себя Распутин никому не нужные душеспасительные фразы. Точно экзамен держит и боится провраться.

Захотелось домой.

Розанов встал, отвел меня в сторону и сказал потихоньку:

— Весь расчет на обед. Может быть, он еще развернется. Мы с хозяином уже условились: вас он посадит рядом. А мы около вас. Вы его разговорите. С нами он так говорить не станет — он любит дам. Непременно затроньте эротические темы. Тут он будет интересен, тут надо его послушать. Это может выйти любопытнейший разговор.

Розанов вообще с каждым человеком эротические темы считал за любопытнейшие, поэтому я вполне поняла его особый острый интерес к такому разговору с Распутиным. Ведь чего только про Распутина не говорили: и гипнотизер, и магнетизер, и хлыст, и сатир, и святой, и бесноватый.

— Хорошо, — сказала я. — Попробую поговорить.

Обернувшись, встретила два острых, как шпильки, взгляда. Распутина, видимо обеспокоила наша тайная беседа с Розановым.

Задергал плечом и отвернулся.

Пригласили к столу.

Меня посадили на угол. Слева — Розанов и Измайлов. Справа — Распутин. Кроме нас за столом оказалось еще человек двенадцать гостей: какая-то важного вида старуха, про которую мне шепнули: «Это та, что постоянно при нем». Какой-то озабоченный господин, который торопливо усадил по другую руку Распутина молодую, красивую и очень разряженную (во всем шикарном) даму с неподходящим к туалету убитым, безнадежным выражением лица. В конце стола поместились какие-то странные музыканты — с гитарой, с гармонией и с бубном, точно на деревенской свадьбе.

Хозяин подошел к нам, наливая вина и угощая закусками. Я тихонько спросила про красивую даму и музыкантов.

Музыканты, оказывается, были нужны — Гриша любит иногда поплясать, и именно под их музыку. Эти музыканты и у Юсупова играют.

— Очень хорошие музыканты. Оригинальные. Вот вы услышите.

О красивой даме сказал, что у ее мужа (озабоченного господина) какое-то служебное, очень сложное и неприятное дело, которое только через Распутина можно сделать простым и приемлемым. И вот этот господин водит свою жену всюду, где только можно встретить старца, и подсаживает ее к нему, надеясь, что он когда-нибудь обратит на нее внимание.

— Уже два месяца старается, а Гриша словно и не видит их. Он ведь странный и упрямый.

Распутин пил быстро и много и вдруг, нагнувшись ко мне, зашептал:

— Ты чего не пьешь-то? Ты пей. Бог простит. Ты пей.

— Да я не люблю вина, оттого и не пью.

Он посмотрел на меня недоверчиво.

— Пустяки! Ты пей. Я тебе говорю — Бог простит. Бог простит. Бог тебе многое простит. Пей!

— Да я же вам говорю, что мне не хочется. Не буду же я насильно пить?

— О чем он говорит? — зашептал слева Розанов. — Вы заставьте его громче говорить. Переспрашивайте, чтобы громче, а то мне не слышно.

— Да и слушать нечего. Просто уговаривает вино пить.

— А вы наводите его на эротику. Господи! Да неужели не умеете повести нить разговора?

Мне стало смешно.

— Да не мучьте вы меня! Вот тоже нашли Азефа-провокатора. И чего ради я буду для вас стараться?

Я отвернулась от Розанова, и два острых распутинских глаза, подстерегая, укололи меня.

— Так не хочешь пить? Ишь ты, какая строптивая. Не пьешь, когда я тебя уговариваю.

И он быстрым, очевидно, привычным движением тихонько дотронулся до моего плеча. Словно гипнотизер, который хочет направить через прикосновение ток своей воли.

И это было не случайно.

По напряженному выражению всего его лица я видела, что он знает, что делает. И я вдруг вспомнила фрейлину Е., ее истерический лепет: «Он положил мне руку на плечо и так властно сказал...»

Так вот оно что! Гриша работает всегда по определенной программе. Я, удивленно приподняв брови, взглянула на него и спокойно усмехнулась.

Он судорожно повел плечом и тихо застонал. Отвернулся быстро и сердито, будто совсем навсегда, но сейчас же снова нагнулся.

— Вот, — сказал, — ты смеешься, а глаза-то у тебя какие — знаешь? Глаза-то у тебя печальные. Слушай, ты мне скажи — мучает он тебя очень? Ну чего молчишь?.. Эх, все мы слезку любим, женскую-то слезку. Понимаешь? Я все знаю.

Я обрадовалась за Розанова. Очевидно, начиналась эротика.

— Что же вы такое знаете? — спросила я громко, нарочно, чтобы и он повысил голос, как это многие невольно делают.

Но он снова заговорил тихо:

— Как человек человека от любви мучает. И как это надо, мучить-то — все знаю. А вот твоей муки не хочу. Понимаешь?

— Ничего не слышно! — сердито с левой стороны ворчал Розанов.

— Подождите, — шепнула я.

Распутин заговорил снова:

— Что за кольцо у тебя на руке? Что за камешек?

— Аметист.

— Ну, все равно. Протяни мне его тихонько под столом. Я на него дыхну, погрею... Тебе от моей души легче станет.

Я дала ему кольцо.

— Ишь, чего ж ты сняла-то? Я бы сам снял. Не понимаешь ты...

Но я отлично понимала. Оттого я и сняла сама.

Он прикрыл рот салфеткой, подышал на кольцо и тихонько надел мне его на палец.

— Вот когда ты придешь ко мне, я тебе много расскажу, что ты и не знала.

— Да ведь я не приду, — сказала я и опять вспомнила фрейлину Е.

Вот он, Распутин, в своем репертуаре. Этот искусственно-таинственный голос, напряженное лицо, властные слова. Все это, значит, изученный и проверенный прием. Если так, то уж очень это все наивно и просто. Или, может быть, слава его как колдуна, вещуна, кудесника и царского любимца давала испытуемым особое острое настроение любопытства, страха и желания приобщиться к этой жуткой тайне? Мне казалось, будто я рассматривала под микроскопом какую-то жужелицу. Вижу чудовищные мохнатые лапы, гигантскую пасть, но при том прекрасно осознаю, что на самом-то деле это просто маленькое насекомое.

— Не при-дешь? Нет, придешь. Ты ко мне придешь.

И он снова тайно и быстро дотронулся до моего плеча. Я спокойно отодвинулась и сказала:

— Нет, не приду.

И он снова судорожно повел плечом и застонал. Очевидно, каждый раз (и потом я заметила, что так действительно и было), когда он видел, что сила его, волевой его ток, не проникает и отталкивается, он чувствовал физическую муку. И в этом он не притворялся, потому что видно было, как хочет скрыть и эту плечевую судорогу, и свой странный тихий стон.

Нет, все это не так просто. Черный зверь ревет в нем... Посмотрим...

5

— Спросите у него про Вырубову, — шептал Розанов. — Спросите про всех, пусть все расскажет, и, главное, погромче.

Распутин косо, через масленые пряди волос, глянул на Розанова.

— Чего этот там шепчет?

Розанов протянул к нему свой бокал.

— Я чокнуться хотел.

Чокнулся и Измайлов.

Распутин осторожно посматривал на них, отводил глаза и снова смотрел.

И вдруг Измайлов спросил;

— А что, скажите, вы никогда не пробовали писать?

Чудак! Так себя выдать! Ну кому, кроме писателя, придет в голову такой вопрос?

— Случалось, — ответил Распутин, ничуть не удивившись. — Очень даже случалось.

И поманил пальцем молодого человека, сидевшего на другом конце стола.

— Милай! Вот принеси-ка сюда листочки с моими стихами, что вы давеча на машинке-то отстукивали.

«Милай» живо сбегал за листками.

Распутин раздал. Все потянулись, листков, переписанных на машинке, было много — на всех хватило. Прочитали.

Оказалось, стихотворение в прозе, в стиле «Песни Песней», туманно-любовное. Еще помню фразу:

> «Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя выше и прекраснее их, потому что любовь есть Бог».

Это, кажется, и была единственная понятная фраза. Остальное было набор слов.

Пока читала, автор, очень беспокойно оглядывая всех, следил за впечатлением.

— Очень хорошо, — сказала я.

Он оживился.

— Милай! Дай чистый листочек, я для ей сам напишу.

Спросил:

— Как твое имя?

Я сказала.

Он долго мусолил карандаш. Потом корявым, еле разборчивым мужицким почерком нацарапал:

> «Надежде.
> Бог есть любовь. Ты люби. Бог простит.
> Григорий».

Основной, значит, лейтмотив распутинских чар был ясен: люби — Бог простит.

Но почему же его дамы от такой простой и милой формулы впадают в истерический экстаз? Отчего дергалась и пятнами краснела фрейлина Е.? Тут дело неспроста.

6

Я долго смотрела на корявые буквы, на подпись «Григорий»...

Какая страшная сила была в этой подписи. Я знала случай, когда эти восемь корявых букв вернули человека, осужденного судом и уже сосланного на каторгу.

Вероятно, эта же подпись могла бы и отправить кого-нибудь туда же...

— Вы сохраните этот автограф, — сказал Розанов. — Это занятно.

Он действительно долго сохранялся у меня. В Париже, лет шесть тому назад, нашла я его в старом портфеле и подарила автору французской книги о Распутине — В. Бинштоку.

Писал Распутин с трудом, совсем был малограмотный. Так писал у нас в деревне лесной объездчик, который заведовал весенним сплавом и ловил браконьеров. Писал он счета: «Поездка в дачу взад и обратно петь ру» (пять рублей).

Распутин и внешностью на него походил поразительно. Может быть, оттого и не чувствовала я никакого мистического трепета от его слов и жестикуляций. «Бог — любовь, приде-ошь» и прочее. Все вспоминалось «петь ру».

Хозяин вдруг озабоченно подошел к Распутину.

— Телефон из Царского.

Тот вышел.

Значит, в Царском знали, где он сейчас находится. Может быть, даже всегда знали, где его искать.

Воспользовавшись его отсутствием, Розанов стал давать инструкции, как наводить разговор на всякие интересные темы.

Главное — пусть расскажет об своих хлыстовских радениях. Правда ли, мол, это, и если да, то как именно он это устраивает, и нельзя ли, мол, попасть на них.

— Пусть он вас пригласит, а вы и нас захватите.

Я согласилась охотно. Это действительно было бы интересно.

Но Распутин к столу не вернулся. Хозяин сказал, что его спешно вызвали в Царское Село (а был уже двенадцатый час ночи), что он, уезжая, просил сказать мне, что непременно вернется.

— Ты ее не отпускай, — повторил Ф. его слова. — Пусть она меня ждет. Я вернусь.

Разумеется, никто его ждать не стал. Во всяком случае, наша компания сразу после обеда уехала. <...>

8

Дня через три-четыре после этого обеда у Ф-а снова позвонил Измайлов.

— Ф. очень, очень просит нас снова пообедать у него. Обещает, что на этот раз будет гораздо интереснее, что в прошлый раз Распутин и оглядеться не успел, как ему пришлось уже уехать.

Рассказывал, что к нему заезжал М-ч, очень убеждал приехать (прямо антрепренер какой-то!) и показывал точный список приглашенных; все мирные люди, из приличного общества. Можно было ехать спокойно.

— В последний раз, — убеждал меня Измайлов. — Поговорим с ним позначительнее. Может быть, что-нибудь интересное выудим. Человек ведь незаурядный. Поедем.

Я согласилась.

На этот раз приехала позже. Все уже давно сидели за столом.

Народу было значительно больше, чем в первый раз. Прежние были все налицо. Музыканты тоже. Распутин на прежнем месте. Все сдержанно разговаривали друг с другом, точно были они обыкновенные гости, приглашенные пообедать. На Распутина никто не глядел, как будто он здесь совсем ни при чем. И вместе с тем чувствовалось (да так оно и было), что большинство не знало друг друга и пришли все только для того, на что и решиться будто не смели: разглядеть, узнать, поговорить с Распутиным.

Распутин снял свою поддевку и сидел в колкой розовой канаусовой рубашке навыпуск, с косым вышитым воротом.

Лицо у него было почерневшее, напряженное, усталое, глубоко запали колючие глаза. Повернулся почти спиной к сидевшей рядом с ним той самой разряженной жене адвоката, что была в прошлый раз. Мой стул по другую руку старца был пуст.

— А-а! Вот она, — дернулся он. — Ну, садись скорее. Я жду. Чего в прошлый раз укатила? Я вернулся, а ее и нету! Пей! Чего же ты? Я тебе говорю: пей! — Бог простит.

Розанов и Измайлов на прежних местах.

Распутин нагнулся ко мне.

— Тяжко я по тебе тосковал.

— Ну, это все пустяки. Это вы говорите из любезности, — отвечала я громко. — Расскажите лучше что-нибудь интересное. Правда, что вы устраиваете хлыстовские радения?

— Радения? Здесь-то, в Питере?

— А что — разве нет?

— А кто сказал? — спросил он беспокойно. — Кто сказал? Говорил, что сам был, что сам видал, Оли слыхал, али как?

— Да я не помню кто.

— Не по-омнишь? Ты вот лучше, умница, ко мне приходи, я тебе много чего порасскажу, чего не знаешь. Ты не из англичанок будешь?

— Нет, совсем русская.

— Личико у тебя англичанское. Вот есть у меня в Москве княгиня Ш. Тоже личико англичанское. Нет, брошу все, в Москву поеду.

— А Вырубова? — совсем уж без всякого умысла, единственно, чтобы угодить Розанову, спросила я.

— Вырубова? Нет, Вырубова нет. У нее лицо круглое, не англичанское. Вырубова у меня деточка. У меня, скажу я так: у меня есть, которые деточки и которые другие. Я врать не буду, это так.

— А... царица? — вдруг осмелев, сдавленным голосом, просипел Измайлов. — Александра Федоровна?

Я немножко испугалась смелости вопроса. Но, к удивлению моему, Распутин очень спокойно ответил:

— Царица? Она больная. У нее очень грудь болит. Я руку на нее наложу и молюсь. Хорошо молюсь. И ей всегда от моей молитвы легче. Она больная. Молиться надо за нее и за деточек. Плохо... плохо... — забормотал он..

— Что плохо?

— Нет, ничего... молиться надо. Деточки хорошие...

Помню, в начале революции я читала в газетах о том, что найдена «гнусная переписка старца с развращенными княжнами». Переписка такого содержания, что «опубликовать ее нельзя». Впоследствии, однако, письма эти опубликовали. И были они приблизительно такого содержания: «Милый Гриша, помолись за меня, чтобы я хорошо училась», «Милый Гриша, я всю неделю вела себя хорошо и слушалась папу и маму»...

— Молиться надо, — бормотал Распутин.

— А вы знаете фрейлину Е.? — спросила я.

— Это такая востренькая? Будто видал. Да ты приходи ко мне. Всех покажу и про всех расскажу.

— Зачем же я приду? Они еще рассердятся.

— Кто рассердится?

— Да все ваши дамы. Они меня не знают, я человек для них совсем чужой. Наверное, будут недовольны.

— Не смеют! — он стукнул кулаком по столу. — У меня этого нет. У меня все довольны, на всех благодать почиет. Прикажу — ноги мыть, воду пить будут! У меня все по-Божьему. Послушание, благодать, смирение и любовь.

— Ну вот, видите — ноги мыть. Нет, уж я лучше не приду.

— Придешь. Я зову.

— Будто уже все и шли, кого вы звали?

— До сих пор — все.

9

Справа от Распутина, настойчиво и жадно прислушиваясь к нашему разговору, томилась жена адвоката.

Изредка, поймав на себе мой взгляд, она заискивающе улыбалась. Муж все шептал ей что-то и пил за мое здоровье.

— Вот вы лучше пригласите к себе вашу соседку, — сказала я Распутину. — Посмотрите, какая милая.

Она, услышав мои слова, подняла на меня глаза, испуганные и благодарные. Она даже побледнела, так ждала ответа. Распутин взглянул, быстро отвернулся и громко сказал;

— А-а! Дура собачья!

Все сделали вид, что не слышат.

Я повернулась к Розанову:

— Ради Бога, — сказал тот, — наведите разговор на радения. Попробуйте еще раз.

Но у меня совсем пропал интерес к разговору с Распутиным. Мне казалось, что он пьян. Хозяин все время подходил и подливал ему вина, приговаривая:

— Это твое, Гриша, твое любимое.

Распутин пил, мотал головой, дергался и бормотал что-то.

— Мне очень трудно сейчас говорить с ним, — сказала я Розанову. — Попробуйте теперь вы сами. Вообще, можем же мы вести общий разговор!

— Не удается. Тема очень интимная, тайная. А к вам у него уже есть доверие...

— Чего он там все шепчется? — прервал нас Распутин. — Что он шепчется, этот, что в «Новом Времени» пишет?

Вот тебе раз! Вот вам и инкогнито.

— Почему вы думаете, что он пишет? Это кто-нибудь спутал... Вам еще скажут, что и я пишу.

— Говорили, будто ты из «Русского Слова», — спокойно отвечал он. — Да мне-то все равно.

— Кто же это сказал?

— А я и не помню, — подчеркнуто повторил он мой ответ на свой вопрос, кто, мол, рассказывал мне о радениях.

Запомнил, значит, что я ответить не захотела, и теперь отплачивает мне тем же: «А я и не помню!»

Кто же нас выдал? Ведь была обещана полная конспирация? Это было очень странно.

Ведь не мы добивались знакомства со старцем. Нас пригласили, нам это знакомство предложили и вдобавок нам посоветовали не говорить, кто мы, так как «Гриша журналистов не любит», разговоров с ними избегает и всячески от них прячется.

Теперь оказывается, что имена наши отлично Распутину известны, а он не только от нас не прячется, но, наоборот, втягивает в более близкое знакомство.

Чья здесь игра? М-ч ли все это для чего-то организовал — для чего, неизвестно? Сам ли старец для каких-то своих хитросплетений? Или случайно кто-нибудь выболтал наши имена?

Атмосфера очень нездоровая. Предположить можно все что угодно.

И что я знаю обо всех этих наших сотрапезниках? Кто из них из охранки? Кто кандидат на каторгу? А кто тайный немецкий агент? И для кого из всей этой честной компании мы были привлечены как полезная сила? Распутин ли здесь путает или его самого запутывают? Кого предают?

— Наши имена ему известны, — шепнула я Розанову.

Он удивленно взглянул на меня и зашептался с Измайловым.

И в эту минуту вдруг ударили музыканты по своим инструментам. Звякнул бубен, зазвенела гитара, запела гармонь плясовую. И в тот же миг вскочил Распутин. Вскочил так быстро, что опрокинул стул. Сорвался с места, будто позвал его кто, и, отбежав от стола (комната была большая), вдруг заскакал, заплясал, согнул колено углом вперед, бороденкой трясет и всё кругом, кругом... Лицо растерянное, напряженное, торопится, не в такт скачет, будто не своей волей, исступленно, остановиться не может...

Все вскочили, окружили, смотрят... Тот «милай», что за листками бегал, побледнел, глаза выпучил, присел и в ладоши хлопает.

— Гоп! Гоп! Гоп! Так! Так! Так!

И никто кругом не смеялся. Все смотрели точно испуганно и, во всяком случае, очень, очень серьезно.

Зрелище было до того жуткое, до того дикое, что, глядя на него, хотелось завизжать и кинуться в круг вот тоже так скакать, кружить, пока сил хватит.

А лица кругом становились все бледнее, все сосредоточеннее. Нарастало какое-то настроение. Точно все ждали чего-то... Вот, вот... Сейчас...

— Ну, какое же может быть после этого сомнение? — сказал за мной голос Розанова. — Хлыст!

А тот скакал козлом, страшный, нижняя челюсть отвисла, скулы обтянулись, пряди волос мотаются, хлещут по впалым орбитам глаз. Розовая колкая рубаха раздулась на спине пузырем.

— Гоп, гоп, гоп! — хлопал в ладоши «милай».

И вдруг Распутин остановился. Сразу. И музыка мгновенно оборвалась, словно музыканты знали, что так надо делать.

Он упал в кресло и водил кругом уже не колючими, а растерянными глазами.

«Милай» поспешно подал ему стакан вина. Я ушла в гостиную и сказала Измайлову, что хочу уехать.

— Посидите, отдохните немножко, — сказал тот.

Было душно. От духоты билось сердце и руки дрожали.

— Нет, здесь не душно, — сказал Измайлов. — Это у вас нервное.

— Пожалуйста, не уезжайте! — попросил Розанов. — Теперь очень легко можно будет добиться от него приглашения на радения.

Гости перебрались в гостиную и расселись кругом у стен, словно в ожидании какого-то дивертисмента. Пришла и красивая дама. Муж поддерживал ее под руку. Она шла, низко опустив голову, и мне показалось, что она плачет.

Я встала.

— Не уходите, — сказал Розанов.

Я покачала головой и пошла по направлению к передней. Из столовой наперерез мне вышел Распутин. Подошел и взял меня за локоть.

— Подожди минутку, что я тебе скажу. Только слушай хорошенько. Видишь, сколько кругом нас народу? Много? Много, а никого нет. Вот: я и ты, и только всего. Вот стоим мы здесь с тобой, я и ты. И я тебе говорю: ты приходи! Тяжко хочу, чтобы ты пришла. Так тяжко, что вот прямо о землю бы бросился!

Он судорожно дергал плечом и стонал.

И было все так нелепо, и то, что мы стоим посреди зала, и что он так мучительно серьезно говорит...

Надо было разбить настроение.

Подошел Розанов и, делая вид, что просто проходит мимо, насторожил ухо. Я засмеялась и, показывая на него, сказала Распутину:

— Да вот он меня не пускает.

— Не слушай его, желтого, приходи. А его с собой не води, он нам не нужен. Ты Распутиным не брезгуй, мужиком. Я кого полюблю, я тому палаты каменные строю. Не слыхала, что ли?

— Не слыхала, — ответила я.

— Врешь, умница, слыхала. Это я могу. Палаты каменные. Увидишь. Я много могу. Только приходи ты, ради Бога, скорее. Помолимся вместе. Чего ждать-то! Вот меня все убить хотят. Как на улицу выхожу, так смотрю во все стороны, не видать ли где рожи. Да. Хотят убить. Ну, что же! Не понимают, дураки, кто я таков. Колдун? А может, и колдун. Колдунов жгут, так и пусть сожгут. Одного не понимают: меня убьют и России конец. Вместе нас с ней и похоронят.

Он стоял посреди залы, худой, черный, как иссохшее, горелое, суковатое дерево.

— И России конец... конец России...

Тряс вытянутой крючковатой рукой, похожий на мельника из «Русалки» в игре Шаляпина.

Страшный он был в эту минуту и совсем безумный.

— А? А? Уходишь? Ну, уходишь, так уходи. А только вспомни... вспомни...

По дороге домой Розанов (мы ехали вместе) говорил, что пойти к Распутину стоит, что ему, вероятно, кажется подозрительным мой отказ от предложения, которого столькие добиваются.

— Вместе все пойдем, вместе уйдем.

Я говорила, что в этой распутинской атмосфере есть для меня что-то беспредельно противное и очень тяжелое. Подхалимство, кликушество и одновременно обделывание каких-то неизвестных нам темных, очень темных дел. Подойдешь, запачкаешься и не выпутаешься. Противно это все и невесело, а весь интерес к разным «жутким тайнам» этой среды поглощается этим отвращением.

Жалкое, напряженное и несчастное лицо адвокатской жены, которую муж так бесстыдно навязывает пьяному мужику, — во сне мне снится, как кошмар. И ведь у него там, верно, много таких, про которых он кричал и кулаком стучал, что «не смеют и всем довольны».

— Противно уж очень. До жути противно! Боюсь! И потом — не странно ли, что он так привязался, чтобы я пришла?

— К отпору не привык.

— А я думаю, что дело гораздо проще. Думаю, что из-за «Русского Слова». Он хотя и делает вид, что не придает значения этому обстоятельству, однако вы сами знаете, что прессы он боится и заискивает перед ней. Может быть, решил залучить себе в моем лице новую жену-мироносицу. Чтобы под его диктовку писала то, что ему интересно. Ведь он всю свою политику проводит через женщин. Подумайте, какой козырь был бы в его руках. Он, по-моему, отлично все рассчитал. Он хитрый. <...>

12

На другой день пришел ко мне Измайлов, страшно расстроенный.

— Случилась ужасная гадость. Вот прочтите. — Дает газету.

В газете сообщалось о том, что Распутин стал часто бывать в кругу литераторов, где за бутылкой вина рассказывает разные забавные анекдоты о чрезвычайно высоких особах.

— Это еще не все, — прибавил Измайлов. — Сегодня был у меня Ф. и говорил, что его неожиданно вызвали в охранку и допрашивали, кто именно из литераторов у него обедал и что именно Распутин рассказывал. Грозили высылкой из Петербурга. Но что противнее и удивительнее всего, так это то, что на столе у допрашивавшего его охранника Ф. ясно видит тот самый листок, который собственной рукой написал М-ч.

— Неужели М-ч работает в охранке?

— Неизвестно, он ли или кто другой из гостей Ф. Во всяком случае, надо быть очень осторожными. Если нас и не будут допрашивать, то следить за нами, конечно, будут. Поэтому, если Распутин будет писать или

вызывать по телефону, то отвечать ему не следует. Впрочем, вашего адреса он не знает, да вряд ли и фамилию хорошо усвоил.

— Вот вам и мистические тайны старца! Розанова жаль. Такой прозаический бытовой конец...

13

— Барыня, вас два раза кто-то по телефону нарочно спрашивал, — смеясь, говорит мне горничная.

— Как так — нарочно?

— Да я спрашиваю: кто такой? А он говорит: «Распутин». Кто-то, значит, подшучивает.

— Слушайте, Ксюша, если он еще будет подшучивать, отвечайте непременно, что я уехала, и надолго. Поняли?

14

Я скоро уехала из Петербурга. Распутина больше не видала.

Потом, когда прочла в газетах, что труп его сожгли, — вспомнила его, того черного, скрюченного, страшного колдуна:

«Сожгут? Пусть сожгут. Одного не знают: Распутина убьют, и России конец.

Вспомни!.. вспомни!..»

Вспомнила.

Э. Ф. Голлербах

ГОРОД МУЗ

6

> То лето было грозами полно...
>
> *<Н. Гумилев>*

> Все расхищено, предано, продано...
>
> *А. Ахматова*

аступил 1914 год. В душном предгрозовом затишье небывало жаркого лета прозвучала, как страшное предзнаменование, боевая труба Беллоны и всколыхнула царскосельскую тишь, защитные шинели сменили серо-сиреневые. Потянулись на фронт мрачные эшелоны с песнями, в которых лихие слова плохо прикрывали тоску и страх. Появились белые косынки сестер милосердия и скоро, очень скоро — черный креп, под которым по-нестеровски скорбно глядели заплаканные глаза.

Первые сражения на фронте, от которых больше всего пострадала гвардия, здесь ощущались сильнее, чем где-либо. Всех охватил национальный пафос, волнение, жажда победы.

Потом наступили будни войны. Стали привычны и лазаретные дамы, и инвалиды с «георгиями».

Подошла осень 1916 г. — последняя осень старого мира. Она как-то особенно врезалась в память своей странной и жуткой настороженностью.

Из многих встреч с Розановым только одна — в Царском, у меня на Московской, пронзительно-тоскливая, похожая на кошмарный сон.

Сентябрь 1916 г. Непроглядно черный вечер за окнами, вой ветра, дробный стук дождевых капель. Обходя книжные полки, эти пыльные



колумбарии великих мыслей, касаясь пальцами корешков, спрашивал Василий Васильевич: «Это что — Гегель? Фихте? А это — Вейнингер? Не знаю, не читал, честное слово, не читал, и читать не собираюсь. Соловьев? Не люблю. Но, Боже мой, как мало я от него взял, как был к нему невнимателен... Ну, что вы хандрите? Ну, рассказывайте. Покажите Ваши эльзевиры. Прочтите мне что-нибудь из вашего несчастного Блока. Это что у вас — Куинджи?» (за Куинджи принят был Арт ван-дер-Неер).

За ужином, касаясь моей щеки рыжевато-седыми, запачканными провансалем усами, говорил:

«Мир вовсе не так страшен, как вам кажется. Забудьте обо всех. Просто — живите. Учитесь, любите, много и сильно. Что? Вы говорите, Россия разваливается? А, черт с ней, с Россией, этой ленивой бабищей...»

По дороге на вокзал говорил о тяготах писательских будней.

«Вот, вы занимаетесь философией, искусством. Вы хозяин себе. А каково мне ходить в упряжи газетчика? Ах, вы не знаете, какая дрянь наша редакция, какая сволочь... Только Египтом и спасаюсь...» (Он работал в те дни над «Восточными мотивами».)

Котелок его съехал на бок, на кончике носа дрожала капелька.

Слегка задыхаясь от быстрой ходьбы, ежась от сырости, он бросался к каждому прохожему с вопросом: «Есть у вас спички? Нет? Ну, что за несчастье!»

Черный ветер поздней осени скоблил лицо, как тупая бритва, свистел в ушах, забирался за воротник.

— Вы ходите к б....м? Почему же не ходите? Напрасно. Я в ваши годы ходил. А «святая любовь» сама по себе, ничего ей не сделается...

Крыши домов, тротуар, лицо Розанова лоснились от дождя в тусклом свете редких фонарей.

На вокзале — унылая группа раненых солдат, уже не отдающих честь; юные прапорщики, розовые и невинные, как матка непоросившейся свиньи; хмурые чиновники под мокрыми зонтами.

Долгий, надрывный гудок, два ярких глаза во мраке, пыхтение паровоза, остановка. Розанов — с площадки вагона: «Ну, до свиданья, Христос с вами, приезжайте, пишите. И не думайте о гойевских химерах. Да отойдите от вагона, отойдите же, поезд сейчас тронется!» И он яростно затопал короткими ножками в неуклюжих, забрызганных калошах.

...Давно уже нет Розанова. Нет и той, о ком мы говорили в этот страшный вечер. Все течет, все отступает в прошлое, «боль проходит понемногу, не на век она дана»... Проходит, и вновь возвращается, —

Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет...

Э. Ф. Голлербах

В. В. РОЗАНОВ КАК ИСТОРИК ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНЕР



ирокая читательская масса знает Розанова, главным образом, в качестве публициста, много работавшего в распространенных газетах. Избранный круг читателей ценит Розанова преимущественно в качестве философа, глубокого и своеобразного мыслителя, а также тонкого литературного критика и несравненного стилиста. С этой стороны им не раз занимались собратья по перу, много о нем писали и со временем напишут еще больше.

Однако никто почему-то не останавливал своего внимании на Розанове как историке искусства, художественном критике и коллекционере, а он и в этом отношении интересен не менее, чем в других.

Разумеется, его нельзя считать присяжным летописцем художественной жизни.

В Розанове не было ничего «монументального» и «академического». «Система» и «план» были ему чужды. Сомнительно даже, чтобы он основательно изучал искусство. Но он был в высшей степени «человеком искусства», т. е. зорким и чутким ценителем прекрасного и талантливого. Недостаток эрудиции с избытком пополнялся в нем огромным, пытливым, напряженным и проницательным умом, умением проникать в душу вещей и событий. Розанов был эстетом в самом лучшем смысле этого слова. Он не раз касался эстетических проблем, обнаруживая необычайное чутье и какую-то почти фанатическую преданность красоте. Он тяготел к красоте, светлой и свободной, одухотворенной и осмысленной.

Недаром Дягилев, А. Н. Бенуа и другие, близко стоявшие к «Миру Искусства», привлекли Розанова к сотрудничеству в этом журнале, — первом, в сущности, культурно-художественном русском издании. Они

не могли не видеть в нем «своего» человека, столь же преданного искусству, как и они.

Ряд статей Розанова по вопросам искусства вошел в объемистый сборник «Среди художников», изданный в 1914 г. Здесь мы находим интереснейшую статью «О художественных народных выставках», посвященную вопросу о демократизации искусства, о трудностях и ценности этого процесса. О живописи автор говорит как о тончайшем искусстве, полном сорадования природе и жизни. «Нельзя изображать, — говорит он, — не любя изображаемого, нельзя захотеть срисовывать, уже предварительно не залюбовавшись срисовываемым. Живопись поэтому, есть, вероятно, самое любящее из искусств, и притом любящее не субъективною, нервною, таящеюся любовью, как к этому способна музыка, но успокоенною, ясною, созерцательною. Всякий художник есть созерцатель: он не хочет переделать предмет, разбить его форму и дать ему другую. Акт насильственности, так присущий композитору, по существу своему всегда реформатору, отсутствует вовсе у живописца, по существу своему консерватора, который уже самым существом своего любящего созерцания утверждает вещь, хочет утвердить ее истину и всегда закрепляет ее образ» *.

Розанов указывает, что народная стихия полна серьезности и содержательности, поэтому художники мистического направления не должны бояться выносить в народ, «напоказ», свои достижения, как бы ни были они сложны.

В народе, по мнению Розанова, художник встретит ценителя одного с собою уровня. Общество оценит у него технику картины; но полет фантазии, но нежные и сокровенные созерцания души, «угол зрения» и «точки внимания — быстрее разгадает народ, и он теплее на них отзовется. Вот линия касания, возможная между искусством и народной стихиею».

Самые разнообразные события в жизни искусства привлекали к себе внимание Розанова; он откликнулся на приезд сиамских танцовщиц («Балет рук» и «Занимательный вечер»), отозвался на книгу Дедлова о киевском Владимирском соборе («Вопросы церковной живописи»), на постановку «Ипполита» Эврипида в Александровском театре, написал о «Бабах» Малявина, о выставке «Мира Искусства», о работах Л. В. Шервуда, посвятил замечательный этюд «археологии древних миниатюр». Тонкой проникновенностью отличаются статьи Розанова об Александре Иванове, о М. Нестерове, об Айседоре Дункан («Танцы невинности»).

* Прекрасные слова, ученяющие сущность и с т и н н о г о художества, его основной догмат, нарушение которого ведет к ереси, упадку, извращению. — *Э. Г.*

Очень любопытны статьи «Отчего не удался памятник Гоголю» (раб. Андреева) и скульптуре П. Трубецкого. И еще о коллекционере С. С. Боткине, о Марчелле Зембрих, о В. Ф. Коммиссаржевской, о работах Голубкиной, о М. И. Долиной, о Венеции, о Нарбуте, об оркестре В. В. Андреева, о сгоревшем Троицком соборе, о картине Репина «17-е октября», о фресковой живописи, о Шаляпине и пр.

Целая энциклопедия современного искусства! и это вовсе не фельетоны в духе Дорошевича—Амфитеатрова, с их порханием по верхушкам вопросов и злободневным зубоскальством, а внимательные, вдумчивые характеристики, оживленные пафосом впечатлительного импрессионизма. Особенно удавался Розанову анализ художников, которые были ему в известной мере конгениальны (хотя бы одним «уголком души»), как, напр., Нестеров, Трубецкой, Голубкина.

А сколько статей и заметок Розанова, раскиданных по газетам и журналам, затеряно, забыто... Воскресить их, собрать воедино и при первой возможности издать – это священный долг его литературных друзей и прежде всего его душеприказчика, П. А. Флоренского.

Нужно упомянуть еще о двух книгах Розанова, которым принадлежит почетное место в русской литературе по искусству: в 1909 г. появились отдельным изданием его «Итальянские впечатления» (печатавшиеся в «Мире Искусства»), а в 1916 г. начал выходить отдельными выпусками большой труд «Из восточных мотивов», посвященный Египту (издание остановилось на третьем выпуске). К «Итальянским впечатлениям» худ. Л. С. Бакст сделал несколько очаровательных рисунков (к статьям о Флоренции и Пестуме), и они очень радовали Розанова: «Эти прелестные рисунки навевали на меня толпы античных грез», — писал он. В нем было чрезвычайно сильно ощущение древнего мира. Вспоминая о «Посейдонии», о голубом Тирренском море, он писал: «Когда я смотрел на эту бирюзу вод и думал, что триремы Пестра, карфагенян и римлян когда-то разрезали его волны, встречались и провожались живыми жителями этого городка, в хитонах и туниках, я готов был заплакать!!»

Помню, какое наслаждение доставляло Розанову работа о Египте. Он много трудился в Публичной библиотеке, копируя при помощи кальки рисунки в каких-то редчайших, роскошных изданиях. Некоторые рисунки для «Восточных мотивов» делали ему художница Гиппиус (сестра писательницы) и пишущий эти строки. Он был влюблен в египетское искусство, наслаждался им с нежностью неистощимой, без конца обсуждал малейшую деталь в том или ином изображении.

В. В. Розанов был также усердным, вдохновенным коллекционером. Главной страстью его была нумизматика.

В «Опавших листьях» он писал: «Отчего нумизматика пробуждает столько мыслей? Своей бездумностью. И "думки" летят, как птицы, ког-

да глаз рассматривает и вообще около монет "копаешься". Душа тогда свободно высвободится. "Механизм занятий" (в нумизматике) отстранил душевную боль (всегда), душа отдыхает, не страдает. И вылетев из-под боли, к о т о р а я п о д а в л я е т с а м у ю м ы с л ь, душа расправляется в крыльях и летит-летит. Вот отчего я люблю нумизматику. И отдаю ей поэтичнейшие ночные часы».

Одно время он тратил на покупку монет все свободные деньги. С гордостью рассказывал, что у него есть какая-то монета, которой нет даже в коллекции Московского университета (заплатил $3^1/_2$ тысячи, золотая). Особенно восхищался одной древнегреческой монетой с изображением Афины, окруженной фаллосами. Нумизматика была для него одной из лучших радостей, бестревожным и мечтательным отдыхом.

Другой любовью В. В. были книги. Еще студентом начал он собирать редкие старинные издания, отказывая себе иногда в самом необходимом для того, чтобы купить книгу стоимостью в 2—3 рубля. Помнится, у него было первое издание словаря Бейля, первые издания русских классиков, много редких книг XVIII века.

В «Опавших листьях» (т. II) он писал. «Книгу нужно уметь находить: ее надо отыскивать и найдя — беречь, хранить!!»

В своем ревнивом библиофильстве он доходил даже до утверждения, что книг не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать» — развратница. Она нечто потеряла от духа своего, от невинности и чистоты своей. «Читальни» и «публичные библиотеки» суть «публичные места», развращающие города, как и дома терпимости.

Розанов уверял, что «книга должна быть дорога». Книга не кабак, не водка и не гуляющая девушка на улице. Книга беседует. «Книга наставляет. Книга рассказывает. Книга должна быть дорога».

Розанов любил взять в руки хорошо переплетенную книгу, погладить ее, «приласкать». Думается, нелегко было ему разлучаться с книгами, когда настали горькие годы нужды.

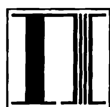
Часть своей библиотеки он пожертвовал какому-то провинциальному учреждению. Остальное, если не ошибаюсь, распылилось после его смерти. Библиотеки недолговечны; разлетаются, как опавшие листья... Sic transit gloria bibliophiliae *.

---

* Так проходит гордость библиофила (*лат.*).

А. М. Ремизов

ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ


еред нашим отъездом в конце мая, — а мы решились ехать на лето в Берестовец — поехали к В. В. Розанову прощаться.

Сопровождал нас И. С. Соколов-Микитов: под его глазом вечером не так опасно.

Первое знакомство с Розановым в 1905 г. на Шпалерной, и вот теперь опять на Шпалерной, только не та, другая квартира, и, как оказалось, в последний раз.

Пошли мы к нему прощаться — такое время: уедешь, а вернешься и не застанешь, или уедешь и сам не вернешься, и не потому, чтобы не хотел —

Не хорошо, бегут из Петербурга, — началось это с год — побежали от страху: немцы придут! А теперь: революции страшно — надвигается голод.

Глупые! Разве можно убежать — от судьбы никуда не уйти.

Дома застали Василия Васильевича и Варвару Димитриевну.

А детей не было: уехали куда-то — пустое гнездо.

В. В. отдыхал, подождали, посидели с Варварой Димитриевной.

А скоро и вышел, и какой-то, точно после бани, чистый: это В. Д. ему сказала, чтобы не в халате, принарядился.

Очень озабоченный и игры этой не было розановской.

Конечно, злободневное сначала, без этого не обойдешься, и, конечно, по русскому обычаю, с осуждением — о правительстве само собой — «временное правительство».

В. В., как немногие, правильно произносил, на последнем ударяя: временно́е, а не временное, как языком чесали.

— Временное правительство под арестом.



Ведь, какое бы ни было правительство и самое ангельское, все равно будет оно всегда осуждаемое, все равно, какая бы ни была власть, а как власть — ярмо.

А человек в ярме — человек брыклив.

И только закоренелый раб и скот рад узде — ярму.

О временном правительстве, о псевдонимах, которые верховодят.

— Подпольная Россия на свет вышла.

И о народной темноте и солдатской теми, и о Ленине — о пломбированном вагоне, и о дворце Кшесинской, и о даче Дурново, где засели анархисты.

Ну, все, что говорилось в те первые три месяцы революции.

На этом политика кончилась.

В. В. показывал монеты — свое любимое, говорил и о египетской книге — свое заветное.

И о нездоровье — раньше никогда — прихварывать стал; склероз! — и о докторе Поггенполе, на которого вся надежда.

Пили чай, хозяйничала Варвара Димитриевна, как всегда, как и в 1905 г., хоть и не то — вот кто изболел за эти годы!

Чай примирил и успокоил.

И не будь нездоровья, В. В. пошел бы посмотреть — в 1905 году куда не ходил! — а теперь куда еще любопытней.

Я рассказал о вечере: устраивается на Острове такой с лозунгом танцевальный:

Будем сеять незасеянную землю!
подростки бесплатно,
дамы — 50 коп.

На минуту игра, как луч, — лукавый глаз.

Сколько б было разговору: семя! — семенная тайна! —

И опять погасло, глубокая забота.

— Мы теперь с тобой не нужны.

И сначала брыкливо, потом горько, а потом покорно:

— Не нужны.

И покорно, и тяжко, и убежденно, словно из-подо дна вышло, последнее — приговор и отпуск.

Варвара Димитриевна тоже очень беспокоится: стал В. В. прихварывать — все может случиться.

— Доктор говорит...

И как это несоединимо — человек всю свою жизнь о радости жизни — о семени жизни — о жизни —

— Доктор говорит, сосуды могут сразу лопнуть, и конец.

Так и простились.

От Троицы-Сергия получили мы от Розанова Апокалипсис — несколько книжечек с надписью, но уж увидеться нам не пришлось.



Я долго все поминал:

«не нужен... мы с тобою не нужны».

Как! Розанов не нужен?

Теперь, в этой вскрути жизни, мечтавший всю жизнь о радости жизни?

Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?

— Человек или стихия?

— Революция или чай пить?

А! безразлично! — стихии б е з р а з л и ч н о: вскрутит, попадешь — истопчет, сметет как не было.

Вскруть жизни — революция — — и благослови ты всю жизнь, все семена жизни, ты один в этой крути без защиты и тебе крышка.

Так Розанова и прикрыли.

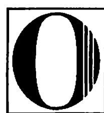
«Розанов, собирающий окурки на улице!»

Что же еще прибавить — — разве для некурящих! — тут все лицо, и слепому ясно.

И прикрыли.

Сергей Волков

ВОЗЛЕ СТЕН МОНАСТЫРСКИХ

дной из самых ярких, если не сказать — исключительных фигур среди монашествующих, да и всего профессорского состава Академии, безусловно, был архимандрит Иларион (Владимир Троицкий, 1886—1929), вначале инспектор, то есть помощник ректора, затем, летом 1917 года, исполняющий обязанности ректора, позднее — заместитель ректора и деятельнейший участник в работе Всероссийского Церковного Собора. <...>

Высокий и стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой и ясным и прекрасным взглядом голубых глаз (он был немного близорук, но никогда не пользовался очками), всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким лбом и волосами, которых он (в отличие от многих) никогда не завивал, с небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом и отчетливым произношением, он производил обаятельное впечатление. <...>

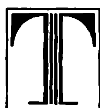
Тот же Глаголев рассказывал мне, как однажды Иларион при встрече с известным философом и публицистом В. В. Розановым, который после 1917 года проживал в Сергиевом Посаде, между прочим обронил:

— Да где уж нам, «людям лунного света», понять какие-нибудь бодрые настроения!..

Глаголева поразил контраст между слабеньким, щупленьким Розановым, носителем и выразителем земного ощущения жизни, поклонником плотского юдаизма, плодородия и чадородия, и Иларионом, русским богатырем, иронически говорящим о себе, пользуясь терминологией Розанова, как об одном из «людей лунного света», то есть отшельнике и аскете.

С. И. Фудель

ВОСПОМИНАНИЯ

ут мне вспоминается В. Розанов. Отец не любил его как писателя. Помню, как-то он сказал мне, увидя у меня в руках «Опавшие листья»: «Не стоит читать — это только и есть что опавшие листья». Так вот, когда Розанов летом 1917 года приезжал в Москву и был у нас, он за чайным столом сказал со свойственной ему непосредственностью: «А вы, отец Иосиф, литературный пустоцвет». Отец мне рассказал это и с добродушной улыбкой добавил: «Он, конечно, совершенно прав». Отец понимал, что его дело было в другом: в живом общении с людьми для христианского на них воздействия и человеческой им помощи.

<...>

Сейчас тем, кто не пережил этих лет — 1918, 1919, 1920-го, невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плавал свободный корабль Церкви. В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у отца Алексия Мечева, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали. В Лавре снимали тяжелую годуновскую ризу с рублевской «Троицы», открывая Божественную красоту. В Москве по церквам и в аудиториях Флоренский вел свою проповедь, все многообразие которой можно свести к одной самой нужной истине: о реальности духовного мира. В Московском университете еще можно было слушать лекции не только Челпанова, но даже и Бердяева, читавшего курс какой-то путаной, но все же «Космической философии». Он же потом (кажется, в 1921-м) основал «Вольную академию духовной культуры». В Москву из Петербурга

приехал на жительство Розанов, сразу посмирневший от пережитого и уехавший умирать в Сергиев Посад. Я, помню, провожал его на Ярославском вокзале, и он все меня благодарил. Он был тогда такой самый простой старичок (с хитрецой), вернувшийся по мудрому страху к «вере отцов» и, кстати, решивший из благодарности за проводы, что я и Коля Чернышев должны жениться на двух его дочерях, совершенно нам неизвестных.

С. И. Фудель

У СТЕН ЦЕРКВИ

С этими годами связаны для меня воспоминания о многих людях. Помню праведника Н. Н. Прейса, в золотых очках и черной, какой-то «докторской», шапочке, обходившего московские храмы с клеенчатой сумкой, в которой он носил Новый Завет, Псалтирь и книги каких-то поэтов, все еще ему дорогих, вопреки (а может быть, и «благодаря») его церковности. В храмах он читал шестопсалмие, кажется, наизусть.

Тогда в Москву (на жительство в Загорске) переехал из Петрограда В. В. Розанов, и С. Н. Дурылин возил его по Москве с визитами к разным почтенным людям (вроде основателя 2-го Московского университета Вл. Герье).

Розанов был маленький старичок с зорким взглядом, весь в облаках табачного дыма и какого-то особого «самозатвора» в этих облаках, за которыми целая эпоха русской интеллигенции. В этой эпохе — и настоящий ум, и пустая болтовня, и искренность в людях, и занятость только собой, и отрицание атеистического тупика, и нежелание настоящего подвига веры — в общем, «середка на половину» маловерия и «вы, конечно, правы ("насквозь прокурена душа"), но оставьте меня в покое с моими гениальными мыслями».

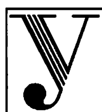
Читая недавно автобиографию Бердяева, я убедился, насколько живуча вот эта сторона той эпохи и насколько она бесплодна. И вот однажды (это было, кажется, весной 1919 года) Прейс приходит к Дурылину в Обыденский переулок и застает там Розанова, лежащего на кровати в носках, в дыму и в книгах. Прейс вошел со своей котомкой, остановился над ним и громко и грозно сказал, точно пробиваясь сквозь дымовую завесу интеллигентности: «А ведь Христос-то действительно воскрес!»

С. Н. Дурылин

В СВОЕМ УГЛУ

Тетрадь I

1924 г. Август—октябрь
Челябинск



Василия Васильевича было любимое «гневное» слово — *дуроломом.* Напр., критики-семинаристы были для него — дуроломы. Некто, рассуждающий «о политической экономии как о поэзии и о поэзии как о политической экономии» (выражение Пушкина), — был для него дуроломом.

Произносил он это слово гневно, выпукло, сочно и так убедительно, точно прикреплял к тому, о ком оно было, завершительный и липко-невозвратный «аминь». Это было *его* слово. Оно все было окрашено *им* и его как-то, в свою очередь, окрашивало. Я часто вспоминаю это слово. Оно многое объясняет. Думаешь, думаешь иногда, так и этак судишь, теорию строишь, объясняешь себе, ищешь, создаешь объяснения... а все просто: просто дуроломом действует. Дуроломом говорит. Дуроломом сочиняет.

Мы шли с Вас. Васил. в Музей Александра III смотреть египетский зал. Было устроено так, что мы будем смотреть одни с хранителем А. А. С., и сколько нам захочется. С В. В-чем... смотреть египетский зал — мумии, талисманы, фаюмские портреты! Я предвкушал не удовольствие даже, а потрясение.

Мы шли мимо храма Христа Спасителя. Купол его ослепительно блестел. Мы о чем-то говорили. Не о Египте. Так, о чем-то. И вдруг В. В. остановился, схватил меня за рукав пальто и, строго и возмущенно глядя в лицо, сказал:

— Какую глупость написал Достоевский в «Легенде об инквизиторе», будто католичество тем погрешило, что ввело в религию авторитет

и тайну! К-а-к-а-я же религия возможна без а-в-т-ори-тета и та-й-н-ы? — тоном величайшего изумления, точно у него что-то «ахнуло» в душе на глупость Достоевского, произнес В. В.

И пошел в Музей через дорогу. Перед этим ни слова не было говорено ни о религии, ни о Достоевском. У него шла своя мысль непрекращающеюся волною, и никто никогда не знал, о чем бьет сейчас в нем эта волна. Он и сам, я думаю, этого не знал, а всплеск — иногда высоко! высоко! дерзостно высоко! неудержимо силен и резок! — мы видели в виде такого вот его неожиданнейшего замечания, изумительного письма, в виде парадоксальнейшей статьи, неожиданнейшего утверждения, совершенно противоположного тому, которое были вправе ждать от него.

В музее В. В. внимательно, но как-то скользяще, без зацепки, осмотрел египетский зал. Почти ничего не говорил. Было только приметно величайшее уважение, с которым он смотрел на дела рук, духа и культуры древних египтян, которые всегда были ему так дороги и любы. А в зале средневековой христианской Европы, где все в музее — имитация и копии, перед дверями готического собора, пред христианскими надгробиями, он вдруг заговорил горячо, живо, с зацепкой — о христианском искусстве, о том, что оно выше всего, о том, что все скучно и мертво перед ним. Это было так неожиданно, что я выпучил глаза на него — и даже не мог от изумления поддержать этот интереснейший для меня разговор. Что же его «зацепило»? — Что-то, чего мы никогда не узнаем. Через его душу и мысль лились волны.

Однажды я его спросил в Посаде, узнав, что он только что вернулся из Москвы, зачем он туда ездил, когда ездить туда трудно, недешево, то́лкотно и неприятно.

— Я ездил поцеловать руку у Владимира Ивановича Герье. Ведь он мой профессор.

И это была правда. Я знаю, что он поцеловал руку у Герье.

О Буслаеве он не мог говорить без волнения и благодарного умиления.

Он был старый студент.

Он был дитя.

Однажды в холодную осень 1918 г. вижу, он, в плаще, худой, старый, тащится по грязи по базарной площади Посада. В обеих руках у него банки.

— Что это вы несете, В. В.?

— Я спасен, — был ответ. — Купил «Магги» на зиму для всего семейства. Будем сыты.

Обе банки были с кубиками сушеного бульона «Магги».

Я с ужасом глядел на него. Он истратил на бульон все деньги, а «Магги» был никуда не годен — и вдобавок подделкой.

Удивительна, удивительна судьба его!

Его критика старой школы («Сумерки просвещения») выше, строже, основательнее и ядовитее всего, что написано против нашей старой средней школы, а написаны горы. И никто не знал ее. В 1905—1912 гг. я находился в самом жерле, пекле нападений на эту школу («Свободное воспитание» с Крупской в числе сотрудников; я был секретарь редакции), мы подбирали отовсюду даже крохи (отдельные мысли в 2—3 строчки) — лишь бы они были *против* этой школы, даже у Меньшикова отрыли что-то против нее, у какого-то Эскироса, Себастьяна Фора, а никто даже не упоминал, даже не слыхал о «Сумерках просвещения». Т. е. заглавие-то я знал, но совершенно удивился бы, если б кто-нибудь сказал: «А посмотрите, нет ли там чего? Вы собираете перец — нет ли там?»

А никто и не сказал.

Цветок папоротника, для всех невидимый, мало невидимый — несуществующий. <...>

Тетрадь II

1924 г. Челябинск.
Октябрь—ноябрь

<...> Василий Васильевич влезал в топящийся камин с ногами, с руками, с головой, с трясущейся сивой бороденкой. Делалось страшно: вот-вот загорится бороденка, и весь он, сухонькой, пахнущий махоркой, сгорит... А он, ежась от нестерпимого холода, заливаемый летейскими волнами, лез дальше и дальше в огонь.

— В. В., вы сгорите!

Приходилось хватать его за сюртучок, за что попало, тащить из огня...

— Безумно люблю камин! — отзывался он, подаваясь назад, с удивлением, что его тащат оттуда.

Это слово «безумно» у него не сходило с языка: «безумно хочется тепла!», «безумно хочу сметаны!», «безумно хочу щуки!» — и ничего этого не было, не было, не было. Были ужасные, разваливающиеся, колючие лепешки из жмыха.

Это было зимою 1918 г.

В нем была величавая, детская, изумительная и изумляющая наивность.

Даже не детская: он был иногда наивен, как березовый листок, развернувшийся под солнцем на ветке и, вероятно, думающий, что солнце светит для него и будет всегда светить.

Ветку с листком сорвали. Она очутилась в венике. Веник употребили, на что обыкновенно употребляют веник.

А листок все ждал, что на него по-прежнему будет светить солнце.

Он ждал солнца. Он был наивен.

А может быть, он был мудр? <...>

Тетрадь III

1926 г. 1 января ст. ст. — 14 марта
Москва. Мураново. Москва

Вас. Вас. три раза возил Нестерова к Суворину, который желал познакомиться с художником. Нестеров три раза заходил к В. В., чтобы поехать вместе в Эртелев переулок, но В. В. всякий раз так его заговаривал, что к дому Суворина подъезжали всякий раз в 12-м часу ночи, и Нестеров отказывался идти к Суворину, так как «голова вся была полна Розановым и разговором с ним, и я бы оказался дураком перед умнейшим стариком!» И так-таки и не видался никогда Нестеров с Сувориным.

В. В. был *последний.*

То, что он шептал на ухо, голосом, имеющим от тайны и глуби, то осталось перед глазами немногих, как синенький дым от его папироски. Папироска давно потухла, курить ее некому, да и сорта такого уж не делают. Остались примечания мелким шрифтом, с особыми курсивами: через 5—10 лет их никто не поймет, не услышит в них того же шепота. Книги обрастут мхом — и все будет кончено.

Кому нужно — это «тихое», вверяемое уху шепотком и в шепотке добирающееся до глубин, до вечных несказуемых тайн?

Нет, папироска потухла навсегда.

И никто не закурил от нее.

<...>

В. В. был «грешник». Так жена (при мне) и говорила ему, когда он ерепенился: «Я — язычник!»

— Какой ты язычник! Ты просто — плохой христианин!

Должно быть, с ним и было так легко всем, что он был «грешник». Нельзя без слез и улыбки читать его о *святой* Травиате («Среди художников»). Зато — тут и тепло, тут и «уют» — и ласка какая-то, до корней, до ручьев подземных бытия... Как холодны и скупы перед ним «праведники» — Трубецкой, Флоренский, Булгаков. У «грешника», должно быть, хлеб мягче оттого, должно быть, что и рука мягче: не столь тверда и уверенна, как у «праведника».

Бороденка — зеленая: табачная зелень, и в ней совсем желтые, не от рыжины, а от табаку, волосенки; руки трясутся; на шее синие жилки; все прокурено: бороденка, нос, щеки, шея, даже уши обкурены. Пальцы на руках — коричневые от табаку. Какая уж тут праведность, когда губы со-



хнут без папироски, как без воды живой! Как другие не только «едят», но и «объедаются» и «обжираются», так и он не только «курил», но и «обкуривался». Весь обкурен и все кругом обкурено.

Я не курю, я и дыму табачного не люблю.

А вот его дым — от его папироски, вечной, неугасимой! — любил и тоскую по нем.

Увидать бы хоть на минутку опять алый огонек его неугасимой папироски. Полегчало бы на душе.

Нет, не увидишь. Все кончено. Могила.

Вот грущу о нем и вспоминаю «по кусочкам», по маленьким зацепочкам памяти — то за его бородку, то за дымок папироски, то за то, то за другое... И...

Почему же с этою могилой
Меня не может время помирить.

Как о невозможном счастье мечтал я о том, чтобы *увидеть* Лермонтова и Леонтьева живых. А *его* увидеть Бог дал; а то бы так же мечтал бы и о нем, о третьем, как о них. Я застал его «на самом кончике», и вот этого «кончика» хватит, должно быть, на всю жизнь...

Он лежал на столе неподвижный, белый, маленький, чистый, чистый. Покрытый простыней. Ждали Флоренского для панихиды.

<...>

В В. В. был неисчерпаемый и до конца дней неисчерпанный запас детского по чистоте и непосредственности идеализма.

Он женился юношей на женщине, которая на два десятка лет была старше его, только потому, что она была любовницей *Достоевского, Достоевского*, которого он обожал, боготворил. Выходило что-то невообразимое, вроде того, что он женился на Достоевском. Более книжной, теоретической, идеалистической женитьбы трудно и представить.

И из-за этого он мучился всю жизнь.

Письмо, где он описывал это мученье, было в числе тех, которые он за один год до смерти попросил меня спрятать — и дать родным только после его смерти.

В 65 лет он вспоминал про университет, как какой-нибудь студент 40-х годов, — и ездил целовать руку старому Герье. «Буслаев» произносилось им с не меньшим благоговением, чем когда-то «Грановский». «Этому учил нас Буслаев», — слышалось из его уст, и сколько тут было «вечно-студенческого»! <...>

Тетрадь IV

1926 г.
19 марта ст. ст.
1—11 апреля ст. ст.
Москва. Мураново

<...> Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че.

Живо помню: я мальчик, самое большое — мне 13—14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского «Литературные воспоминания и современная смута», и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: «О г. Розанове и его отказе от наследства».

Я был большой фантазер и большой литературщик и сейчас же состроил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству...

Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство — это что-то «от кражи» (имя «Прудон» я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона и тогда же его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее «от угнетения», — и, должно быть, это «смутно слышанное» как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: «О г. Розанове и его отказе от наследства». Я это крепко запомнил — что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество).

Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем.

И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от «наследства» (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского и за то получил должное возмездие от их «идееприказчика» — Михайловского,

<...>

Вас. Вас. всех их знал — «символистов» — Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого, Вяч. Иванова — и никого не любил. Книги с надписями «от авторов» стояли на полках, и никогда он их не читал. Никого не вспоминал.

А Лермонтов — был у него всегда на устах. Впрочем, милый Бруни сказал, что «у него не было вкуса», а Чулков с этим согласился.

Пусть не было.

Тетрадь V

1926 г., с 12 апреля ст. ст.
Москва — Мураново

<...> В В. В. «живчик» ходил ходуном по телу, по душе, по сердцу, по уму — остренький, горячий, быстрый, как шпулька в швейной машине. «Живчик» бегал и в «глазке» розановском, и в руке, вооруженной пером, и в члене, и в дымке неугасимой папироски... А все равно умер Василий Васильевич, несмотря на «живчик», — и вывалилась изо рта папироска... И лежал он холодный, неподвижный, — «как кристалл», — сказал Флоренский. <...>

Тетрадь VI

1926 г. С 22 июня по нов. ст.
30/VIII по нов. ст.
Крым. Коктебель.

<...> Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, нужно было положить на веки медяки. Но денег тогда медных в России не было, карманы были полны ничего не стоившими бумажными пятачками Керенского. И пришлось взять какие-то медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые монеты.

<...>

Он брал в руки «декадентскую» книжку, какой-нибудь сборник стихов в нарядной обложке, — листовал осторожно, перебирая пальцем страницу за страницей, где чернели изящные столбики стихов, и говаривал:

— Как это ... хорошо издано! — и аккуратно ставил на полку. Не читал.

Любил держать в руках, «потому что хорошо издано». Пушкина же, Лермонтова, К. Леонтьева, Достоевского непрерывно *читал*, и волны от них передвигались сплошным непрекращающимся прибоем в его душу. Иногда всплеск такой волны докатывался великолепной снежной пеной и до его собеседника — в виде вспомнившегося ему пушкинского стиха, лермонтовского звездного порыва, леонтьевской мысли или тревоги Достоевского, и он отзывался на этот снежный всплеск изумительным потоком своей мысли, игравшей с высокою силою и красотою, которые и не снились «литераторам»... Но из Брюсова, Бальмонта, Белого, не говоря уже о дальнейших, ему никогда ничего не вспоминалось. Прибоя не было у них, и никакая волна не плескалась к нему своей пеной. У них изящно изданные книги. Он их и держал в руках, любуясь печатным искусством.

— Как хорошо издано!

А тех держал в душе, поил ими свою душу или топил в них ее, как Тютчев в море ночном. <...>

Тетрадь XII

1928 г., 8 августа ст. ст.
1929 г. 7 мая ст. ст.
Томск

<...> 11 лет тому назад в этот день я был на именинах у Василия Васильевича в Посаде.

Мы пришли утром, после обедни, с Флоренским. В нижней столовой накрыт был стол. Стояли шкапы, набитые книгами. Фолианты из Возрождения. Платон по-гречески... *Еще* была скатерть, на столе, а *еще* был кофе — настоящий, черный, со сливками, *еще* были сухарики, печенье в сухарнице, *еще* было все... но уже напоследях *все*... Мы тихо сидели и беседовали с Варварой Дмитриевной. Василия Васильевича все не было. В. Дм. кипятила кофе (медный «тумпаковый» кофейник) на синих зубчиках горящего спирта и беспокоилась, что нет именинника...

...Наконец, пришел Вас. Вас. Он был свежий, с морозца, маленький, сухонький, потирал посиневшие ручки с жилками, — и пришел приветливо-задумчивый, со следами какого-то сильного, только что пережитого, но еще не до конца освоенного впечатления...

Стали пить кофе. < ...>

...И над кофеем стал рассказывать...

Он был в соборе, в Троицком, у обедни. Служил архиепископ Никон (тот, что писался с і: Нікон, издавал «Троицкие листки», написал житие преп. Сергия и воевал на Афоне с имяславцами). Он был невысокого роста, рыжий, невзрачный, подслеповатый, с незвучным, щелястым голосом. Старик.

— Я его не любил, — говорил Вас. Вас. — Синод. Прямолинейный правовер. Дуролом.

И вдруг оказалось — в этот именинный день — этот «дуролом» служил с такою строгою сосредоточенностью, с такою чистою и прямою погруженностью в таинство своей веры, что Вас. Вас. в толпе народа не сводил с него глаз и не заметил, как простоял долгую архиерейскую службу с длинным новогодним молебном...

— Я шел и думал: вот он сделал свое дело. Он старик, и он всю жизнь стоял на том, что считал истиной. Твердо, прямо, упорно. Ему не в чем упрекнуть себя перед своей родиной и верой. А я?.. И мне захотелось пойти к нему и поцеловать его старую жилистую руку. Молча. Что я скажу ему? Разве как Бобчинский: «Жил был Василий Васильевич Бобчинский в Петербурге» и прибавить: «пописывал и все прозевал...»

Мы все были поражены рассказом. Ведь это был его «враг» — они говорили один о другом: «дуролом» — «ересиарх»...

Но удивление было еще удивленней, когда В. В. признался, что писал ему, строгому и сухому архиерею, синодалу, и получал ответы...

Где это теперь все? И письма, и ответы.

...Пили кофе. Фл. был холодно, отсутствующе задумчив. А В. В. грустен, с теплотою скрытой слезы грустен... Кофе в последний раз был черен и жирен и в последний раз с сахаром.

Впереди был сахарин, голод, лепешки из жмыха с кострикой, холод, смерть.

Никон умер, кажется, 30 декабря 1918 г. Вовремя.

Вас. Вас. через несколько дней. В январе 1919 г. Еще более вовремя. <...>

Тетрадь XIII

1929 г. 10 мая — 1930 г.

<...> I. 3 июля. День иноческих именин старца иеросхимонаха Анатолия (мирские именины были 30 августа — Александра Невского). Восемь лет нет его на земле. <...>

Смотрю на его фотографию, снятую Колей за две недели до его смерти (30.VII.1922 г.). Простое русское (конечно, великорусское) старческое лицо — из крестьян, из мещан (он и был московский мещанин), из ремесленников, с негустой бородой, никогда, видно, не подстригаемой, с реденькими уже волосами (они до плеч, и только это и делает лицо немирским). <...>

<...> На столе стоял портрет о. Анатолия, в убогой рамочке, обычный портрет в рост (стало быть, лицо маленькое), продававшийся в Оптинской лавке, и не очень удачный и напечатанный «так себе». Мы пришли от всенощной из приходской церкви, а в Лавре еще гудел торжественный, превосходный полный звон. <...>

Мы молчали, и вот в это время вошел с Таней (кажется, с ней) Василий Васильевич, маленький, щуплый, замерзший ... <...> ...и сразу, не поздоровавшись, с порога:

— Какая ночь! Звезды! Какие звезды! Халдеи, египтяне, арабы молились бы им, подняв к небу лицо, а они (с ненавистью: он писал тогда свои злые последние книжечки-выпуски; прерывался голос от вражды) ...а они преют в тесноте, в духоте, под сводами, потеют, свечи коптят, жарища, дышать нечем, каплет ярым воском сверху, ревут как коровы, дымят угарными кадилами, глушат звоном... (задохся, протирает глаза неслушающимися, корявыми от мороза руками)... дуроломы!

<...> Он раздет Таней, глаза протерты платком, платок в кулачке, кулачок — на «дуроломов» — они все звонят! Злые глазки (глазки Шуй-

ского, разыскивающие самозванца) пробежали раз по комнатушке, столу Георгия Хрисанфовича... и вдруг:

— Какое лицо!

Он остановился перед портретом в убогой рамочке. Портрет словно тянул его к себе. Он сделал шаг, взял портрет со стола (мы молчали), поднес к глазам, опять отдалил, не выпуская из руки, опять приблизил.

— Какое лицо!

Рука поставила на стол, глаза держали перед собою. И вдруг обернулся к нам и требовательно, смешно до капризности, потребовал:

— Кто это? Кто это? Кто это?

Помнится, Сережа (Ф.) или Коля, кто-то из мальчиков, бросился отвечать и даже начал что-то, что, доконченное, было бы по смыслу: «Кто? А один из тех дуроломов, которые...» Но Мокринский прервал, не дав дойти до «дуроломов», и ответил с той ласковою и строгою спокойностью, которая была свойственна ему в последние годы его жизни:

— Оптинский старец иеромонах Анатолий.

<...> Может быть, кто-нибудь из нас и сказал бы еще что-нибудь, но В. В. круто и быстро отвернулся к столу, опять взял в руки портрет и опять — в глубокой задумчивости — повторил:

— Какое лицо!

Л. А. Мурахина

О В. В. РОЗАНОВЕ

Из личных впечатлений

25 июля (7 авг.) 1918 г.


а мой взгляд, Василий Васильевич – удивительно женственное (в *симпатичном* отношении) существо, сложное, тонко сплетенное, нежное, хрупкое, нуждающееся в постоянной сердечной ласке, в нежнейших заботах и попечениях о себе; такое существо, которое так и хотелось бы взять на руки, сладко покормить и снести также в отдельный от «улицы» храм с открытым лишь потолком, открывающим вид на царство «ноуменов», к которому так тянется это редкое существо. «Сиди спокойно, дорогой, и наслаждайся тем, что представляется твоему страстно ищущему взору. Наслаждайся, не ведая злобы ни нынешнего, ни завтрашнего дня!..» Говорить с ним о чем-нибудь обстоятельно трудновато при страшной живости его мысли, зато в высшей степени *наэлектризовываешься* им! И чувствуешь себя с ним, так мало *эмпирически* знакомым, так, словно мы когда-то были очень близки, потом надолго были разлучены, и вот снова вместе. Благородная простота, безыскуственная деликатность, сердечность без слащавости, — все это делает Вас. Вас. таким же обаятельным в личном общении, каким он является и в своих письменных излияниях, несмотря на то что в них, на мой взгляд, есть большие ошибки...

...О произведениях Вас. Вас. Да, лишь очень немногим читателям может он прийтись по уму. Прочитала его «Люди лунного света», «Темный Лик», «В мире неясного и нерешенного» и «Литературные изгнанники». И пока могу сказать только одно: очень много в авторе чисто субъективного, *хорошего.* Недостаток объективности, объясняемый изумительной

живостью мышления, есть тем больший дефект, что автор как вихрь подхватывает читателя и уносит с собой в мир... «неясного и нерешенного», который может показаться читателю со спертым дыханием и закружившейся головою областью всего уже *ясного и решенного*. В *частности* очень много верного, пронизывающего толщи накопившихся в умах ложных представлений, но в *общем* дается возможность нового неверного представления. Так как центральный пункт автора первых трех прочитанных мною произведений — акт вызывания к объективному бытию нового существа, читатель может смешать *условие с целью*, воображая, что в этом одном акте и есть суть всей задачи жизни: и без того, б<ыть> м<ожет>, уже склонный к культивированию этого именно акта, очень рад будет видеть в нем одном все требование религии. Тут — возвращение к фаллизму, который, как у людей высшего порядка никогда *культом* быть не может (а если бывает, то лишь как мимолетное увлечение), у толпы же ведет к... одичанию. Вглядываясь в историю, лично я нахожу, что фаллизм — достояние именно совсем *еще* диких обществ, или снова погружающихся в варварстве, *семитизирующихся*. Ведь, по-моему, *семитизм* как явление вовсе не есть что-нибудь отдельно *племенное*, а лишь — *состояние*, которому рано или поздно подвергается каждый индивид и каждое скопление индивидов, хотя бы разросшихся и в целое обширное государство, раз особь (или масса особей) поддались внутренней порче...

Окончательный мой личный вывод из прочитанного (книга о Н. Н. Страхове и пр. в стороне): — В. В. Розанов в высокой степени интересен и ценен для читателей *мыслящих*, потому что он сильно электризует их мысль, но читатель обыденный *завязнет* на его главном пункте. Больше не решаюсь сказать.

Повторяю лишь: В. В. Розанов — *очень* обаятелен и как человек, и как мыслитель, и как писатель.

26 июля (8 авг.) утром.

...Вас. Вас. дал прочесть его «Уединенное» и 2 тома «Опавших листьев». И я приятно была удивлена, когда, раскрыв «Уединенное», нашла на 26-ой стр., что одна его родственница сказала ему: — «В вас *мужского* только одежда» (последнее слово там другое). Следовательно, я не ошиблась в своей характеристике, написанной мною *до* прочтения отзыва другой женщины.

Вечером.

...Хорошо, что я написала предыдущее о Вас. Вас. *до* ознакомления с его мелкими набросками, иначе можно бы подумать, что я *плагирую*, на

что я способна так же мало, как на прямое воровство. Так, напр., совпало и мое выражение о том, что нужно бы поместить Вас. Вас. в храм с открытым потолком — с тем местом (в «Опавших> листьях», I том), где он сам говорит: — «Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом»... Опять радуюсь, что отчасти поняла эту крайне своеобразную личность.

Это — клубок тончайшей трансцендентальной паутины, из которой во все стороны брызгают яркие молнии, которые на что случайно упадут, то и вырезывают в окружающем мраке, без чего оно оставалось бы незамеченным. Положим, освещается не весь данный предмет, а лишь та или иная *точка* его, но это и не может быть иначе при освещении на миг. Это я — со стороны интеллектуальной. Что же касается *душевной*, то, насколько могла понять, Вас. Вас. обладает душою совершенно *прозрачною*, такою *чистою*, что даже маленькие недостатки ее (без которых Вас. Вас. был бы не человек) не могут отталкивать, потому что и их корень — *чистый*. В том-то и вся суть Вас. Вас., что он воплощение принципа *чистоты*, которая стремится покрыть собою... стушевать всю грязь, скопившуюся в современных понятиях, но — увы! сама загрязняется от тесного соприкосновения с нечистотою. Грязнится *не сама по себе*, а — в виде наружного налета. Глаза же большинства «созерцателей» только *наружное* ведь и видят и отождествляют его с сутью...

Бедная белоснежная бабочка (Психея) среди нашей липкой грязи! Не туда ты попала, а все-таки как *хорошо*, что *попала*... *Хорошо* — для тех немногих, которые поймут тебя, увидят в тебе пришелицу из нагорного мира!

Да, Вас. Вас. не *сочинитель*, он — *открывающий и открывающийся*: и он *единственный* в своем роде; изумительное явление среди нас. Да сохранит его Провидение как можно дольше в этом мире, где он сияет такою светлою, но таинственною своей редкостью звездою!

Большое счастье увидеть близко от себя эту звезду!

Относительно того, в чем расходятся мои собственные взгляды со взглядами Вас. Вас. (видим *разные* точки предметов), я говорить здесь не буду, это выясняется из моих литературных произведений.

Но теперь уже и punctum! *

---

* точка (*лат.*).

Н. Н. Русов

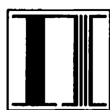
СЛОВАРЬ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

ак-то осенью 1918 г. возвращались мы с покойным В. В. Розановым из Сергиева Посада в Москву. Сидели в темном и холодном вагоне. Жевали черный хлеб. Беседовали о русской философии. Перебирали разных авторов, разные сочинения. Ехали часа два с лишним и за всю дорогу удивлялись все больше и больше изобилию и многообразию русских сочинений по философии. Перед нами раскрывалось ее подспудное, однако замечательное богатство. Не оказалось, между прочим, ни одного иностранного мыслителя, о котором не существовало бы самостоятельного русского исследования, иногда даже нескольких. Как известно, сам Розанов начал с того, что написал огромное сочинение чисто философского содержания (*О понимании*), а затем переводил Аристотеля, следил за чужеземным влиянием в истории русской мысли, о чем у него есть большая статья, защищал Н. Н. Страхова, Н. Я. Данилевского и др. И у нас с ним тогда же возникла мысль: как было бы уместно и хорошо весь этот рассеянный материал привести в порядок, собрать воедино, подвести итоги, и тогда самобытный и многоцветный облик русской философии сам обратит на себя удивленное внимание просвещенного человека. «Словарь русских мыслителей» был задумал нами совместно. В. В. Розанов загорелся этим планом. <...>

В. Ф. Ходасевич

РЕЦ. НА КН.: З. Н. ГИППИУС «ЖИВЫЕ ЛИЦА»

I и II т. Изд. «Пламя», Прага, 1925 г.

равдивость — главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но — отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная — передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило — не передавать с чужих слов. <...>

Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда З. Н. Гиппиус отступила от этого правила — поверила слухам и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Розанова и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гиппис очень не любит Горького. Может быть, у нее имеются самые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует взваливать то, в чем он неповинен.

Однажды (по-видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказали, что Розанов, живший в Троице-Сергиевском Посаде, «такой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом — будто бы он расстрелян.

Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание которого она излагает так: «...вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам “правительства” большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли этот слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей “власти”. Вы когда-то стояли за “культуру”, ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...»

З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горький, конечно,

мне не ответил». Признаюсь, по-моему, он поступил здесь очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее З. Н. Гиппиус сообщает, будто Горький «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Все это сообщено с чужих слов и — неверно. Горький никому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свободе. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма, сама З. Н. Гиппиус Горького не просила. Об этом позаботились другие. И опять — не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клевретов, никаких вообще тайн мадридского двора. Просто — пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения «Всемирной литературы». За это получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать, «приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать — о Ламартине. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить: она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов, даже не зная, о ком идет речь.

Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Немного», — сообщает З. Н. Гиппиус. Опять — «слух». Деньги передавал дочери Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню, на что тогда шел счет: на сотни, ни тысячи или на миллионы. Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (т. е. семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре». Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Розанов в письмах к Гиппиус «все благодарил его (т. е. Горького)». Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «за подачку: на картошку какую-то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.

К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней нищете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены. Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но — мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И — были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не только «собственность Горького всегда была неприкосновенна», как сообщает З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова фактически оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конечно, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это понимали, но понимали и то, что объективных причин голодать было у него меньше, чем у других... Однажды случилась беда. Розанов повез часть

коллекции в Москву, кому-то на сохранение. Приехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили, что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки же... очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибедниться, принизиться, да еще после такого удара, — все это было вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему неприменимы. Морально — да, но фактически и ложь не становится правдой от того только, что ее произносит Розанов.

Н. О. Лосский

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Розанов обладал большим литературным талантом и был чрезвычайно оригинальным мыслителем и наблюдателем жизни. Систематичности и последовательности в его писаниях не было, но часто в них можно найти блестки гениальности. К сожалению, в его характере было много патологических черт; самою яркою из них была его ненормальная сосредоточенность на области половой жизни. Он был человеком, как бы сошедшим со страниц романов Достоевского. Великолепное изображение его характера дал Эрих Голлербах в книге «В. Розанов». Стараясь проникнуть в глубину человеческой души, Розанов, по словам Голлербаха, интересовался «домашними делами» писателей, их «нижним бельем». Об этой черте его характера я могу сообщить по своему личному опыту. Три дочери Розанова учились в Женской гимназии М. Н. Стоюниной, матери моей жены. Квартира наша была при гимназии. Бывая по какому-либо делу в гимназии, Розанов заходил ко мне. Постучав в дверь моего кабинета и едва услышав: «Войдите», он быстро отворяет дверь, бросается к письменному столу, на котором лежит раскрытая книга, и тотчас смотрит, что я читаю. Может быть, он вообще всех людей старался так поймать врасплох и узнать этим способом их интересы. <...>

После большевистской революции, живя у о. Павла Флоренского в Сергиевом Посаде, где находится Троицко-Сергиевская лавра, Розанов писал «Апокалипсис нашего времени», повторяя свои отрицательные суждения о христианстве. Возмущенные этим, к нему пришли о. Павел, приват-доцент Московской Духовной академии Андреев и еще одно лицо, имя которого я забыл. Андреев рассказывал мне, что они обратились к Розанову с заявлением, что если он будет продолжать свои антихристианские высказывания, они раззнакомятся с ним. На это Розанов от-

ветил, очевидно, сознавая какую-то демоническую силу в себе или около себя: «Не трогайте Розанова; плохо вам будет». И действительно, в течение года после этого у всех трех лиц произошло тяжелое несчастье. Однако умирал Розанов как добрый христианин. Перед смертью его душа была полна радости о воскресении Христовом. Он несколько раз причащался и соборовался. Умер он во время соборования.

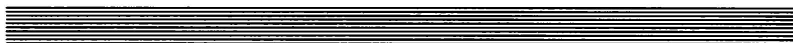


А. Ф. Лосев

ИЗ БЕСЕД И ВОСПОМИНАНИЙ

Розанов — человек, который все понимает и ни во что не верит. Мне рассказывали: однажды был крестный ход в память преподобного Сергия или какой-то другой праздник — был ход вокруг лавры. И в этом крестном ходе участвовал Розанов. Тоже шел без шапки, все как положено... Тут духовенство, пение, и он идет. С ним рядом шел мой знакомый и потом мне сам рассказывал: «Розанов ко мне обращается и говорит: — А я ведь во Христа-то не верю...»





А. М. Ремизов

КРАШЕННЫЕ РЫЛА

ретья могила у Троицы-Сергия.

Помер Василий Васильевич Розанов — самый живой из старших современников, всеобъемлющий, единственный в литературе русской, и одинокий в бродячей нашей жизни.

В мае 17-го года поехали мы на Шпалерную прощаться с Василием Васильевичем. Говорили в последний раз за самоваром о любимом его — о тайне кровной любви, собирающей живой мир, и о монетах — старине драгоценной, и о докторе Поггенполе.

Напишут сотни книг, воспоминаний, станет Розанов главой в истории русской литературы, я же теперь помяну Василия Васильевича, соседа нашего, сердечность его — много выпало в жизни ему беды житейской! — и благословение его любви, которой жив и еще крепок вечно раздорный ското-человеческий грешный мир.

Э. Ф. Голлербах

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РОЗАНОВА

(к 4-й годовщине смерти)


огне и холоде тревог» промелькнули четыре года, отделяющие меня от того изгрызанного тоской дня, когда я получил от Н. А. Бердяева письмо с извещением о смерти В. В. Розанова:

«Умер Розанов. Ужасно, что негде даже написать о нем».

С тех пор прошло четыре года, но, кажется, и теперь — написать о Розанове негде. Во всяком случае, негде написать о нем *до конца*, написать все, что хочется, все, что нужно. Я очень люблю «Литературное приложение» к «Накануне» и почитаю его руководителя, но уверен, что и он при всем желании не мог бы напечатать о Розанове полную правду, т. е. правду в том смысле, в каком понимал ее сам Розанов – смысле окончательного самообличения. Недаром же М. А. Кузмин, взявший у меня одно из писем Розанова для своего «Абраксаса», вынужден был отказаться от его печатания («страшно», по его словам).

Если даже Кузмин, находящийся, подобно Розанову, в сладком неведении, через «ѣ» или через «е» пишется слово «нравственность», обнаружил стыдливую робость, то чего же ждать от других?

Не удивительно, что «Сполохи» (издат. Гутнов), полгода тому назад забравшие у меня письма Розанова и даже предупредительно приславшие через Lüftpost* корректуру, до сих пор не удосуживаются тиснуть эту злосчастную книжицу.

Все это, впрочем, дела домашние, о которых просто неприлично говорить в газетной статье, и я никогда не решился бы на такую бестактность, если бы, подобно моему гениальному учителю, не чувствовал литературу «как свои штаны».

---

* авиапочта (*нем.*).

Пусть блюстители приличия, в свое время остервенело травившие Розанова на столбцах кадетских газет, говорят о «развязности» и «дурном тоне». Мы знаем (В. В. все слышит, сочувственно улыбается и кивает мне головой), что бывает цинизм от страдания, и знаем, что где-то там, за серыми туманами, — розовые зори в земном небе, радость примирения, любовь без конца. Здесь — все не то, все не так, здесь мы рождаемся с болью («с болью я родился» — в «Уединенном»), с болью живем, с болью умираем, здесь мы томимся в тесной тюрьме, кое-как учимся, кое-как влюбляемся, кое-как влачим крестную ношу, не напрасно веруя, что есть

Где-то там, за синей далью
Берег вечного веселья,
Незнакомые с печалью
Гесперидовы сады.
(*Брюсов*)

Это влечение к несбывшейся отчизне звучало в предсмертном Розанове как лейтмотив, как доминанта. Судьба не палкой загнала его в сад смерти, а увлекла любовно и нежно. И разве страшен этот сад? — «Там густа и высока трава, там большие белые звезды, цикуты, и всю ночь там поет соловей. Всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими» (Уайльд). Не страшна смерть, но страшно предсмертное томление.

Жестокие муки испытал Розанов на пути в сад смерти. Вот его последние мысли, записанные Н. В. Розановой:

Последние мысли Розанова *

От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурою, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга очевидно нет, жалкие тряпки, тряпки, тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой во-

* Продиктованы В. В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 г., за месяц до смерти.

дой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому «ад» или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба ничего в природе не существует. Поэтому умирание, по крайней мере, от удара — представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущею и раздражающею остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа — ego * — никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнемождено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ.

В. Розанов.

Но, несмотря на тяжкие страдания, перед самой смертью душа Розанова озарилась необычайным горением. Огромный сдвиг произошел в нем, огромный подъем. Для меня не было ничего неожиданного в том, что Розанов умер христианином, умер вполне «православно». Он всегда утверждал, что религия есть самое важное, самое нужное, что жить без нее невозможно и никакую философию вне религии построить нельзя. Вопрос только о формах; и вполне естественно, что для умирающего Розанова православие, вера его предков, вера его семьи и друзей стала единственно возможной формой религиозного действия. А бездействовать (религиозно) в минуты умирания — невозможно. Наконец, — как

---

* я (*лат.*).

забыться, как уйти от себя человеку, душа которого сплетена «из грязи, нежности, грусти»?

«Я прожил гнусную жизнь, — говорит Хомутов в "Кукушкиных слезах" гр. А. Н. Толстого. — Я малодушный, ничтожный человек. Но нужно, чтобы конец этой муки был прекрасный и торжественный, как удар колокола». Конец Розанова был именно таков, но никто этого не понял.

Критик Г. сказал мне однажды о Розанове: «Жил он как курица и умер как курица» (т. е. малодушно, поджав хвост, примазавшись к Церкви).

Другой собеседник, проф. С., заметил возмущенно: «Непостижимо, как мог Розанов окунуться под конец жизни в самое банальное православие, в наибольшую церковность. Невероятная пошлость!»

На это Розанов мог бы ответить, что если в его жизни и была пошлость, она заключалась только в том, что он был писателем. Во всем же остальном эта жизнь была необычайна, и *необычен в своей обыкновенности* был ее конец.

Мне бесконечно жаль, что в своей книге о Розанове я недостаточно осветил его последние дни. И только недавно, перечитывая письма его дочери, я почувствовал, что необходимо это сделать — лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, Н. В. Розанова не посетует на меня за выдержки из ее писем. Все «домашнее», «личное», «интимное» пропускаю.

«...Получили Вашу телеграмму и так глубоко и больно почувствовали Вашу близость. Да, как часто, часто вспоминал папа своего "милого Эриха", как часто хотел видеть Вас, молча около Вас посидеть... И как все это кажется недавно... Два месяца он болел параличом. У него не действовала левая часть тела. Надо было одно усиленное питание, но его не было, достать было невозможно... Он все слабел, слабел. Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих, кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная. Вся смерть его и его предсмертные дни была одна Осанна Христу. Я была с ним все время в дни его болезни и в его последние дни. Он говорил: "Как радостно, как хорошо. Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мною происходят действительно чудеса, и что за чудеса — расскажу потом, когда-нибудь". "Обнимитесь вы все... Целуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскресе!" Он 4 раза по собственному желанию причастился, 1 раз соборовался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался. Он умер 23-го января ст. стиля, в среду, в 1 час дня. Без всяких мучений. Дыхание становилось все слабее, ему начала мешать слюна. Друзья, окружившие его, положили ему на голову пелену, снятую с мощей (изголовья) преп. Сергия, — слюна сразу перестала течь, он тихо, тихо уснул. Три раза улыбнулся, затем какая-то тень пробежала по лицу,

будто ему было что-то горько, неприятно, почти физически, и он †. Его похоронили в монастыре Черниговской Божьей матери, рядом с любимым К. Н. Леонтьевым. И когда над могилой его служили панихиду, пели о "упокоении души новопреставленного Василия", вместе с ним молились и о "упокоении души монаха Климента". Много страшно чудесного открылось в последние дни его, в смерти и в его погребении. Об этом после. Я пришлю Вам, когда спишу, все, что он диктовал мне во время болезни...» «Да, воистину: "Посрамлю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну". Такой свет, такая радость была вокруг него. Такая светлая кончина, такая Осанна Христу».

«Когда папу хоронили, день был ласковый, теплый, нежный... Как хорошо было бы, если бы Вы... приехали, пошли бы на могилу папы. Дорога через лес и поле. Лес сосновый, темный, напоминает пустыньку св. Серафима Саровского... Вы бы посидели над могилой его, как по-прежнему — молчали бы вдумчиво и в молчании говорили бы неутешно с ним».

(...— Говорю с ним всегда, и далекая могила в Сергиевом Посаде — место моего всегдашнего паломничества.)

«Посылаю Вам все, что диктовал мне папа. Письмо к Мережковскому (первое) писал с страшным надрывом, плакал о великом холоде мира, какой хотел растопить бы...» «...Он говорил, что знает, что умрет, но это радостно ему». «В Москве повсюду ходит легенда, что папа прогнал покойного брата Васю, который хотел стать красноармейцем, и кажется, что даже выгнал его из дома. Перед смертью же действительно причастился, но после сказал: "Дайте мне изображение Иеговы". Его не оказалось. "Тогда дайте мне статую Озириса". Ему подали и он поклонился Озирису... Это — евреи — Гершензон, Эфрос и др. Буквально всюду эта легенда. Из самых разнородных кружков. И так быстро все облетело. Испугались, что папа во Христе умер, и перед смертью понял Его. И поклонился Ему. А как там у Вас приняли папину кончину?»

У нас приняли эту смерть вот как. В «Доме Литераторов», где обычно вывешивались известия о смерти самого маленького журналиста, на смерть Розанова не откликнулись ничем: никакого «вечера памяти», никакого доклада, даже панихиды не было. Не было, повторяю, даже извещения о смерти. Печать (как известно, «голос народа») не сочла нужным уделить внимание «презренному нововременцу».

Литературная братия в своем кругу перекинулась, как водится, коекакими грязненькими анекдотами о Розанове.

Злословие с незлопамятных времен составляет отличительную доблесть русского писателя. Вспомним вздох Блока (тоже достаточно страдавшего от злословия):

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить, и работать,
Не зная извечной вражды...

Клевету и сплетню не будем, однако, смешивать с легендою.

Смерть большого писателя всегда порождает легенды и, в сущности, нет такой легенды, которая не имела бы внутреннего основания, хотя бы слабого подобия правды. В «легенде» Гершензона, Эфроса и пр. есть доля внутренней правды, хотя и лишенной внешнего основания. В ней есть вероятие и доля правдоподобия.

З. Н. Гиппиус вскоре после смерти Розанова передала мне от слова до слова рассказы про Иегову и Озириса, присоединила к нему еще Аписа, Изиду и Астарту. Такое обилие богов повергло меня в смущение, и я пытался протестовать, ссылаясь на свидетельства Над<ежды> Вас<ильевны> Розановой.

Но с женщиной спорить, разумеется, бесполезно, особенно со столь энергичной, как пленительная З. Н. Гипппиус, о которой покойный Розанов говорил с восторгом и страхом: «Не женщина, а сущий черт».

Почитатели розановского иудаизма утверждают, что православное настроение Розанова было всецело подготовлено свящ. Флоренским. П. А. Флоренский действительно имел большое влияние на Розанова и старался укрепить его в православии, но я не допускаю и мысли, чтобы Флоренский мог бы «инсценировать христианскую кончину». Повторяю, бессмысленных легенд не существует. Поэтому не станем отвергать «гипотезу Гершензона—Эфроса», если даже она и лишена фактического основания. Но противоречие с самим собою (выразившееся в «христианской кончине») несравненно более похоже на Розанова, чем идейная последовательность.

Он жил «наперекор стихиям» и, подобно Уитмену, был «вместителен настолько, что совмещать умел противоречия».



Царское Село — снежные сугробы за окном. Голубоватое сияние луны. Тишина — ненарушимая.

...Сергиев Посад. Пеленою снежною, глубоким безмолвием окутана далекая могила...

«Может быть, мы всю жизнь живем, чтобы *заслужить могилу*».

Оглядываюсь назад: мелкими шажками, шмыгающей своей походкой входит ко мне В. В. Мы целуемся, молча, без слов. Он садится в крес-

ло, поджав под себя ногу, другой ногой трясет по своему обыкновению. Закуривает, жмурится от дыма. И говорит, как бывало:

«Пишите, пишите, но без "похвального слова": откройте всю правду обо мне и свою собственную правду. Я счастлив, что мы нашли друг друга. Одни и те же песни без слов звучат в наших душах, и мы одни слышим и знаем, о чем поют эти песни...»

...За окном глубокая ночь. Тишина. Сугробы снега. Мы одни в целом мире. Нет времени, нет пространства и близко долгожданное Утро.

А. А. Измайлов

ЗАКАТ ЕРЕСИАРХА

(† В. В. Розанов)

Пришел внезапный великий ветер от пустыни, как во дни Иова, и снес, как срезал, храмину русской литературы. И среди развалин и гробов высится гроб Розанова, точно его не могут убрать. Об этой смерти, больше чем о всех других, говорят здесь, на берегах Невы, на развалинах былых русских Афин. Мертвый, он занимает собою ничуть не меньше, чем живой, и в гробу он все тот же пререкаемый, прекословный, спорный — «руце его на всех, и руце всех на него».

Он уже не суетится среди нашей литературной сутолоки, в традиционном пиджачке, с «неакадемическим», непоэтическим лицом, сам с головой ушедший в ничтожные, «слишком человеческие» заботы, но той «величественной позы», какую создает торжественное отдаление смерти, у него нет и сейчас, когда он перестал быть человеком и стал *явлением*.

Напротив, чудится, что еще целый десяток лет он напомнит шумом и стуком полемики, что над его могилой суждено еще прозвучать восторгам и хулам, каких он не слышал при жизни, что и теперь, с устранением личных пристрастий, этот гений для одних останется писателем-обывателем для других.

И камни еще летят по его следу. Это всегда заставляет насторожиться, — камнями иногда побивали пророков.

Однажды в «Русском Труде» С. Ф. Шарапов первый истерически выкрикнул, что в России сейчас здравствуют три гения: Толстой, Вл. Соловьев и Розанов. Мир до того скептик и завистник, что даже слыша с небес «Сей есть сын мой возлюбленный!» — говорит: «Гром бысть!» Принято

было хохотать надо всем, что ни скажет Шарапов, как над гоголевским Антоном Прокофьевичем, которому говорили: «На что вы дразните собак?» — когда он не имел о собаках и помысла.

На патетическое восклицание Шарапова печатно улыбнулся один-другой фельетонист. «Розанов — гений», и как кстати рядом с этим гением Соловьев, тот самый, что навеки приклеил к нему позорный ярлык Иудушки Головлева!

Может быть, впервые над Розановым серьезно задумались тогда, когда гораздо более авторитетный Мережковский сравнил его с Ницше, и как сравнил!

— «Мыслитель, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже больше, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности» («Толстой и Достоевский»).

«Ницше!» «Гениальность!» И это о Розанове? Гений, пишущий в дышащем на ладан «Рус<ском> Обозрении», в великолепных «Моск<овских> Ведомостях» и «Торгово-Промышл<енной> Газете»? О чем пишущий, — о таких высокоинтересных и современных материях, как славянофильство, Леонтьев, христианство в истории и брачный процесс? Разве бракоразводными делами интересуется еще кто-нибудь, кроме служащих в консисториях? Разве в «Торг<ово>-пром<ышленной> газете» пишут еще о чем-нибудь, кроме цен на жиры, нефть, хлопок и металл? И этот человек не может писать короче, чем на полтора листа! И наконец, эти кавычки, скобки, подчеркивания. А какой его формуляр?

О Розанове справлялись, но он был решительно чужд всем кружкам, ведом разве в одной квартире Страхова. Что узнавали о нем, было отнюдь не занимательно. В формуляре не было ни интересности, ни неожиданности, ни страдания. Одиночка. Однодум. Был учителем «истории с географией» — почти смешно! — где-то в Брянске. Теперь на службе в Госуд<арственном> контроле у елейно-лампадного Тертия Филиппова. Теперь на жалованьи у Суворина. Вот, от альфы до омеги, исключающее гениальность.



Но сталкивались с случайными людьми, со студентом, учителем, — и вдруг чувствовали тепло, иногда горячность, порой огонь около этого имени. Были люди, которые зачитывались этим писателем, пишущим в «Торг<ово>-промышленной», его любили, его строк искали, ему писали, как никому.

— Но «Торг<ово>-пром<ышленная>»!

— Да, это только несуразное место, потому что он сам — несуразный человек, идущий в первую открывшуюся перед ним дверь (сам потом написал это о себе), но все, что он пишет, — захватывающе интересно, бу-

дет ли это о Христе и Достоевском, католицизме или евреях, революции или половом влечении. Ко всему он подходит удивительно своеобразно. У него как-то так устроен глаз, что он видит вещи со стороны, всеми пренебреженной, этот человек пишет мыслью. В «Торг<ово>-пром<ышленной>» он пишет обо всем, кроме торговли и промышленности, но, думается, если бы он писал о хлопке и нефти, он попутно бы бросил кучу философских и художественных замечаний. И когда вы «втянетесь» в Розанова, вам понравится и его стиль, узнаваемый «с трех строк», и эти его кавычки, как родинки на любимом лице...

Слушали, улыбались, но, уходя, уносили зерно интереса к «не совсем обыкновенному» писателю, идущему во все открытые двери. И мало-помалу взламывался ледок. И кто натыкался сразу на «Легенду о Великом Инквизиторе», сразу же мог понять, что имеет дело с глубоким умом.

Мало, однако, совершенно открыто признать, что настоящая известность пришла к Розанову, вскормленышу «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей», совершенно так же, как она пришла к Чехову, питомцу «Осколков» и «Пб. Газеты», — только тогда, когда он появился, как постоянный фельетонист, в «Новом Времени». Только здесь, — и, м<ожет> б<ыть>, не без подсказа Суворина, — Розанов нашел форму, какой ему недоставало, — форму сжатого фельетона, маленькой статьи, освобожденной от громоздкой артиллерии мысли первых работ.

И только тут он нашел простор *своим* мыслям, таким далеким от умонастроений всяких редакций и редакторов, таким сектантским и еретическим. Никто из этих редакторов не был с ним в паре, не шел в ногу. Одним из величайших и курьезных русских недоразумений было то, что его, бунтаря и ересиарха, революционера с бомбой в кармане против всех святынь и твердынь, каприз российской случайности занес в богоугоднейший «Русский Вестник», даже не в воинствующего Каткова, а его выдохшихся и анемичных эпигонов!

Суворин тоже ни в каком случае не был ему парой. Даже простыми попутчиками они были с великой натяжкой, в самом широком смысле, — в последней, пожалуй, точке пути. Оба были *очень* русские, путанные, впечатлительно-непостоянные, с «истерикой» во вкусе Рогожина, влюбленные в русское и ненавидящие русское, оба заглядывающие куда-то много дальше за формы нынешней политики через головы Горемыкиных. В сущности, и политика, и люди были обоим глубоко неинтересны, но Суворину нужны, как практику, «хозяину» и редактору, — Розанову же решительно, неприлично-неинтересны, так-таки до полного и характерного для него «наплевать».

«Хозяин» нередко возвращал работнику его труд, «ворочая статью», но было договорено, что это нисколько не ранило самолюбия, не било по карману. Здесь Розанов нашел то, чего еще никто не дал ему нигде:

волю писать о чем ему нравится. В нововременском «парламенте мнений» могло быть заслушано суждение человека, всегда изумительно оригинального и решительно непохожего на других, — в этом смысле Суворин был римлянин, тащивший в свой пантеон чужих богов, ничуть не поклоняемых.

И сам он нравился Розанову каким-то подобием себе, начиная тем, что и тот начал тоже с учительства, с географии и истории в каком-то Боброве, продолжая этой «жизнью по настроению», даже до идейного разгильдяйства... «Мои собственные недостатки, когда я их встречаю в других, нисколько не противны» («Уединенное»). И как Розанов написал о себе: «Я пишу не на гербовой бумаге» (всегда могу взять назад и всегда можете разорвать), — так точно сторонником неколеблющихся слов и «гербовой бумаги» в литературе — никогда не был и творец «Нов<ого> Вр<емени>».

В этом они были и почти пара, и Розанов признавался, что редко еще переживал такое большое удовольствие, как его беседы ночью, уже в третьем часу при спуске газеты в машину, когда они оба, — один, просмотревший фельетон, другой, отбывший свои редакторские обязанности, в халате, весело-нервный и необычайно возбужденный — задерживались иногда на целый час где-то на лестнице, на пороге, не успевая наговориться...



Фельетонист в философах — чепуха. Философ в фельетонистах — один из величайших капризов русского бытия, — вовсе, однако, недурных, если у этого философа не слог Канта. Такое сочетание являл Розанов.

К этому времени он отточил слово до своеобразнейшего совершенства и большой оригинальности: его узнаешь по трем строкам, как Достоевского или Толстого, как Дорошевича или Бальмонта. После нескольких опытов его в лирике, после одной «Голубой любви» в «Уединенном» невозможно спорить, что в нем таился настоящий художник, только по свойствам дара своего он и не умел, и не хотел на одну минуту явиться в маске, мог только прямо писать *Я*, и был настолько чужд всякого ухищрения формы, что его немыслимо представить пишущим стихи. Маленькие статейки в газете, выливавшиеся у него из-под пера под случайным настроением, округлялись в законченные стихотворения в прозе.

И здесь уже Розанова читали. Читали и те, кого он злил каждой своей строкой, и те, кого он каждой строкой радовал. Было величайшим недоразумением принимать его как политика. Здесь его отличало самое грубое непонимание вещей, незнание азбуки, тяжкая неспособность по-

нять явление в жизненно-практическом ракурсе, почти тупость, как сказал бы о себе он сам со свойственным ему выбором последних слов, обидных, как плевок. Не сам ли он рассказал о себе однажды, как ответственнейший для России день объявления манифеста 17 октября он «пролежал в пару» в банях на Знаменской, «отложив все попечения», радостный, что ни сегодня, ни завтра не придется писать.

Там, где только начиналось касание человека к политике и общественности, Розанов становился иногда истинным богом бестактности, и хульные глаголы, от которых могла зауглиться страница, падали на бумагу. Декабристы — это «буффонада», Некрасов — погубитель тысяч юношей, Салтыков, этот «ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление», Михайловский — Судейкин, Гоголь — «архиерей мертвечины», «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь», Бокль — Добчинский, Дарвину — даже честь происходить от умной обезьяны, у Спенсера — лошадиная голова, и — «что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды!» А надо всем этим — «частная жизнь выше всего» и «моя кухонная книжка стоит "Писем Тургенева к Виардо"!»



Он кощунствовал, он глумился! Его почитателям иногда оставалось хвататься за голову при каждом новом и новом его идейном ляпсусе. А он с каждым новым политическим фельетоном (тянуло, как преступника на место преступления!), с каждой новой хулой на чудотворные иконы интеллигенции, на Герцена, на Некрасова, — все глуше и глуше лез в трясину, словно бы ему нравился этот лай из всех подворотен, какой поднимался после каждой его вылазки. Вот кто испытал истинное наслаждение матадора!

Или при своем презрении к «текущей литературе» он просто не читал этого? Вполне возможно. Во второй половине жизни, обожая старые книги, он ненавидел Гуттенберга за новые. С удовольствием расписывался он в том, что никогда не читал Щедрина, не прочел «Растеряевой улицы», из Шопенгауэра «прочел только первую половину первой страницы» «Мира как воля». Когда я, смеясь, сказал ему, что он притворяется, он написал в «Опавших листьях»: «Измайлов не верит, будто я не читал Щедрина», и мотивированно подтвердил факт. Не читал, потому что со Страховым, Рцы, Флоренским и Рачинским, зная «суть» его, считал бы «невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина» .

Глубокое недоразумение, что ему казалось нужным откликаться на политику в то политическое время, что никто из редакторов не сумел ему сказать: «Брось не свое дело», что критика прежде всего и *только* считалась с ним, как с политиком. Он скопил томик политических ста-

тей, и это — самое незначительное и последнее в его наследстве, как стихи у Шопенгауэра, как толкование на Апокалипсис у Ньютона.

И насколько же проникновеннее и умнее присяжных критиков и фельетонистов оказывался простой зауряд-читатель, давно почувствовавший центр тяжести писаний Розанова совсем в другом! Как хорошо понимала его какая-нибудь простая женщина-мать, задетая им и славшая ему горячие от горячего сердца строки хотя бы за то, что первый на столько веков он догадался спросить у церкви, почему среди тысяч своих молитв и воздыханий она ни разу не поклонилась и не вздохнула на беременную.



Но отшвырните политику Розанова, как она того стоит, и весь этот последний период выявлений его предстанет сплошным пламенением его таланта, всем предшествующим опытом взвинченного и раскаленного до высокой и, конечно, болезненной точки. «Болею склерозом головного мозга, — прочитал я однажды жуткие слова в одном из его прошений, — содержащего в себе непрерывную угрозу нервного удара и смерти, по приговору врачей Карпинского, Шернваля и Жихарева». Так вот где догадка и его метаний, и его прозрений, и всего в нем странного, и этого умственного перенасыщения! — подумал я тогда.

Подобно Ницше, и с больною же самомнительностью Ницше (в «Ecce homo») Розанов сам удивлялся в себе этому неустанному кипению мыслей, вихрю дум, углублений, подмечаний, подслушиваний у природы, — этому смерчу, головокружительно несшему его, помимо веры, куда-то вперед. Не было возможности всего схватить, вместить, передумать, записать. Вечное истечение, бездонность, ненасытность!

Метель мела в человеке, в котором было нечто совершенно явное от пророка в ветхозаветном понимании или от... сумасшедшего дома. Если бы Розанов не умер раньше срока, убитый жизнью, аннулированный ею за год до финала, он, вне всякого сомнения, сошел бы с ума. Некоторые медицинские авторитеты считали его уже ненормальным.

Писательская производительность Розанова последнего десятилетия — исключительна. В сущности, все эти годы, за одним-единственным исключением «Легенды о Великом Инквизиторе», рождено и собрано им все лучшее. На пространстве нескольких годов он выбросил то, что обычно писатель производит за целую жизнь. И он хотел бы и мог писать еще и скучал, что ему *негде* писать, что Суворин печатает *мало*, и на его столе в час смерти действительно оказалось столько готового («Из восточных мотивов» — о Египте), сколько редко находится у писателя.

В эти годы он именно был «в зените», в той точке расцвета, когда, по его собственному пониманию, и надо сниматься человеку на единствен-

ной *настоящей* фотографии. За несколько лет до смерти, в период работы в «Русском Слове», этот некрасивый в общепринятом смысле человек (каким он много раз признавал себя в книгах) похорошел до возможной степени. Бывают лица, становящиеся положительно лучше с приближением старости. Так, несомненно, было с ним. «Мы выслуживаем себе к концу жизни лицо, как солдаты Георгия», написал он в одной из самых ранних своих книг, и он так выслужил себе лицо весь век упрямо мыслившего профессора (почти двойник в известном и очень талантливом историке С. Ф. Платонове).

С летами исчезла застенчивость, неуклюжесть (его слово), во взгляде сквозь туго вытянутые золотые очки, остром и почти сверлящем, чувствовалось расчленяющее, испытующее внимание. И — в то же время бездна чего-то неисправимо студенческого, от молодости — в торопливости, нетерпеливости, в нервном зажигании и подхватывании папирос, в манере поджимать под себя ногу на схваченном и близко к собеседнику придвинутом стуле.

Портрет такого Розанова в самом деле неизмеримо лучше и достойнее его, чем те молодые, где, худой и бледный, с испуганными бровями и едва отраженной печатающим солнцем растительностью, он больше кажется типичным чиновником консистории, «руки по швам», чем писателем, умевшим властвовать, смущать совесть, проклинать и благословлять.



Розанов — явление настолько сложное, настолько не монолитное, настолько всю жизнь «бродившее», что нет решительно никакой возможности охватить его в беглом фельетоне. Если у Ницше тысячи противоречий, у Розанова их — тьмы. Его рука иногда вечером писала противоположное тому, что написала утром. Он поддерживал с упрямством фанатика бессмысленный навет на еврейство, и он слал в магазин «Н<ового Вр<емени>» приказ сжечь все эти четыре книжки. Глубочайшие и сверкающие, как алмаз, мысли иногда валяются у него среди битого стекла.

Можно прочесть целый ряд лекций по каждой из тем, глубоко его волновавших, — о поле, о месте христианства в истории, о Достоевском или Леонтьеве, о православии и русской семье, о религии и культуре, о русском сектантстве, тайнозрительстве еврейства или египетских откровениях. И можно собрать и читать два часа об его промахах, и ошибках, хулах и почти клеветах.

Можно представить его Патроклом и — при желании — «презрительным Терситом», «осколком гения», который мог бы «наполнить багровыми клубами дыма мир», и Макаром Девушкиным из «Бедных лю-

дей», вытряхивающим из экономии окурки; ересиархом, посягающим на церковь с неистовством врат адовых, и смиренным кающимся, бьющим себя в наболевшие перси в тоске отчаяния: «Запутался мой ум, совершенно запутался! Всю жизнь посвятить на разрушение того, что *одно* в мире любил, — была ли у кого печальнее судьба!» — надменным мыслителем, совершенно в духе Ницше, открыто возвещающим свою силу, свою славу — «Мне многое пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше», и — «Каждая моя строка есть священное писание!» — и бедным, заблудившимся умом, уже с напоминанием ницшевского: «Mutter, ich bin dumm» * — «Вот чего я совершенно и окончательно не знаю, — что-нибудь я или ничто!»

А к этому, отпечатлевшемуся в книгах образу, дополнительно еще образ Розанова личности — человек, которого мы знали, который, спеша высказаться, говорил с вами около своей библиотеки, ехал с вами на извозчике, всматривался в загулявшего Распутина, ворчал на гоголевских торжествах, пододвигал стакан с чаем за столом своей столовой. Вся сложность его выступала здесь, в живом общении, здесь он играл всеми цветами самородка, и, конечно, об *этом* Розанове по его кличам, по его биографиям будет представление только такое, как о драгоценном камне по минералогическому атласу. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти». Попробуйте воссоздать эту амальгаму!



Страшно умирал Розанов, во многом повторяя Гоголя, с его метаниями, с его судорожными хватаньями за религию, с его галлюцинациями величайших, апокалиптических откровений («Действительно, действительно времена Апокалипсиса. Они пришли, они — вот! Господи!.. Но мне страшно досказывать вам в частном письме...» — в одном из последних предсмертных ко мне писем), с его даже сожжением своего труда, только не в рукописях, а в печати («Прошу — с внезапным переходом на "ты", — проверь, чтобы в магазинах "Нов<ого> Вр<емени>" и складах были действительно уничтожены, т. е. действительно и на глазах, все четыре книги против евреев»). Как всегда, тут были вздохи и слезы, умиление и бунт, падения на колени с разбиванием до боли колен, и рядом кощунства и отречения.

Но умер он со всем примиренный, все поняв, все приняв, все простив. «Все — как надо». Благословен Воскресший из мертвых!

В последней прижизненной и им прочтенной своей статье о Розанове, почти отходной (под впечатлением его страшных, психозных писем)

* «Мама, я глупец» (*нем.*).

я вспоминал недавно перед тем происшедший случай: при перевозке цирка Гагенбека, где-то в Германии, поезд сошел с рельс. Ничто и никто не пострадал в вагонах, но — четыре берберских льва были найдены мертвыми. Испуг льва нечто столь страшное, что сердце льва его не выносит.

Таковы таинства натуры, — писал я, — робкие зайцы и хрупкие лани — съежились и отделались легким испугом. «Так при мировых катаклизмах, когда маленький человек благополучно живет и спекулирует, Ницше и Розановы сходят с ума или умирают».

Он еще успел поправить меня, крикнуть из Сергиева Посада:

— «Нет, не алжирский лев перед Вами, умирающий от перепуга, а собака, без папиросы ("одно утешение!")... Отчаяние полное, лютое отчаяние. Бегите, помогайте! Спеши, спеши, Измаил, сын Агари!..».

Это было его последнее письмо. И оно было так печально созвучно с последней страницей «Уединенного»:

— Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости.

М. А. Каллаш

О РОЗАНОВЕ

Розанов провел остаток своих дней не на «Коломенской улице», а в Сергиевом Посаде вблизи одной из величайших святынь Православия, около своего друга о. Павла Флоренского. И он не только смирился, покорился, покаялся, но припал ко Христу радостно, как Фома: «Господь мой и Бог мой!».

Знаменательно, что Розанову в конце его жизни пришлось не только пройти через полное распадение быта, но и самому стать жертвою этого распадения.

Поэт быта и «*своего* дома», строитель «гнезда», говоривший — «мелочи — суть мои «боги», Розанов лишился всего «своего» и умер от голода и от истощения в нетопленом каком-то случайном жилье, испив до конца всю чашу бедствий и нищеты, которым обрекла его русская революция.

Но «очерк его лица» даже в самом его умирании не исчез: трагическое переплеталось со своеобразным *розановским* как во внешней обстановке его последних дней, так и в его внутренних проявлениях.

Из слов одного из близких его друзей, не покидавших его до последней минуты, вот что мне запомнилось:

> В ужасных условиях он умирал. В доме был холод нестерпимый, и чтобы согреть его как-нибудь, его накрыли всеми шалями и шубами, какие только нашлись, а на голову ему надели какой-то нелепый розовый капор, из тех, в которых прежде ездили дамы в театр. Так он и лежал под грудой этого тряпья, худой, маленький, бесконечно жалкий и трогательный в этом комичном розовом капоре — остатке его прежнего «дома». Он не жаловался, ничего не просил, только иногда говорил, точно с самим собой, «по-розановски»:

— Сметанки хочется... каждому человеку в жизни хочется сметанки.

Умирал он вполне сознательно и без страха. Хотел исповедаться и причаститься перед смертью, и когда о. Павел Флоренский предложил ему совершить таинство исповеди, Вас. Вас. ответил:

— Нет... Где же вам меня исповедовать... Вы подойдете ко мне со снисхождением и с «психологией» как к «Розанову»... а этого нельзя. Приведите ко мне простого батюшку, приведите «попика» самого серенького, даже самого плохенького, который и не слыхал о Розанове, а будет исповедовать *грешного раба Божия Василия*. Так лучше.

Эти слова и упоминание о «сметанке» — были последними «опавшими листьями» Розанова...

Он скончался, читая Символ веры. Прочел до конца и затих...

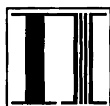
Похоронили его, согласно его желанию, рядом с могилой Константина Леонтьева на кладбище Троице-Сергиевой лавры.

Предчувствие Розанова о себе исполнилось: задолго еще до революции он писал:

> Конечно, я умру *все-таки с Церковью*, конечно, Церковь мне *неизмеримо больше нужна, чем литература* (совсем не нужна), *и духовенство все-таки всех* (сословий) *милее...*

Э. Ф. Голлербах

ЗАВЕТ РОЗАНОВА



окойный Василий Васильевич Розанов 30 (17) января 1919 г., перед смертью, продиктовал своей младшей дочери следующее письмо:

> Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоднее мир становится и что они должны больше и больше <стараться> как-нибудь предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой. Что ничего нет хуже разделения и злобы, и чтобы они всё друг другу забыли и перестали бы ссориться. Всё это чепуха. Все литературные ссоры просто чепуха и злое наваждение. Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом.
>
> Всегда помните Христа и Бога нашего. Поклоняйтесь Троице безначальной и животворящей и изначальной.
>
> Флоренского, Мокринского и Фуделя и потом графов Олсуфьевых прошу позаботиться о моей семье, и также Дурылина и всех, кто меня хорошо помнит. Прошу <и> Пешкова позаботиться о моей семье.

Надежда Васильевна Розанова предоставила в распоряжение пишущего эти строки целый ряд документов — предсмертных писем (в копиях), записок, завещаний, и т. п., относящихся к последним дням жизни покойного писателя. Опубликование всего этого материала полностью представляется нам преждевременным. Необходимо только опровергнуть легенду, широко распространившуюся в Москве и Петрограде: будто В. В. после причастия поклонился изображениям Иеговы, Астарты и Озириса. **Этого не было.** В. В. умирал со словами: «Христос Воскрес».

Виктор Ховин

РОЗАНОВ УМЕР

Что вещам «больно», это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это «больно» проходит нежность... Мне иногда кажется, что я вечно бы с людьми «воровал у Бога»... не тó золотые яблоки, не тó счастье, вот это убавление грусти, вот это убавление боли, вот эту ужасную смертность и «окончательность людей», что все «кончается» и все не «вечно».

В. Розанов

Папа умер... приезжайте.

Из телеграммы



ногословный, велеречивый некролог?

Словесные венки на гроб умершего?

Или клятвы верности заветам его над только что засыпанной могилой?

Ну, как же все это не нужно над могилой Василия Розанова.

Так и должно было случиться, что умер он такой «домашней» смертью, и что тело его повезли на деревенских дрогах, и что могила его не на литературных мостках столицы, а на одиноком кладбище Черниговского монастыря, в снежных сугробах Сергиева Посада.

Так должно было случиться...

И так случилось.

Случилось у стен радостно расцвеченной, расписной Троице-Сергиевой лавры, дряхлого памятника старой Руси, гордо возносящего свои золотые купола над бесплодными, увы, песками нашей «новой», позором немощи испепеленной России.

Здесь, у этих стен, притулился Розанов, одинокий, с вздыбленной совестью, безудержный человек.

Здесь, в крохотном Посаде, в таком провинциальном домике, попрежнему «сидел у окна» он, мистик домашнего уюта, домашнего тепла, и смотрел вдаль за каменную ограду Лавры, поверх золоченых куполов ее, смотрел, исходя своими полу-думами, полу-мыслями о человеке и родине.

И по-прежнему тихо и тяжело вздыхал.

И какой бы это ересью ни показалось, но Розанов, он один, единственный из современников, был единственной совестью нашей, совестью современности.

— Пренебрег веками созидаемой благоустроенностью душ наших к морали нашей, пренебрег всякими покровами и всякой мишурой какой бы то ни было фразеологии, презрел косметику, коей так старательно украшала нас фальшивая в своей выспренности и ходульная в своей изощренности многовековая цивилизация наша, оголился донельзя, так, как никто до него, и...

заболел.

Тяжело, мучительно заболел тяжелой и мучительной болезнью совести. И, заболев, с настойчивостью и беспощадностью маниака, с рвением и непримиримостью религиозного безумца, со словами откровений, достойными его гения, стал всенародно каяться в греховности человеческого существа своего.

...каяться в греховности своей и так же настойчиво, так же беспощадно *упорствовать* в ней.

О, это было ужасное, отчаянное покаяние.

И современники не выдерживали: одни зажмурили глаза, другие боязливо обходили такое страшное и такое странное по неожиданности своей, по всей обстановке своей место казни.

. . . .
. . . .
. . . .

Умер он, успокоенный, в тихом мерцании лампад, под благовест многокупольной, золотом расцвеченной Лавры.

Умер так, как должно было только мечтаться ему раньше, не верилось, что э т о будет т а к.

Умер и, как всегда откровенный в противоречиях, даже самой смертью своей, такой христианнейшей смертью, впал в последнее на своем жизненном пути противоречие.

Но те,

кто любил Розанова, именно любил, а не ценил как мыслителя, или как философа, или как писателя (недаром такая любовь была страшна ему самому);

кто любил его интимнейшею из пишущих и писавших, любил особой, нежной, «домашней», что ли, любовью;

кто за каждым словом его и за каждым поступком его, каковы бы они ни были, различал едва слышимый часто, но всегда такой больной вздох, — вздох о человеке, брошенном так безжалостно, так сиротливо в этот огромный неуютный мир;

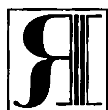
те, кто бы они ни были и как бы и во что ни верили, должны, — радоваться этому последнему противоречию его жизни...

Должны радоваться такой успокоенной смерти, и этому умиротворяющему мерцанию лампад, и этому торжественному благовесту церковному.

Сергиев Посад

А. В. Бахрах

АНДРЕ ЖИД


как-то невзначай упомянул имя Розанова. Это имя было ему совершенно незнакомо и ново, и он никак не мог связать его со всем тем, что он знал о русской литературе начала века. Но недаром говорится, что «на ловца и зверь бежит». Вскоре после этого разговора в витрине какой-то маленькой каннской книжной лавки я, не веря глазам своим, увидал вдруг французский перевод «Уединенного» вместе с «Апокалипсисом нашего времени». Ведь это была единственная розановская книга, в то время переведенная на французский язык. Я с радостью принес ему эту «редкость», а через несколько дней он мне сказал:

— Знаете, я прошлой ночью начал читать «вашу» книгу и не мог даже потушить лампы – читал с увлечением и любопытством, не в силах остановиться, потому что я все время чувствовал, что вот на следующей странице я непременно наткнусь на что-то из ряда вон выходящее, чтобы не сказать «гениальное», что-то такое, что меня пронзит. Я почти всю ночь предвкушал этот момент. Но с этим чувством я дошел до последней страницы и, перевернув ее, уже рассветало, ожидавшегося «озарения» так и не почувствовал. Это меня сильно разочаровало.

Л. М. Клейнборт

<ВСТРЕЧИ>
В. В. РОЗАНОВ

I

В Литературном обществе был назначен доклад Д. С. Мережковского. Он уже был прочитан где-то. Тема была острая — о «Вехах», об отщепенстве русской революционной интеллигенции. И Мережковский повторял свой доклад.

Я пробирался в зал, чтобы занять себе место, но у входа задержал меня П. А. Перлин. Он стоял с блондином с легкой проседью и рыжей бородкой, который что-то скороговорочкой говорил ему. Я знал, видал его на собраниях Религиозно-философского общества. Это был В. В. Розанов из «Нового Времени».

— Вы не знакомы? — спросил Перлин и назвал меня.

— Розанов, — протянул он мне руку. — Рад, рад...

Я смотрю на этого журналиста из совсем другого, полярно противоположного лагеря: теперь — когда он говорит скороговорочкой, с ужимками, — он до странности оживляет в моей памяти какой-то давно прошедший образ. Я силюсь его вспомнить. Ах, да... Наш математик... учитель гимназии, в которой я когда-то учился...

Покровский, вылитый Покровский... те же глазки под очками, тот же кирпичный цвет лица, тот же клок волос над лбом. Даже так же точно выбрызгивает слова. Учитель среднего провинциального города. Но об этом потом.

А вот — как это П. А. Перлин и В. В. Розанов так благодушно причалили другу к другу? Что писатели, полемизировавшие в печати, и очень остро, поддерживали личные отношения между собой, не было ничего удивительного. Но была зона, которую не переходили, — реакционная печать, злачные места вроде «Московских Ведомостей», «Русского Обо-

зрения» и т. д. К числу их, конечно, относилось «Новое Время». Розанов же побывал и в «Московских Ведомостях», и в «Русском Обозрении». Теперь же состоял одним из китов «Нового Времени».

Правда, когда подошли дни «свободы» и общественное движение разлилось по всей стране, Розанов как-то затесался в издания П. Б. Струве, Н. А. Бердяева, заговорил о том, что Святая Русь ему уже не нужна, что свет с Запада. Но вот одолела Святая Русь, начальство встало на ноги, и он, Розанов, на тех же местах, где был, где изуверствовал против Льва Толстого, против Салтыкова-Щедрина. Та же тень на нем — тень «Нового Времени».

— Как это вы сошлись? — спрашиваю я Перлина, когда мы остаемся вдвоем.

— Что же тут! У Розанова посейчас бывает весь цвет литературы: Мережковский, Бердяев, Вяч. Иванов. Это же не Меньшиков.

— Но кто это так зло пишет и про Меньшикова, и про Розанова?

— Ну, вот... Познакомились мы у Сологуба и разговариваем, как ни в чем не бывало.

Но вот звонок к докладу, президиум уже занимает свои места. Я теряю из виду и Перлина, и Розанова.

II

Я отнюдь не хочу ставить на вид Перлину общение с этим «филистимлянином». Ведь сам по себе Розанов представляет явление, столь выходящее из ряду Мещерских (и Сувориных), Бурениных, что измерять его квалификацией от направлений нельзя. Для этого он слишком сложен.

Правда, от писаний его, столь оголенных, веет то и дело какими-то низшими сферами, столь низкими, что вспомнишь Федора Карамазова, Иудушку Головлева, с его вывихами, гримасами, с его душевным иезуитизмом, а то Передонова <одержимого>, с его Недотыкомкой, злой и бесстыжей. Кажется, он «самый обыкновенный человек». По крайней мере, он сам себя так рекомендует: «позвольте полный титул: коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения». Но вспомните, почитайте, что этот коллежский советник выплевывает о людях необыкновенных.

Когда-то некий Сопоцько, бывший толстовец, человек, пользовавшийся расположением самого писателя, вдруг начал издавать листки против Толстого. Это уже был для него «разбойник пера», «Левка Брюхан». «Мы возглашаем, — писал он, — Левке, Колькину сыну, анафема». Вот этим языком обращается и Розанов к Толстому, в свою очередь, перед тем проехавшись в Ясную Поляну. «Ты ищешь веревки, на которой бы удавиться. Прими в самой малой частице советы мои, и тот бес, кото-

рый мучит тебя, этот дух тебя оставит, и ты узнаешь радость. Не смей осуждать. Я тебя осудил».

[Проехавшись в Ясную Поляну, он писал: «Автор "Войны и мира"? Я не верил глазам, т. е. счастью, что вижу. Мне он показался безусловно прекрасен. Именно так, как ему дóлжно быть. Только не здесь, в барской усадьбе. Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря в хибарочке "старцем". Так я увидел "Монблан" нашей жизни. Прощаясь, я поцеловал его руку — ту благородную руку, которая написала "Войну и мир" и "Анну Каренину" и столько, столько еще, что, читая, мы были счастливы и говорили про себя: "как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него"».]

Но одного ли Толстого он «осудил»? Спенсер у него «болван, лошадиная голова. Что с таким дураком делать, как не выдрать за бакенбарды?». Ренану, как и Штраусу, по его словам, нужно «дать под зад», Чернышевскому «дать по морде, как навонявшему в комнате конюху». Даже Гоголь, выходит, «идиот», «человек с пошлой и глупой головой». О Леониде Андрееве он пишет: «если судить по многочисленным фотографиям, развешанным в разных витринах, где "Леонид Андреев" красуется около девиц Отеро, Кавальери и Клео де Мерод, то он почти так же хорош, как те барышни. Только что фотографии не раскрашены: брюнет или блондин. Меня забирает вопрос: женат ли?».

Трудно сказать, чего здесь больше, пошлости или психопатии, беспримерной в печати. Мудрено ли, если даже столь близкий ему когда-то деятель, как Шарапов, предлагал — тоже печатно — «подвергнуть В. В. Розанова истинному телесному наказанию», хотя и «без повреждения мягких частей». «Неужели, в самом деле, — воскликнул Шарапов, — можно надеть, хотя бы в самое жаркое время, халат сверх ничего, подпоясаться полотенцем и идти гулять по Невскому?» Он даже уверял, что привел в исполнение это — «поднял халат и весьма отшлепал». Мудрено ли, если П. П. Перцов — издатель ряда книг Розанова — сознается: «тут можно испугаться не только за писателя, но и за человека». Даже такой поклонник его, как Э. Ф. Голлербах*, так комментирует фразу из розановского письма к нему («я всегда вспоминаю вас и думаю, отчего около меня нет Эриха»): «...строки эти погрузили меня в глубокое раздумье о корнях нашей дружбы. Живой образ возник передо мной: улыбочки, усмешечки, поцелуи, воркотня... Водоворот взлетов и падений; обоготворение пола и... беззастенчивый эротизм».

И за всем тем достаточно углубиться в его книги, чтобы убедиться, что перед нами художник, философ с оригинальным чувствованием,

* Э. Ф. Голлербах. В. В. Розанов: изд. журн. «Вешние воды». Стр. 41. (Здесь и далее постраничные примеч. автора.)

с глубокой, живой сущностью; писатель, который — вопреки всей этой смердяковщине — все же бьется около самого важного, самого нутряного. Недаром таким людям, как Д. С. Мережковский, Вяч. Иванов, он кажется явлением более гениальным, чем Ницше.

Очевидно, здесь нельзя не отбросить предубеждения. Пусть он некий сфинкс, подпоясавшийся полотенцем сверх халата, нельзя не понять что-то в этом мыслителе, что-то, что он с такой силой ощутил в водовороте своих взлетов и падений.

И я сам, ничего не имея против, был польщен даже, когда этот «советник, пишущий сочинения» — во время антракта — подошел ко мне мягкими шажками и, вглядываясь в меня близорукими глазами, повторил:

— Рад, рад...

— Чему? — удивился я.

— Встретить вас. Ваши статьи лежат у меня на столе.

— Какие статьи?

— О политиках. Принято считать, что трудно говорить правду в глаза правительству. Но еще труднее говорить правду в глаза революционной интеллигенции. А это и есть в ваших статьях.

— Неужели уж так трудно? Вот кончится доклад, услышите немало о своевременности покаяния, перерождения.

— Нет, то бывшие, вы же — настоящий.

— То есть?

— Сами по себе.

Это столыпинская «Россия» писала обо мне и моих статьях: «что сами о себе рассказывают, мерзавцы». Это-то, видимо, вовлекло меня в орбиту внимания Розанова.

— Пора понять, что дурная общественность ведет нас к гибели скорее плохих министров...

III

Он взял меня под руку. Не могу сказать, чтобы эта ласковость, домашняя, была мне приятна.

Я знал, что у Розанова была склонность, которой не было ни у кого из его собратий, — подбираться к «левым». Казалось бы, сотрудник Грингмута и Суворина, приятель Соловьева, начальника по делам печати, почитатель К. П. Победоносцева, что общее он мог здесь обрести, на чем «сойтись». Но вот таков уж этот большой писатель, одержимый мелким бесом, бесом равнин и болот. Вдруг у него затевается «левый роман», который он потом обложит своими «грязнотцами».

Ведь вот же съездил на поклонение к Толстому, прежде чем возгласить: «Левке, Левке, Колькину сыну, анафема». По его словам, сын

Н. К. Михайловского пожелал с ним познакомиться, но он, Розанов, не принял его, и только потому, что он — сын Михайловского. Однако самому Михайловскому он писал письма, как писал их Горькому. Так вот стал ему необходим и А. В. Пешехонов. Прочитав одну из статей Пешехонова — левую из левых, — он вдруг разлетелся к нему с восторженным обращением. Я видел это письмо у Пешехонова. Ему мало было выражения лишь сочувствия. Он жаждал повидаться лично, облобызаться. И то же в таких же выражениях рассказывал мне М. П. Неведомский. Хватает за фалды, заглядывает в глаза. А вдруг свет не у Соловьева, не у Победоносцева? Вдруг он у Пешехонова, у Неведомского, у Горького? А вдруг социализм полюбопытнее «малосольных огурцов в конце июня», которые он так превозносил в своих «Опавших листьях»?

Я знал — ничего из этих обращений у него не выходило. Преуспевал он лишь в салонах Мережковских, Вяч. Иванова в кругах П. Б. Струве, Н. А. Бердяева. Но не в этом была причина моей сдержанности, холодка к его ласковости. Дело было в самих статьях, о которых он заговорил со мной.

Это были статьи «Политические прежде и теперь» и «Политическая эмиграция прежде и теперь», опубликованные мной в журналах «Образование» и «Современный Мир» в 1908—09 гг., статьи, вызвавшие немало толков и в обществе, и в печати.

Писал я о переменах, происходивших в среде политических после 1905—06 гг., когда движение стало столь массовым; когда тюрьмы, столь и не столь отдаленные, центры эмиграции переполнились до отказу меньшевиками, большевиками, эсерами, максималистами, экспроприаторами, матросами, аграрниками, редакторами и т. д., а старая власть победила... Что произошло? Развитие вглубь приостановилось, началась дезорганизация; зловещую трещину дала революционная психология недавнего прошлого. Очевидно, замазывать этого распада не для чего было.

Я не поклонник замазывания недугов только потому, что ими болеет то движение, в рядах которого я иду. И вот, в свою очередь, отсидев в тюрьмах, побывав в эмигрантских центрах, я решил сделать этот поворот предметом ряда статей.

Конечно, писать правду о «политиках» нелегко было, в этом Розанов не ошибался. Это — такая масса острых углов. Щекотливо нереволюционеру говорить о революционерах, тем более революционеру о самом себе. Но вопрос был столь животрепещущ, что я решил поделиться теми наблюдениями, которые вынес из своих вольных и невольных скитаний.

Теперь Розанов хватал меня за фалды, заглядывал в глаза по сему поводу. Я это предвидел: предвидел, что «свои» будут колоть меня, чужие — хвалить.

Вот В. В. Водовозов хвалит меня за «ужасающую правдивость»*, А. С. Изгоев подчеркивает, что я «смело говорю ту правду, которую надо знать» («прекрасные статьи Клейнборта читаются с захватывающим интересом»)»**. Но то Водовозов, Изгоев... Но вот уже правые издания подхватывают мои статьи, хотя они и видят коренной недостаток моих статей: я не пытаюсь «смягчить впечатление от собственного рассказа, нахожу, что старые раны заживут».

Конечно, ласковость Розанова не могла импонировать мне. Однако ничего такого не сказалось в этом разговоре. Нет, какие-то идейные, художественные внушения владеют им. Заметив, что его улыбочки не так уж веселят меня, он даже и улыбаться перестал.

С этого и началось столь же краткое, сколь и необычное знакомство мое с этим любителем малосольных огурцов в конце июня.

IV

Перерыв продолжался минут двадцать, а после перерыва Розанов ушел.

— Я встаю рано, — сказал он мне. — Завел привычку рано, рано гулять.

Он мне показался равным себе. Почти внушал чувство дружелюбия. Недели через три после этого где-то шел диспут. Препирались Ф. Сологуб, Е. В. Аничков и др. — если мне память не изменяет — о бытовом и внебытовом в искусстве. Уже было не рано. Мы с Г. И. Чулковым, С. С. Кондурушкиным уже ужинали в буфете. Смотрю, из залы выходит Розанов. Увидев нас, доедавших блинчики в сметане, он направил свои стопы к нам.

— Где блины, там и мы, — заговорил он. — Впрочем, зачем я приплелся сюда? Что мне до быта... у меня с ним ни два, ни полтора. А! — обратился он ко мне. — Рад, рад, надо же нам кончить разговор.

Он казался мне рассеянным, но, как только заговорил, проявил подвижность ума и слился в моем воображении с математиком, как в тот раз. Но теперь он выглядел по-иному. Что мне бросилось в глаза теперь, это терпкость ума, недоброго, едкого ума. Некая темная природа глядела из глубин его талантливого духа, чего я не разглядел в тот раз.

Казалось, совсем недавно — в 1905—06 гг. — он, Розанов, был совсем левым. Его можно было видеть на митингах, в совете рабочих депутатов. Пешехонов мог, в самом деле, с ним облобызаться.

«Что наша жизнь? — восклицал он в своих статьях, которые уже появлялись не только в "Новом Времени", но и в "Русском Слове". — Служ-



* «Запросы Жизни». 1909 г. № 8. Стр. 12.

** «Речь». 1908 г. № 190. «Лит<ературно->обществ<енный> дневник» и 1909. № 328. «Ли<тературно->обществ<енный> дневник».

ба, картишки, картишки и служба; еще ухаживание за женой ближнего. Что же еще? Еще? Сон после обеда. Мало, душно? Рюмка водки за обедом... Смирновской, мягкой, какой нигде в Европе не выделывается. И сон такой сладкий, как нигде в Европе». «Позорное существование!» * Он, славянофил, единомышленник Н. Н. Страхова, пытавшегося сочетать Ив. Аксакова не то с Катковым, не то с Л. Толстым, теперь писал: «можно ли сказать, что русские имели свою историю? Сомневаемся. Была "история русского терпения", а не история России, как нравственного лица. Сколько терпения! Боже, сколько терпел русский народ, безгласно, глухо, с зажатым ртом, перехваченным горлом! Сколько маленьких деспотов, азиатских ханов — над бедным, рабским населением России».

Что кадеты, октябристы? Он воспевает уже «необъятную силу социал-демократии, сильнейшей Плеве и Сипягина». «Она национальна будто бы. Боже, она национальна, как лапоть, который все носят». Воспевает и этот лапоть. «Что такое Дума, сама по себе. Ничто, машина без пара и паровика. Пар, паровик — это народ, все санкции, вся святыня, вся власть. Это крик истории». Даже о евреях, на которых он извел столько чернил в «Московских Ведомостях», «Новом Времени», он декларирует теперь так: «...сюда бегут и более других "пархатые евреи". Бегут и забывают свою родину. Родоначальные, генеалогические дерева. Ведь здесь только, в первых лучах русской свободы, они впервые почувствовали себя дома».

Словом, свет совсем не у Соловьевых, Победоносцевых. Свет у Пешехоновых, Горьких... Правда, это было тогда, «Когда начальство ушло», как озаглавлен том этих статей, вышедших из печати. Теперь начальство вернулось. Самодержавие одержало верх.

Казалось бы, раз такой том выпущен, раз сам Розанов дает каждому и всякому возможность судить о том, каким он был в годы русской революции, не может же хоть чего-нибудь не остаться у него от этого «энтузиазма», который ему вдруг понадобился. Но в этом разговоре с нами, в этой россыпи мыслей — с ужимочками, с смешками — ничего такого. Революция разбита, разбит и самый смысл ее. Он же и в ту пору писал не одни «красные» или «черные» статьи. Писал «во всех направлениях».

Теперь же он тот же азиат, русский азиат, что и был. Малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтобы с бочку прилипла ниточка укропа. Мало? Рюмка водки после обеда, смирновской, мягкой, какой нигде в Европе не выделывается. И сон, такой сладкий, как нигде в Европе.

* В. В. Розанов. «Когда начальство ушло». СПб., 1910. Стр. 127, 322, 417.

Вот же человек Востока, только талантливый из них. Нельзя сказать, что тема не грызет его кровь, его мозг. Уже самая манера говорить свидетельствует об этом. Слова скачут одно через другое, кончики пальцев его дрожат... Это беспокойство слов, едкость мыслей оставляет впечатление, что он говорит то, что думает, хотя измена то одному, то другому, в конце концов, всему составляет самый стержень и «истину» его души, как пишет он о людях «пегих»... *

И я не прочь послушать, как он ходит около моей темы.

V

Статья на эту тему, в самом деле, писалась; если память мне не изменяет, была напечатана где-то. Это ли его так подталкивало к разговору со мной или другое что, но сейчас он — рыжеватенький, вылитый двойник учителя Покровского — сняв очки и протирая их, говорил мне:

— Все хорошо в ваших статьях, особенно правдивость рассказа. Отлично рассказано. Но вот одно: зачем вы смягчаете эксцессы своего рассказа? Точно все это можно объяснить внешней комбинацией фактов, стечением случайных причин.

— Конечно, это же шквал. Было бы странно, если бы этот шквал — при таком финале — обошелся бы без эксцессов. Что такое рядовой политик? Матрос, аграрник, экспроприатор и т. д. Это — массовик, дезорганизованный оргией репрессий. Все же профессионал-революционер остается в силе со своей правдой, своими традициями, — отвечал я ему.

— Может, еще гордится своей мечтой о будущем?

— Конечно.

— Нет, вы этого не думаете. Эта мечта, эта правда уже не вяжется с правдой вашего рассказа.

— Это верно, — вставил Кондурушкин, — таково и мое впечатление.

— Вот видите, — подхватил Розанов.

— А в чем состоит правда моего рассказа? — усмехнулся я.

—В том, что люди, которые подняли революцию, может быть, недурные люди, но плохие музыканты. Нигде не было людей, таких необъятных планов, но умы книжные, натуры мелкие. «Дантисты революции», как характеризовал ваших «профессионалов» ваш Герцен.

— И Герцен — ум книжный?

* Как раз в дни эти Розанов пишет Суворину: «Писать о Вас меня крайне соблазняет, ибо о чем говорит ваша газета — Россия думает, и кто хочет иметь аудиторию — должен стремиться и стремиться не только к вам» («Письма русских писателей к А. С. Суворину». Изд<ательство> Гос<ударственной> Публич<ной> Библ<иоте>ки, 1927. Стр. 164). Письмо это писано в 1905 г. В 1905 г., о чем говорит «Новое Время», о том Россия думает!

— Дело не в отдельных именах, дело в типе, как таковом. Тип же о двух измерениях: есть длина, есть ширина, но нет третьего — глубины. Естественно, ничего не может получиться, кроме глухоты сердца. Что такое революционер? Это — семинарист, студент, статистик, поэт с направлением, девушка с отрощенной косой, те, кто отрицает, но не утверждает. Процесс жизни, процесс истории — не для них. Для этого требуются корни, чутье к положительному. А этого у них нет. У них есть лишь программы, отщепенство, отрыв. Я говорю, конечно, реакционно, как пишут в ваших изданиях?..

— Конечно.

— Но все же это так. Это люди, у которых малый смысл есть, но смысла большого, который и есть понимание человека, жизни, природы, — ни на полушку. Отрицатель, разгулявшийся на просторе, — вот в чем состояла русская революция. Ни один народ еще не доходил до такого самоотрицания, как мы, несмышленыши.

— Но кто же уверял нас — и не так давно, — что революция есть «святая Евхаристия»? — возразил я. — Признавался: «Я сам осуждаю ли убийцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался».

— Вы имеете в виду меня, мои статьи «Когда начальство ушло»? Но там же найдете обратное: что революция — «садизм», «мордобой». Я же писал во всех направлениях. Вы думаете, я лгал, не хотел говорить, что думаю? Нет, я в каждый данный момент равен себе. Впрочем, какие у меня убеждения? До политики мне дела нет. Я — созерцатель, наблюдатель со стороны.

— Зачем же вы шли туда, где дрались за убеждения?

— Зачем? Я очень рад, что события толкнули меня в гущу радикальщины. Теперь мне ясно, что борьба с существующим порядком это не борьба с порядком, как таковым. Это покушение на самую Россию. Это — «бесы», которые разорвут Россию на клочки. С пророческим ясновидением изобразил этот строй души еще Достоевский.

— А Щегловитовы охраняют, оберегают Россию?

— Да. Пусть и Щегловитов бездарен, но все же он защищает нас от этого стада, которое вы так обнаженно показали в своих статьях. Да будет благословенна та власть, которая охраняет, оберегает Россию, как бы дурна она ни была сама по себе.

Он закурил, положил ногу на ногу. Мы все молчали.

— Мне раз дана жизнь, и я сам хочу жить. Хорошо бы, чтобы в основе всего этого лежал хоть настоящий расчет, труды и дни наших дней. Так нет же. Эта паутина истинно сатанинская, этот расчет на сотни лет. Эту «гармонию» не то что видеть, обонять не придется ни мне, ни вам. Нужна ли бóльшая отвлеченность духа, чем «Капитал» Маркса? Оценено это евангелие дорого, очень дорого. Для него весь мир должен быть

залит кровью. Но — круты склоны человеческих дел — пусть сядут они, эти мелкие фанатики с осанкой великих людей, за стол. Я это допускаю. Но когда это произойдет. Когда мы оглянемся после того, как ясно, наглядно ясно станет, что стрикулисты, свистуны, что они не понимают ни жизни, ни человека, ни природы. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями!

— Отвлеченность духа, — возразил я. — Но все же идеи — отвлеченны. Сама наука не более, чем доводы рассудка.

— Потому что идея обычно пирожок ни с чем, и то жеванный и пережеванный. Разжевал кто-нибудь что-нибудь — вот вам Бакунин, Лавров. Главное, сердце. Воображение, а тут ни сердца, ни воображения.

— Но вы же сами причисляете себя к наследникам идей. Что же, и Страхов, и Данилевский не более чем пирожки ни с чем?

— Нет, славянофилы росли вместе с ростом России. У них было чувство роста, того роста, каким добрела сама Россия. Оттого-то они и жили сердцем, воображением. Вы же — пораженцы, вы злитесь на рост страны. Оттого-то вы питаетесь лишь идеями — пленной мысли раздражением. Однако чего это я разболтался...

Он сник, поднялся, стал прощаться.

— Вот почему я так оценил ваши статьи. Они исходят изнутри этого. И в то же время так метко подтверждают то, что мы, Иудушки — так окрестил его еще покойный Вл. Соловьев — не искушенные в теоретизме, просто действуя по внушению минуты, предвидим в своих неряшливых книгах.

В том, что он говорил, не было еще ничего такого, что бы проводило черту между ним и либералами тех дней. В те же дни, к которым относится этот разговор, я сидел у проф. Яснопольского в Лесном. Были у него П. Б. Струве, В. С. Голубев, которого я знал ортодоксальнейшим марксистом. Теперь Голубев — по поводу тех моих статей — теми же словами «крыл» революцию, что и Розанов. Однако разница была. Струве, Голубев были люди одного цвета, Розанов же был «пегий», писал во всех направлениях.

VI

Прощаясь, Розанов звал меня к себе.

— Вот с Георгием Ивановичем. У меня бывают и красные...

Я знал не одного из левых деятелей, которые — вопреки беспозвоночности Розанова — восхищались такими книгами его, как «Легенда о великом инквизиторе», «В мире неясного и нерешенного», «Темный лик», «Люди лунного света» и др. — бывали у него, как бывали у Вячеслава Иванова. Это было до его призывов к еврейским погромам — за

«младенца, замученного Бейлисом» — когда все, кто его так высоко ставил, отвернулись от него.

Каково же было мое удивление, когда некоторое время спустя бюро вырезок прислало мне фельетон, к сожалению, не сохранившийся у меня. Я даже не вспомню, где он был напечатан. Я бы отложил его, не прочитав, если бы в это время не сидел у меня Г. И. Чулков. В такой степени мало говорило мне и самое издание, и подпись: В. Ветлугин. Но Чулков обратил внимание на фельетон.

— Покажите. В. Ветлугин? Да ведь это Розанов. Кроет вас.

Я просмотрел статью. Розанов писал обо мне мимоходом, писал о моем сотрудничестве в «Вестнике Европы», где я время от времени помещал свои статьи. Тон проходимца. Вот, мол, когда-то «Вестник Европы» украшали своими именами Пушкин, Карамзин, теперь — Клейнборт, Айзман, Юшкевич. Повторяю, статья не сохранилась у меня. Но сохранилась позднейшая статья его, напечатанная в «Колоколе», которая трактует о том же в тех же гонах. Я не отступлю от перспективы, если изложу эту статью, хотя и позднее напечатанную. Что же Розанов, вернувшись к своим пенатам, писал?

Фельетон «Литературные беседы» — был <весь> в плоскости мелких удовлетворений. Он набрасывался на органы политической и общественной мысли, но как? Без знаний, без принципов, с видом охотнорядца.

Он, Розанов, видите ли, удивляется. Сколько в обществе встречает он людей и большого ума, и горячего сердца, и преданности своему отечеству, а развертываешь книжки журналов, газеты — ничего как-то подобного. Одни потоки обездушенных фраз, одни какие-то стертые клише. Откуда это? Очень просто. Какие-то элементы сорганизовались и не пропускают ничего свежего в журналы, в газеты.

Розанов цитирует какое-то письмо, полученное им из Москвы: «помилуйте, — писали ему, — чтобы попасть в сотрудники "Русских Ведомостей", надо стать зятем какого-нибудь из воротил этой газеты». Может быть, в действительности это не так? Нет, раз человек кричит о том, «"чему нельзя верить", значит, в основе тут какая-то кричащая правда». Да это же — кругом.

Возьмите хоть журнал «Современный Мир». Видите вы тут новые таланты, свежие дарования? Нет, читателю из года в год преподносят тенденциозные романы, ежемесячную банальную фразеологию Иорданского, Клейнборта. снабжающих читателя маргарином общественной идеологии. На страже искусства стоят такие же критики с окрошкой из общих мест: Кранихфельд, Львов-Рогачевский. Конечно, в эту среду настоящий художник, чистый художник попасть не может. Создалось положение, из которого нет выхода.

«Взаимная круговая порука бездарности, взаимное страхование тупиц против возможности какого-нибудь обличения их, даже протеста против них». И так везде. Прежде считалось не совсем приличным «зачитываться» Боборыкиным; но теперь и он уже высок и труден. Что с этим делать? Как же это произошло? Каким образом прекраснейшее движение нашей истории, создавшее от Ломоносова до Лермонтова и Тургенева такую роскошь ума, вкуса, благородного служения отечеству, могло «со ступеньки на ступеньку» ниспасть до Амфитеатрова, до этих Клейнбортов, Берлинов, Рогачевских? Тут не то чтобы «худо», а просто ничего нет.

> Увы, недаром «трудолюбничали» в истории русской словесности такие академики, такие ученые, как покойные: академик Пыпин и пресловутый Стасов. Это они принесли в русский журнал и, увы, даже в русскую науку шаблон, фразу и мелкокопательство. Именно со времен Пыпина и Стасова, а также и г. Венгерова появились странные увражи по истории русской словесности, без малейшего понимания лица писателя.
>
> Вот Сакулин. Сам позитивист, а пишет об утонченнейшем романтике-мыслителе кн. В. Ф. Одоевском, пишет так, как писал бы язычник по истории христианства. Вот Венгеров, которому писать надо о романах Золя, а он устроил «Семинарий по Пушкину». Вот еврей Гершензон <...> пишет о славянофиле Киреевском. Какое-то светопреставление нелепости.

Казалось бы, раз так, то Ломоносов, Лермонтов и Тургенев должны находиться одесную Розанова. Так нет же — и тут всего только Буренин, Бурнакин, Скальковский, Ник. Энгельгардт. Да и о нем самом пишут не более почтительно, чем он о других. Вот как, напр<имер>, Амфитеатров, которого фельетонист объединяет в одну окрошку с Клейнбортом, Перлиным, Львовым-Рогачевским, пишет о его вступительной статье к «Песни песней Соломона» в переводе А. Эфроса. Оказывается, проявить «более шарлатанского отношения к великому памятнику», чем проявил это «попик-эротоман из смешанной породы Головлевых-Карамазовых», нельзя. «Нюхнул г. Розанов текст, увидел в нем “запах масл твоих”, “сосцы” — и пошел точить слюну на 22-х страницах о сосцах и телесных запахах». А еще почище «Итальянские впечатления» его. «Это что-то совершенно исключительное по бесцеремонности в отсебятине, — свидетельствует Амфитеатров. — Достаточно сказать, что г. Розанов выдумал свой собственный итальянский язык! Ни больше ни меньше». Это «бесстыдство пустословия», «морочение публики мнимо-научной отсебятиной» как будто ставит под сомнение право самого Розанова судить о Стасове, Пыпине, Венгерове, Сакулине, Гершензоне. Но он — ничтоже

не <так!> сумняшеся — закругляет вопрос: где же все же корень всего этого?

Очевидно: первая причина в том, что в органах нашей журналистики засели общественные элементы, те самые, которые обвиняют его, Розанова, в ретроградстве. Вторая причина — демократизация читателя. Но это не главные причины. Главная причина — третья, а именно — «влитие огромного числа еврейского элемента в литературу». Ведь Гершензон, Венгеров, Клейнборт, Перлин, издательство «Шиповник», «Сатирикон», «Синий журнал» — «все это еврейская литература в русской литературе или, вернее, все это еврейское предпринимательство в русской литературе. Еврей захватывает литературу, захватывает голос народный». И вот — результат этого.

VII

Что скажете?

Чулков бывал у Розанова, был связан с ним по кружкам, которые произвели его в мыслители, «столь же гениальные, как Ницше, а может быть и более». Он присутствовал, наконец, при нашем разговоре о моих статьях.

— Ну, — отвечал он. — Что писал Розанов о Мережковском, Минском, Блоке, Белом? Не попадалось вам?

— Припоминаю. В одном халатике сверх ничего. Не надевая кальсон?

— О Мережковском он сообщал, что он — импотент, не в состоянии исполнять своих супружеских обязанностей. О Блоке — что он женился не на Любовь Дмитриевне, а на ее деньгах.

— И это — в печати, в том самом «Новом Времени», где печатаются объявления о восточных красавицах и пышных блондинках? Что же Мережковский, Блок?

— Смеются. Злой же гений. Они о нем высокого мнения, несмотря ни на что. Мотивами же одной низости Розанова не объяснить. Это столкновение двух воль одной стихии.

— И вы так думаете?

— Думаю. Это же человек инфернальный. Это татарские наслоения, эти остатки азиатской души не надо смешивать с его большим смыслом, с его чутьем, чутьем иррационального таланта.

— Но можно ли не смешивать? Талант, ум не могут сохраниться, когда человек копошится в грязнотцах, свободен от всех долженствований. Утрата духовного центра — самое гибельное для таланта.

— Однако какие озарения, какие прозрения! Смотрите: вопреки всему, он в основной теме, вечной теме наших размышлений.

— Но он же едва прикоснулся к знанию, прошел мимо той философской работы, с которой связан размах мировых тем, — возражал я. — Неряшливость, неосведомленность... Перец вранья...

— Отбросьте предубеждения. Одно оттолкнет вас низостью, пустословием, другое, напротив, изумит искренностью, интимностью, тут выдаст свою малообразованность, беспечность насчет фактов, дат, там блеснет таким ноуменальным чутьем, так прислушается к каким-то откровенным глубинам, что вы руками разведете. Вот это-то оперение, эти-то щекочущие догадки и привлекают так к его беспокойному уму, к его дисгармоничной натуре. Вопрос о дисгармоничной натуре не так прост. Разве в Гоголе, Лескове, Достоевском не было той же полярности, разодранности, что в Розанове?

— Было.

— Вот то-то. Ведь какие антраша выделывает. А какой интерес возбуждает к себе. Ни одно течение не оставляет его в покое. О нем пишут теперь больше, чем о Горьком. Человек из подполья.

— Человек из подполья... Знаете, он не только своими ужимками, — он, кажется, и своими словечками точно сошел со страниц Достоевского. До того эти словечки совпадают. Недаром и «человек из подполья» — коллежский регистратор, пишущий сочинение.

— Нет, — возразил Чулков, — розановщина все же не достоевщина. Конечно, у них один и тот же горб, одни и те же вывихи и изломы, словом, одни и те же «уродства души». Конечно, и тема у них одна: атеизм, материализм, Христос. Но все же рисунок у них разный. Достоевский — за Зосиму, Алешу Карамазова, за Христа. У Розанова — «Во Христе прогорк мир». Он — антихристианин. Он отрекся от такого Христа, ему мил «месяц март мироздания», месяц рождения. У Достоевского лик мира двоится. У Розанова он — един. Для него мир — это родильный дом и чадозачатие есть главный мистический акт. Он теитизирует колыбель, беременный живот.

— А вы все уцепились за эту «теитизацию»!.. Мережковский, Волжский всю гениальность Розанова строят на этой глубине, бездонности пола. Розанов, выходит, через пол попал в «миры иные», а за ним и вы. Вот: связь родильного дома с гением. Но где же все же миры иные? Я их не вижу все же. Что около пола дымится что-то изначальное, первозданное, вижу и я. Но все это для меня — физиология, простая физиология, какие бы тайны ни стояли за ней. Недаром у Розанова подчас не отличишь богословия от блудословия или тайного порока.

— Нет, не простая физиология, — настаивал Чулков. — Все же и вас тянет к этой тайне, сознайтесь. Знаете что, забудьте этот фельетон, пойдем как-нибудь к Василию Васильевичу. Он же вас звал...

— Что я там не видел?

— У него ведутся подчас беседы, которых вы нигде в другом месте не услышите.

— Нет, Георгий Иванович, я не сомневаюсь, что это загадочный ум, большой писатель. Но этот душок не для меня... Я думаю, что талант не

может развернуться, когда человек сам по себе пребывает в чесотке блох. Запомните мои слова.

VIII

Прошло недели три. Стоял март, тот месяц, который так восстановил Розанова против Христа. Был теплый, благословенный час, когда я шел по Казачьему пер<еулку> из типографии, которая помещалась в тех местах. Вдруг чья-то рыжая бородка, золотая оправа пенсне, чья-то рука подхватывает мою.

— Рад, рад...

Я поднял голову. Что за чертовщина? Покровский... вылитый математик Покровский... Но это был не он, конечно. Это был коллежский советник Розанов.

— Откуда и куда? Вы торопитесь? — улыбается он верхней частью лица.

— Нет. А вы что тут стоите?

— Я живу здесь. Вот в этом доме. Слушайте, я иду на собачью выставку. Не хотите ли со мной вместе — а?

Всего только три недели назад он обдумывал в печали, как же это произошло, что на место Ломоносовых и Карамзиных пришли эти Клейнборты. Теперь же те же ясные глаза смотрят на меня, что в тот раз, когда он хвалил мои статьи. И мне внушает он чуть не дружелюбие: помилуйте, да он уже не помнит ни о Ломоносове, ни о Клейнборте, ни о самой «Литературной Беседе».

— Идем, значит? Пешком?

Я чувствую, что у меня какой-то интерес к этому аморальному, но даровитому человеку вопреки тому, что он через десять минут вновь обольет меня своими грязнотцами. Я чувствую, Чулков прав: с самим собой, в своей дисгармоничной натуре он все же верен себе.

— Любите вислоухих? Может, и собака есть? — спрашивает он.

— Есть.

— Вот чудесный зверь. Какой инстинкт, какое чутье! Не то что у нас с вами.

— У нас с вами ум, разум, наука.

— Ну, лучше инстинкт, чем эта скудость духа — отвлеченности рассудка. Все трезвое не насыщает же человеческой природы. А у вас одни измышления малосильного ума — эмпиричность понятий и сухость сердца.

Ходьба, движение возбуждает его. Он перебрасывается мыслями, переходит на игривый лад.

— Я как-то прошел мимо университетских наук. Конечно, экзамены сдавал, но вкуса к знанию не питал. Ведь непонятное тверже понятного, — замечает он.

— Вы предпочитаете непонятное понятному?

— Что такое непонятное? Вот, говорят, правда-истина, правда-справедливость. Но чтобы правда — та ли, другая ли — стала выглядеть правдой, надо примешать к ней лжи, и не одной лжи, но и пафос лжи. Вы это очень хорошо делаете. Так вот и с понятным, доказуемым. Доказуемое — это предмет науки. Но что знает наука? Ничего, кроме деталей, и то трепетных. Естественно, доказуемое рождает лишь одно: недоказуемое.

— Однако какое открытие!.. Разве познание человека не безгранично?

— Нет, смысл космоса для нас закрыт, ключи брошены в глубину глубин. Сколько ни учитесь, все равно вам их не видать, как ушей своих. Сколько ни живите, умрете незрячим. Познаваемое упрется в непознаваемое.

— Но ежели так, где у вас бог? Выходит постройка без хозяина. Апеллировать не к кому. Обоготворим Бюхнера, Молешотта.

— Нет, без премирного, первозданного все же нам не обойтись, без бога нам не прожить.

— Где же он? Ведь смысл вселенной закрыт, ключи брошены.

— То для ума, для отвлеченных способностей, милый мой. Сердцу же, воображению открыто, что бог есть. Кто этого не понимает, с тем говорить нечего. Это самое важное, самое первое.

— Это не той же мысли раздраженье? Не могу представить себе.

— Значит, у вас это засорено. Как же иначе? Вы же, атеисты, проходите мимо, ибо сами метите в человекобоги во имя диктатуры пролетариата.

— А вы не допускаете, что человекобоги могут обнаружиться скорее, чем бог, без которого нам не прожить?

— О, да, — с живостью подхватил он, — иной раз мне самому кажется, как Чаадаеву, что отечество наше газообразно, что это среда, где все может произойти, и сверх всяких ожиданий. Тогда кесари станут человекобоги.

— А остальные?

— Остальные станут стадом. Лишь тогда вы увидите, что значит подчиниться навсегда... во имя всеобщего счастья. Это уже будет действительно без бога, <как это пророчил Достоевский>. Недаром вы уверяете, что профессионал революции еще жив, еще горд своей мечтой о будущем.

Но мы уже подходили к выставке. Она изобиловала всеми породами собак, и мы с интересом, с живым чувством обозревали ее. В особенности он, Розанов, все время столь любовавшийся на самок.

— Глядите, сосцы-то, сосцы-то, — воскликнул он с причмоком чувственных губ. — Тоже подательницы жизни. Я каждую напутствую крестным знамением...

Мы тут же распрощались с ним.

IX

Минул еще месяц. Опять вырезка из бюро, опять статья Розанова — из «Нового Времени». Но на этот раз я уже не пропускаю ее между пальцев, как в тот раз. Смысл фельетона гораздо острее.

Дело в том, что я состоял перед тем редактором издательства О. Н. Поповой. Правда, Поповой уже не было в живых, и издательство уже фактически дышало на ладан, но я руководил им с 1905 по 1908-й год. За это время вышло немало книг по научным и общественным вопросам. Вот эту-то деятельность Розанов сделал на это раз предметом своего рассмотрения в «Новом Времени».

Но добро бы он просто суетился, как это имело место в «Литературных беседах», просто поливал меня человеческим пустословием. Так нет — у него была уже задача более деловая. Здесь он уже науськивал на меня органы прокуратуры, хотя и не прямо, но очевидно призывал к расправе с издательством О. Н. Поповой.

Кажется, давно ли он сам нас уверял: «я сам осуждаю убийцу Плеве? Нисколько. Помню, только радовался»; сам пускал уходящему начальству: «черт бы его побрал!». Вот лежит эта книга, в которую вошли эти строки («Когда начальство ушло»). Она незадолго перед фельетоном вышла из печати. Но таков пафос розановской лжи, что в каждой книге, вышедшей в издании О. Н. Поповой, он ищет уже не только «свержения самодержавия», но и призывы к террору. Теперь — в 1909 г. — он уже пишет: «я русского чиновника люблю. Уважаю и люблю». Теперь он сам не прочь надевать намордники всем, кроме себя.

Издательство О. Н. Поповой даже в те годы тяготело к изданиям культуры, к изданиям научного характера, во всяком случае, от призывов к террору отстояло далеко. В свою очередь, и я сам, как сторонник марксизма, отрицал террор как прием политической борьбы со старой властью. Розанов не мог не убедиться в этом хотя бы из тех статей, которые послужили поводом нашего с ним общения. Но такова уже «дисгармоничность» этого Иудушки, как окрестил его Вл. Соловьев. В одном кармане — ноуменальность, теитизация пола, в другом — намордник.

Конечно, не прошло и нескольких дней, как против издательства возбуждено было судебное преследование. Как-никак, фельетон был «Нового Времени»... Я был вызван к следователю.

Что мне бросилось в глаза прежде всего, это статья Розанова, лежавшая на следовательском столе. Было очевидно, что следовательский гнев пал на меня именно после фельетона Розанова. Когда же мне было формулировано обвинение, то я убедился, что даже в формулировке обвинения сыграл роль фельетон «Нового Времени»: мне было объявлено обвинение в призыве к террору.

Опять пришел ко мне Георгий Чулков. Я показал ему фельетон.

— Видели?

— Видел, — махнул он рукой.

— Что скажете? Может уцелеть талант, когда человек сам по себе запечатлен переживаниями такого порядка, свободен от всех долженствований?

— Что скажу! Гадость!

— Ведь вот хватал за фалды, заглядывал в глаза. Трудно, видите ли, говорить правду в глаза правительству, но труднее говорить правду революционерам. Так вот он говорит правду и тем и другим, славословит и виселицу, и казнь Плеве. Наследник Страхова!

— Да, кончит плохо, — уже сдавался Чулков. — Похоже на то. Всему есть предел. Этот авантюризм все более отталкивает от него тех, кто так высоко его ценит, так рекламирует в большой прессе. И хуже всего эта паучья манера. Прикинется чем-то перед кем-то, попадет в тон, и потом — когда вы с глаз долой, а он на своем местечке — размахнется, обольет помоями, покажет вам язык. Это то, что Достоевский так метко схватил в своем Свидригайлове, Валковском. Этакий иррациональный авантюризм.

— Ну, Свидригайлов, Валковский, — возразил я. — Это большие характеры. А Розанов что? Учитель гор<ода> Ельца или Бельска.

— Что ж, что учитель?

— Знаете, есть такие заштатные городки. В такой вот Тьмутаракани кончал я среднюю школу, и был у нас такой математик Покровский... Одна из тех аномалий, которые встречаются лишь среди учителей среднего русского города. Так вот, когда я вижу Розанова, мне мерещится этот Покровский... Понимаете, точно это двойник Покровского... До галлюцинации...

— Однако Покровский остался математиком, не стал Розановым.

— Не спорю. Но я говорю о человеке, не о таланте. Те же ужимочки, то же золотое пенсне. Конечно, это Покровский, одаренный замечательным чутьем, инфернальным талантом, но все же Покровский. Тот же мелкий бес Бельска или Брянска. Где он учительствовал столько лет?.. Что же это не бывает? Ночью — инфернальный гул, озарения и прозрения, как говорите вы, а днем — «Новое Время», сосцы, «Левке, Колькину сыну, анафема...». Ночью Мефистофель, а днем — Передонов, тоже учитель среднего русского города.

— Но Розанов не отрицает, что он Передонов.

— Ну, тогда без гвоздей... математик Покровский.

X

Я был судим, обвинен «за призыв к террору» как редактор издательства О. Н. Поповой и приговорен к одному году крепости. Но приговор этот покрывался приговором другим, который был мне вынесен ранее и отбыт. И от наказания был освобожден.

В это время — вернувшись как-то со станции Сиверской — я очутился на Варшавском вокзале. Вхожу в буфет, хочу сесть за столик — смотрю, неподалеку от меня расселись Федор Сологуб, А. Н. Чеботаревская, П. Е. Щеголев, В. В. Розанов, Евгений Аничков с женой.

— Куда или откуда? — приветствовала меня Чеботаревская. — Идите к нам.

Оказывается, сошлись они все на вокзале, провожая кого-то за границу, и теперь справляли поминальные. Несколько бутылок уже было опорожнено.

Разговор шел о последнем рассказе Ремизова «Крестовые сестры», напечатанном в сборнике издательства <<«Шиповник»>>. Аничков, в ту пору профессор литературы, литературный критик модернистского оттенка, хвалил художественную цельность «Сестер», но не это занимало его; его занимали самые темы Розанова, его подполье, его мрачный юмор, загадочный смех, от которого сердце сжимается.

— Согласитесь, невозможно не ценить его мастерство, но и полюбить этот талант нельзя. От него путь один: вниз головой на мостовую. Бурков дом же для него весь Петербург да и вся Россия. Что ни говорите, есть тут какая-то бредовая подоснова, попирание того, чего нельзя попирать.

— Горького побаиваетесь? — усмехнулась Чеботаревская.

Аничков находил, что Ремизов заводит в слишком опасные места подполья, откуда этот сладострастный интерес к изъянам человеческого характера, человеческой психологии.

— Право, человек не так страшен, — заключил он.

— Знаете, Евгений Васильевич, — сказал Щеголев. — Я почитаю человечество. За него я когда-то проехался на Север; за него потом отсидел несколько лет в Крестах. Вы это знаете. Но, право, чем больше люблю человечество, тем меньше люблю отдельных людей. Нужно прямо сказать: человек много ниже своих изображений в литературе.

— Вот что верно, то верно, — поддержал его Сологуб. — Если бы каждый из нас стал рассказывать о себе то, что он прячет от постороннего глаза, а то и от самих себя, всю скверну, все психозы, все, что врожденно ему, то мы бы еще не то услышали, что слышим от Ремизова, от Сологуба. Конечно, для этого нужна смелость, обнаженность большого человека. Но дара обнажаться никто не проявляет, и мы предпочитаем Горьких и Короленок.

— Уж будто все мы так-таки Передоновы? — возразил Аничков. — Я как нельзя более высоко ставлю это преломление, но все же это лишь преломление, и то преломление, вынесенное в декадентской душе, декадентским воображением.

Розанов, до сих пор не проронивший ни слова, сверкнул очками, коленки его зашевелились.

— Нет, это не декадентское преломление. Обратите внимание, как живуч этот тип в жизни. Это поистине корни человеческие. Никакой мор, никакой «прогресс» их не берет, точно сама природа их охраняет.

— Чем же вы это объясняете? — спросил Щеголев.

— Очевидно. Человек с незапамятных пор прошел сплошную цепь психозов, неврозов, атавизмов, преступности. Процессы вырождения сопутствуют ему на всех стадиях его развития. Когда изучаешь историю человека, то прежде всего обращаешь внимание на ту анормальность, извращенность, от которых человеку приходилось отбиваться тысячелетия. Значит, ключи к характеру, хотя бы и нормальному, спрятаны в клинике.

— Что же вы, как Щеголев, — усмехнулся Аничков, — чем более любите дальнего, тем менее переносите ближнего?

— Нет, в отвлеченной любви к дальнему больше любви к самому себе.

— Так что ни ближнего, ни дальнего, Василий Васильевич?

— Во всяком случае, предпочитаю ближнего. Ведь дальнего я не увижу. Едва ли он хотя бы на могилу придет, когда я буду покоиться в земле. Что мне до будущего, до будущего жизни! Нет, уж лучше тогда любить ближнего.

— Но ведь и ближнего любить, как он есть, нельзя. Ключи к нему в клинике. И переделать его нельзя, ибо за ним тысячелетия: все психозы и неврозы.

— Тогда жить для себя, как живет все живущее вековечно. Совсем люди не так плохи, чтобы нуждались в идеях о всеобщем счастье. В них достаточно инстинкта самосохранения, чтобы подумать каждый о самом себе.

Все уже вставали. В это время Розанов, прощаясь, подошел ко мне.

— Рад, рад, — сказал он, подавая мне руку. — Я спрашивал про Вас Георгия Ивановича.

Знакомая мне дружелюбная линия была в его лице.

— Чему рады?

— Видеть вас...

— Прежде чем я сел в Кресты?

На губах его заиграла вопросительная улыбка. Он, в невиннейшем виде, забыл про свои фельетоны.

— Как так?

— Да так... Благоволите вспомнить свой фельетон об издательстве О. Н. Поповой. Я видал этот фельетон у следователя на столе.

— Ну, и что же?

— Получил год крепости... по этому фельетону.

Все знали об этом деле. Издательство О. Н. Поповой было одной из виднейших издательских фирм <18>90—<1>900-х годов.

— Ой, ой, ой! — сказал он с той добротой, от которой <так граничит с пирожком ни с чем> не становится веселее. — Я вам повредил. Поверьте, у меня не было такого умысла. Я знаю — я делаю свинства в печати. Но ничья беда мне не представляется, как моя радость.

Я уже стал уходить, но он задержал мою руку.

— Мы же в разных лагерях. Я считаю, что нужно бить по политике. Раз политика против религии, искусства, государства, значит, надо ее добить...

Я знал эту ничего не стоящую наивность. Потом, уже много лет спустя, я рассказал историю этого знакомства М. П. Неведомскому. Неведомский мне сказал:

— Знаете, точно так же подошел он как-то ко мне. Подошел, вошел в тон все с той же паучьей манерой. Но едва мы разошлись, высунул мне язык в «Новом Времени».

XI

В «Коробе втором» своих «Опавших листьев» Розанов предрекал сам себе: «есть люди, которые рождаются "ладно" и которые рождаются "неладно"», и от этого такая странная, колючая биография у него, у Розанова: он рожден «"неладно". "Неладно" рожденный человек всегда чувствует себя "не в своем месте"». И далее: «неужели же не только судьба, но и бог мне говорит: "выйди, выйди, тебе и тут места нет"». «Где же место?», «Неужели я без места в мире».

Не знаю, рожден ли был Розанов «неладно», но умер он действительно не ладно, оставшись «без места в мире». Он оказался провидцем по отношению к самому себе.

Общение наше тогда не оборвалось. Встретились мы как-то с ним лицом к лицу и не поклонились — ни я ему, ни он мне. Разошлись, как в море корабли. И с тех пор не кланялись уже друг другу, хотя встречались.

Был уже 1913-ый г., когда даже Мережковские, столь высоко ценившие Розанова, одного из основателей Религиозно-философского общества, предложили — после призывов его к еврейским погромам «за младенца, умученного Бейлисом» — исключить его из общества. Исключен он был единогласно, после чего сотрудничество его в либеральных изданиях — вроде «Русского Слова», «Русской Мысли» — стало невозможным. Его стали выпирать отовсюду. Он упирался, оправдывался. Вот он окружен зоной преду<бе>ждения. За что? Почему «портят ему воду»? У евреев же издавна была секта, совершавшая ритуальные убийства. Но он. Розанов, не антисемит. Напротив, он любит евреев и еврейство... Но эта «невинность» и «наивность» не реабилитировали его.

Между тем гром грянул. Сбылось то, что он предвидел. В нашем отечестве, где «все может произойти и сверх всяких ожиданий». Опять начальство ушло, но на этот раз без возврата. Пришли «мелкие фанатики с осанкой великих людей», «человекобоги», которых он так костил мне. Конечно, он не рассчитывал, что это могло сбыться при его жизни. Но вот — революция налицо.

Я совсем потерял его из виду: услышал о нем уже после Октябрьского переворота от того же Чулкова. Он уже жил в Троицко-Сергиевской лавре и опять писал письма Горькому и другим.

После бойкота, который не мог не ударить по его таланту — слишком все эти люди значили для него, — Розанов решил уйти в нумизматику, обрести домашний уют.

Мировая история? — Наплевать? Папироска после купанья, малина с молоком — вот его 17 октября. Жить бы в своем углу, обув туфли и надев халат, без Мережковских и Бердяевых — и «оставьте все как есть, не тяните ни туда, ни сюда». «<Все же> Мы же все любим осень, фуфайку, валяные сапоги... И закат вечера, и тихий вечерний звон...»

Он не хочет истины. Он хочет покоя. «Потому что тепло, потому что не дует». И еще: он возвращается к Христу. Ой, какие слова он сказал о христианстве, о русской церкви!

Он уже и других поучает этому, обув туфли и надев халат.

— Народы, хотите ли, я выскажу громкую истину, какой Вам не говорил ни один из пророков.

— Ну, ну?

— Это что частная жизнь выше всего.

Никто этого не говорил. Он первый. Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу. Все на свете пройдет, а это останется. Просто сидеть на стуле и смотреть вдаль... *

И вот он сидит в Троицко-Сергиевском Посаде, брошенный всеми и всем. Сидит в маленьком домике, у стен расписной Лавры и смотрит вдаль. Меньшиков, Борис Никольский и другие уже «ликвидированы». Он еще за каменной оградой. Но где «благолепие храма, свечечки, иконы»? Где его туфли? Где его халат? Где его малина с молоком?

Нет, один вздох, предсмертный вздох стоит в душе.

— Где же место? Неужели я без места в мире?

И один ответ, предсмертный ответ:

— Выйди, выйди, тебе тут места нет.

Но всякому человеку хоть куда-нибудь надобно уйти. Бывает такое время. И вот умер он, под благовест Лавры, дряхлого памятника старой Руси, ушел в снежные сугробы Сергиева Посада.

* См.: В. Розанов «Опавшие листья». С.-Петербург. 1913.



КОММЕНТАРИИ



Настоящее издание является первым наиболее полным сводом мемуарных материалов о Розанове. Мы старались собрать, однако, максимальное количество воспоминаний, не пренебрегая даже небольшими фрагментами, которые могли бы служить как самостоятельными источниками жизни Розанова, так и косвенными связками с другими периодами биографии писателя. Следует заметить, что мемуарная литература современников о Розанове (за исключением З. Н. Гиппиус) все-таки скудна. Это объясняется многими причинами. Литературная судьба Розанова была в целом неблагополучной. Будучи писателем-одиночкой, мыслителем «в своем углу», Розанов к тому же был окружен враждебным станом общественных деятелей. Это — широкий спектр демократических партий, ориентированных в целом на европейский тип цивилизации. Братья-писатели также не могли оценить художественную фигуру Розанова в достаточной мере. Выход такой новаторской книги, как «Уединенное» (и вслед за ней «Опавшие листья»), вызвал возмущение даже у З. Н. Гиппиус, «белой дьяволицы».

Вторая причина — разрыв истории и исторических ценностей. В России на имя Розанова статьей Льва Троцкого «Мистицизм и канонизация Розанова», опубликованной в номере «Петроградской Правды» от 21 сентября 1922 г., был фактически наложен запрет. И этот запрет длился до перестройки. Только в 1989 г. впервые был издан сборник статей Розанова («Мысли о литературе», подготовленный А. Н. Николюкиным для издательства «Современник»). В русском зарубежье культурная эмиграция максимально принадлежала к тому политическому менталитету, который потерпел поражение в России. Естественно, фигура Розанова также не привлекала к себе внимания. Розанов там почти не издавался (исключение — две книги «Избранного»: Нью-Йорк, 1956; Мюнхен, 1970, где тексты даны в отрывках). Полное забвение — вот результат тридцатилетней литературной и общественной деятельности

Розанова с 1886 по 1919 г. Первая фигура в культурной жизни России — и вот современники кладут такой венок. Конечно, общество русское было расколото еще с 60-х годов XIX века. Трещина, идущая с того времени, довела историческую Россию до полной катастрофы, от которой она не оправилась и сегодня. Такая сложная фигура, как Розанов, не могла вместиться в раскол, естественно «делящий вещь на два». Ни в первый, ни во второй номер Розанов не входил, Розанов принадлежал целому, всему миру, всей России. Но партийной культуре такие люди только «путают карты». Как сказала в свое время Гиппиус, с «ним надо было бороться», бороться с его гениальностью, ибо она несла угрозу «их делу».

ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Е. Голубинский
ВОСПОМИНАНИЯ
(с. 9)

Печатается по изд.: *Голубинский Е. Е.* Воспоминания // Третий исторический сборник. Кострома, 1923. С. 1—6. (Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. XXX).

С. 9. *В то время фамилии у духовенства еще не были обязательно наследственными.* — Так же и с фамилией Розанов.

С. Д. Думаровский
[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]
(с. 12)

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 851.

Бессонов
[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]
(с. 13)

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 851.

С. 13. *Жили братья дружно...* — Учеником Нижегородской классической гимназии Розанов жил в семье старшего брата Николая Васильевича, который был его опекуном, на казенной квартире в здании гимназии.

А. М. Щеглова
[ХАРАКТЕРИСТИКА В. В. РОЗАНОВА В ЮНОСТИ]
(с. 14)

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 851.

А. С. Глинка-Волжский
ИНТИМНЫЙ ДОКУМЕНТ
(Письмо В. В. Розанова об А. П. Сусловой)
(с. 15)

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 142 (А. С. Глинка-Волжский). Оп. 1. Ед. хр. 84.

С. Н. Дурылин
В. В. РОЗАНОВ
(с. 20)

Впервые: Начала. 1992. № 3. С. 45–51, 98 (публ. В. А. Десятникова). Очерк является неопубликованной главой из книги «В своем углу» (М., 1991). Написан в ссылке в 1928 г.

См. другую публикацию Дурылина о Розанове: В своем углу (В. Розанов) // Вопросы литературы. 1991. № 3. С. 237–247.

С. 20. *В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его, единственного по нежной тонкости и по неразборчивости, почерка: продолжение «Уединенного».* — Неизданные «опавшие листья» («Сахарна» — за 1913 г., «Мимолетное» — за 1914, 1915, 1916, 1917 и 1918 гг., а также неизданные автографы «Апокалипсиса нашего времени» за 1917 и 1918 гг.) Розанов стал пристраивать на хранение доверенным людям из-за угрозы обыска. Такую же просьбу он просил исполнить и А. А. Сидорова, объясняя это сообщением дочери Татьяны. Начальник с ее работы сообщил, что «он ничего не имеет против ее отца, но он знает, что он стоит в списке обысков». Сидоров в то время был хранителем гравюр в Музее имени императора Александра III. Возможно, Розанов передавал автографы частями.

...в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке... — С переездом в Сергиев Посад Розанов снял дом на ул. Полевой, д. 1.

С. 21. *...«лона Авраамова»...* — Лоно Авраама — в позднеиудейской и христианской традиции — символическое наименование рая, места блаженного упокоения умерших праведников; здесь, в объятиях Авраама, отца всех верующих, «...умер нищий и отнесен был Ангелами в лоно Авраамово...» (Лк 16: 22).

...*«Бога Авраама, Исаака и Иакова».* — Исх 3: 16.

...*«У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе».* — Ин 4: 18.

С. 21—22. ...*это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше...* — См.: *Суслова А.* Годы близости с Достоевским: Дневник — повесть — письма. М., 1928 (репринт — М.: РУССЛИТ, 1991).

С. 22. ...*«непрерывным раздражением пленной мысли»...* — Вероятно, фраза Розанова из этого письма, в котором неточно цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839): «пленной мысли раздраженье». Это выражение Розанов часто использовал в статьях и письмах.

«Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа». — Письмо Достоевского не найдено.

Что сталось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю. — Место нахождения этого письма нам неизвестно.

С. 23. ...*рассказал о Сусловой уже в письме к ~ А. С. Волжскому.* — Письмо Розанова к Волжскому с изложением истории с Сусловой находится в РГАЛИ (Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 274. Л. 10—13).

С. 24. ...*детей надо было отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы...* — Неточность: как незаконнорожденные, дети Розанова официально носили имена своих крестных отцов. Первая дочь, Татьяна, крестница Николая Николаевича Страхова, имела фамилию Николаева, другие дети получили фамилию Викторов по имени крестного Виктора Александровича Сталя.

...*Тернавцев поехал в Крым убеждать Суслову дать Вас. Вас. развод.* — В. А. Тернавцев безуспешно ездил по поручению Розанова к Сусловой в 1902 г. в Севастополь, надеясь уговорить ее на развод.

С. 27. ...*«я-то бездарен, да тема моя гениальна»...* — Ср.: *Розанов В. В.* Заметки на полях непрочитанной книги // Северные цветы на 1901 год. М.: Скорпион, 1901. С. 169—179.

П. Д. Первов

ФИЛОСОФ В ПРОВИНЦИИ

(из литературно-педагогических воспоминаний)

(с. 28)

Впервые: Гонец (Саратов). 1992. № 3. С. 40—45 (публ. В. А. Фатеева).

Печатается по автографу, находящемуся в РГАЛИ. Первоначально автор первую часть озаглавил: «Педагоги в повести М. Пришвина», вторую часть — «Философ между гимназическими педагогами», но потом снял. На первом листе вместе с названием стоит адрес автора: Москва 69. Трубниковский п., д. 4—8, кв. 49.

В воспоминаниях Первова имеется ряд фактических неточностей, но зато хорошо воссоздана атмосфера, в которой Розанов работал в гимназии. На

характеристику личности Розанова определенное влияние оказали либеральные взгляды автора, тем более что воспоминания писались в советское время (во второй половине 1920-х гг.), когда само имя «нововременца» Розанова почти перестало появляться в печати.

С. 28. *Хроника эта открылась повестью «Курымушка»... — Пришвин М. М.* Курымушка. М.: Новая Москва, 1924. Пришвин изобразил в автобиографической повести учителя географии по прозвищу «Козел», прототипом которого явно был Розанов. Однако при этом писатель далек от фактической достоверности. Учитель географии вдохновляет мальчика на побег в страну мечты «Азию» (реальный побег, в котором участвовал Пришвин, состоялся осенью 1885 г.), а потом выступает главным защитником пойманных и возвращенных в Елец с позором беглецов («поехали в Азию, вернулись в гимназию»). Однако быль причудливо соединилась у Пришвина с вымыслом: в год побега Розанова в Ельце еще не было — он приехал только осенью 1887 г. Видимо, это не художественный прием, так как Пришвин с благодарностью вспоминает защиту Розанова не только в «Курымушке»—«Кащеевой цепи», но и в письмах и дневниках: «Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям, и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика». Вероятно, в памяти Пришвина события, относящиеся к побегу, как-то связались с Розановым — возможно, насмешки над беглецами продолжались и после его приезда.

...портрет «Козла» ~ можно видеть в Третьяковской галерее. — Речь идет о портрете Розанова работы Л. С. Бакста (1901).

С. 29. *Наконец в гимназию явился переведенный из Брянска учитель — В. В. Розанов.* — Розанов был перемещен на должность учителя истории и географии в Елецкую гимназию 1 августа 1887 г. (см.: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 1). Причина перехода — болезненный разрыв с женой Аполлинарией Прокофьевной (урожд. Сусловой) летом 1886 г. Розанов решил поменять место, связанное с воспоминаниями о семейной жизни. В первый год переезда в Елец он еще звал жену возвратиться к нему, но ее твердый отказ лишил его всяких надежд.

...Розанов написал в Брянске целую книгу... — Философскую книгу «О понимании» Розанов начал писать еще в Московском университете (1878—1882) и закончил в Брянске, где служил учителем в прогимназии. В 1885 г. отдал в типографию Э. Лисснера и Ю. Романа в Москве, на Арбате, заплатив за отпечатание 1037 р. и в июле 1886 г. получил тираж 600 экз. Пять лет он откладывал по 25 р. в месяц, чтобы скопить необходимую сумму (см.: Розанов — Г. П. Енишерлову [нач. 1900-х] // ОР РГБ. Ф. 100. К. 6. Ед. хр. 1. Л. 22). Удивительно, что собирать деньги Розанов стал почти с самого начала работы над книгой, ни на кого не надеясь.

С. 30. *...до появления первых рецензий, как говорил потом Розанов ~ не было продано ни одного экземпляра.* — Кроме двух уничтожающих рецензий (Л. З. Слонимский // Вестник Европы. 1886. № 10. С. 850—857. Подп.: Л. С.; Русская Мысль. 1886. № 11. С. 270—272. Б. п.), труд не был оценен философской общественностью. Рецензенты дружно обвиняли автора книги в немодной метафизике и схоластике. На улице стоял густой туман русского позитивизма. «Книга "О понимании" (737 стр.) через два же месяца по отпечатании была осмеяна (рецензентами, очевидно, и не прочитавшими ее) в двух журналах, "Вестн. Евр." и в "Русс. Мысли" и, не имея еще о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять назад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды; по 30 коп. за том (вм. 5 руб.), подумав: "Sic transit gloria mundi" ["Так проходит слава мира" (*лат.*)]. На ее напечатание я все время учительства откладывал рублей по 15—20 в месяц, уверенный, что она делает эру в мышлении» (*Розанов В.* Из переписки К. Н. Леонтьева // Русский Вестник. 1903. № 5. С. 166).

...Розанов — женился на своей квартирной хозяйке... — Информация совершенно не соответствует действительности. Розанов венчался с А. П. Сусловой после 11 ноября 1880 г., 24-летним студентом, когда ей был 41 год. Он познакомился со своей первой женой в Нижнем Новгороде, еще гимназистом. Подрабатывая уроками, он встретил ее у своей ученицы. В 1900 г. Розанов опубликовал под псевдонимом «Ибис» автобиографический очерк «Иван Ляпунов» (Новое Время. 1900. 16 июля. № 8758. С. 2), в котором рассказывается о поездке юного студента Московского университета в Нижний Новгород тайком от жившего там старшего брата-опекуна для встречи с возлюбленной. См.: *Сукач В. Г.* Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» // Москва. 1992. № 1. С. 112—116.

...жена его приходилась сестрой одной из трех знаменитых женщин... — Сестра А. П. Сусловой, Надежда Прокофьевна Суслова, была первой русской женщиной — доктором медицины.

...в первый же год разошелся с женой. — Розанов разошелся с А. П. Сусловой не в первый же год — она покинула его в 1886 г., после шести лет совместной жизни.

С. 32. *...выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации».* — Розанов произнес речь на публичном акте Елецкой гимназии 1 октября 1888 г. в честь празднования 900-летия крещения русского народа в Православие.

Розанов тяготился учительской службой и был неважным педагогом. — См. слова Розанова на восьмом году учительства в письме к В. И. Герье (без даты [ок. марта 1890 г.]): «...Мне очень тяжело быть учителем; я постоянно должен говорить о том, что меня не интересует, и молчать о том, что занимает. Это очень мучительно, и не знаю, вынесу ли я это положение долго. Половину дня я слушаю и рассказываю о морях, реках и горах, о губерниях

и городах милого отечества, которое я любил бы всей душою, если бы мне не довелось о нем преподавать. Таким монотонным оно мне представляется, со своею вечною пенькою и салом, со своими дикими инородцами, плохими и трудными для запоминания каналами. Вечером, когда бываю дома, я совершенно забываю о самом существовании гимназии и отдаюсь своим любимым мыслям или мечтам» (ОР РГБ. Ф. 249. К. 51. Ед. хр. 44. Л. 5—8). О тяготах учительства, которые испытывал Розанов, он жаловался также Н. Н. Страхову, С. А. Рачинскому и др.

«Еще одно последнее сказанье». — А. С. Пушкин. «Борис Годунов» (сцена 5).

С. 33. *На другой день Розанов пошел с визитом к профессору Н. Я. Гроту ~ не успел еще прочитать этой книги.* — Неточность: Розанов навещал в этот приезд своего бывшего наставника профессора Московского университета В. И. Герье. Весь отрывок Первов передает неточно: Розанов послал свою книгу «О понимании» сразу же после отпечатания, и 25 сентября Герье благодарил письмом (см. письмо Розанова без даты // ОР РГБ. Ф. 70. К. 51. Ед. хр. 44. Л. 11—12, и письмо Герье от 25 сентября 1886 г. // ОР РГБ. Ф. 249. М. 3821. Ед. хр. 11. Л. 65—66). Герье был инициатором перевода «Метафизики» Аристотеля, рекомендуя ее в качестве прекрасного руководства для формирования научного ума.

Первым отозвался петербургский писатель-философ Н. Страхов. — Действительно, Розанов многим посылал свою книгу. Рецензию на нее Страхов напечатал в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1889. № 9. С. 124—131), а также в «Новом Времени» (1890. 14 марта. № 5048. С. 4. Б. п.).

Книгу «О понимании» он препроводил критику Буренину. ~ Он напечатал в «Новом Времени» фельетон, в котором оповестил о совершенно новом взгляде на Гоголя... — См.: *Буренин В. П.* Критические очерки // Новое Время. 1888. 20 мая. №4390. С. 2. Совсем не точно. Положительную роль, по словам Розанова, сыграла статья «Место христианства в истории», вышедшая одновременно и отдельной брошюрой (М., 1890) (см.: *Розанов В.* Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 204). Скандальную же славу Розанов приобрел с переоценкой творчества Гоголя в статье «"Легенда о Великом Инквизиторе" Ф. М. Достоевского» (Русский Вестник. 1891. № 1—4). Тут Розанова запомнили все: от декадента Акима Волынского до народников. Розанов заставил подвинуться вековой авторитет Белинского.

Тертий Филиппов вызвал Розанова в Петербург и дал ему место в какой-то канцелярии при контроле. — Розанов перевелся в Государственный контроль в марте 1893 г. чиновником особых поручений при Государственном контролере, позднее перешел в Департамент по железнодорожной отчетности под руководство Афанасия Васильевича Васильева, по слухам, незаконного сына Т. И. Филиппова. Службой в Контроле Розанов очень тяготился,

имена Филиппова и Васильева (Тертий и Афоня) стали ему ненавистными: он воочию увидел много лицемерия, ханжества и бесталанности.

В последний год пребывания в Ельце Розанов жил уже на другой квартире, у старухи-попадьи, родственницы какого-то известного архиепископа. — Первов имеет в виду Александру Андриановну Рудневу, урожденную Жданову (ок. 1826—1912), из дома которой Розанов взял вторую жену Варвару. Она не была попадьей. Брат ее мужа был Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев; 1816—1906), архиепископ Ярославский. Родственником тещи Розанова был и знаменитый богослов Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 1800—1857), архиепископ Херсонский, дядя А. А. Рудневой, вероятно, по линии матери.

С. 34. *Он раза два оповещал читающей публике, что заработал своими сочинениями 50 тысяч рублей.* — Имеется в виду текст: «К 56-ти годам у меня 35 000 руб. Но "друг" болеет... И все как-то не нужно» (*Розанов В. В.* Уединенное. М.: Русский Путь, 2002. С. 266).

...«Апокалипсис нашего времени» ~ прекратился на третьем выпуске. — *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад: Изд. М. С. Елова, 1917—1918. Книга издавалась под общей нумерацией страниц отдельными выпусками, которых вышло не три, а десять.

В. В. Обольянинов
В. В. РОЗАНОВ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В БЕЛЬСКОЙ ПРОГИМНАЗИИ
(с. 35)

Впервые: *Обольянинов В. В.* В. В. Розанов — преподаватель в Бельской прогимназии (письмо в редакцию) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1963. Кн. 71. С. 267—269.

С. 35. *...«Курс всеобщей географии» Янчина.* — *Янчин И. В.* Краткий учебник географии: В 4 ч. М., 1872—1883; выдержал около 30 изданий.

С. 36. *Вандименова Земля* — земля Ван Димена — до 1856 г. название о. Тасмания. *Гавайи* — то же, что и Сандвичевы острова.

П. П. Перцов
ВОСПОМИНАНИЯ О РОЗАНОВЕ
(с. 38)

Впервые: Новый мир. 1998. № 10. С. 156—160.

С. 38. *Это было очень давно — двадцать с лишним лет тому назад.* — Знакомство Розанова с Перцовым состоялось не позднее начала ноября

1896 г. Первое письмо Перцова к нему написано 7 ноября, последнее — Розанова к Перцову, нам известное, — относится к лету 1918 г. Известна другая версия знакомства, которая говорит, что Перцов первым приехал знакомиться с Розановым; см.: «Я никогда не забуду "того Петю Перцова", который приехал ко мне на Павловскую знакомиться...» (письмо В. В. Розанова к П. П. Перцову без даты [лето 1918 г.] // Литературная учеба. 1990. Кн. 1. С. 78).

Я жил тогда в Петербурге, на Пушкинской... — Пушкинская ул., д. 20 — гостиница «Пале-Рояль», где сдавались меблированные комнаты.

...питомцы толстовско-деляновского псевдоклассицизма. — Имеется в виду время правления министров народного просвещения гр. Д. А. Толстого и И. Д. Делянова, когда под внушением влиятельного критика «Русского Вестника» и газеты «Московские Ведомости» М. Н. Каткова в русской школе был принят заимствованный из Германии классический метод образования, т. е. введены классические языки — греческий и латынь.

...та «великая и прекрасная дружба», как выразился он в последнем своем письме ко мне... — См.: Литературная учеба. 1990. Кн. 1. С. 78.

С. 39. *...шел его «консервативный» период...* — Консервативный период 1890-х годов, или, как называл его Розанов, «катковско-леонтьевский», проходил под известным влиянием эстетики К. Н. Леонтьева (1831—1891), с которым он состоял в переписке в последний год жизни мыслителя. Книга Розанова «"Легенда о Великом Инквизиторе" Ф. М. Достоевского» печаталась в журнале «Русский Вестник» (1891. № 1—4), выходила отдельными изданиями в 1894, 1902 и 1906 гг. Этот период закончился в 1898 г. в связи с обращением к так называемой теме пола.

«Как пройдет фельетон в "Новое Время", так мы и живем месяц», — говорил мне тогда Василий Васильевич. — После переезда в Петербург в 1893 г. с семьей Розанов поступил чиновником в Государственный контроль и, получая мизерное жалованье, очень нуждался. Свой семейный бюджет он старался поддержать печатанием статей в консервативных изданиях, но материальное положение выправилось только с оставлением государственной службы и принятием 2 апреля 1899 г. предложения А. С. Суворина стать постоянным сотрудником газеты «Новое Время».

Н. К. Михайловский ~ не раз подымал полемику... — Перцов намекает на полемику 1891—1892 гг. между Розановым (см.: Почему мы отказываемся от наследства? // Московские Ведомости. 1891. 7 июля; В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов?» // Там же. 14 июля; Два исхода // Там же. 1901. 29 июля; Европейская культура и наше отношение к ней // Там же. 16 августа, и др.) и Михайловским (см.: Письма о разных разностях // Русские Ведомости. 1891. 25 июля, и др.).

...с которым у него тоже только что прошла горячая полемика (о свободе совести и о прочем)... — Имеется в виду известная полемика между Розано-

вым и Соловьевым в 1894 г. См. статьи Розанова «Свобода и вера» (Русский Вестник. 1894. № 1); «Ответ г. Владимиру Соловьеву» (Там же. № 4) и статью Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 2) и др.

...Розанова знал и ценил только один Н. Н. Страхов. — Историю взаимоотношений Розанова и Н. Н. Страхова см.: *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Т. 1. СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое Время», 1913.

С. 40. *Говоря о духовных движениях в России ~ он чрезвычайно высоко ценил.* — Ср.: «Трех людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фло<ренско>го. Первый умер мальчиком (26 л.), ни в чем не выразившись; второй был "Тентетников", просто гревший на солнышке брюшко...» (*Розанов В. В.* Уединенное. С. 238; Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 56—57). Андрей Иванович Тентетников — помещик, персонаж 2-го тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя).

И после встреч и бесед с эпигонами славянофильства и консерватизма... — В Государственном контроле, куда Розанов был приглашен Т. И. Филипповым, известным славянофильствующим деятелем, другом Ап. Григорьева, К. Н. Леонтьева и других, были собраны литераторы, называвшие себя последователями славянофильской традиции. Здесь же служил и И. Ф. Романов-Рцы.

С. 41. *Общеизвестный портрет Бакста...* — см. коммент. к с. 28.

...к «египетской» своей эпохе. — Перцов намекает на увлечение Розанова египетской культурой и религией, вылившееся в ряде статей 1899 г. и повлиявшее на его творчество, особенно в так называемой теме пола.

С. 43. *...в разгар этого горения вдруг падало письмо-строчка от Михаила Петровича Соловьева: «Под духом прелюбодеяния написана Ваша статья»...* — Ср. письмо М. П. Соловьева от 18 мая 1898 г.: «Василий Васильевич! Под гнетом духа любострастия пишете Вы последние статьи Ваши. Ваш М. Соловьев» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 4208. Л. 15). Обращение к теме пола вызывало у его консервативных читателей болезненную реакцию.

С. 44. *Его дом ~ стал одним из интеллектуальных «журфиксов» столицы...* — Речь идет о «воскресеньях» Розанова, устраивавшихся в 1905—1906 гг.

...«этого русского Ницше»... — См.: «Ницше, со своими откровениями нового оргиазма, "святой плоти и крови", воскресшего Диониса — на Западе; а у нас, в России, почти с теми же откровениями — В. В. Розанов, русский Ницше» (*Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский (1900—1902) // Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 150).

С. 46. *Собрания оборвались скоро...* — 22-е заседание оказалось последним, и вскорости, 5 апреля 1903 г. (заседания открылись 29 ноября 1901 г.), последовало запрещение Религиозно-философских собраний. Записки, а потом и стенографические отчеты заседаний публиковались как приложения

в журнале «Новый Путь» в течение 1903 г. Отчет о предпоследнем, 21-м заседании в наши дни опубликовала итальянская исследовательница Паола Манфреди (Russica Romana. 1996. Vol. III. P. 301—328). При подготовке стенографических записей к печати в них по цензурным соображениям делалось много исправлений и пропусков.

...(нововременец Меньшиков). — Роль М. О. Меньшикова в запрещении Религиозно-философских собраний нам неизвестна. Вероятно, Перцов припомнил другое выступление Меньшикова, относящееся к тому же времени: он раскрыл псевдоним протоиерея А. П. Устьинского, корреспондента Розанова по проблемам семьи, брака и развода, письма которого Розанов печатал за подписью: «прот. А. У-ский» (см.: *Меньшиков М. О.* Тоже стиль модерн // Новое Время. 1903. 23 марта. № 9716. С. 2—3). Событие это вызвало тяжелые последствия для священника: А. П. Устьинскому запрещено было печататься, вести переписку с Розановым (чего он не исполнил), и он был заключен на три месяца в монастырь для покаяния.

С. 47. *...московские религиозно-философские собрания (имени Влад. Соловьева)...* — В Религиозно-философском обществе им. Вл. Соловьева (1905—1918) Розанов не принимал участия и мог присутствовать на заседаниях только в какой-нибудь приезд в Москву в качестве гостя.

...(через гремевшего тогда священника Г. С. Петрова)... — Священник Григорий Спиридонович Петров широко выступал как в печати, так и перед аудиториями с конца XIX в. Его проповедничество было окрашено в либеральные тона. В 1907 г. был лишен сана священника. Розанов был лично с ним знаком, был очарован его талантом, но в начале 1910-х гг. «раздружился». См. его характеристику: «Петров — одна из самых отвратительных фигур, мною встреченных за жизнь. Но: какова слабость человеческой природы: постоянной льстивостью и "вниманием во все мои идеи" он подкупил на много лет меня. <...> Раз он проговорился мне: "Я (в сочинениях) балаболка". Я промолчал, но был поражен: неужели он видит?! Тайна его успеха лежала в чарующем тембре голоса, одновременно властительного, великолепного и что-то шепчущего вот лично Вам, я думаю, таков был Авессалом. <...> Жил он (жена?), как кокотка, кушеточки, диванчики, тубареточки, шелк, бархат, цветы — камелии, альбомы из серебра etc. и всегда даст курсисточке 10 р. "на родителей", чем очаровывал бедняжек. Но — целомудрен и лично одевался скромно. Такого честолюбия я ни в ком не видел...» (ОР РГБ. Ф. 249. М. 3874. Л. 1). В «Русском Слове» Розанов сотрудничал с конца 1905 по 1912 г. Назревавшая ссора между ним и кругом Мережковского к 1912 г. перешла в открытое противостояние. Мережковский и его друзья поставили редактору «Русского Слова» Ф. И. Благову ультиматум: или они, или Розанов, — и Благов предпочел Мережковских.

...десятилетие после 1904 года ~ он тогда еще не сосредоточился на самом себе. — Трудно согласиться с этими словами: как раз к 1909—1910 гг. у Роза-

нова оттачивается форма «маленького фельетона», в которой просматриваются знаменитые «опавшие листья». Они, как известно, стали записываться именно в это время. «Ослабление» наступило в 1914—1915 гг. и было вызвано, скорее всего, остракизмом, возбужденным в обществе бывшими друзьями Розанова.

С. 47—48. *...(у него была одна из лучших не только в России, но даже в Европе частных коллекций греческих, римских и восточных монет)...* — См.: *Голлербах Э.* В. В. Розанов как историк искусства и коллекционер (Наст. том. С. 368—371), а также статьи Розанова: Археология древних миниатюр // *Розанов В. В.* Среди художников. СПб., 1914. С. 132—148; Об античных монетах // *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк, 1968. С. 91—92; Как и почему пришло на ум собирать древние монеты // Там же. С. 92—117.

С. 48. *При жизни В. В. вышло только три таких книги...* — Наряду с «Апокалипсисом нашего времени», писавшимся с октября 1917 г. до тех пор, пока рука писателя держала перо, Розанов писал и «опавшие листья». Формальное различие между тем и другим циклами: очерки «Апокалипсиса» всегда имеют заглавие, тогда как «опавшие листья», как правило, такового не имеют и часто начинаются с отточия. Тем не менее Розанов однажды говорил Э. Ф. Голлербаху (в письме от августа 1918 г.), что «“Апок.” есть “Опав. листья” — на одну определенную тему — инсуррекция против христианства» (см.: Звезда. 1993. № 8. С. 113).

...образовать особый розановский кружок, который занялся бы разысканием ~ всего оставшегося после него материала. — В творческом архиве писателя (РГАЛИ. Ф. 419) находится много писем Розанова, которые были собраны после его смерти. Это усилия собирателей розановских кружков в Петрограде (В. Р. Ховин, Э. Ф. Голлербах и др.) и Москве (П. А. Флоренский). Кроме того, много потрудился над собиранием «материалов для биографии» земляк Розанова по Нижнему Новгороду поэт Борис Садовской (ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 292. Ед. хр. 266. Л. 1). Но все эти усилия были прерваны выступлением Л. Д. Троцкого (см.: Наст. том. С. 447).

Осталась ненапечатанной и большая работа ~ под символическим заглавием «Лев и Овен». — «Лев и Агнец» — большой труд, который Розанов писал в 1897 г. Установлено, что рукопись этой работы отложилась в архиве под поздним, относящимся к 1903 г., названием «Тайна: Из записной книжки писателя» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 170. 173 л.), — тогда предполагалось напечатать ее в приложении к журналу «Новый Путь». Опубликовано: *Розанов В. В.* Полн. собр. соч.: В 35 т. СПб.: Росток, 2015. Т. 2. С. 239—603, 651—655. «Хищное» и «кроткое» мира сего — вот основные символические темы этого сочинения. Об этом сочинении Розанов рассказывает в январском письме 1898 г. А. А. Александрову, редактору «Русского Обозрения» (см.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990. С. 677—

679), а также в письме к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу (РГАЛИ. Ф. 1167. Оп. 2. Ед. хр. 12). Основные идеи не изданной в свое время рукописи «рассосались» в последующих статьях, посвященных египетским и семитическим темам.

С. 49. *...тяжелое разрушение его здоровья...* — В последние месяцы жизни Розанов, пережив небольшой удар, находился на одре болезни и немощи. См. выдержки из заключения врача Аркадия Владимировича Танина, записанного под диктовку священником Павлом Флоренским 9 марта 1919 г.: «Движения правой руки и ступни левой ноги были затруднены. Мне казалось, что была некоторая затрудненность речи, выражавшаяся в шепелявости. Общее состояние <...> сердца было удовлетворительно, сознание было вполне ясное. Вообще В. В. Розанов до последней минуты сохранил полную ясность сознания... Когда я был у него во второй раз <...> мною было [найдено] расстройство зрения <...> выражавшееся в том, что больной видел только правую сторону предметов. Поэтому он <...> видел только правую половину слов на правой стороне страницы. Кроме того, у него было расстройство мочеиспускания в форме частых неудержимых позывов на мочу. Болезнь была мною диагностирована как тромбоз артерии в правой половине мозга на почве артериосклероза <...> Мною был назначен <...> кроме того, массаж левой руки. Вначале, под [воздействием] этого лечения, замечены некоторые улучшения: движения руки стали свободнее и расстройство зрения стало как будто [меньше]. Но потом вновь наступило ухудшение. Кроме того, под влиянием плохого питания общее истощение организма и <...> слабость все более увеличивались <...> Деятельность сердца также постепенно слабела. И когда я последний раз был приглашен к больному, накануне его смерти, то пульс был уже настолько слаб, что не оставалось никакого сомнения в близкой кончине больного, о чем я и сообщил его родным. Сознание все время оставалось ясным» (Архив священника Павла Флоренского).

Сергиев Посад приютил его в последние месяцы его жизни... — Розанов выехал из голодного Петрограда в конце августа (или начале сентября) 1917 г. и, таким образом, прожил в Сергиевом Посаде около одного года и пяти месяцев.

...возле той Москвы, где провел когда-то молодые студенческие годы. — Розанов учился в Императорском Московском университете в 1878—1882 гг., снимая комнаты на 3-й Мещанской улице, меблированные комнаты в Брюсовом, Денежном и в Козихинских переулках.

Он и лежит теперь там, возле своего учителя-друга, и, думается, он сам не захотел бы избрать себе другое место. — Розанов был похоронен на территории Гефсиманского скита, слева от церкви Черниговской Божией Матери, подле могилы К. Н. Леонтьева. В 1923 г. могилы двух мыслителей наряду с другими могилами были срыты. В 1991 г. была восстановлена могила Леонтьева по найденной плите и в 1992 г. — могила Розанова, определенная

по точной записи в дневнике Пришвина, посетившего кладбище в конце 1927 г. с дочерью писателя Татьяной Васильевной. На могилах установлены дубовые православные кресты. Начиная с 5 февраля 1989 г. на могиле совершается молебен настоятелем церкви Черниговской Божией Матери с братией, которые и ухаживают за могилами.

Н. А. Энгельгардт
ЭПИЗОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ
(с. 50)

Впервые: Минувшее: Исторический альманах. Вып. 24. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1998. С. 19—36 (публ. С. В. Шумихина).

Ю. Д. Беляев
О РОЗАНОВЕ
(с. 53)

Впервые: Новое Время. 1909. 24 июня. № 11954. С. 3.

С. 53. *Мой спутник г. Ж.* — Жаботинский. См. в статье Розанова «Пестрые темы» (Русское Слово. 1908. 13 мая) упоминание о встрече с Жаботинским в Риме.

Он тогда жил в Риме и посылал в «Новое Время» яркие, оригинальные корреспонденции. — Впечатления о поездке в Италию Розанов собрал в книге «Итальянские впечатления» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1909).

П. П. Перцов
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Глава VIII. «Мир Искусства»
(с. 55)

Впервые: *Перцов П. П.* Литературные воспоминания. М., Л.: Academia, 1933.

Печатается по: *Перцов П. П.* Литературные воспоминания / вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 206—228.

С. 57. *...пугавшей его самого сексуальной философии...* — Термин «сексуальная философия» и т. п. Розанов в своих сочинениях не употреблял. Он говорил о «половой теме», «философии семьи» и т. д. Употребление Перцовым этого понятия, скорее всего, говорит о его отрицательном отношении к теме пола.

Эта особа была старая нянюшка Сергея Павловича... — См. портрет С. П. Дягилева с няней работы Л. С. Бакста (1906; Гос. Русский музей).

И. Грабарь

МОЯ ЖИЗНЬ

(с. 58)

Печатается по: *Грабарь Игорь.* Моя жизнь: Автомонография. Этюды о художниках. М.: Республика, 2001. С. 144–148.

М. В. Добужинский

ВОСПОМИНАНИЯ

(с. 59)

Печатается по: *Добужинский М. В.* Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 204. (Лит. памятники).

А. Н. Бенуа

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО. КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ

(с. 60)

Печатается по: *Бенуа А.* Мои воспоминания: В 2 т. М.: Наука, 1990. Т. 2. С. 288–296. (Лит. памятники).

Розанов познакомился с Бенуа в редакции «Мира Искусства». Их тесное общение продолжалось до закрытия журнала в 1904 г. Влияние религиозно-философских идей Мережковского и Розанова сказалось на концепции книги Бенуа «История русской живописи в XIX веке» (СПб.: Т-во «Знание», 1902).

С. 60. *...отсюда же и образование «Религиозно-философского общества»...* — Имеются в виду Религиозно-философские собрания.

С. 61. *...«определенно жидовствующий» — В. В. Розанов...* — Бенуа имеет в виду симпатии Розанова в конце XIX — начале XX столетия к ветхозаветной культуре, иудаизму и быту евреев. См. «Юдаизм» (Новый Путь. 1903. № 7–12) и др. Ассоциировали Розанова с еврейством многие современники. См.: М. А. Каллаш — «вечный жид» (1912); П. П. Перцов — «древний израильтянин» (1913); Ася Цветаева — «единственный еврей на свете» (в передаче Марины Цветаевой, 1913); А. К. Закржевский — «еврей (в духовном смысле)» (1913).

С. 65. *sex appeal* — сексуальная привлекательность (*англ.*).

С. 67. *...видом монденского льва»...* — т. е. великосветского (от *фр.* monde, высшее общество, высший свет).

...к одному из его главных героев его исторической трилогии — Леонардо... — Речь идет о романе Д. С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1899–1900), втором томе трилогии «Христос и Антихрист».

С. 68. *...да и он как будто не забыл меня ~ в одной из его удивительных статей ~ в начале 1920-х годов.* — Бенуа не упоминается в выпусках розановского «Апокалипсиса». Вероятно, художник имел в виду предсмертное письмо «Друзьям», продиктованное Розановым 7 января 1919 г., которое начинается со слов: «Благородному Саше Бенуа...» (*Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 682); есть упоминание о Бенуа и в письме Розанова к Э. Ф. Голлербаху от 29 августа 1918 г.: «Лукомскому и А. Н. Бенуа — привет. Бенуа — и любовь. Умный, только молчалив, и, я думаю, эгоист. Лукомский — "полегче"» (Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин, 1922. С. 79).

К тому же Розанов должен был быть у большевиков вообще на плохом счету уже в качестве постоянного сотрудника «Нового Времени». — Розанова, к счастью, миновала страшная судьба его коллеги по «Новому Времени» М. О. Меньшикова, расстрелянного в Старой Руссе 21 сентября 1918 г. в присутствии малолетних детей большевистскими комиссарами (см.: М. О. Меньшиков: Материалы к биографии // Российский архив. Вып. IV. М.: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова — «Российский архив», 1993). Но миновала, наверное, потому, что он «вовремя умер». Слух о насильственной смерти Розанова носился в то время в воздухе. С. М. Городецкий начинает так некролог: «Расстрелян в Москве по постановлению чрезвычайной комиссии — таков конец этого мучительного человека...» (*Городецкий С. М.* Страж тайны († В. В. Розанов) // Закавказское Слово (Тифлис). 1919. 25 января. № 6. С. 2). Известно, что у Розанова должен был быть обыск.

З. Н. Гиппиус
ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК. О РОЗАНОВЕ
(с. 69)

Впервые: Окно (Париж). 1924. № 3. С. 273—335.

З. Н. Гиппиус принадлежала мысль об организации Религиозно-философских собраний, она играла ведущую роль в редактировании журнала «Новый Путь». При несомненном уме и таланте Гиппиус отличалась холодностью, декадентской аффектацией чувств и властолюбием. С конца 1890-х гг. до отъезда Мережковских за границу в 1906 г. их связывали с Розановым дружеские отношения. Однако после увлечения Мережковских идеей «религиозной общественности» — сближения религии и революции — и одновременного «поправения» Розанова их отношения стали ухудшаться, а в 1909 г. стали враждебными. Кульминацией вражды стала попытка исключения Розанова из Религиозно-философского общества в 1914 г., организованная Мережковскими. Тем не менее, после революции Мережковские посылали голодавшему Розанову деньги, а Розанов перед смертью написал им два примирительных письма. Мемуары Гиппиус — одно из наиболее ценных воспоминаний-исследований о Розанове.

С. 69. *Странник... только странник, везде только странник... — Розанов В. В.* Листва. М.; СПб., 2010. С. 52.

Иду. Иду. Иду... Даже «несет», а не иду. Что-то стихийное, а не человеческое... — Там же. С. 80.

Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость. — Там же. С. 163.

С. 70. *«Всякое движение души у меня сопровождается выговариваньем, — отмечает Розанов и прибавляет просто. — Это — инстинкт».* — Там же. С. 132.

«Нравственность? Даже не знал никогда, через "ѣ" или через "е" это слово пишется». — Там же. С. 42.

«Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен». — Там же. С. 37.

«Иногда чувствую чудовищное в себе. ~ Она съела меня и все вокруг меня». — Ср.: Там же. С. 163.

...«рукописную душу»... — ср., напр.: «Мое "я" только в рукописях...» (Там же. С. 9).

С. 71. *...мы возвращаемся в первый раз от Розанова...* — Первая встреча Мережковских и Розанова состоялась, вероятно, 28 октября 1897 г. (см. письмо Мережковского к П. П. Перцову от 27 октября 1897 г.: «Завтра вечером я пойду к Розанову» и от начала ноября: «Был я у Розанова...» (Русская литература. 1991. № 2. С. 172). Здесь речь, видимо, идет о весне 1898 г.

Розанов жил тогда ~ на Павловской улице... — На Петропавловской улице (д. 2, кв. 24) Розанов поселился с женой после переезда из г. Белого в мае 1893 г. Это — первая петербургская квартира Розанова, которую ему снял Романов-Рцы.

...не помню, кто нас с ним познакомил. — Важную роль в сближении Мережковских с Розановым сыграл П. П. Перцов, который познакомился с ним раньше Мережковских.

Девочка лет 8—9, падчерица Розанова... — Речь идет об А. М. Бутягиной; ей к этому времени было около 15 лет.

Розанов тогда служил в контроле. — С переездом в С.-Петербург Розанов поступил чиновником особых поручений при Государственном контролере Т. И. Филиппове, где прослужил до мая 1899 г.

...наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал)... — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 19.

С. 72. *Кажется, с 1900 г., если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге.* — С редакцией «Мира Искусства» Розанов познакомился в 1899 г.

Он внутренне «несклоняемый». — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 37.

...нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. — Перцов был издателем четырех сборников Розанова: «Сумерки про-

свещения» (СПб., 1899), «Религия и культура» (СПб., 1899), «Литературные очерки» (СПб., 1899), «Природа и история» (СПб., 1900).

С. 73. *Наименее рожденный...* — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 20.

...в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи, на Литейном... — Мережковские жили по адресу: Литейный пр., д. 24, кв. 33 (после Парижа — кв. 10) — в известном доме Мурузи, украшенном в мавританском стиле.

С. 73—74. *Неестественно-отвратительная фамилия дана мне... ~ Для будущего...* — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 19.

С. 74. *Да просто я не имею формы... ~ Хорошо! Совсем хорошо!..»* — Ср.: Там же. С. 20.

Детишек у него в это время было уже трое или четверо. — В 1900 г. родилась последняя дочь — пятый ребенок.

С. 75. *...вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями.* — Гиппиус здесь намекает о полемике с церковью из-за незаконнорожденных детей и т. д.

...железным занавесом. — Возможно, эта формула и была исходом знаменитой розановской цитаты, имевшей в политике великую перспективу.

С. 76. *А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным.* — См., например: *Россов С.* Новый вероучитель // Вера и Разум. 1909. № 3. С. 323—327.

С. 77. *...Я мог бы отказаться от даров... ~ Вне Бога — меня нет.* — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 34.

С. 78. *Выньте из самого существа мира молитву... ~ Как ему это объяснить?* — Ср.: Там же. С. 33.

Боже, Боже, зачем Ты забыл меня?.. ~ я теряюсь? — Там же. С. 41.

...другие «церковники» — приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу... — Вообще, Зинаида Николаевна оглупляет ситуацию. Розанов никогда не становился, в отличие от интеллигенции и в том числе Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны, в позу.

...теперешнего «живца»). — После революции еп. Антонин был одним из лидеров обновленческого раскола. В 1922 г. возглавил обновленческое Высшее церковное управление (ВЦУ), которое при поддержке ГПУ пыталось захватить церковную власть, отстранив Патриарха. В 1923 г. отделился от обновленцев, основав Союз церковного возрождения.

С. 79. *Летом 1902 г. мы ездили ~ к Светлому озеру («Китеж-град»).* — Итогом поездки стал очерк З. Н. Гиппиус «Светлое озеро» (Новый Путь. 1904. № 1, 2).

С. 80. *В плоеном чепчике...* — сделанном в параллельных волнообразных складках. От *фр.*: ployer — гнуть, сгибать.

С. 81. *«Что Бог сочетал, того человек не разлучает».* — Мф 19: 6.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали. — Скорее всего З. Н. Гиппиус сгущает краски. О доносе А. П. Сусловой на младшего друга

философа, студента С. Б. Гольдовского, Розанов писал С. А. Рачинскому: «...она кончила тем, что упекла его в тюрьму (перехватывала его письма ко мне, без моего подозрения, и одно, где он, по поводу университетских беспорядков, дурно выразился о начале царствования Александра III, переслала жандармскому полковнику в Москву...)» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1898, июль—август. № 72—75).

С. 82. *Бывали ~ и у митрополита Антония.* — О «походе» к митрополиту Антонию Мережковский рассказывал в своих «Автобиографических заметках» (Русское Слово. 1913. 19 марта; то же: *Мережковский Д. С.* Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 24).

У Антония ~ читал ~ даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви». — Мережковский имеет в виду доклад Н. Минского «О двух путях добра», где Минский использовал вызывавший насмешки образ «мистической Розы на груди Церкви». Однако сам Минский в статье «Забвенная душа (Ответ В. В. Розанову)» (*Минский Н.* На общественные темы. СПб., 1909) утверждает, что он читал доклад «О свободе религиозной совести», напечатанный в № 1 «Нового Пути».

С. 83. *...Странная черта моей психологии... ~ мне «современничают» другие люди...* — *Розанов В. В.* Листва. С. 55.

Знаете ли вы, что религия есть... ~ Обойти его молчанием. — Ср.: Там же. С. 45.

С. 84. *...до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России).* — Прямое искажение Гиппиус: обличительная статья Мережковского «Свинья-матушка» (Речь. 1909. 1 ноября. № 300) была написана по поводу статьи Розанова «Памятник Императору Александру III» (Русское Слово. 1909. 6 августа. № 128. Подп.: В. Варварин). Розанов в своей статье использовал при описании крупа императорского коня как олицетворения России выражение «зад свиньи», которое подхватил Мережковский и вульгаризировал в обличительных целях в статье «Свинья-матушка».

...«С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего»... — ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 34.

С. 85. *Иду в Церковь! Иду! Иду!* — Там же. С. 65.

Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным. — Ср.: «Как же бы я мог умереть не так и не там, где наша мамочка. И я стал опять православным» (Там же. С. 91).

Конечно, я умру все-таки с Церковью... Конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее... — Ср.: Там же. С. 164.

Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них. — Там же.

С. 86. *Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница.* — Там же. С. 37.

...«болит душа! болит душа! болит душа!» — Там же. С. 62.



...Как зачавкали губами и идеалист Борух... ~ Никогда не высказываются. — Ср.: Там же. С. 93—94.

С. 87. *...Тогда все объясняется... ~ Впервые забрезжило в уме...* — Ср.: Там же. С. 171.

...даже довели без долгов до 1906 г. — Ошибка: «Новый Путь» выходил два года, в 1903 и 1904 гг.

Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами... — Издатель религиозно-философской литературы М. В. Пирожков разорился в 1909 г., став жертвой собственной жадности: он тайно печатал количество книг сверх оговоренного с автором тиража, но, запутавшись в расчетах, обанкротился. См.: *Розанов В. В.* К истории одного книгопродавческого разорения // Новое Время. 1909. 22 июня. № 11982; также: *Эльзон М. Д.* Книгоиздательство М. В. Пирожкова // Книга: Исследования и материалы. Вып. 54. М.: Книга, 1987. С. 159—185.

...в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»... — см.: «Мы стоим на почве нового религиозного миропонимания. <...> Мы не чувствуем себя на нем случайными странниками: напротив, оглядываясь на прошлое, мы видим, между всеми извивами прежних дорог, ясные зачатки нашей. Мысль русской литературы уже не раз обращалась в эту сторону: Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев — вот наша родословная» (*Перцов П.* «Новый Путь» // Новый Путь. 1903. № 1. С. 6).

С. 89. *Он действительно «всегда спал». Во сне хоть и умел «подглядывать»...* — Намек на слова Розанова: «...но я хоть и "сплю вечно", а подглядел» (*Розанов В. В.* Листва. С. 94).

Приносит он очередной материал, главу «Юдаизма», в «Угол»... — Статья Розанова «Юдаизм» печаталась в кн. 6—12 журнала за 1903 г. в рубрике «В своем углу».

С. 90. *Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил.* — О своей «бабьей» натуре сам Розанов писал неоднократно. Например, в письме к Б. А. Грифцову от 24 апреля 1911 г. он сделал такое странное признание: «Я не "мужик", а скорее девушка, робкая, застенчивая, не любящая мира, скромная, любящая тишину и уединение. В сущности — монахиня» (Наше наследие. 1989. № 6. С. 58).

С. 91. *Будь верен человеку... ~ Остальных заповедей можешь и не исполнять.* — *Розанов В. В.* Листва. С. 152.

Хотел бы я быть только хорошим?.. ~ Тут я предпочел бы умереть. — Там же. С. 44.

С. 92. *...я был всегда ужасно неуклюжий... ~ Никакого сознания горизонтов...* — Там же.

Даже и представить себе не могу... ~ Так меня устроил Бог. — Ср.: Там же. С. 49.

Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение. — Там же. С. 118.

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил ~ собрания. — Решение о закрытии Религиозно-философских собраний было принято 5 апреля 1903 г. Последнее собрание состоялось 19 апреля 1903 г.

С. 93. *Выписан был на помощь ~ архимандрит Михаил...* — Архим. Михаил (Семенов) — доцент С.-Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философских собраний, плодовитый публицист; автор брошюр: «Вопросы веры и жизни» (1904), «Законный брак» (1908) и др. Он часто полемизировал с Розановым. См. о нем статью Розанова: Архимандрит Михаил // Русское Слово. 1907. 6 января, 30 января. Подп.: В. Варварин.

«Общественность», кричат везде... ~ ни слова, ни души. Умер. — Ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 70—71.

С. 93—94. *Народы, хотите ли, я вам скажу... ~ «и смотреть на закат солнца!»* — Там же. С. 40.

С. 94. *...И «воля к мечте»... И чудовищная задумчивость...* — Там же. С. 37.

— Что ты все думаешь о себе?.. ~ — Не хочется... — Ср.: Там же. С. 59.

Юркнул и на «радение» у Минского... — О «радении» у Н. Минского см. в очерке П. М. Пильского (Наст. том. С. 236).

Полюбил митинги. — См. статью Розанова «На митинге» (Новое Время. 1905. 25 октября. № 10641; 2 ноября. № 10649).

В это время он написал брошюру ~ брошюра была запрещена. — З. Н. Гиппиус неточна — сборник политических статей (а не брошюра) «Когда начальство ушло...» (1910) был составлен из статей, печатавшихся в «Новом Времени» и «Русском Слове» в 1901—1906 гг., и цензурным запретам не подвергался.

С. 95. *Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев...* — См. в воспоминаниях А. Белого (Наст. том. С. 196—202).

Он умолял меня содействовать ~ да еще кокетливой, да еще еврейке! — Имеется в виду жена поэта Н. Минского Л. Н. Вилькина. См. об этой пикантной переписке: *Павлова М. М.* «Распоясанные» письма В. В. Розанова // Литературное обозрение. 1992. № 11. С. 67—71.

Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть. — *Розанов В. В.* Листва. С. 64.

С. 96. *Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти и ужасаюсь...* — Там же. С. 76.

Смерти я совершенно не могу перенести... ~ «как враждебен себе». — Ср.: Там же. С. 115.

Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда! — Ср.: Там же. С. 110.

Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно! — Ср.: Там же. С. 115.

«Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души»... — Там же. С. 97.

Никакой человек не достоин похвалы, всякий человек достоин только жалости... — Там же. С. 72.

С. 97. *Иду! Иду! Иду! Иду!.. ~ И срывает меня с каждого места, где стоял.* — Ср.: Там же. С. 80.

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками... — Там же. С. 41. В 1906 г. Розанов принял предложение сотрудничать в московской газете «Русское Слово» и печатался там под псевдонимом В. Варварин до 1912 г. За это время отношения Розанова испортились и с 1909 г. переросли во вражду и критику, вследствие чего Мережковские поставили перед газетой ультиматум: или мы, или Розанов. Газета выбрала Мережковских.

...прав и П. Б. Струве ~ обвиняя его в «двурушничестве». — См. статью П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком» (Наст. том. С. 287–296).

С. 98. *Синоптики* — первые три евангелия (от Матфея, Марка и Луки), обладающие определенным единством по отношению к четвертому евангелию — от Иоанна.

С. 99. *Розанов в Совете не состоял.* — Гиппиус искажает реальную картину. До их с Мережковским и Философовым приезда из Парижа в 1908 г. Розанов активно участвовал в деятельности Религиозно-философского общества (РФО), которое он рассматривал как продолжение Религиозно-философских собраний. Изменения в направленности Общества произошли при активном воздействии Мережковского и кружка его сторонников. Розанов вышел из Совета РФО в 1909 г., мотивируя это утратой Обществом религиозного духа и увлечением социальными вопросами (см.: *Розанов В.* Письмо в редакцию // Новое Время. 1909. 17 января. № 11800. С. 13).

...ничего нового в этих книгах не содержалось. — См.: «С первых же строк этой напечатанной книги вас охватывает страх. И не приятный страх, а смешанный с отвращением. Еще не разобрался, еще не понял, что же, собственно, тут ужасного, а первый, глубокий внутренний голос уже твердит: "Нельзя! Нельзя! Не должно этой книги быть". Против ее существования, против того, что она была сдана в типографию, набрана, вышла черным по белому, и цена обозначена — 1 р. 50 к., — против всего этого кричит мое естественное человечество и даже оскорбленная "личность"» (*Гиппиус З. Н.* Литераторы и литература // Русская Мысль. 1912. № 5. С. 30. Подпись: Антон Крайний).

С. 100. *«Душа моя какая-то путаница...»* — *Розанов В. В.* Листва. С. 119.

...умереть на руках самого, кажется, умного и жестокого священника — П. Ф.? — Имеется в виду Павел Флоренский.

...в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония. — Имеется в виду епископ Антоний, духовник о. Павла Фло-

ренского, живший с 1888 г. на покое в Даниловом монастыре в Москве. См. о нем: *Ельчанинов А.* Епископ-старец (Воспоминания о епископе Антонии Флоренсове // Путь (Париж). 1926. № 4. С. 167–165; *Иеродиакон Андроник [Трубачев].* Епископ Антоний (Флоренсов) – духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской патриархии. 1981. № 9. С. 71–77; № 10. С. 65–73.

Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду. – Речь идет об Ольге Александровне Флоренской, некоторое время после трагической гибели мужа, С. С. Троицкого, друга о. Павла Флоренского, бывшей под влиянием Мережковских, но затем отошедшей от них благодаря о. Павлу.

...«Вся его натура какая-то ползучая...» – *Розанов В. В.* Листва. С. 109.

Статьи ~ радостно хватались грязной, погромной газеткой. – В «Земщине» нам известны две статьи Розанова за 1913 г.: «Андрюша Ющинский» (5 октября), «Наша "кошерная печать"» (22 октября).

С. 101. *– Нельзя? – говорит Розанов. – Мне – можно. ~ – А вы все – к черту!* – Гиппиус сгруппировала вымышленные и розановские фразы для своих целей. Полный текст читается так: «На мне и грязь хороша, п. ч. это – я» (*Розанов В. В.* Листва. С. 134). Эта реплика написана по поводу бешеного гвалта в желтой прессе, что Розанов указал в ремарке: «(пук злобных рецензий на "Уед.")».

С. 102. *...приходил на каждое Р.-ф. собрание, чуть ли не до последнего, на котором его торжественно исключили.* – «Торжественного» исключения Розанова, как утверждает Гиппиус, не получилось – формулировка об исключении вообще была отвергнута большинством членов Общества (см. «Стенографический отчет»: Наст. изд. Т. 2). Кроме того, накануне и после «суда» в «Новом Времени» был опубликован ряд документальных материалов, характеризовавших Мережковского далеко не с лучшей стороны в его отношениях с А. С. Сувориным (см., напр.: *Розанов В.* А. С. Суворин и Мережковский (письмо в редакцию) // Новое Время. 1914. 25 января. № 13604).

...дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством... – Имеется в виду Вера Васильевна Розанова. Она покончила с собой после смерти отца, в ночь после Троицы 1919 г.

...работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной). – Работу над книгой о Египте («Из восточных мотивов») Розанов начал в 1916 г. Вышло три выпуска (1916–1917). Рукопись находится в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 95–105).

Мне помнится там рассказ – встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. – Ошибка: имеется в виду эпизод, описанный в очерке «Из армии и возле армии»; см.: *Розанов В. В.* Война 1914 г. и русское возрождение. Пг., 1915. С. 228–234.



С. 103. *Да, умер. Его взяли в Красную армию...* — Сын писателя Василий, вернувшись из армии, умер от «испанки» (гриппа) в Курске во время поездки за продуктами на Украину, 5 октября 1918 г.

И Меньшикова расстреляли. — см. коммент. к с. 68.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли. Тоже за «Новое Время», очевидно. Это слух. — В 1918 г. в Петрограде были распространены ложные слухи как об аресте Розанова, так и о его смерти.

С. 104. *Пишу обыкновенные, вопиющие вещи.* — О письме Гиппиус к Горькому и о финансовой помощи Горького Розанову см.: *Ходасевич В.* Рец. на кн.: Гиппиус З. Н. Живые лица. I и II т. Прага. 1925 (Наст. том. С. 393—395), где показывается тенденциозность и неточность описаний Гиппиус, пользующейся слухами.

Мы узнали все это ~ от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х. ... — Речь идет о Викторе Романовиче Ховине.

С. 105. *...они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете.* — Имеется в виду статья Э. Ф. Голлербаха, опубликованная в берлинской газете «Накануне» (см.: *Голлербах Э. Ф.* Последние дни В. В. Розанова: Наст. том. С. 400—406).

С. 106. *Услуги еврейские... ~ и сгниет мой народ. — Розанов В. В.* Листва. С. 167.

С. 107. *Евреи — самый утонченный народ в Европе... ~ и они в него уперлись... — Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад, 1917. № 6—7. С. 78, 89, 79, 79.

Ужас, о котором еще не догадываются... ~ и — Гиппиус соединила отрывки; см.: Апокалипсис нашего времени. С. 23, 137, 31.

...все ветхозаветное прошло... — ср.: *Розанов В. В.* Листва. С. 171.

С. 108. *...ненужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью...* — Слух о том, что Розанов перед смертью не только причастился по православному обряду, но и совершил поклонение языческим богам, распространялся, в частности, З. Н. Гиппиус, о чем свидетельствует Э. Ф. Голлербах в указ. соч.

З. Н. Гиппиус
О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ
(с. 109)

Впервые: Последние новости. Париж, 1931. 2 августа. № 3784. С. 2—3; 4 августа. № 3786. С. 3—4.

М. И. Цветаева
ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА
(с. 115)

Впервые: Современные записки. Париж, 1934. Кн. 2.

В. Г. Шершеневич
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧЕВИДЕЦ
(с. 116)

Впервые: Книжный угол. 1919. № 6. С. 4.

Андрей Белый
ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ
(с. 118)

Печатается по: *Белый Андрей.* Воспоминания о Штейнере. Paris: La Presse libre, 1982. С. 71 (авторская пометка в конце книги: 29 января 1929 г.).

В. Микулич
ПРОЙДЕННАЯ ДОРОЖКА
(с. 119)

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 551. Оп. 21. Ед. хр. 372.

С. 118. *Первой женой его была женщина-врач...* — Ошибка памяти: врачом была сестра А. П. Сусловой Н. П. Суслова. См. также коммент. к с. 30.

А. М. Ремизов
О ПОНИМАНИИ
(с. 123)

Впервые: Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 224—230.

А. М. Ремизов
КУКХА. РОЗАНОВЫ ПИСЬМА
(с. 130)

Впервые: *Ремизов А. М.* Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. При комментировании учтена работа: *Обатнина Е. Р.* Комментарии // Ремизов А. М. Кухка: Розановы письма / изд. подгот. Е. Р. Обатнина. СПб.: Наука, 2011. С. 320—564.

С. 130. *А «Завитушку» потом...* — авторское определение особого жанра миниатюрной новеллы автобиографического характера: «...я назвал свое — "завитушками"» (*Ремизов А. М.* Иверень. Загогулины моей памяти. Berkeley, 1986. С. 152).

...у меня две карикатуры на вас: одна из «Сатирикона», другая из газеты какой-то. — Rosano mormon [шарж на В. Розанова] // Зритель. 1905. № 16.

25 сентября. С. 9. «Зоологический сад “Зрителя”». Б. п. Шаржи на Розанова печатались в газ.: Киевская Мысль. 1910. 25 декабря (не обнаружено); Московский Голос. 1912. 3 февраля. №173. С. 2; Перепечатка из ж. «Чурило» [Фото В. В. Розанова] // Синий Журнал. 1912. 11 мая. № 20. С. 9; *С. В.* Портретная галерея: В. В. Розанов // Там же. 1915. № 37. 12 сентября.

С. 131. *В январе 1905 г. с нас было снято запрещение Москвы и Петербурга и в феврале мы переехали из Киева в Петербург.* — После окончания срока политической ссылки в 1903 г., которую Ремизов отбывал в Вологде, ему было запрещено проживание в Петербурге и Москве в течение пяти лет. После неоднократных прошений в полицию ввиду полного прекращения политической деятельности разрешение на въезд в столицы было дано приказом министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского.

С. 132. *Канатик* — семенной канатик (funiculus spermaticus), анатомическая особенность мужского полового органа.

С. 133. *...редкое воскресенье, чтобы не были мы у Розановых на Шпалерной...* — Имеются в виду журфиксы по воскресеньям в доме Розанова. Квартиру на Шпалерной ул. (д. 39, кв. 4) Розанов снимал с 1899 по 1905 г.

С. 134. *...еще тогда в Москве на Сухаревке покупались, на последние.* — Ср.: «...живя на 25 руб. в месяц, я собирал “под Сухаревой башней” в Москве старого Ломоносова, Кантемира, Княжнина» (*Розанов В. В.* К всеобщему успокоению нервов... // Новое Время. 1911. 7 февраля. № 12539).

...наслушавшись об арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах». — Розанов посвятил Арцыбашеву в печати несколько отзывов; см.: «Пестрые темы» (Русское Слово. 1908. 30 апреля. № 100; подп.: В. Варварин); «На книжном и литературном рынке» (Новое Время. 1908. 11 июля. № 11612); «Почему появился “Арцыбашев”? (К вопросу о разводе)» (Там же. 1916. 27 марта. № 14387). *«В лугах»* — повесть М. Кузмина, Розанов отозвался о ней статьей «То же, но другими словами» (Золотое Руно. 1907. № 1).

...голова львова, сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном. — Описание герба рода Довкгелло (исконное написание), к которому принадлежала С. П. Ремизова-Довгелло. Символы фамильного герба Ремизов использовал для названий глав в романе, посвященном судьбе Серафимы Павловны, где она выведена под именем Оли. Ср.: «“Голова львова сера, космата, с огненной пастью в поле блакитном”. Под этим знаком вся история Оли: ее детство, отрочество и юность. “Оля”: В поле блакитном. Доля. С огненной пастью. “Голова львова”. Этот львовый знак — фамильный герб Задоры Довгелло» (*Ремизов А. М.* В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 281).

С. 135. *«33 белых попа», — такое есть общество. Собираются иногда в редакции.* — Подразумевается сложившаяся в Петербурге и позднее преобразовавшаяся в Союз Ревнителей Церковного Обновления (Братство Ревни-

телей Церковного Обновления) «группа 32-х священников», которая активно выступала за отделение церкви от государства. Ее участники пытались найти поддержку в редакции «Вопросов Жизни» среди идеологов нового религиозного сознания, но те встретили программу обновленцев резкой критикой, видя в ней «просто профессионально-освободительное движение» (см.: *Павлова М.* Мученики великого религиозного процесса // *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция. М.: ОГИ, 1999. С. 26—28).

...раскрыта, наконец, моя мистификация о этом мифическом Иване Павлиновиче... — Любовь писателя к различного рода розыгрышам и шуткам получила широкую известность среди петербургских литераторов. Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг) вспоминал: «Ремизов вообще и в письмах и в разговоре любил "шутоваться" (его выражение) и чудить. В общении с другими он всегда играл какую-то роль. <...> Ремизов был с хитрецой, "шутовался" он всегда не без расчета, не без задней мысли» (РО ИРЛИ. Ф. 474. Ед. хр. 53. Л. 87—88). В данном случае в ремизовской «шутке» речь идет об Иване Павлиновиче Слободском, протоиерее о. Иоанне, участнике Религиозно-философских собраний. Ср. с записью Розанова: «Какие добрые бывают (иногда) попы. Иван Павлинович взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: "Да и что мы можем знать с нашей черепушкой?" (мозгом, разумом, черепом). Я ему сказал разные экивоки и "сомнения" за годы Рел.-фил. собраний. И так сладко было у него поцеловать руку. Исповедовал кратко. Ждут. <...> Так "быт" мешается с небесным глаголом <...> Но Слободской — глубоко бескорыстен. Спасибо ему. Милый. Милый и умный (очень)» (*Розанов В. В.* Листва. М.; СПб., 2010. С. 193).

Среды у Вяч. Иванова. — В доме поэта, писателя, теоретика символизма Вячеслава Ивановича Иванова на Таврической улице, д. 38 — известном под названием «башня», по средам собирался весь цвет интеллектуального, литературно-художественного мира Петербурга. См.: *Шишкин А.* Симпосион на петербургской башне в 1905—1906 гг. // Канун: Альманах. Вып. 3. Русские пиры. СПб., 1998. С. 273—352. Историю взаимоотношений Иванова и Ремизова см.: Переписка В. И. Иванова и А. М. Ремизова / Вступ. ст., примеч. и подгот. писем Ремизова А. М. Грачевой; подгот. писем Вяч. Иванова О. А. Кузнецовой // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М.: Наследие, 1996. С. 72—118. Ср. слова Розанова из письма к П. П. Перцову от 12 января 1907 г.: «У Вячеслава я вовсе не бываю: какое-то бессмысленное стадо молодежи, и им самим едва известной, толчется у них. Читают стихи, а он à la лекции. Мне все это скучно. Слышно у них завелись какие-то "мистерии" или "что-то", для чего будто бы в том же дому они сняли 2-ую квартиру в 6 комнат. Но жена его основательно простудилась в слишком откровенных капотах, с какими-то разрезами, раскрывавшими всю ее талью (об этом говорили Ремизовы, и это подробно попало в анонимный оскорбительный фельетон): я думаю, Лидия Дм<итриевна> устарела для вакханки. Но

под старость лет и на 20-й год супружества “чем бы люди себя не тешили — только бы не плакали"».

С. 136. *...психологией маленькой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманною...* — Ср. характеристику Розанова: «Ремизов А. М. Один из умнейших и талантливейших в России людей. <...> По существу он чертенок-монашенок из монастыря XVII в. Весь полон до того похабного — в мыслях, намеках, что после него всегда хочется принять ванну. Он — миниатюрный, черный. “Она” белокурая, громадная. <...> “Его” и “Ее” я всегда представлял как черную мышь, грызущую “головку голландского сыра"» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 724. Л. 203—204).

Рассказывал: когда он первый раз это сделал — ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке, за 40 — так на другой день с утра он песни пел. — Ремизов намекает на инцидент, случившийся с Розановым, учеником 3-го класса Симбирской гимназии. Вместе с младшим братом Сергеем Василий был оставлен старшим братом учителем Николаем Васильевичем на квартире Николаевых. Старший сын хозяйки семиклассник Николай был прикреплен к Василию в помощь. Ср. его характеристику и запись Розанова: «Глубочайшее благородное на меня влияние, — с золотистыми волосами, мягкий, “базаровец” (Отцы и дети), в молчаливой оппозиции с своей матерью — и, увы, пытавшейся меня соблазнить (14 и 40 лет), всегда при мне искавшей блох и в сорочке, спустя с плеч ее, — ходившей предо мной босой и в сорочке, с большими грудями, и тогда ужасно обнажавшимися и, в заключение, пригласившей меня: “Василий, иди ко мне спать". Я, ничего не понимая, — рассмеялся» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 542. Л. 1).

...учитель Полетаев с видением соблазняющих его собак (расск. В. В.)... — Возможно, этот сюжет имеет отношение к следующей записи Розанова, передающей рассказ С. П. Довгелло: «Она рассказывала мне — в компании — поразительный случай “cum cave" [с осторожностью (*лат.*)]: “Интеллигент, при уехавшей жене, жил mit Hund (собака): и ежедневно мы слышали, как наверху она визжит, — от боли. У него сделались отвратительные глаза, приобретя собачье выражение. Так он жил около года с нею, жена написала «еду». Он отвел собаку в лес и застрелил"» (Там же. Ед. хр. 724. Л. 204).

...доктор Доминик Доминикович Кучковский (из воспоминаний В. В.)... — Брянский врач Доминик Доминикович Кучковский упоминается как доверенное лицо в нотариальных бумагах Розанова (завещании, составленном в 1884 г. и др.). См.: *Сараскина Л.* Возлюбленная Достоевского Аполлинария Суслова: в документах, письмах, материалах. М.: Согласие, 1994. С. 366—385. Точнее: Доменик Доменикович Кучинский. В архиве Розанова сохранилось его письмо к Розанову от 6 октября 1886 г. и письмо его дочери Жозефины, ученицы Розанова по Брянской прогимназии (см.: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 508 и 509).

С. 137. *И тихонько из Опытов...* — «Опытами» Розанов называл личные эротические наблюдения, необходимые ему для исследования так называемой темы пола. Ср.: «...я и “там” если этим делом и баловался, то в сущности для “опытов”. Т. о. наблюдал и изучал. А чтобы “для своего удовольствия” — то почти и не было» (*Розанов В. В.* Уединенное. М.: Русский путь, 2002. С. 300).

...мы отдельно теперь на 5-ой. — Ремизовы переехали на 5-ю Рождественскую ул. (д. 38, кв. 2) 26 сентября 1905 г.

С. 138. *Хоронили Трубецкого. Несли на Николаевский вокзал. Демонстрация.* — Внезапная смерть философа, общественного деятеля, ректора Московского университета, члена «Союза освобождения», в Петербурге после сердечного приступа из-за выговора от министра народного просвещения за студенческие волнения, допущенные в Московском университете, вызвала массовый подъем в обществе. М. Кузмин, наблюдавший многолюдную похоронную процессию, записал в дневнике: «Когда сегодня мимо нас провозили Трубецкого, случилось какое-то замешательство и толпа в панике, в ужасе бросилась бежать, на извозчиках, просто так, в лавки, и сверху это производило впечатление картины какого-то англичанина “Манифестация”. На Невском были какие-то волнения, но более или менее обычного типа» (*Кузмин М.* Дневник 1905—1907. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. С. 50). Розанов почтил Трубецкого поминальной статьей, которая была опубликована лишь в наши дни: *Дмитриев А. П.* Неизвестная статья В. В. Розанова (некролог князю С. Н. Трубецкому) // Текст и традиция: Альманах. Т. 3. СПб.: Росток, 2015. С. 359—369.

Вечером ездили к Ф. К. Сологубу на В. О. в училище, где он инспектором. — В 1899—1907 гг. Федор Сологуб служил учителем-инспектором в Андреевском городском училище, которое находилось на Васильевском острове (7-я линия, д. 38).

...и, конечно, Василий Иванович (Коренев). — Очевидно, ошибка в фамилии; речь идет о приятеле и сослуживце Ф. К. Сологуба Василии Ивановиче Корехине, который под влиянием Сологуба стал писать стихи и публиковался под псевдонимами «В. Корин» и «Горицвет»; автор книги «Зарницы» (СПб., 1898—1901).

Я писал в альбомы передоновщину... — провинциальный учитель Передонов — символ маниакально-извращенного, грязно-эротического поведения — центральный персонаж романа Ф. Сологуба «Мелкий бес», который впервые увидел свет на страницах журнала «Вопросы Жизни» (1905. № 6—11).

Не забыть под Андрея погадать. — Имеется в виду день памяти апостола Андрея Первозванного (30 ноября); по народной традиции, накануне этого дня (29 ноября) девушки гадали на суженого.

Были они все за границей... — Имеется в виду поездка Розановых в Германию летом 1905 г.

С. 139. *У Розанова. Познакомился с Григорием Петровым.* — Характеристику Розановым Петрова см. в коммент. к с. 47. Розанов познакомился с Петровым в 1899 г., дав положительный отзыв на 2-е издание его книги «Евангелие — как основа жизни» (СПб., 1898) (Религия — как свет и радость // Новое Время. 1899. 14 апреля. № 8308. С. 2—3). Петров устроил встречу Розанова с Д. И. Сытиным, результатом которой было сотрудничество Розанова в московской газете «Русское Слово» (1906—1912).

С. 140. *Манифест о свободах.* — В ночь с 17 на 18 октября 1905 г. был опубликован подготовленный С. Ю. Витте и подписанный Николаем II манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в соответствии с которым были узаконены гражданские свободы: совести, слова, собраний, союзов, расширенные избирательные права и т. д.

С. 143. *Затевается журнал «Факелы». Соединение декадентов с «Знанием». Это все Г. И. Чулков мудрует.* — В начале 1906 г. была объявлена подписка на «двухнедельный литературный, художественный и общественный журнал» "Факелы"», идеологической программой которого должна была стать поддержка социалистического движения в разрушении старого экономического порядка и осуществлении более свободного и справедливого общественного устроения, а также «проповедь индивидуального освобождения». Среди участников проекта назывались фамилии Л. Андреева, К. Бальмонта, В. Брюсова, И. Бунина, Б. Зайцева, Вяч. Иванова, В. Мейерхольда, А. Серафимовича, Г. Чулкова, К. Сюннерберга, П. Щеголева и др. (корректуру анонса с правкой К. А. Сюннерберга см.: РО ИРЛИ. Ф. 474. Ед. хр. 606). Замысел не был осуществлен: в 1906—1908 гг. под редакцией Чулкова вышло три книги одноименного альманаха, идеологической платформой которого стал «мистический анархизм».

«Факелы» соединяются и с Мейерхольдом. Стало быть, и журнал и театр «Факелы». — Мейерхольд вел переговоры с идеологами альманаха «Факелы» о том, чтобы вместе с Вяч. Ивановым возглавить театральный отдел в журнале «Факелы», а также театр «Факелы». Отголоски широкого обсуждения этой идеи проникли и на страницы печати: «В театральных кругах говорят о театре "Факелы". Это как бы петербургская "Студия", так неудачно кончившаяся в Москве. Во главе "Факелов" г. Мейерхольд. Но осуществление проекта отложено до будущего года» (*Дымов* О. Петербургские театры. Письмо первое // Золотое Руно. 1906. № 2. С. 107). Хотя Мейерхольд и приехал в столицу 28 октября 1905 г., этот замысел также не был реализован.

В Контроле когда-то служил и Розанов. — См. коммент. к с. 33, 71.

«Едешь, бывало, на конке на верху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!» — Служба в Контроле была отягощена материальной недостаточностью.

Вчера собрание «Факелов». Меня приняли. — В первой книге нового альманаха (1906) был опубликован рассказ Ремизова «Серебряные ложки» (1903), а в третьей — его пьеса «Бесовское действо» (1906—1907).

Собрание «Золотого Руна»: С. А. Соколов-Кречетов («Гриф»), Тароватый («Искусство»)... — Идея создания журнала под названием «Золотое Руно», внешне и содержательно отвечавшего эстетической программе символистов, оформилась в октябре 1905 г. Журнал начал издаваться в январе 1906 г. при финансовой поддержке мецената Николая Павловича Рябушинского. В состав редакции вошли С. А. Соколов и Н. Я. Тароватый. В письмах С. Соколова, занявшего должность заведующего литературным отделом «Золотого Руна», обсуждались публикации Ремизова в журнале (ОР РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 203). Подробнее о журнале см.: *Лавров А. В.* «Золотое Руно» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. М.: Наука, 1984. С. 137—173.

С. 144. *...перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым...* — См. об этом: *Белый А.* В. В. Розанов (Наст. том. С. 199).

...подымались самые непоказанные разговоры. — О тайных (эротических) разговорах в этом кругу свидетельствуют позднейшие воспоминания С. И. Дымшиц-Толстой — супруги А. Н. Толстого: «В этот период нашей петербургской жизни мы стали посещать ряд писательских домов <...> К Ремизовым А. Н. проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось "идти к насекомым". Действительно, и сам хозяин — маленький, бороденка клинышком, косенькие, вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий смех, слюнявая улыбочка, — и его любимый гость — реакционный "философ" и публицист В. В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы, — все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказы из Четьи-Минеи, пересыпая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату» (Воспоминания об А. Н. Толстом. М.: Сов. писатель, 1973. С. 79).

«Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры». — Характерный для эротических фольклорных интерпретаций эвфемизм («хобот») призван спроецировать тему крупного по всем параметрам существа (слона) на образ мужчины, наделенного природой исключительными физическими достоинствами. Хобот в таком переосмыслении аналогичен носу — традиционному фаллическому символу, размеры которого принято напрямую увязывать с мужским половым органом.

С. 145. *...пришел, пришел издалека / скиталец из Женевы...* — неточная цитата из стихотворения Андрея Белого «Опять он здесь, в рядах борцов...» (Факелы. Кн. 1. СПб., 1906. С. 33).

Приходил Е. Г. Лундберг ~ спасали его от верной гибели. — Е. Г. Лундберг свою юность провел в скитаниях, общаясь с революционерами и сектантами, неоднократно попадал в тюрьму; в 1904 г., по собственному признанию, «нищенствовал в Петербурге», в 1905 г. сблизился с «Христианским братством борьбы» В. П. Свенцицкого, В. Ф. Эрна и др., программу которого распространял на юге России, участвовал в аграрных волнениях на Черниговщине, в октябре того же года был вместе с Л. Шестовым в Киеве во время еврейского погрома. Описал свои путешествия в книгах «Мои скитанья» (Киев, 1909) и «Записки писателя» (Берлин, 1922).

С. 146. *...вроде как митрофорные попы?* — Архиереи, архимандриты или протоиереи, в полное облачение которых входил специальный головной убор — митра.

С. 147. *Фаллофор* — участник дионисийских мистерий, главным атрибутом которого являлся кожаный фаллос гиперболических размеров. Розанов получил звание «великого фаллофора Обезвелволпала» (шуточной Обезьяньей Великой и Вольной палаты, основанной А. М. Ремизовым) за свои увлечения древним культом, а также за многочисленные труды по философии пола. В первой публикации «Розановых писем» (Окно. 1923. № 2) это слово скрывалось за сокращением: «ф.......».

В конце лета 15 года как-то встретились мы в «Лукоморье». — Петроградское издательство, в котором в конце июля 1915 г. вышел второй короб «Опавших листьев» Розанова. Ср. с его записью, относящейся к этому времени: «Приехал в Петроград ругать "Лукоморье" за долгий выпуск книги...» (*Розанов В. В.* Мимолетное. М.: Республика, 1994. С. 266). Заведовала издательством Н. Ю. Суворина, жена М. А. Суворина. В 1916 г. «Лукоморье» выпустило в свет книгу Ремизова «Укрепа. Слово о русской земле, о земле тайной, о тайностях земных и судьбе».

Хабар — слово тюркскоязычного происхождения, которое в разных диалектах имеет различные значения: нажива, взятка, но в то же время — известие, весть. В обиходе Обезвелволпала использовался весь семантический диапазон этого слова, о чем свидетельствует запись в дневнике М. Пришвина от 30 декабря 1917 г. См.: *Пришвин М. М.* Дневники. 1914—1917. М.: Московский рабочий, 1991. С. 396—397.

Я был выслан в Пензу... — знакомство Ремизова с Мейерхольдом состоялось весной 1897 г. в Пензе; в 1903—1904 гг. Ремизов работал заведующим литературной частью в его «Товариществе новой драмы». О молодом Ремизове Мейерхольд писал в 1896 г.: «Его энергия, его идеи одухотворяют меня. <...> Какой запас знаний дал он нам. Целую зиму мы провели в интересных чтениях, давших нам столько хороших минут. А взгляды на общество, а смысл жизни, существования, а любовь к тем, которые так искусно выведены дорогим моему сердцу Гауптманом в его гениальном произведении "Ткачи". Да, он переродил меня» (*Волков Н.* Мейерхольд. М.; Л.: Academia, 1929.

Т. 1. С. 109—110). Подробнее о высылке Ремизова под негласный надзор полиции в Пензу, его знакомстве и сотрудничестве с Вс. Мейерхольдом и А. П. Зоновым см. книгу Ремизова «Иверень» (главы «Ход в окошко» и «В лакейской»).

С. 148. *Хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового.* — См. коммент. Ремизова к этой фразе Розанова: «"Владеющий и достигший отпущенного человеку" — Аркадий Павлович Зонов. Свидание состоялось, был виновник полунощного свидания. Мы остались втроем: я, В. В. Розанов и А. П. Зонов. В. В. раскладывал всякие меры по столу и т. д. А жили мы на 5 Рождественской, 38, кв. 2. В крохотной столовой все это происходило в I этаже — во двор» (цит. по: *Обатнина Е. Р.* Комментарии. С. 408). Вершок = 4,45 см.

С. 149. *«Вопросы Жизни» кончились — кончилось печатание моего «Пруда»...* — Последний номер журнала (№ 12) вышел в марте 1906 г. (ср. с записью Е. П. Иванова от 21 марта 1906 г.: «Пошел в Вопросы Жизни и принес 12 №. Хорошая кончина журнала» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 402); публикация первого романа Ремизова была завершена в № 11.

С. 150. *...теперь С. П. в гимназии достала уроки — «в образцовой»!* — Речь идет о частной гимназии Марии Алексеевны Минцловой.

С. 152. *...перебрались мы в комнату на Загородный, а потом в М. Казачий переулок. А Розановы переехали со Шпалерной в Б. Казачий по соседству.* — Ремизовы жили на Загородном пр. (д. 21, кв. 19) с июля по сентябрь 1907 г., а затем переехали в Малый Казачий пер. (д. 9, кв. 34). Розановы переселились с квартиры на Шпалерной ул. (д. 39, кв. 4), в которой жили с июня 1899 г., в Б. Казачий пер. (д. 4, кв. 12) в 1905 г.

С. 153. *Именины ваши, между прочим, теперь не на Василия, а на Геляриуса, я же на Луку угодил...* — Речь идет о несоответствии православного календаря так называемому «новому стилю». Ремизов привык отмечать свои именины 5 октября, которые по новому стилю пришлись на 18 октября, как и именины Луки по старому стилю.

С. 153—154. *Спасибо, добрый Алексей Михайлович... ~ безе, безе, безе — Розанов.* — См. коммент. Ремизова к этой фразе Розанова: «В письме ко мне о копировании монет, прием описательный совсем к монетам не относится, а к разговорам нашим о такой книге — "книге любви", где бы были собраны наблюдения мудрецов и опытных людей, а также наказ "в любви", о чем знали очень хорошо в старину у нас "мамки" и свахи. А о монетах: я предложил некоторые очень скопировать и издать альбом. Осуществить ничего не пришлось: ни книги "любви", ни альбома монет. Между прочим, как потом выяснилось, три четверти монет оказалось поддельными» (цит. по: *Обатнина Е. Р.* Комментарии. С. 423). Безе — от *фр.* baiser — поцелуй.

С. 154. *o, du fröhliche, / o, du selige, / gnadenbringende / Weihnachtzeit!* — о, ты радостное, / о, ты благословенное, / Благодать приносящее, / Рождество! (*нем.*)

С. 156. *...появился Н. С. Гумилев и некоторое время «до Абиссинии»...* — Первое путешествие Гумилева в Аббисинию состоялось в конце 1909 — начале 1910 г.

С. 157. *Барышня интересовалась Розановым.* — Подразумевается Людмила Давыдовна Бурлюк. См. подробнее коммент. Е. Р. Обатниной: *Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 7: Ахру. М.: Русская книга, 2002. С. 546.

С. 158. *Точное изображение барышни...* — см.: Там же. С. 34.

С. 159. *...есть поцелуи, как сны свободные...* — первая строка стихотворения К. Бальмонта «Играющей в игры любовные» (1901).

...в гимназии вас козлом называли. — См. коммент. к с. 28.

С. 160. *Не провокация? ~ Vale.* — См. коммент. Е. Р. Обатниной: *Ремизов А. М.* Ахру. С. 547. *Vale* — Будь здоров! Прощай! (*лат.*)

С. 162. *...М. О. Гершензон где-то тут лечится!* — Гершензон проходил курс лечения на германском курорте Баденвейлер с октября 1922 по август 1923 г.

С. 168. *...житие Моисея Угрина с бесами.* — Текст под заглавием «О преподобном Моисее Угрине» Розанов приводит в своей книге «Люди лунного света» (СПб., 1911; 2-е изд.: 1912. С. 178—195), указывая источник: «Киевский патерик».

С. 169. *Книга вышла. Развернул: — увы! — что же случилось? — и рисунок.* — Книга вышла в свет между 1 и 8 апреля 1910 г. (поступила в Главное управление по делам печати). Тексты и рисунок Ремизова расположены на ненумерованных страницах: 423-й, 425-й, 427-й оригинальной книги Розанова «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» (СПб., 1910).

С. 170. *А. А. Измайлов из побуждений самых высоких, оберегая литературную честь, написал про меня в вечерней Биржовке...* — См.: *Миров Мих.* Письмо в редакцию // Биржевые Ведомости. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5—6. Ремизов подразумевал под этим псевдонимом критика Измайлова, сотрудника газеты. Но Измайлов утверждал, что ее написал К. Чуковский. См.: *Ремизов А. М.* Ахру. С. 551.

Пришвин... ~ пошел по редакциям с разъяснениями. — См.: *Пришвин М. М.* Плагиатор ли Ремизов? Письмо в редакцию // Слово. 1909. 21 июня. № 833. С. 5.

С. 174. *Давай х. (хоботы) рисовать.* — История о том, как Ремизов и Розанов рисовали фаллосы, впервые описана в романе «Плачужная канава» (*Ремизов А.* Избранное. Л.: Лениздат, 1991. С. 460—461). См. также: *Обатнина Е. Р.* «Эротический символизм» Алексея Ремизова // Новое литературное обозрение. 2000. № 3. С. 201—202.

С. 180. *Стрютский*, или стрюцкий — дрянной человек либо мелкий чиновник; ничтожество.

С. 181. *Лидия Юдифовна и Серафима Павловна пошли в прихожую одеваться.* — Легенда об «эротическом обществе» получила большую огласку.

См. коммент. Е. Р. Обатниной: *Ремизов А. М.* Ахру. С. 556. См. также: *Пильский П.* Затуманившийся мир. Рига: Грамату Драугс, 1929. С. 99—108.

...на представлении «Ночных плясок» Ф. К. Сологуба в зале Павловой... — Речь идет о драматической сказке Федора Сологуба «Ночные пляски», поставленной Н. Евреиновым при участии известных литераторов и художников. Спектакль был показан дважды: 9 марта 1909 г. на сцене Литейного театра и 20 марта того же года в зале А. Павловой на Троицкой ул.

С. 183. *Wie geht es Ihnen? — Nach Zimmerstrasse!* — Как поживаете? — Иду на квартирную улицу (*нем.*).

В. В. Розанов и писал и много рассказывал о своих «итальянских впечатлениях»... — См.: *Розанов В. В.* Итальянские впечатления. СПб., 1909.

«ки-ки» — кто-кто (*фр.*).

je suis — это я (*фр.*).

С. 187. *Доктор, известный в Петербурге под именем Симбада...* — Имеется в виду Андрей Акопенко, один из частых гостей Ремизова в квартире на Малом Казачьем. *Синдбад* — герой сказки о Синдбаде-мореходе из «Тысячи и одной ночи».

С. 191. *...после двух фельетонов В. П. Буренина в «Н. В.» о моем «Пруде»...* — Имеются в виду «Критические очерки» В. П. Буренина в «Новом Времени» (1905. 28 октября, 9 декабря).

С. 192. *...В. В. показал мне на целый птичник мелких детских калош...* — Ср.: «...задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского (учитель с фантазиями) и показывал между дверями...

У человека две ноги: и если снять калоши, положим, пятерым — то кажется ужасно много. Между дверями стояло такое множество крошечных калошек, что я сам дивился. Нельзя было сосчитать скоро» (*Розанов В. В.* Листва. М.; СПб., 2010. С. 7—8).

С. 194. *...еще в Гатчине, на даче...* — дачу в Гатчине Розановы снимали летом.

Андрей Белый

В. В. РОЗАНОВ

(с. 196)

Печатается по: *Белый Андрей.* Начало века. М.: Худож. лит., 1990. С. 476—482.

Белый считал Розанова одним из своих учителей. О сходстве творческой манеры А. Белого и Розанова писал В. Б. Шкловский (*Шкловский В. Б.* Новый Горький // Россия. 1924. № 2 (11). С. 192—206). А. Гидони утверждал, что «“Петербург” А. Белого в некоторых отношениях — беллетристическая транскрипция Розанова» (Аполлон. 1916. № 9—10. С. 42). Отзывов Розано-

ва о сочинениях А. Белого почти нет — его произведения, как и других «младших символистов», были ему не только чужды, но и непонятны по своей стилистике.

С. 196. *Это был — Розанов.* — Знакомство поэта с Розановым произошло в январе 1905 г.

С. 198. *Варвара Федоровна* — Ошибка: Варвара Дмитриевна.

С. 199. *...был я с Блоками...* — Белый и А. А. Блок с женой были на концерте А. Дункан 21 января 1905 г. в зале Петербургской консерватории.

Поздней его встретил в «Весах»... — Во время поездки Розанова в апреле 1909 г. на Гоголевские торжества по поводу открытия памятника в Москве.

...из «Нового Времени» крепко порою отплевывал ~ при встречах конфузился он; делал глазки и сахарил; значит, — был плев... — Насколько нам известно, в адрес Андрея Белого Розанов, кроме упоминания имени в ряду других, не написал ни одной не только отрицательной, но и какой-либо строчки.

...его друзья вдруг с усердием, мне непонятным (чего ж они прежде дремали?), его стали гнать и высаживать из разных обществ... — О чем повествует поэт, остается загадочным.

С. 200. *...проездом; спешу в Петербург...* — Розанов возвращался из Киева, где присутствовал на миссионерском съезде в Киеве в июле 1908 г.

С. 201. *...места наши рядом — на пышной эстраде...* — Имеется в виду торжественное заседание Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 г., посвященное 100-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.

«Как, как, — Вы знакомы?» — С М. Н. Розановым Василий Васильевич в 1882 г. вместе оканчивали Московский университет. В г. Белом Розанов служил учителем в 1891—1893 гг.

Приведем первый вариант воспоминаний Андрея Белого о Розанове:

«В тот период по воскресеньям был то у Розанова, то у Ф. Сологуба; у Розанова собрания протекали нелепо, нестройно, но шумно и весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось стесненности в тесненькой в общем столовой, оклееной белыми и простыми обоями; здесь стоял большой стол (от стены до стены), шумный спорами; Розанов где-то у края стола, взявши под руку то того, то другого, поблескивал фразами в уши и рот строил ижицей; он поблескивал золотыми очками; статная фигура Бердяева выделялась своей ассирийской головою; совсем уж некстати напротив виднелся из "Нового Времени" Юрий Беляев или священник Григорий Петров, самодушно играющий крупным крестом на груди и надменно выпячивающий сочные, красные губы; а сбоку — как будто осунувшийся, маленький Мережковский бледнел истощенным лицом, обрастающим с щек бородою, недоуменно выпучивал очи и отвечал невпопад; у бокового столика, помнится, группа художников "Мира Искусства" — там Бакст, и там Сомов; В. В., хозяина, вовсе не слышно: мелькнет его белый жилет, и плеснет, проходя между стульями, фразочкой; более выделяется грузная, розовощекая и строгая

какая-то — Варвара Федоровна, супруга писателя: розовощекая, строгая — вот мое впечатление; впрочем, может быть, и не строгая вовсе, а — строгая к нам, к Мережковским; она уже знает, что я задружил с З. Н. Гиппиус, В. Ф. вечно внушающей не неприязнь, а какой-то мистический ужас; и на меня переносит она "строгим" видом своим — недоверие к... Мережковским; здесь я, конечно же — "друг" Мережковских, и это я чувствую постоянно в вопросах В. В., обращенных ко мне, в строгом профиле краснощекой жены его; В. В. Розанов мне однажды поставил какой-то вопрос — очень-очень мудренный, гностический; я, на него отвечая, принялся чертить что-то пальцем по скатерти, машинально; а Розанов, слов не расслышавши, подхватившии только жест моих слов, мною ногтем начертанных, принялся сложнить и вычерчивать мое рисунок на скатерти ногтем своим: "Понимаете!" Вдруг он устал, запыхался, размяк, опустил низко голову и, сняв очки, принялся протирать их, впадая в изнеможение: физиологическое отправление совершилось; и — ничего он не смог мне прибавить; молчал, отвернувшися, протирая очки, посулил как-то раз подарить свою книгу "О понимании"; он сказал: "Приходите за нею: я надпишу вам". Закрученный вихрями петербургского хоровода днем — я, признаться, забыл: не зашел, он же — ждал: приготовил мне книгу; и после — обиделся» (*Белый Андрей*. Воспоминания о А. А. Блоке // Эпопея. Кн. 1. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 185—186).

Андрей Белый
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. А. БЛОКЕ
(с. 202)

Впервые: Эпоха. Кн. 2. М.; Берлин, 1922. С. 231. Печатается по этому изданию.

С. 200. *Собрались мы в Пале-Рояле...* — Пале-Рояль — большой меблированный дом на Пушкинской ул., д. 20.

...Даниил ведь был ввержен в ров львиный, а — уцелел... — В «Книге пророка Даниила» повествуется о том, как, будучи брошенным в львиный ров за приверженность к отеческой вере, он был чудесным образом спасен (Дан 6: 10—24).

Д. А. Лутохин
ВОСПОМИНАНИЯ О РОЗАНОВЕ
(с. 203)

Впервые: Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 5—7.

С. 204. *...я ~ в одно из воскресений попал на вечерний «жур-фикс» к Василию Васильевичу на Шпалерную, 31.* — Ошибка памяти: Розанов жил тогда по адресу: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

...у Пантелеймоновского моста. — У Пантелеймоновского моста находилось Министерство внутренних дел. Вероятно, имеется в виду Департамент полиции.

С. 205. *...по поводу рескрипта Булыгину ~ Розанов поместил в «Новом Времени» восторженное письмо...* — В 1905 г. на основе царского рескрипта министр внутренних дел А. Г. Булыгин разработал проект Государственной думы и положение о выборах в нее. Решение о созыве парламента в России вызвало восторженное письмо Розанова, находившегося за границей, однако его статья «Исторический перелом» была снята с набора в «Новом Времени» 14 августа 1905 г. и увидела свет только в книге «Когда начальство ушло...» (СПб., 1910. С. 96—101).

С. 206. *Вейнингера он не читал...* — Отто Вейнингер трактовал близкие Розанову темы с совершенно иных позиций.

Борис Садовской

ЗАПИСКИ

(с. 210)

Печатается по: Российский архив. Вып. I. М.: Студия ТРИТЭ — Российский архив, 1991. С. 175.

В. Пяст

ВСТРЕЧИ

(с. 211)

Впервые: *Пяст Вл.* Встречи. М.: Федерация, 1929.

Печатается по: *Пяст Вл.* Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 50—54, 83. Используются комментарии Р. Д. Тименчика.

С. 211. *Повесть называлась «Четыре».* — Этот рассказ А. П. Каменского был написан осенью 1905 г. (и, по тогдашнему отзыву Горького, был неуместен в «трагическое» время революции) и опубликован через два года (Пробуждение. 1907. № 3, 5). Чтение, описанное Пястом, скорее всего, состоялось 19 октября 1905 г. (см.: Блоковский сборник. [Т.] VIII. Тарту, 1988. С. 67).

...это бессовестное сочинение... — Герой рассказа гвардейский поручик Нагурский в течение четырех суток вступает в интимную близость с продавщицей в петербургской кондитерской (в подсобном помещении), попадьей в ее медовый месяц (в купе поезда из Петербурга в Москву), преподавательницей математики (на площадке поезда из Москвы в Нижний — «было неудобно и трудно») и женой картежника (в каюте парохода между Самарой и Саратовом).

С. 212. *Хорошо изобразил вечера у Розанова Д. А. Лутохин...* — см.: Наст. том. С. 203—209.

Е. Книпович

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

(с. 214)

Впервые: *Книпович Е.* Об Александре Блоке. М.: Советский писатель, 1987. С. 21.

А. В. Тыркова-Вильямс

НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ

(с. 215)

Впервые: *Тыркова-Вильямс А. В.* На путях к свободе. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952. С. 425.

Проф. Валентин Сперанский

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМЬЕ

(с. 216)

Впервые: *Проф. Валентин Сперанский.* Достоевский в семье: Из бесед с А. Г. Достоевской // Иллюстрированная Россия (Париж). 1931. 21 февраля. № 9. С. 14.

Георгий Иванов

ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ

(с. 217)

Впервые: Возрождение. 1953. № 27. С. 179—189.

С. 218. *«Le rouge et le noir»* — «Красное и черное. Хроника XIX века» (1830), роман Стендаля.

М. В. Нестеров

ВОСПОМИНАНИЯ

(с. 219)

Печатается по: *Нестеров М. В.* Воспоминания. М.: Советский художник, 1985. С. 268, 285.

С. 219. *Пятого января на выставке...* — Имеется в виду персональная выставка работ М. В. Нестерова, открывшаяся 5 января 1907 г. в С.-Петербурге

в Екатерининском концертном зале на Малой Конюшенной, д. 3, и длившаяся почти месяц.

Н. А. Бердяев
РУССКАЯ ИДЕЯ
(с. 220)

Впервые: *Бердяев Н. А.* Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Париж: YMCA-Press, 1946.

Печатается по: *Бердяев Н. А.* Русская идея. М.: Сварог, 1997. С. 194—195.

Д. С. Мережковский
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕЛИГИЯ
(с. 222)

Впервые: Русская Мысль. 1907. Кн. 3.

Печатается по: *Мережковский Д. С.* Не мир, но меч. СПб., 1908. С. 109.

С. 223. *...провинциального гимназического учителя из поповичей.* — Ошибка: Розанов — сын провинциального чиновника и воспитанник Московского университета.

С. 228. *...когда во время домашнего молебна старенький батюшка Всех Скорбящих подымает Владычицу...* — Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, которую посещали Розановы, находилась по адресу: Шпалерная ул., д. 33.

Н. А. Бердяев
САМОПОЗНАНИЕ
(с. 230)

Впервые: *Бердяев Николай.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). Paris: YMCA-press, 1949.

Печатается по: *Бердяев Н. А.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). 3-е изд. Париж, 1989. С. 168—170.

С. 233. *...на первом собрании я прочел доклад «Христос и мир»...* — Доклад «Христос и мир» был прочитан не на первом заседании Религиозно-философского общества, а на третьем, 12 декабря 1907 г., после прозвучавшего на втором заседании (21 ноября) доклада Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира».

Он очень любил Лид<ию>. — Имеется в виду жена Бердяева Лидия Юдифовна.

Борис Зайцев

ГОГОЛЬ НА ПРЕЧИСТЕНСКОМ

(с. 235)

Впервые: Возрождение (Париж). 1931. 29 марта. № 1804.

С. 233. *...детища Николая Андреича...* — Памятник Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева был установлен на Пречистенском бульваре в Москве в год празднования столетия со дня рождения писателя, в 1909 г. С 1959 г. стоит на Никитском бульваре.

П. М. Пильский

В. В. РОЗАНОВ

(с. 236)

Впервые: *Пильский П.* Затуманившийся мир. Рига: Грамату Драугс, 1929. С. 99—108.

И. И. Ясинский

РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ

(с. 242)

Впервые: *Ясинский И. И.* Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.; Л.: Государственное издательство, 1926. С. 308.

С. 240. *...начальник печати Соловьев...* — Речь идет о М. П. Соловьеве, в 1896—1899 гг. временно исполнявшем должность начальника Главного управления по делам печати.

А. В. Руманов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ: ВИТТЕ, РАСПУТИН И ДРУГИЕ

(с. 243)

Впервые: Время и мы (Нью-Йорк; Иерусалим; Париж). 1987. № 95. С. 215—216.

А. М. Ренников

МИНУВШИЕ ДНИ

(с. 244)

Впервые: *Ренников А. М.* Минувшие дни. New York: Rossiya publ., [1954]. С. 174—190. Печатается по этому изданию.



А. Кауфман

ЕЩЕ ДВА СЛОВА О РОЗАНОВЕ

(с. 253)

Впервые: Вестник литературы. 1921. № 6/7. С. 11–12.

В. П. Крымов

САМЫЙ СТРАННЫЙ ПИСАТЕЛЬ, КОТОРОГО Я ЗНАЛ

(с. 254)

Впервые: *Крымов Вл.* Портреты необычных людей. Посмерт. изд. Париж: Б. и., 1971. С. 171–182.

В. П. Крымов

В. В. РОЗАНОВ

(с. 264)

Впервые: *Крымов Вл.* Из кладовой писателя: Статьи. Париж: Б. и., 1951. С. 92–94.

И. И. Колышко

ОСКОЛКИ

(с. 266)

Впервые: *Колышко И. И.* Пророки. Розанов–Мережковский–Гиппиус // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1931. 3 мая. № 6671.

Печатается по: *Колышко И. И.* Великий распад: Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 235–240.

С. 268. *Литературную известность дала ему книга «Сумерки просвещения». — Розанов В. В.* Сумерки просвещения. СПб., 1899. В книге Розанов сурово раскритиковал существовавшую систему просвещения.

С. 269. *На закате дней Розанов написал книгу (заглавия не помню)...* — Имеется в виду, скорее всего, книга «Уединенное» (СПб., 1912). Первое ее издание было конфисковано, а автор обвинен в порнографии.

С. 271. *Красивый самец говорил ему больше, чем св<ятой> Антоний...* — Имеется в виду Антоний Великий, основоположник отшельнического монашества.

«Огарочники» — церковные служки, следившие за свечами. В начале XX в. так называли молодых аморальных и асоциальных людей.

С. 272. *...милюковского «Глупость или предательство?».* — «Глупость или измена?» — антиправительственная речь, произнесенная лидером ка-

детской партии П. Н. Милюковым 1 ноября 1916 г. на заседании Государственной думы.

В политике... — Окончание главы утрачено.

А. З. Штейнберг
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ.
Встреча с В. В. Розановым
(с. 273)

Впервые: *Штейнберг А.* Друзья моих ранних лет (1911—1928). Париж: Синтаксис, 1991. С. 163—179.

С. 274. *«А вот ты, Катя, поухаживай-ка за нашим гостем».* — Ошибка памяти: дочери по имени Катя у Розанова не было.

С. 277. *Я сам видел в Бессарабии, где мы были летом на даче...* — Розанов с женой отдыхали летом 1913 г. в Сахарне.

Мне показалось, что она парализована. — Имеется в виду больная жена Розанова Варвара Дмитриевна.

С. 282. *...я увидел ту самую дочь Розанова, которая рассказывала о ненависти ко мне Бурнакина.* — Имеется в виду Вера Розанова.

С. 284. *...Василий Иванович, отец Разумника...* — Ошибка: отца Р. В. Иванова-Разумника звали Василий Александрович.

П. Б. Струве
БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРОКОМ.
Несколько слов о В. В. Розанове
(с. 287)

Впервые: Русская Мысль. 1911. № 11. Отд. II. С. 138—146.

С. 287. *...Ходынка есть искупительная жертва...* — Речь идет о статье Розанова «1 марта 1881 — 18 мая 1896» // Русское Обозрение. 1897. № 5. С. 328–332.

С. 288. *...в заметке Андрея Белого.* — См.: *Белый А.* [Рец.:] В. В. Розанов. Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб. 1910 // Русская Мысль. 1910. № 11. С. 374—476.

...отправляясь на отхожие заработки в «либеральные» издания... — Розанов сотрудничал в либеральной газете «Русское Слово» в 1905—1911 гг. Его сотрудничество прекратилось после ультиматума Мережковского и Философова владельцу газеты И. Д. Сытину.

...статьи, в которых ~ обличал русскую революцию. — Имеются в виду «правые» статьи Розанова, напр.: Сентиментализм и притворство как двигатели революции // Новое Время. 1908. 17 июля; О психологии терроризма // Там же. 1909. 25 июля; Между Азефом и Вехами // Там же. 20 авг.; Полемические заметки // Там же. 4 ноября; Тьма... // Там же. 1910. 4 сентября; и др.

С. 290. *...в 1906 г. в одном религиозно-философском собрании, устроенном Н. А. Бердяевым.* — Имеется в виду «пробное» собрание Религиозно-философского общества, состоявшееся в апреле 1907 г. под председательством С. Н. Булгакова (см.: Речь. 1907. 11 апреля).

...Булгаков ~ заметил тогда Розанову, у которого он учился в Ливенской гимназии... — Булгаков учился у Розанова в Елецкой гимназии в 1888—1890 гг., после ухода из Лубенской духовной семинарии.

С. 291. *...розановский гимн революции как науке оставался ~ ненапечатанным до 1910 г. ...* — Статью Розанов поместил в малочитаемой газете «Благовест» (1907. 3 марта), а позже она вошла в книгу «Когда начальство ушло...» (СПб., 1910. С. 346—355).

С. 293. *...я был поражен меткой аксаковской ~ характеристикой Ивана Грозного как «художественной» натуры.* — *Аксаков К. С.* По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева // *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. Т. I: Сочинения исторические. М.: Изд. И. С. Аксакова, 1861. С. 167—171.

С. 294. *В. Я. Богучарский совершенно прав в своей оценке размеров личности Желябова.* — См.: *Богучарский В.* Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века: Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М.: Русская мысль, 1912.

С. 296. *Не торговал я лирой, но, бывало...* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

Г. В. Рочко

ВОСПОМИНАНИЯ ПОПУТЧИКА

(с. 297)

Впервые: Новый мир. 1996. № 3. С. 191—193.

С. 297. *Вывороченные шпалы. ~ — Нет, это «Сочинения Розанова»...* — *Розанов В. В.* Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 84—85.

Дело в том, что таланты наши ~ и вытаскивайся. — Там же. С. 34.

Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти. — Там же. С. 48.

Да, я коварен, как Цезарь Борджиа ~ блестят глаза демонов. — Там же. С. 122.

С. 298. *— Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»? ~ — Со мною БОГ.* — Там же. С. 255—256.

Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь «очень милым человеком». — Там же. С. 154.

Запутался мой ум, совершенно запутался... — Там же. С. 54.

Болит душа, болит душа, болит душа... — Там же. С. 62.

Если кто будет говорить мне похвальное слово «над раскрытою могилою», то я вылезу из гроба и дам ему пощечину. — Там же. С. 71.

С. 298–299. *Конечно, не использовать такую кипучую энергию ~ до смерти или победы.* — Там же. С. 16–17.

С. 299. *Достоевский, как пьяная нервная баба ~ стал пророком ее.* — Там же. С. 154.

Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом. — Там же. С. 278.

Холодный Валерий Брюсов, бывший на похоронах Толстого, писал... — См.: *Брюсов В.* На похоронах Толстого // *Брюсов В.* За моим окном. М., 1913. С. 11 (цит. с неточностями).

Мне кажется, Толстого мало любили ~ и это есть именно печать пошлости. — *Розанов В. В.* Листва. С. 41.

Салтыкова он не читал ~ но сказал о нем, что он волк, напившийся русской крови. — См.: «Как матерый волк, он наелся русской крови и сытый отвалился в могилу (о Щедрине, вагон)» (Там же. С. 51).

Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть. — Там же. С. 52.

Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»... — Там же. С. 261.

Р<очко> ~ Их нельзя ни порицать, ни отрицать. — Там же. С. 265.

С. 300. *«Когда мама моя умерла ~ Мне было 13 лет».* — Там же. С. 63.

Семнадцатилетняя приятельница или родственница Розанова... — Имеется в виду Нина Руднева, родственница жены Розанова В. Д. Бутягиной (урожд. Рудневой). См.: Там же. С. 13.

С. 301. *С основания мира было две философии ~ философия выпоротого человека.* — Там же. С. 35.

В России вся собственность выросла ~ не крепка и не уважается. — Там же. С. 24.

Посмотришь на русского человека острым глазком... ~ Вот чего нельзя с иностранцем. — Там же. С. 10.

«Полюбовавшись вдоволь на это ужасное зрелище ~ а дома заняты». — Неточная цитата из «Апокалипсиса нашего времени».

С. 301–302. *Шумит ветер в полночь и несет листы ~ «жила», «дохнула»...* — *Розанов В. В.* Листва. С. 7.

С. 302. *...«мысль изреченная есть ложь».* — Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830).

...друг и мамочка... — Свою жену В. Д. Бутягину Розанов в своих произведениях называл «другом» и «мамочкой».

...был в церкви «со свечечкой» только 12 раз. — См.: *Розанов В. В.* Листва. С. 69.

С. 303. *Он обещал, что начнет «великий танец молитвы».* — См.: «Я начну великий танец молитвы. С длинными трубами, с музыкой, со всем: и все будет дозволено, потому что все будет замолено» (Там же. С. 66).

...«Засыхают цветочки Франциска Ассизского». — Там же. С. 322.

...*«Das ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer nee».* — Цитата из стихотворения Г. Гейне «Лирическое интермеццо» (1823): «Старинная сказка? Но вечно / Останется новой она» (пер. А. Н. Плещеева).

С. 304. *«Что́ я имею против Венгерова...* — См.: «Что́ я все нападаю на Венгерова <...> Труды его почтенны <...> он всю жизнь работает над Пушкиным <...> Но как взгляну на живот — уже пишу (мысленно) огненную статью <...> Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)» (*Розанов В. В.* Листва. С. 200).

Таких, как эти две строчки Некрасова: / Еду ли ночью по улице темной, — / Друг одинокий... — Там же. С. 13. Розанов неточно цитирует стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» (1847). В оригинале:

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!

Л. Розенталь

КАК ИЗГОНЯЛИ РОЗАНОВА

(с. 305)

Впервые: Ленинградская панорама. 1989. № 11. С. 32—34.

С. 310. *...кончилось российско-интеллигентским Брокеном.* — Брокен (Броккен) — гора в земле Саксония-Анхальт в Германии, самая высокая точка Гарца. По легенде, в ночь с 30 апреля на 1 мая на Брокене собираются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи.

Е. М. Тагер

БЛОК В 1915 г.

(с. 313)

Впервые: Ученые записки Тартуского государственного университета. 1961. Вып. 104.

С. 313. *Руководство Религиозно-философского общества предложило исключить Розанова из состава членов.* — Вопрос об исключении Розанова из Религиозно-философского общества (за выступления в черносотенной печати, «несовместимые с общественной порядочностью») возник в ноябре 1913 г. В заседании Совета общества 14 ноября 1913 г. Розанову было предложено уйти из общества; он отказался. Общее собрание, созванное 19 января 1914 г., не составило кворума. Исключение состоялось на общем собрании 26 января. Блок был на обоих общих собраниях. Отнесение этого эпизода к весне 1915 г. — ошибка памяти Е. М. Тагер.

С. 314. ...*«рыцарь бедный»...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Легенда» («Жил на свете рыцарь бедный...», 1829).

Ю. Терапиано

ВСТРЕЧИ

(с. 315)

Впервые: *Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953.

М. М. Спасовский

В. В. РОЗАНОВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ

(с. 316)

Впервые: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Берлин: Русское национальное издательство, 1939.

Печатается по: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. 2-е изд., исправленное и значительно дополненное. Нью-Йорк, 1968.

С. 316. ...*по небольшой статье Розанова о картине И. Е. Репина «Заседание Государственного Совета»...* — *Розанов В.* Русские исторические портреты в Таврическом дворце // Розанов В. Когда начальство ушло... СПб., 1910. С. 82—86.

С. 318. ...*протоиерей Павел Александрович Флоренский ~ разоблачивший ересь учения о св. Софии...* — Флоренский не только не был противником идеи св. Софии, но и считается одним из главных представителей софиологии.

...*Розанов был преподавателем словесности, истории и географии в Елецкой гимназии...* — Розанов преподавал не только в Елецкой гимназии (1887—1891), но также сначала в Брянской прогимназии (1882—1887), а после Ельца — в Бельской прогимназии Смоленской губ. (1891—1893).

В 1898 и 1899 годах он опубликовал даже две свои книги в скромном издании П. Перцова. — Обе книги Розанова — «Сумерки просвещения» и «Литературные очерки» — были изданы П. П. Перцовым в 1899 г., как и сборник статей «Религия и культура».

С. 322. ...*сопоставить ~ с фразой Феофана...* — Речь идет об инспекторе С.-Петербургской Духовной академии архимандрите Феофане (Быстрове).

С. 323. *Книги «Когда начальство ушло» и «Люди лунного света», выпущенные Розановым в 1905—6 годах в Париже...* — Книги «Когда начальство ушло...» (1910) и «Люди лунного света» (1911) были выпущены не в Париже, а в С.-Петербурге.

С. 324. ...*как выражался о нем Ив. Солоневич...* — См.: *Солоневич И. Л.* Народная монархия. М.: Феникс, 1991. С. 120.

Ю. Иваск
РОЗАНОВОРАВНАЯ ВЕРА
(с. 329)

Печатается по: *Иваск Ю.* Розановоравная Вера: В. А. Мордвинова-Шварц (Александрова), 1895—1966 (Ковно—Нью-Йорк) / Публ. и коммент. А. Богословского // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14, ч. 2. С. 186—191.

С. 329. *...на уровне переписки Гёте с Беттиной фон Арним.* — В 1807 г. Беттина фон Арним была представлена Гёте в Веймаре, и между ними завязалась переписка, изданная ею после смерти Гёте под названием «Переписка Гёте с ребенком» (1835).

С. 332. *Иных уж нет, а те далече...* — строка из «Евгения Онегина» Пушкина (1831; гл. 8, строфа 51).

Что же ты, молчишь, скажи, венецианка... — строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Веницейская жизнь» (1920).

Люблю тебя, Петра творенье... — строка из «Медного всадника» (1833).

Адмиралтейство, солнце, тишина... — строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Петербургские строфы» (1913).

И. В. Грузинов
С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ
О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
(с. 333)

Печатается по: Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников. М.: Республика, 1995. С. 247.

«Опавшие листья» (какой из коробов, неизвестно), а также «Война 1914 года и русское возрождение» были в личной библиотеке Есенина (сведения об этом см.: *Архипова Л. А.* Из круга чтения С. А. Есенина // Есенинский вестник. Вып. 3. [Рязань, 1994]. С. 7).

С. 333. *Стоим под аркой в кафе «Домино»...* — Кафе «Домино» в Москве находится по адресу: Тверская ул., д. 18.

А. И. Цветаева
В. В. РОЗАНОВ
(с. 334)

Печатается по: *Цветаева А. И.* Воспоминания. 3-е изд. М.: Советский писатель, 1984. С. 514—516, 546—547, 550—552, 572.

А. И. Цветаева написала о Розанове книгу, но позже уничтожила ее.



С. 334. *...мы с Мариной...* — Имеется в виду М. И. Цветаева. Об ее отношении к «Уединенному» см.: *Цветаева М. И.* Неизданные письма. Paris: YMCA-press, 1972. С. 21—36.

С. 334—335. *...сегодня Макс приедет из Коктебеля...* — Речь идет о Максимилиане Александровиче Волошине.

С. 335. *...держа на коленях Андрюшу...* — Имеется в виду сын А. И. Цветаевой А. Б. Трухачев.

...вроде Мопассана и Марии Башкирцевой... — О переписке Ги де Мопассана с Марией Константиновной Башкирцевой см.: *Лану А.* Мопассан. М.: Молодая гвардия, 1971. С. 168—178.

С. 336. *...к восьмидесятилетней Камковой...* — Камкова Мария Степановна — см. о ней: *Цветаева А. И.* Воспоминания. М., 1984. С. 543, 548—550.

...в квартире того «философа»... — Розанов жил тогда по адресу: Коломенская ул., д. 33, кв. 21, недалеко от Кузнечного пер., бывшей квартиры Достоевского.

С. 338. *...у старшей сестры Сережи, Анны Яковлевны Трупчинской.* — А. Я. Трупчинская — сестра С. Я. Эфрона, мужа М. И. Цветаевой.

Э. Ф. Голлербах

В. В. РОЗАНОВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

(с. 340)

Впервые: Летопись дома литераторов. 1922. № 8/9. С. 5—6.

Печатается по: *Голлербах Э. Ф.* В. В. Розанов: Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922. С. 78—89.

Голлербаху принадлежит наибольшее количество публикаций о Розанове среди его современников. Философ положительно отзывался о посвященной ему книге Голлербаха, а ее автора оценивал как близкого по духу человека: «Нет человека, нет ума и души, которым бы я так доверил себя и все свое понимание мира, восприятие мира и жизни» (*Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк, 1968. С. 76).

С. 340. *...до его исключения из Религиозно-философского общества в 1913 г. ...* — Заседание по поводу исключения Розанова состоялось 26 января 1914 г. См. стенографический отчет о заседании: Наст. изд. Т. 2.

С. 341. *...я встречался с В. В. в Петербурге, на Шпалерной.* — После переезда с Коломенской ул. Розанов снова, как и в начале века, жил на Шпалерной ул. (д. 44-Б, кв. 22).

С. 342. *Не любил Розанов Амфитеатрова...* — Розанов неоднократно писал о нем: Амфитеатров // Новое Время. 1910. 23 мая. № 12272; Саша Амфитеатров и его эпилог // Там же. 1915. 11 ноября. № 14251.

С. 346. *...писал покаянные письма к еврейскому народу.* — В обращении «Моя предсмертная воля» Розанов писал: «Веря в торжество Израиля, радуясь ему, вот что я придумал. Пусть еврейская община в лице Московской возьмет половину прав на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду племени Розановых честною фермою в пять десятин земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку, лошадь и чтобы я, несчастный, ел вечную сметану, яйца, творог и всякие сладости и честную фаршированную щуку.

Верю в сияние возрождающегося Израиля, радуюсь ему...» (впервые: Вестник литературы. 1919. № 8; Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 84. Там же — «Письмо к евреям» от 17 января 1919 г. (с. 86)).

С. 347. *...Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад...* — Розанов переехал в Сергиев Посад не в 1918 г., а в конце августа 1917 г., т. е. до Октябрьской революции.

...в своем «Апокалипсисе»... — В московской газете «Вертоград» был перепечатан один выпуск «Апокалипсиса нашего времени» (*Розанов В.* Апокалипсис нашего времени. Рассыпанное царство. Почему мы умираем // Вертоград. 1918. № 1. С. 2). В 1918 г. Розанов сотрудничал также в газете «Мир».

...«Покажите мне главу большевиков... — Имеется в виду письмо XXXII от 26 октября 1918 г.

Тэффи
РАСПУТИН
(с. 348)

Впервые: *Тэффи.* Колдун: Из воспоминаний о Распутине // Сегодня. 1924. № 179. 10 августа; № 181. 13 августа; № 182. 14 августа.

С. 350. *...небезызвестный в литературных кружках М-ч.* — Имеется в виду П. Д. Маныч.

Э. Ф. Голлербах
ГОРОД МУЗ
(с. 366)

Впервые: *Голлербах Э. Ф.* Город муз. Л.: Изд. автора, 1927.

С. 366. *То лето было грозами полно...* — строка из стихотворения Н. С. Гумилева «Пятистопные ямбы» (1913).

Все расхищено, предано, продано... — строка из стихотворения А. А. Ахматовой «Все расхищено, предано, продано...» (1921).

С. 367. *...«боль проходит понемногу, не на век она дана»...* — строка из стихотворения А. А. Блока «Последнее напутствие» (1914).

Очнешься — вновь безумный, неизвестный... — цитата из стихотворения А. А. Блока «Миры летят. Года летят. Пустая...» (1912).

Э. Ф. Голлербах

В. В. РОЗАНОВ КАК ИСТОРИК ИССКУСТВА И КОЛЛЕКЦИОНЕР

(с. 368)

Впервые: Среди коллекционеров. 1922. № 2. С. 38—41.

А. М. Ремизов

ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ

(с. 372)

Впервые: *Ремизов А. М.* Взвихрённая Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Печатается по: *Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 5: Взвихрённая Русь. М.: Русская книга, 2000. С. 73—75.

Сергей Волков

ВОЗЛЕ СТЕН МОНАСТЫРСКИХ

(с. 375)

Печатается по: *Волков С. А.* Возле стен монастырских: Мемуары. Дневники. Письма. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2000.

С. И. Фудель

ВОСПОМИНАНИЯ

(с. 376)

Впервые: *Фудель С. И.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Русский путь, 2001. Т. 1. С. 37, 69.

С. 376. ...*«А вы, отец Иосиф, литературный пустоцвет».* — Ср. печатный отзыв В. В. Розанова об о. Иосифе Фуделе: «Фудель очень умный, сурово умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности <...> Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость и дисциплину» (*Розанов В. В.* Из переписки К. Н. Леонтьева / С предисл. и примеч. В. Розанова // Русский Вестник. 1903. № 4. С. 645).

...можно было слушать лекции ~ Бердяева, читавшего курс какой-то путаной, но все же «Космической философии». — Н. А. Бердяев был избран профессором Московского университета в 1920 г. и прочел два курса лекций: о миросозерцании Достоевского и о философии истории.

Он же потом (кажется, в 1921-м) основал «Вольную академию духовной культуры». — «Вольная академия духовной культуры» была основана Н. А. Бердяевым в 1919 г.

С. И. Фудель
У СТЕН ЦЕРКВИ
(с. 378)

Впервые: *Фудель С. И.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Русский путь, 2001. Т. 1. С. 153.

С. Н. Дурылин
В СВОЕМ УГЛУ
(с. 379)

Впервые: *Дурылин С. Н.* В своем углу: Из старых тетрадей. М.: Московский рабочий, 1991.

С. 379. *...«о политической экономии как о поэзии и о поэзии как о политической экономии»...* — Цитата приведена неточно. У Пушкина: «Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке...» (*Пушкин А. С.* Баратынский // Сын Отечества. 1840. Т. II. Кн. 3).

Музей Александра III — ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

С. 381. *«Свободное Воспитание»* (1907—1918) — журнал, отражавший идеи, тенденции передовой педагогики.

С. 383. *Почему же с этою могилой...* — строки из стихотворения Вл. С. Соловьева «Памяти А. А. Фета» (1897).

С. 386. *...воевал на Афоне с имяславцами). — Имяславцы* — религиозная секта, возникшая в 1910—1912 гг. в православных монастырях Афона (Греция). Имяславцы считали, что, поскольку человек грешен, в молитвах он должен славить не Бога, а его имя. Были отлучены от церкви и сосланы в северные монастыри. После Октябрьской революции поселились на Северном Кавказе.

С. 387. *Коля* — Имеется в виду Николай Сергеевич Чернышев.

Л. А. Мурахина
О В. В. РОЗАНОВЕ
Из личных впечатлений
(с. 389)

Впервые: *Голлербах Э.* В. В. Розанов: Личность и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1918. С. 48—50.

В письме к Голлербаху от 6 октября 1918 г. Розанов писал: «Как удивительно письмо Мурахиной: до письма она видела меня всего раз или два. Не могу скрыть, что она написала гораздо лучше Вас, хотя явно и не "конгениальна", а почти на "противоположном полюсе". Но она угадала все...» (Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. С. 89). См. о ней также: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк, 1968. С. 83–84.

Н. Н. Русов

СЛОВАРЬ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

(с. 392)

Впервые: Вестник литературы. 1922. № 1 (37). С. 17.

В. Ф. Ходасевич

[РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: З. Н. ГИППИУС «ЖИВЫЕ ЛИЦА», *I и II т. Изд. «Пламя», Прага, 1925]*

(с. 393)

Впервые: Современные записки. 1925. Кн. XXV. С. 535–541.

С. 393. *...З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо...* — Гиппиус пересказывает свое письмо Горькому от 11 ноября 1918 г.

С. 394. *...с чужих слов.* — Собираясь специально прокомментировать инвективы Гиппиус против Горького, Ходасевич писал ему 15 июля 1925 г.: «...кое-что прилгнуто, в частности о Вас (по поводу Розанова). Я знаю, что Вы не любите этого, но придется мне написать, что Вы — не изверг, а напротив того. Не сердитесь: я не собираюсь восхвалять Ваши деяния, я только осторожно вправлю клевету, как вправляют грыжу» (Письма А. М. Горького к В. В. Розанову и его пометы на книгах Розанова / вступ. заметка, подгот. текста и примеч. Л. Н. Иокар // Контекст-1978. М.: Наука, 1978. С. 328). Сведения, сообщаемые Ходасевичем, подтверждаются письмом Розанова Горькому от 20 января 1919 г. (см.: *Г*[*оллербах*] *Э.* Из предсмертных писем В. В. Розанова // Вестник литературы. 1919. № 8. С. 14: «Дорогой, милый А<лексей> М<аксимович>! Несказанно благодарю Вас за себя и за всю семью свою. Без Вас, Вашей помощи, она бы погибла. 4000 р<ублей> это не кое-что. Благородному Г<ершензону> тоже глубокую благодарность за его посредничество и хлопоты...».

...дочь Розанова... — Вероятно, вторая дочь Розанова, Татьяна Васильевна Розанова.

Н. О. Лосский
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
(с. 396)

Печатается по: *Лосский Н. О.* История русской философии. М.: Прогресс, 1994. С. 370–371.

А. Ф. Лосев
ИЗ БЕСЕД И ВОСПОМИНАНИЙ
(с. 398)

Печатается по: *Лосев А. Ф.* Из бесед и воспоминаний / подгот. Викт. Ерофеев // Студенческий меридиан. 1988. № 10. С. 49.

А. М. Ремизов
КРАШЕННЫЕ РЫЛА
(с. 399)

Впервые: *Ремизов А. М.* Крашенные рыла. Театр и книга. Берлин: Грани, 1922. С. 135.

Э. Ф. Голлербах
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РОЗАНОВА
(к 4-й годовщине смерти)
(с. 400)

Впервые: Накануне (Берлин). 1923. 11 февраля. Литературное приложение. № 39. С. 5–7.

С. 400. *...«Литературное приложение» к «Накануне»...* — Газета «Накануне» выходила в Берлине в 1922–1923 гг. Редактором ее литературного приложения был А. Н. Толстой.

...М. А. Кузмин, взявший у меня одно из писем Розанова для своего «Абраксаса»... — Кузмин участвовал в издании литературно-художественного альманаха «Абраксас» (в 1922 г. было выпущено два номера).

«Сполохи» — журнал, издававшийся Е. А. Гутновым в Берлине (1921–1923). Книга «Письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху» вышла в 1922 г., но ее ввоз в СССР был запрещен цензурой.

С. 401. *Где-то там, за синей далью...* — Цитата из стихотворения В. Я. Брюсова «Гесперидовы сады» (1906).

Последние мысли Розанова — Ср.: Последние мысли умирающего Розанова / публ. Евг. Ивановой // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 83–84.



С. 404. *...о "упокоении души монаха Климента"...* — К. Н. Леонтьев 23 августа 1891 г. принял по благословению оптинского старца преп. Амвросия тайный постриг под именем Климент.

Письмо к Мережковскому (первое)... — Вероятно, имеется в виду предсмертное письмо Д. С. и З. Н. Мережковским и Д. В. Философову, отправленное в декабре 1918 г. См.: Вестник литературы. 1919. № 6; Литературная учеба. 1990. № 1. С. 84.

...Эфрос и др. — В 1909 и 1910 гг. вышло два издания «Песни Песней Соломона» в переводе с древнееврейского А. Эфроса и с предисловием В. Розанова.

С. 405. *Друг другу мы тайно враждебны...* — Цитата из стихотворения А. А. Блока «Друзьям» (1908).

«Может быть, мы всю жизнь живем, чтобы заслужить могилу». — Цитата из кн.: *Чуковский К.* Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн. Пг.: Парус, 1918. С. 43.

А. А. Измайлов

ЗАКАТ ЕРЕСИАРХА

(† В. В. Розанов)

(с. 407)

Впервые: Творчество (Харьков). 1919. № 5/6. С. 27—30.

С. 407. *...С. Ф. Шарапов первый истерически выкрикнул... — Шарапов С.* От души // Русский Труд. 1898. № 38. С. 15—19.

С. 408. *...над гоголевским Антоном Прокофьевичем...* — Имеется в виду персонаж произведения Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835).

— *«Мыслитель, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше... — Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский. Т. 2. М.: Изд. журн. «Мир Искусства», 1902. С. XXXII—XXXIV.

...пишущий в ~ «Торгово-Промышл<енной> Газете»? — В 1899 г. Розанов много печатался в «Литературном приложении» к «Торгово-Промышленной Газете».

С. 410. *В нововременском «парламенте мнений»...* — «Парламентом мнений» назвал «Новое Время» М. О. Меньшиков (см.: *Меньшиков М.* Парламент мнений // Новое Время. 1903. 12 декабря).

С. 411. *...рассказал о себе однажды...* — См.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990. С. 84.

С. 412. *«Болею склерозом головного мозга...* — См.: Письма В. В. Розанова к А. А. Измайлову (1909—1918) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1979. Кн. 136. С. 121—126.



...«Из восточных мотивов» — о Египте... — После кончины Розанова остались неизданными не только значительная часть книги «Из восточных мотивов», но и несколько томов сочинений в жанре «Опавших листьев» — «Сахарна» (1913), «Мимолетное» (1914, 1915) и др. произведения (РГАЛИ. Ф. 419).

С. 412—413. *...надо сниматься человеку на единственной настоящей фотографии.* — См.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. С. 352—353.

С. 413. *Можно представить его Патроклом и ~ «презрительным Терситом»...* — «Нет великого Патрокла! / Жив презрительный Терсит!» — строки из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (1829), представляющего собой перевод одноименной баллады «Das Siegesfest» Шиллера. *Патрокл* — один из главных героев «Илиады» Гомера, павший под Троей от руки Гектора. *Терсит* — в «Илиаде» один из участников Троянской войны, физический и нравственный урод.

С. 414. *...всматривался в загулявшего Распутина...* — Имеется в виду очерк Тэффи «Распутин». См.: Наст. том. С. 348—365.

...ворчал на гоголевских торжествах... — В 1909 г. Розанов, как корреспондент «Нового Времени», участвовал в московских торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения Гоголя, и присутствовал при открытии памятника писателю (см.: *Розанов В.* Гоголевские дни в Москве // Новое Время. 1909. 3, 8 мая).

В последней ~ своей статье о Розанове... — *Измайлов А. А.* Закат ересиарха (В. В. Розанов и его «Апокалипсис нашего времени») // Петроградский Голос. 1918. 30 июля. № 143.

...под впечатлением его страшных, психозных писем... — См.: Письма В. В. Розанова к А. А. Измайлову // Новый журнал (Нью-Йорк). 1979. Кн. 136. С. 124.

С. 415. — *«Нет, не алжирский лев перед Вами...* — Там же. С. 126.

М. А. Каллаш
О РОЗАНОВЕ
(с. 416)

Впервые: *Курдюмов М.* О Розанове. Paris: YMCA-Press, 1929.

Э. Ф. Голлербах
ЗАВЕТ РОЗАНОВА
(с. 418)

Впервые: Жизнь Искусства. 1919. 21 мая. № 142. С. 2. Подп.: Е. Г.

В. Р. Ховин

РОЗАНОВ УМЕР

(с. 419)

Впервые: Книжный угол. 1919. № 6. С. 4—5.

А. В. Бахрах

АНДРЕ ЖИД

(с. 422)

Печатается по: *Бахрах А. В.* По памяти, по записям. Paris: La Presse Libre, 1980.

Л. М. Клейнборт

<ВСТРЕЧИ>

В. В. Розанов

(с. 423)

Печатается по: Pro et contra: Воспоминания Л. М. Клейнборта о В. В. Розанове / публ. и коммент. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2012 год. СПб., 2013. С. 531—577. Используются комментарии Е. Р. Обатниной.

С. 423. *...Мережковский повторял свой доклад.* — Речь идет о заседании Петербургского Религиозно-философского общества, которое состоялось 21 апреля 1909 г. в помещении Литературного общества по адресу: Фонтанка, 83. Д. С. Мережковский выступал с докладом «Опять об интеллигенции и народе», посвященном критике «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи», который вышел в свет под ред. М. О. Гершензона 16 марта 1909 г. в московском издательстве В. М. Саблина. Доклад читался Мережковским впервые. Аберрация мемуариста, очевидно, возникла из-за буквального понимания его названия.

...из «Нового Времени». — Ежедневная политическая и литературная газета «Новое Время» (1868—1917) — печатный орган, последовательно выражавший взгляды консервативно настроенных слоев русского общества. В. В. Розанов стал постоянным сотрудником «Нового Времени» 2 апреля 1899 г., когда издатель А. С. Суворин пригласил его на работу в редакцию газеты. Начало этой деятельности позволило Розанову переехать из города Белого в Петербург.

...из совсем другого ~ лагеря... — Имеется в виду общественно-политическая оппозиция лагеря радикальных демократов, взгляды которого выражал Л. Клейнборт, и реакционно-консервативного, к которому было принято

причислять Розанова, сотрудничавшего в органах печати соответствующего общественного вектора. Однако политические взгляды Розанова имели неоднозначную природу и эволюционировали от консерватизма 1900-х гг. через умеренную демократию, связанную с революцией 1905 г., к категорическому отрицанию любого революционаризма.

...учитель гимназии, в которой я когда-то учился... — Клейнборт закончил гимназию города Слуцка Минской губ. в 1896 г.

Учитель среднего провинциального города. — Ср. воспоминания М. М. Пришвина — ученика Елецкой прогимназии, где Розанов служил учителем географии: «Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение...» (цит. по: В. В. Розанов: Pro et contra: Антология: В 2 кн. / сост. В. А. Фатеев. СПб.: Изд-во РХГИ, 1995. Кн. I. С. 108–109). В жизни В. В. Розанова преподавательской деятельности было отдано 12 лет: сначала в прогимназии Брянска (с 1882 г.), затем в Ельце (с 1887 по 1891 г.) и, наконец, в г. Белый — с августа 1891 г. до переезда в Петербург в 1893 г. Философское осмысление своего педагогического опыта Розанов изложил в книге «Сумерки просвещения» (1899).

«Московские Ведомости» — одна из старейших русских газет (1756–1917), основанная при Московском университете. Несмотря на сотрудничество с этим печатным органом (первая публикация Розанова относится к 1889 г.: статья «Отречение дарвиниста»), в 1901 г. Розанов выступил с критикой позиции редакции газеты, возглавляемой В. А. Грингмутом, в отношении к личности и деятельности М. Н. Каткова. См.: *Ibis <Розанов В. В.>*. Почти единственная газета в России // Новое Время. 1901. 2 августа. № 9127. С. 2.

С. 423–424. *«Русское Обозрение»* — московский литературно-политический и научный журнал (1890–1903), фактическим издателем которого (до кончины в 1896 г.) был промышленник Д. И. Морозов. Журнал, который курировал обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, по своим общественным позициям выражал взгляды позднего славянофильства. На его страницах появилось не менее 24 статей Розанова, впоследствии включенных в сборники 1899 г.: «Литературные очерки», «Сумерки просвещения», «Религия и культура».

С. 424. *...общественное движение разлилось по всей стране...* — Речь идет о событиях, последовавших за выходом 17 октября 1905 г. манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка». См. также коммент. к с. 140.

Розанов как-то затесался в издания... — Очевидно, подразумевается сближение политических взглядов Розанова и П. Б. Струве и Н. А. Бердяева — философов либерально-демократического направления, в молодости получивших марксистскую прививку. В частности, Струве опубликовал в ре-

дактируемом им журнале «Полярная Звезда» очерк Розанова «Русская церковь» (1906. № 8. С. 524—540). В 1909 г. в журнале «Русская Мысль», также выходившем под редакцией Струве, был напечатан текст доклада Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1908. Кн. 1. Отд. II. С. 33—42), ранее прочитанный на заседании Религиозно-философского общества (21 ноября 1907 г.).

...Святая Русь ему уже не нужна... — Ср. характеристику Розанова в статье Вяч. Полонского «Исповедь одного современника»: «Реакционер, *славянофил*, идеолог и апологет Старой России, в годы, последовавшие за японской войной, он сделался западником, отъявленным, убежденным <...> И этот восточник, славянофил и обскурант, друг всех реакционеров, почитатель Победоносцева громогласно отказывался от своего "восточного наследства", отвращал свой лик от Востока и возглашал с яростным пафосом неофита: "Ура! С *Запада свет!*". Ему не нужна больше старая, "святая Русь"...» (Летопись. 1916. № 2. С. 454).

...начальство встало на ноги... — Намек на название книги Розанова «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» (СПб., 1910).

...изуверствовал против Льва Толстого... — В статье «Полемические заметки» (Новое Время. 1909. 4 ноября. № 12087. С. 2) Розанов противопоставил собственный взгляд на вопросы пола и брака позиции Толстого, выраженной в «Крейцеровой сонате». Ср. также резкие суждения о творчестве и личности Толстого в книгах «Уединенное. Почти на правах рукописи» (1912): «Толстой прожил, собственно, глубоко *пошлую* жизнь...» и «Опавшие листья. Короб первый» (1913): «Толстой был гениален, но не умен» (цит. по: *Розанов В. В.* Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 41, 84).

У Розанова посейчас бывает весь цвет литературы... — Регулярно, обычно по воскресеньям, в квартире Розановых на Шпалерной, 39 устраивались многолюдные «журфиксы». Д. С. Мережковский в 1906 г. описывал собрания в доме философа как средоточие общественных настроений общества начала 1900-х гг.: «Здесь, между Леонардовой Ледой с лебедем, многогрудой фригийской Кибелой и египетской Изидой, с одной стороны, и неизменно теплящейся в углу, перед старинным образом, лампадкою зеленого стекла — с другой, за длинным чайным столом, под уютно-семейной висячей лампой собиралось удивительное, в тогдашнем Петербурге, по всей вероятности, единственное общество: старые знакомые хозяина, сотрудники *Московских Ведомостей* и *Гражданина*, самые крайние реакционеры и столь же крайние, если не политические, то философские и религиозные революционеры — профессора Духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи и настоящие "люди из подполья" анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались апокалиптические беседы, как будто выхваченные прямо из "Бесов" или "Братьев Карамазовых". Конечно, нигде в современной Европе таких разговоров не слышали. Это было в верхнем слое

общества отражение того, что происходило на Светлом озере, в глубине народа» *(Мережковский Д.* Революция и религия // Русская Мысль. 1907. Кн. 3. С. 25). О собраниях у Розанова см. также: *Перцов П. П.* Литературные воспоминания: 1890—1902 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 265; *Бенуа А.* Мои воспоминания. М.: Наука, 1980. Т. 2, кн. 4. С. 296; *Лутохин Д. А.* Воспоминания о Розанове // Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 4—6.

Это же не Меньшиков. — О соперничестве Розанова с Меньшиковым в сфере публицистики см.: *Фатеев В.* С русской бездной в душе: Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома: ГУИПП «Кострома», 2002. С. 506—509.

...кто это так зло пишет и про Меньшикова, и про Розанова? — См.: *Богданович А. И.* Юродствующая литература. — «О любви» Меньшикова. «Сумерки просвещения» В. Розанова // Мир Божий. 1899. № 4. С. 1—18; подпись: А. Б. (то же: *Богданович А.* Годы перелома. 1895—1898: Сб. критических статей. СПб.: Мир Божий, 1908. С. 240—261).

Познакомились мы у Сологуба... — Подразумеваются воскресные литературные вечера у Федора Сологуба, в казенной квартире писателя (Васильевский остров, 7-я линия, 20), служившего учителем-инспектором при Андреевском городском училище. О посещениях квартиры Сологуба см. воспоминания З. Гиппиус «Отрывочное. О Сологубе» *(Гиппиус З. Н.* Стихотворения. Живые лица / Вступ. ст., сост., подгот. текста, коммент. Н. А. Богомолова. М.: Худож. лит., 1991. С. 361—371). См. также наблюдения об особенностях этих приемов в воспоминаниях В. Пяста «Встречи» (Сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 83—85), а также в воспоминаниях Конст. Эрберга (К. А. Сюннерберга) (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л.: Наука, 1979. С. 138—140; публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова).

Филистимляне — народ, населявший древнюю Палестину и воевавший с евреями.

...явление, столь выходящее из ряду Мещерских (и Сувориных), Бурениных... — Обобщенный портрет реакционной печати, образованный от фамилий известных ее представителей, в котором имя Суворина, поставленное в скобки, очевидно, следует расценивать как неокончательный вариант рукописи.

...вспомнишь Федора Карамазова, Иудушку Головлева ~ а то Передонова... — Ср. «Опавшие листья. Короб второй»: «Со времени "Уед<иненного>" окончательно утвердилось в печати, что я — Передонов, или — Смердяков. Merci» (цит. по: *Розанов В. В.* Листва. С. 153). Ср. также: «В галерее бессмертных созданий русской художественной литературы есть ряд типов, с которыми мысль невольно сближает рассматриваемого нами писателя <Розанова>, действительно, пожалуй, со времен книгопечатания самого голого... Но если взять первый яркий тип лицемерия, Иудушку Головлева, — каким он пока-

жется неярким в сравнении с Розановым. Их, правда, сближают два качества — откровенность и стяжание. Но у Иудушки все же оказалась совесть, хоть и одичавшая, но все же совесть. Она была “загнана и как бы позабыта”. И в конце концов проснулась. Экая наивность! “Я не подлец, чтобы думать о морали”...» (*Ожигов Ал. <Ашешов Н. П.>*. Вместо демона — лакей. (В. В. Розанов) // Современник. 1913. № 6. С. 318). См. также аналогичную оценку Розанова в статье Р. В. Иванова-Разумника «Юродивый русской литературы» (1911) в кн.: *Иванов-Разумник*. Творчество и критика. Статьи критические: 1908—1922. Пб.: Колос, 1922. С. 154. Сопоставление Розанова с Федором Павловичем Карамазовым провел в своей книге и А. К. Закржевский: «Несомненно, он <Розанов> от Федора Павловича, плоть от плоти, кость от костей его...» (*Закржевский А.* «Карамазовщина». Психологические параллели. Киев: Искусство, 1912. С. 73). Н. А. Бердяев в 1923 г. утверждал: «Устами Розанова иногда философствовал сам Федор Павлович Карамазов, который поднимается до гениального пафоса» (*Бердяев Н.* Миросозерцание Достоевского. Прага: YMCA-press, 1923. С. 229—230). См. также сравнения, использованные в работах Д. Мережковского «Розанов» (Русское Слово. 1913. 1 июля. № 125. С. 2), «Было и будет. Дневник: 1910—1914» (Пг.: Т-во И. Д. Сытина, 1915. С. 229—230). Подробнее см.: *Данилевский А.* В. В. Розанов как литературный тип // Toronto Slavic Quarterly: www.utoronto.ca/tsg/15/danilevskv15.shtml. Интересные наблюдения о розановской манере говорить оставил А. М. Ремизов: «...интонацию Розанова сохранил Достоевский. Есть одно место в “Братьях Карамазовых”. Живая речь Розанова. Когда сердился. Часть II, кн. IV. Надрывы. 11. У отца. Слова Федор<а> Павлов<ича> Карамазова: “Денег он не просит, правда, а все же от меня ни шиша не получит и т. д”, кончая “вот на чем только и выезжает”. Изд. И. П. Ладыжникова, Берлин. 1919 г. (С одной поправкой. Розанов трезвенник, никогда *не пил*)» (*Обатнина Е. Р.* Ремизов Алексей Михайлович // Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. Н. А. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008. Стб. 787).

...*«позвольте полный титул...* — Воспроизводятся слова из книги «Смертное. Домашнее в 60 экземплярах издание» (СПб., 1913). См.: *Розанов В. В.* Листва. С. 376.

Когда-то некий Сопоцько... — В 1908 г. М. А. Сопоцько, который стал носить фамилию Сырокомля-Сопоцько, начал выпускать небольшой журнал «Студент-христианин» — «орган религиозно-философского общества студентов всех университетов», в котором он позиционировал себя как бывший толстовец, преодолевший свои прежние убеждения. В № 11—12 за 1908 г. (с. 30) по поводу 80-летнего юбилея Толстого он писал: «Мы считаем грубой ошибкою власти гражданской, что Левка Толстой остается безнаказанным даже доселе. Если бы его замуровали в Соловки еще в 1885 году, это было бы спасительно и благотворно прежде всего для самого Толстого, не говоря уже о “малых сих”, которых он соблазнил и погубил... По поводу 80-летия Тол-

стого мы возглашаем: Левке Колькину сыну Толстому — анафема!». В № 1—2 за 1910 г. Сопоцько поместил провокационную статью под хлестким названием «Как хоронить яснополянского шарлатана»; в № 5—6 того же года напечатал сочиненную им «сатиру», озаглавленную «Левка Брюхан, мрачнополянский лжемужичок», пронизанную прямыми издевательствами над Толстым и его окружением. Подробнее см.: Предисловие Н. Н. Гусева к публикации писем Сопоцько Толстому // Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 2: Л. Н. Толстой. М., 1938. С. 128—132.

С. 424—425. *«Ты ищешь веревки ~ Я тебя осудил».* — Комбинация отдельных цитат из статьи Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (Русский Вестник. 1895. № 8. С. 154—187), где слова «Не смей осуждать. Я тебя осудил» являются домыслом Клейнборта.

Проехавшись в Ясную Поляну... — Встреча Розанова с Л. Толстым в Ясной Поляне состоялась 6 марта 1903 г.

С. 425. *«Автор "Войны и мира"? ~ не раньше, не до него"».* — Комбинация цитат из статьи Розанова «Поездка в Ясную Поляну» (впервые: О Толстом. М.: Книга, 1909; сост. П. Сергеенко).

...*«болван, лошадиная голова. Что с таким дураком делать, как не выдрать за бакенбарды?»* — «Опавшие листья. Короб первый». См.: *Розанов В. В.* Листва. С. 104—105.

...*«дать под зад»*... — Ср. «Опавшие листья. Короб второй»: «Едва я сказал, как все закричат: "Да ведь это цивилизация!". Это уж не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20-ти томах, это не "наш Николай Григорьевич" (Чернышевский), все эти лапти и онучи русского просвещения, а это цивилизация в *самом деле* от пришествия гуннов и Алариха до Эдуарда Исповедника, до Крестовых походов, до рыцарства, до Сервантеса, до Шекспира и самой Революции. Что же тут трясутся "в изданиях Пирожкова" Ренан и Штраус: да их выдрать за уши, дать им под зад и послать их к черту» (цит. по: Там же. С. 329). Ср.: «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку надо было драть за уши, а "Николаю Григорьевичу" дать по морде, как навонявшему в комнате конюху. Что никаких с ним разговоров нельзя было водить. Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять. Догадываетесь ли вы, наконец, что цивилизация XIX века, которая в значительной степени есть антихристианская, была вовсе не "цивилизация", а скандал в ней, и не "прогресс", а "наследили на полу" и надо это подтереть. Пришли свиньи и изрыли мордами огород: это не значит, что огороду не надо быть и надо к осени остаться без овощей, а значит, что свиней надо прогнать или заколоть, а гряды поправить, вырытое вновь всадить в землю и по осени собирать плоды» (Там же. С. 330).

...*«человек с пошлой и глупой головой».* — Ср. «Опавшие листья. Короб первый»: «Он не понимает, что за словом должно быть что-нибудь, между

прочим, что за словом должно быть дело, пожар или наводнение, ужас или радость. Ему это непонятно, и он дает "последний чекан" слову и разносит последний стакан противного холодного чая своим "почитателям", которые в его глупой, пошлой голове представляются какими-то столоначальниками, обязанными чуть не воспеть "канту" директору департамента... то бишь творцу "Мертвых душ"» (Там же. С. 106).

...Меня забирает вопрос: женат ли?» — Розанов В. Погребатели России // Новое Время. 1909. 19 ноября. № 12102. С. 2.

...Шарапов ~ уверял, что ~ «поднял халат и весьма отшлепал». — По установленной традиции помещать в газете очерки, рассказывающие о примечательных людях современности, Шарапов опубликовал статью «Василий Васильевич Розанов» с портретом философа (Русский Труд. 1899. № 42. С. 3—5). Настоящей целью статьи был ответ на критику розановской апологии пола, прозвучавшую в статье М. А. Протопопова «Писатель-головотяп» (Русская Мысль. 1899. Кн. 8. С. 155—171). Однако, вступаясь за Розанова, Шарапов подчеркивал, что, несмотря на его характерный «беспорядочный» образ мыслей, часто выраженных в таких крайних формах, что «часто приходится бранить (до готовности иной раз просто поколотить, до того бывает он нестерпим...)», — критика Протопопова не соответствовала уровню философского мышления Розанова: «Г. Розанову русская жизнь и русская литература, несмотря на все его чудачества, *страшно многим обязана,* а г. Протопопову ровно ничем». Тем не менее еще в первых строках своего очерка Шарапов заметил, что он далеко не всегда разделяет взгляды философа на вопросы пола и религии, поэтому статья о Розанове «ничуть не помешает через самое короткое время, и, может быть, начиная с № 43, подвергнуть В. В. Розанова истинному телесному наказанию (без повреждения мягких частей) руками другого <...> почтенного друга Н. П. Аксакова» *(Шарапов С. Ф.* Василий Васильевич Розанов. С. 3).

Здесь допущено искажение текста статьи Шарапова, который, имея в виду М. А. Протопопова, автора статьи «Писатель-головотяп», фигурально представил себе Розанова в халате на Невском проспекте: «В таком виде его захватил критик "Русской Мысли" и весьма отшлепал, приподняв халат...» (Там же).

...издатель ряда книг Розанова... — П. П. Перцов. См. коммент. к с. 72, 318.

...«строки эти ~ беззастенчивый эротизм». — Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Жизнь и творчество: Опыт критико-биографического исследования // Вешние Воды. 1918. № 31—34. С. 35; То же, отд. изд.: Пг., 1918; то же в расширенном виде: 2-е изд. Пб.: Полярная звезда, 1922.

С. 426. *...более гениальным, чем Ницше.* — Сравнение Розанова и Ницше утвердилось в связи с декларируемым обоими философами имморализмом. Д. С. Мережковский в работе «Л. Толстой и Достоевский» (1900) первым сравнил Розанова с Ф. Ницше: «...такое сопоставление многих удивит; но

когда этот мыслитель <Розанов> при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей» (*Мережковский Д.* Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 150). Ср. также статью А. С. Глинки (Волжского) «Мистический пантеизм В. В. Розанова»: «Антихристианство Розанова имеет много точек соприкосновения с антихристианством в учении Ницше, но в существенном они расходятся. Линии религиозно-философских узоров рисунка Ницше смелее и решительнее, они ярче, определеннее, выпуклее, но в конце концов В. В. Розанов идет дальше, его узоры сложнее, тоньше, извилистее, и там, где они видны, они особенно значительны и угрожающе страшны» (цит. по: В. В. Розанов: Pro et contra. Кн. I. С. 449). Сам же Розанов иронически отмежевывался от подобного сравнения: «Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский <...>. С Ницше... никакого сходства! <...>. Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: "коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения"» (*Розанов В. В.* Листва. С. 376). Несмотря на глубокое и толерантное понимание сложности философских взглядов Розанова, именно Д. С. Мережковский стал инициатором исключения Розанова из Петербургского Религиозно-философского общества в период общественного обсуждения «дела Бейлиса» в конце 1912 — начале 1913 г. Тогда же Вяч. Иванов, в отличие от Мережковского, оказался более последовательным в своих оценках позиции Розанова, открыто защищая на заседании РФО право литератора на выражение собственного мнения и подчеркивая, что позиция Розанова в вопросе о ритуальном убийстве (в данном случае по отношению к мифологическим корням иудаизма) является выражением культурологической концепции, которую нельзя воспринимать как националистическое выступление. Иванов аргументировал, полагаясь на примеры русских писателей-классиков и известных современников: «...писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз <...> Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху "Переписки с друзьями" и проч.. всякий раз поступали бы смешно и неплодотворно» (цит. по: В. В. Розанов: Pro et contra. Кн. II. С. 198).

«Россия» — ежедневная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге (1905—1914). Министру внутренних дел П. А. Столыпину принадлежала идея замаскировать правительственный печатный орган под частное издание, каким эта газета была до 1906 г. Разоблачение газеты произошло в 1912 г., когда

в сборнике статей «Свобода печати при обновленном строе» (СПб.) был опубликован секретный циркуляр, подписанный Столыпиным.

...почитатель К. П. Победоносцева... — Очевидно, подразумеваются печатные отклики Розанова на смерть Победоносцева, в частности, «Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве» (Новое Время. 1907. 26 марта. № 11148. С. 3).

С. 426—427. *...сын Н. К. Михайловского пожелал с ним познакомиться...* — Полемика между Розановым и Михайловским отразилась в статьях Розанова, публиковавшихся в московской печати: «Почему мы отказываемся от наследства?» (Московские Ведомости. 1891. 7 июля. № 185); «В чем главный недостаток "наследства 60—70-х годов"?» (Там же. 14 июля. № 192); «Два исхода» (Московский Вестник. 1891. 29 июля. № 207); «Европейская культура и наше отношение к ней» (Московские Ведомости. 1891. 16 августа. № 225) и др.

С. 427. *...Михайловскому он писал письма...* — См.: Письма В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому и П. Б. Струве / предисл. и коммент. М. А. Колерова // Вопросы философии. 1992. № 9. С. 121—122; *Туниманов В. А.* Заметки на полях писем В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому // *Туниманов В. А.* Достоевский и русские писатели XX века. СПб.: Наука, 2004. С. 52—82.

...как писал их Горькому. — Переписка Розанова с М. Горьким началась революционной осенью 1905 г. Упоминание об эпистолярном общении с представителем демократической литературы имеется в книге «Уединенное». См.: *Розанов В. В.* Листва. С. 56; *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма. М.: Наука, 1999. Т. 5. С. 102—104; О «безвидной дружбе»: Письма В. Розанова к М. Горькому / вступ. ст., публ. и коммент. И. Бочаровой // Вопросы литературы. 1989. № 10. С. 149—171.

...прочитав одну из статей Пешехонова... — Ср. статью А. В. Пешехонова «Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник»: «В ноябре 1905 г. (читатели, конечно, помнят, какие тогда были дни) я получил от г. Розанова (лично мне ни тогда, ни теперь незнакомого) *письмо*, в котором он изливал свой восторг по поводу моей статьи, помещенной в октябрьской книге "Русского Богатства" того же года. Насколько могу судить, это была самая "революционная" статья из всех написанных мной. За восторгом очень пылким в письме г. Розанова следовали энергичные и нетерпеливые вопросы: "Где?", "Когда?". Т. е. где, когда он может со мной встретиться и облобызаться... Этот восторг не помешал, конечно, г. Розанову потом, "когда начальство пришло", не раз направить свое копыто в мою сторону, хотя задеть меня ни разу ему не посчастливилось» (Русские Ведомости. 1910. 2 декабря. № 278). См. также «Открытое письмо А. Пешехонову и вообще нашим "социал-сутенерам"»: *Розанов В. В.* Собр. соч. Т. 20: Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. М.: Республика, 2005. С. 429—431.

...«малосольных огурцов в конце июня»... — Ср. «Опавшие листья. Короб первый»: «Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое “17-ое октября”. В этом смысле я “октябрист”» (цит. по: *Розанов В. В.* Листва. С. 154).

...опубликованные мной в журналах «Образование»... — В 1908 г. Клейнборт опубликовал в журнале «Образование» четыре статьи и две рецензии (№ 1: «Суд над народным представительством»; № 2: «О неприкосновенности личности»; № 3: «Городская Дума»; № 4: рец. на кн. Б. П. Никонова «В стенах гимназии (Очерки школьной жизни)» (СПб., 1907); № 5: «Новое крепостничество»; № 7: рец. на кн. Л. Б. Грановского «Общественное здравоохранение и капитализм» (М., 1908)).

...и «Современный Мир»... — *Клейнборт Л.* Политическая эмиграция прежде и теперь // Современный Мир. 1909. № 11. Отд. II. С. 49—81.

...центры эмиграции переполнились... — Под «эмигрантскими центрами», по-видимому, Клейнборт подразумевает собственное нелегальное проживание в Финляндии в 1907 г.

С. 428. *...А. С. Изгоев подчеркивает, что я «смело говорю ту правду, которую надо знать»...* — Подразумеваются статьи Изгоева, опубликованные под рубрикой «Лит<ературно>-обществ<енный> дневник» (Речь. 1908. № 190; 1909. № 328).

Его можно было видеть на митингах... — Н. А. Бердяев так охарактеризовал революционные настроения Розанова: «Бывший консерватор, почти реакционер, Розанов, сотрудник “Русского Вестника” и “Московских Ведомостей”, начинает флиртовать со стихией революции, незаметно перерождается в радикала. Но политическая неосведомленность, я бы сказал, почти малограмотность мешает Розанову разобраться в существующих политических течениях, он остается чуждым политике в собственном смысле слова. К великому соблазну всех тех, которые почитают этого первоклассного писателя, прислушиваются к его словам, физиономия его остается двусмысленной, радикализм его кажется несерьезным, капризом его темперамента. Я думаю, что тяготение Розанова к социальному радикализму, любовь его к “левым” имеет более глубокие корни. Розанов чует, что дело имманентного пантеизма и натуралистической мистики может выиграть от союза с нарождающейся религией социализма, с прогрессивным социальным устроением этой жизни. Социализм обещает обоготворить и устроить природный мир и природное человечество. Пантеизм розановского типа мог бы обогатить и опоэтизировать прозу социального строительства, одухотворить радости матерьяльной жизни. Имманентное отношение к этому миру и радостям этой жизни и вражда к трансцендентному соединяет Розанова с социализмом и даже с позитивизмом. Но “левые” такие ремесленники, что не хотят воспользоваться Розановым, и Розанов продолжает терпеть от них немало обид:

Розанов, конечно, всегда останется мистиком, в нем слишком сильно непосредственное чувство, он никогда не согласится переселиться в кухню, бьющая через край талантливость его всегда будет сильнее его бестолковой "левости", его дилетантского и обывательского радикализма. Есть настоящий, глубокий радикализм, и радикализм розановской постановки вопроса о поле и плоти гораздо подлиннее, искреннее и значительнее его флирта с "левостью"» (*Бердяев Н.* Христос и мир (Ответ В. В. Розанову) // Собр. соч. Т. 3: Типы религиозной мысли в России. Париж: YMCA-press, 1989. С. 343—344).

«Русское Слово» — московская ежедневная политическая, общественная, экономическая и литературная газета (1895—1918). Розанов печатался в газете в 1895—1897 гг., когда этот печатный орган, издававшийся на средства государственной субсидии, выражал интересы консервативно настроенных слоев общества. Однако в 1898 г. газета была выкуплена И. Д. Сытиным, под руководством которого «Русское Слово» стало одним из влиятельных органов русского либерализма. С 1905 г. Розанов, вдохновленный идеями социального преобразования, становится постоянным сотрудником газеты, печатая в ней статьи под псевдонимом Варварин. «Левые» настроения публициста Розанова не мешали ему одновременно печататься в консервативном «Новом Времени». Это разновекторное положение Розанову удавалось сохранять довольно долго, пока в 1910 г. его идейные оппоненты П. Б. Струве и А. В. Пешехонов не обвинили его в политическом «двурушничестве», а Д. С. Мережковский и Д. В. Философов в 1911 г. потребовали от Сытина изгнать Розанова со страниц «Русского Слова». См. также «Мимолетное», запись от 7 марта 1914 г.: «...в *душе я был всегда согласен* с "Нов. Вр." (политика) и не согласен с "Русск. Словом", но видел, что они в "чести", т. е. ведут политику, "как ее понимают", как "вытекает из строя их души". Этому "строю их души" я, по благодушию, помогал, да, понятно, как в церкви, так и в государстве, слишком открытых критике и, наконец, прямо негодных и смешных. В "Русское Слово" *я не дал ни одной неискренней статьи,* т. е. заключающей негодование не то, которое я имел. "Неискренность" и "фальшь", в сущности, заключалась в одном: я не одобрял в душе общего руководства их газетою, "широко-демократического", «улично-крикливого", со слишком оптимистическим взглядом "на наше общество", о котором я был гораздо худшего и меньшего мнения, чем редакция» (*Розанов В. В.* Собр. соч. Т. 8: Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. М.: Республика, 1997. С. 242—243).

С. 428—429. *«Что наша жизнь? ~ «Позорное существование!»* — Неточная цитата из книги «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.». См.: Там же. С. 30.

С. 429. *Он, славянофил, единомышленник Н. Н. Страхова...* — Об эволюции взглядов Розанова на славянофильство см.: *Фатеев В. А.* 1) Славянофильство // Розановская энциклопедия. Стб. 2102—2113; 2) С русской бездной в душе: Жизнеописание Василия Розанова.

С. 430. *...пишет он о «людях пегих»...* — Ср. главу «Пегий человек», посвященную Гапону, в книге «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.»: «Есть люди об одном цвете — черные, белые. Но есть еще несчастно рожденные люди, пегие, которые совершенно искренно не могут одному чему-нибудь служить и совершенно искренно служат двум господам; т. е. измена то одному, то другому, и в конце концов всему и всем составляет стержень и "истину" их *души*» (С. 87). Этот же пассаж был использован В. Полонским для характеристики натуры самого Розанова в статье «Исповедь одного современника» (Летопись. 1916. № 2. С. 422).

«Дантисты революции», как характеризовал ваших «профессионалов» ваш Герцен. — Подразумеваются негативные оценки, высказанные А. И. Герценом по поводу нигилистических тенденций поколения молодых русских революционеров, которых он, представив гротескным воплощением тургеневского героя — Базарова, назвал «дантистами нигилизма и базаровской беспардонной вольницы» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 11. С. 352; впервые очерк был опубликован по рукописи в «Сборнике посмертных статей А. И. Герцена» (Женева, 1870. С. 165—177); на основании помет и замечаний автора включен в главу III седьмой части книги «Былое и думы»).

С. 431. *«Я сам осуждаю ли убийцу Плеве?* — См.: *Розанов В. В.* Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. С. 129. Речь идет об убийстве министра внутренних дел В. К. Плеве, совершенном эсером Е. Созоновым 15 июля 1904 г.

С. 432. *О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями!* — Строки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

...пленной мысли раздражением. — Выражение М. Ю. Лермонтова. См. коммент. к с. 22.

...мы Иудушки — так окрестил его еще покойный Вл. Соловьев... — Подразумевается статья Соловьева, родившаяся в ходе полемики по вопросам религиозной свободы и веротерпимости, участником которой помимо Розанова был также Л. А. Тихомиров. Отвечая на статью Розанова «Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени)» (Русский Вестник. 1894. Кн. 1. С. 265—287), Соловьев опубликовал «заметку» «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. Кн. 2. С. 906—916), где, в частности, писал, характеризуя Розанова как критика его книги «Национальный вопрос в России» и оппонента по «вопросу о соединении церквей»: «...совершилось нечто, совсем выходящее из ряду вон: против веротерпимости выступил сам господин Порфирий Головлев, более известный под именем *Иудушки*. Статья о свободе и вере, только появившаяся в одном из здешних журналов, не подписана именем Головлева, но совокупность внутренних признаков не оставляет никакого сомнения насчет действительного автора: кому же, кроме Иудушки, может принадлежать это своеобразное, елейно-бес-

стыдное пустословие?» (цит. по: *Соловьев В. С.* Сочинения: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 498).

— Вот с Георгием Ивановичем. — Знакомство Г. И. Чулкова с Розановым произошло на почве сотрудничества в журнале «Новый Путь», где Розанов вел собственный раздел «В своем углу», а Чулков исполнял обязанности секретаря редакции. Ср. впечатления от встреч с Розановым в воспоминаниях Н. Г. Чулковой — жены Чулкова, в период деятельности журнала «Вопросы Жизни»: «Розанов тогда был в славе — как в кругу "Нового Времени", газете Суворина, — так и среди символистов и новых философов» (РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 3. Ед. хр. 192. Л. 59). По словам дочери философа Т. В. Розановой, Чулковы, жившие несколько лет до революции в пригороде Петербурга — Царском Селе, «редко и очень официально» посещали воскресные журфиксы ее отца, который «их не очень любил, так как расходился с Чулковым во взглядах» (*Розанова Т. В.* «Будьте светлы духом»: (Воспоминания о В. В. Розанове). М.: Blue apple, 1999. С. 150). Эти идейные противоречия в конечном счете проявились в резкой критике Розановым романа Чулкова «Сатана» (впервые в альманахе «Жатва», 1914, кн. 9). См.: *Розанов В.* Двое Беспятовых, критик и беллетрист // Новое Время. 1914. 18 июня. № 13744. С. 4. В свою очередь, Чулков создал пародийный портрет Розанова в персонаже своего романа «Метель» (М., 1917) Филиппе Ефимовиче Сусликове, оценивавшем реальность исключительно через призму сексуальных влечений.

...бывали у Вячеслава Иванова. — Подразумеваются собрания в «Башне» (Таврическая ул., д. 25/1, кв. 24), где по средам собиралась интеллектуальная, литературно-художественная элита Петербурга, придерживавшаяся подчас диаметрально противоположных воззрений на политику, философию и эстетику. О посетителях башни см.: *Шишкин А.* Симпосион на петербургской Башне в 1905—1906 гг. // Канун: Альманах. Вып. 3: Русские пиры. СПб., 1998. С. 273—352.

С. 433. *...«младенца, замученного Бейлисом»...* — В 1913 г. в Киеве проходил судебный процесс над евреем М. Бейлисом по обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика Андрея Ющинского; суд присяжных признал обвинение ложным и оправдал Бейлиса. В 1911 г., во время подготовки этого процесса, в газете «Речь» 30 ноября было опубликовано воззвание русских литераторов и общественных деятелей «К русскому обществу» — «По поводу кровавого навета на евреев», перепечатанное в других газетах, где говорилось: «Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы подымаем голос против вспышки фанатизма и темной неправды. Исстари идет вековечная борьба человечности, зовущей к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения. И в наше время, как это было всегда, — те самые люди, которые стоят за бесправие собственного народа, всего настойчивее будят в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав,

готовые подавить их самыми суровыми мерами, — они льстят народным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками <...> Бойтесь сеющих ложь. Не верьте мрачной неправде, которая много раз уже обагрялась кровью, убивала одних, других покрывала грехом и позором!» Среди 82 известных литераторов и общественных деятелей текст воззвания подписали З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, В. Г. Короленко, А. А. Блок, М. Горький, Ф. Сологуб, Л. Н. Андреев, Вяч. Иванов. Розанова в этом процессе, вскрывшем серьезные национальные и религиозные проблемы, главным образом интересовало подтверждение ритуальных особенностей иудаизма, основанных на сакрализации крови. Его статьи, появившиеся в московской газете «Земщина», воспринятые общественностью как выражение ксенофобии, получили скандальный резонанс. См.: *Розанов В.* 1) Андрюша Ющинский // Земщина. 1913. 5 октября; 2) Наша «кошерная» печать // Там же. 22 октября. Впоследствии обе статьи Розанов включил в книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови: Сб. статей» (СПб., 1914). Позиция Розанова по отношению к «делу Бейлиса» сдетонировала на разных уровнях его жизни: в знак протеста ушла из дома падчерица А. М. Бутягина, семья его подвергалась атаке анонимными звонками с оскорблениями, сам философ после общего собрания членов Религиозно-философского общества, состоявшегося 26 января 1914 г., письменно обратился к Председателю РФО с прошением об исключении из членов Общества: Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. СПб., 1914. Вып. 4. Доклад совета и прения по вопросу об отношении общества к деятельности В. В. Розанова см. также: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах. 1907—1917: В 3 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина, О. А. Коростелева, Л. В. Хачатурян и др. М.: Русский путь, 2009. Т. 2. С. 393—456.

«Вестник Европы» — литературно-политический ежемесячник умеренно-либеральной ориентации, продолжавший традицию одноименного журнала, основанного в 1802 г. Н. М. Карамзиным в Москве; с 1866 по 1918 г. выходил под ред. М. М. Стасюлевича в Санкт-Петербурге.

...где я время от времени помещал свои статьи. — Сотрудничество Клейнборта в «Вестнике Европы» началось не ранее 1912 г. и носило весьма спорадический характер. См. его статьи в журнале: «Тень утренняя. Картинки провинциальной жизни» (1912. Кн. 9. С. 97—112); «Рабочая интеллигенция и искусство» (1913. Кн. 8. С. 215—229); «Максим Горький и читатель низов» (1913. Кн. 12. С. 171—193).

Я просмотрел статью. — Речь идет о статье Розанова «Московские литературные и художественные кружки», подписанной псевдонимом Ветлугин, которая была напечатана в газете «Колокол» (1916. 24 февраля. № 2933). Далее следует пересказ содержания и контаминация неточных цитат текста

Розанова. См.: *Розанов В. В.* В чаду войны: Статьи и очерки. 1916–1918 гг. М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. С. 100–105.

Фельетон «Литературные беседы»... – Название «Литературные беседы» носила постоянная рубрика газеты «Колокол», в которой Розанов публиковал свои статьи.

...Кранихфельд... – На одну из его публикаций к 25-летию со дня смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина Розанов отозвался изничтожающей критикой в статье «Кранихфельд с полотенцем». См.: *Розанов В. В.* Когда начальство ушло... 1905–1906 гг. С. 332.

С. 434. *...о его вступительной статье к «Песни песней Соломона»...* – Речь идет об изд.: Песнь Песней Соломона / Пер. А. Эфроса; Предисл. В. Розанова. СПб.: Пантеон, 1909 (2-е изд. – 1910).

«Это что-то совершенно исключительное ~ Ни больше ни меньше». – См.: *Амфитеатров А. В.* Заметы сердца. СПб., [1909]. С. 118–119.

С. 435. *...по кружкам, которые произвели его в мыслители...* – Подразумеваются воскресные собрания литераторов, философов и религиозных деятелей в салоне Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, в их квартире на Литейном пр., д. 24/27 (дом А. Д. Мурузи), и так называемые «среды» Вяч. Иванова, проходившие в квартире поэта на Таврической, 25. См. воспоминания Чулкова об этих собраниях, где в 1904–1906 гг. он встречался с В. В. Розановым (*Чулков Г.* Годы странствий // *Чулков Г.* Валтасарово царство. М.: Республика, 1998. С. 491–493, 497, 509).

...«столь же гениальные, как Ницше, а может быть и более». – *Мережковский Д.* Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 150.

Не надевая кальсон? – См.: *Розанов В.* Литературные симулянты // Новое Время. 1909. 11 января. № 11794.

– О Мережковском он сообщал, что он – импотент... – Ср. также высказывание Розанова в книге «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», вышедшей вторым изданием в 1902 г. в Петербурге: «Нельзя не обратить внимания, что все связанные "кольцом Мережковского" суть люди бездетные и, кажется, в сущности безженные» (цит. по: *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 634–635).

О Блоке – что он женился не на Любовь Дмитриевне, а на ее деньгах. – Ср. признание Розановым великодушия Мережковского и Блока, ставших «жертвами» его печатных выступлений, в книге «Опавшие листья. Короб первый»: *Розанов В. В.* Листва. С. 135–136.

С. 436. *...«Во Христе прогорк мир».* – См. доклад Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», прочитанный на заседании РФО 21 ноября 1907 г. Ср.: «С рождением Христа, с воссиянием Евангелия все плоды земные вдруг стали горьки. Во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости. Как только вы вкусите сладчайшего, неслыханного, подлинно небесно-

го — так вы потеряли вкус к обыкновенному хлебу. Кто же после ананасов схватится за картофель. Это есть свойство вообще идеализма, идеального, могущественного. Великая красота делает нас безвкусными к обыкновенному. Все "обыкновенно" сравнительно с Иисусом. Не только Гоголь, но и литература вообще, науки вообще. Даже более: мир вообще и весь, хоть очень загадочен, очень интересен, но именно в смысле *сладости* — уступает Иисусу» (цит. по: *Розанов В. В.* В темных религиозных лучах. М.: Республика, 1994. С. 425).

Мережковский, Волжский всю гениальность Розанова строят на этой глубине, бездонности пола. — Д. С. Мережковский посвятил подробному анализу философии пола Розанова, отчасти изложенной в книге «В мире неясного и нерешенного (СПб., 1904, 2-е изд.), статью «Новый Вавилон» (впервые: Новый Путь. 1904. № 3). Волжский в статье «Мистический пантеизм Розанова» (впервые: Новый Путь. 1904. № 12; Вопросы Жизни. 1905. № 1—3), а также в очерке «Станислав Пшибышевский (Вопросы Жизни. 1905. № 9) дал характеристику особого типа философского дискурса Розанова, связанного с мистически-религиозным отношением к проблеме пола. По мысли Волжского, Розанов являлся носителем и выразителем «философской веры».

С. 437. — *Я живу здесь. Вот в этом доме.* — В январе 1906 г. семья Розанова переехала со Шпалерной ул. в Большой Казачий пер., д. 4, кв. 12.

С. 438. *Обоготворим Бюхнера, Молешотта.* — Представители так называемого «вульгарного материализма» Якоб Молешотт, автор «Кругооборота жизни» (1852), и Людвиг Бюхнер, автор книги «Материя и сила» (1855). Им принадлежит известная формула: «Человек есть то, что он ест», т. е. все его существо определяется физико-химическим составом тела, зависящим от пищи. Это учение получило прививку в России благодаря Д. И. Писареву и русским нигилистам. Ср. также пассаж из статьи Н. А. Бердяева, посвященной книге Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» (Пг., 1914): «Есть в книге Розанова еще одна неприятная и щекотливая для него сторона. Розанов всюду распинается за христианство, за православие, за Церковь, всюду выставляет себя верным сыном православной Церкви. Он уверяет, что славянофилов не любили потому, что они были христианами. Он повторяет целый ряд общих мест об измене христианству, об отпадении от веры отцов, поминает даже "Бюхнера и Молешотта", о которых не особенно ловко и вспоминать теперь, до того они отошли в небытие. Но я думаю, что христианская религия имела гораздо более опасного, более глубокого противника, чем "Бюхнер и Молешотт", чем наивные русские нигилисты, и противник этот был — В. В. Розанов. Кто написал гениальную хулу на Христа "Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира", кто почувствовал темное начало в Христе, источник смерти и небытия, истребление жизни и противопоставил "демонической" христианской религии светлую религию рождения, бо-

жественное язычество, утверждение жизни и бытия?» (цит. по: В. В. Розанов: Pro et contra. Кн. II. С. 49).

...сами метите в человекобоги... — Ср.: «Он придет, и имя ему человекобог. — Богочеловек? — Человекобог. В этом разница» (*Достоевский Ф. М.* Бесы // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. С. 189).

...профессионал революции еще жив, еще горд своей мечтой о будущем. — См. статью Клейнборта «Политические прежде и теперь» (Современный Мир. 1909. № 11. Отд. II. С. 49—81).

С. 439. *Вот эту-то деятельность Розанов сделал на этот раз предметом своего рассмотрения...* — Статья не выявлена.

...«черт бы его побрал!». — *Розанов В. В.* Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. С. 129.

...«я русского чиновника люблю. Уважаю и люблю». — Цитата из статьи «О психологии терроризма» (Новое Время. 1909. 25 июля. № 11985. С. 3), в которой Розанов воспроизводит слова С. С. Боткина, произнесенные в «самый разгар революции»: «Я русского чиновника люблю. Уважаю и люблю», соглашаясь с этой позицией государственника: «Я спорил тогда: но, ей-ей, это так было сказано, что вдруг сделалось и моим "credo". Надо сплошь все любить, не разбирая. "Разборка" пойдет потом на "том свете", что ли: а нам просто *не дано права* ненавидеть, и притом так сплошь все. А революционеры, несомненно, все сплошь ненавидят, кроме своей кучки "непорочно зачатых максималистов"» (цит. по: *Розанов В. В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. С. 549).

С. 440. *— Знаете, есть такие заштатные городки.* — Намек на город Белый, где Розанов в 1891—1893 гг. служил учителем в прогимназии. См. также статью А. Данилевского «В. В. Розанов как литературный тип», где рассматривается версия, по которой герой Розанов послужил прообразом для героя романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» — учителя Передонова (Toronto Slavic Quarterly www.utoronto.ca/tsq/15/danilevsky 15.shtml).

С. 441. *Разговор шел о последнем рассказе Ремизова «Крестовые сестры»...* — Повесть А. М. Ремизова впервые увидела свет в 1910 г. на страницах литературно-художественного альманаха издательства «Шиповник» (Кн. 13. С. 159—297), издававшегося в Петербурге З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом.

...его занимали самые темы Ремизова... — Е. В. Аничков, возможно, был посвящен в нравственно-психологическую проблематику текста «Крестовых сестер» еще до появления повести в печати, поскольку Ремизов работал над этим произведением летом 1910 г., находясь в гостях у Аничкова. Об этом Ремизов сообщал в письме к И. А. Рязановскому: «10-го меня увез к себе (г. Боровичи, Новгородск<ой> г<убернии,> имение Ждань) Е. В. Аничков <...>.

У Аничкова сидел я по 18-и часов над повестью моей и очень изморился» (ОР РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 11).

...его подполье... — Психология «человека из подполья», приписываемая Ремизову литературной критикой 1910-х гг., стала предметом рассуждений в статье Вл. Кранихфельда, посвященной новому произведению Ремизова, — «Литературные отклики. В подполье» (Современный Мир. 1910. № 11. С. 97). См. также: *Закржевский А.* Подполье: Психологические параллели. Киев: Искусство и печатное дело, 1911. С. 334.

Бурков дом же для него весь Петербург... — Доходный дом на Фонтанке (Бурков дом) — место действия повести — наделен писателем символическим значением. Ср.: «...весь Бурков дом — весь Петербург» *(Ремизов А. М.* Собр. соч. Т. 4: Плачужная канава. М.: Русская книга, 2001. С. 197). Ср. также первый критический анализ «Крестовых сестер» — статью Иванова-Разумника «Бурков двор» (Русские Ведомости. 1910. 17 сентября. № 213. С. 2—3). Критик имел возможность прочитать роман еще в рукописи, в связи с чем даже рекомендовал писателю в письме от 22 августа 1910 г. изменить его название. Ср.: «Ваши "Крестовые сестры" всё не идут у меня из головы — пришибли Вы меня ими; давно не приходилось читать ничего подобного. А вот только что пришло мне в голову: заглавие — "Кр<естовые> с<естры>" — хорошее и говорящее; но мне придумалось другое, которое дает повести обобщающий смысл: "Бурков двор" — как Вам покажется? Ведь Бурков двор — это не двор, это даже не Петербург, это чуть ли не вся Россия измученная, страдающая, пьющая настой на навозе и ищущая спасения в «Париже"» (Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908—1944 гг.) / публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса, Ж. Шерона; вступ. заметка и коммент. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб.: Искусство России, 1998. Вып. 2. С. 39).

...отсидел несколько лет в Крестах. — В 1899 г. Щеголев был арестован в первый раз за участие в организации крупного студенческого выступления и исключен из университета. Восьмимесячное заключение сменила ссылка в Полтаву. Затем за участие в очередных революционных событиях последовала ссылка в Вологду, откуда он возвратился в Петербург в 1903 г., где получил разрешение на окончание университета. В 1909 г. Щеголева как издателя-редактора первого русского журнала «Былое», посвященного освободительному движению, вновь привлекли к суду и приговорили к трем годам тюремного заключения, которое в 1909—1911 гг. он отбывал в «Крестах», где написал исследование «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина».

С. 443. *...рассказал историю этого знакомства М. П. Неведомскому.* — М. П. Миклашевский (псевд. М. Неведомский) как участник революционного движения (меньшевик) до 1917 г. постоянно пребывал под надзором полиции. В 1890-е гг. печатался в «Русской Жизни», «Новом Слове», «На-

чалах», «Мире Божьем» и др.; в 1906–1909 гг. сотрудничал в «Современном Мире».

Исключен он был единогласно. — Ошибочное утверждение. Из стенограммы заседания следует, что формулировка об исключении Розанова была отвергнута большинством членов РФО.

...он любит евреев и еврейство. — До 1911 г. статьи Розанова, посвященные иудаизму, характеризуются стремлением идеализировать еврейский культ и религию в сравнении с христианством. Эти взгляды существенно трансформируются после процесса Бейлиса, получая различные политические акценты в период с 1914 по 1917 г. Подробнее см. статью В. Л. Махлина «Евреи» (Розановская энциклопедия. Стб. 1451–1459).

С. 444. *Между тем гром грянул.* — Подразумеваются революционные события 1917 г.

Он уже жил в Троицко-Сергиевской лавре... — Ср. впечатления переводчика А. А. Бородина, в 1910 г. бывавшего в петербургском доме Розановых, который посетил Сергиев Посад 31 мая 1918 г. по просьбе писателя А. М. Ремизова: «Ездил в Лавру. Не без труда нашел на поляне (*так!*) Розановых. В<асилия> В<асильевича> не было, как назло уехал в Москву, так что взять Ваш апокалипсис (очень интересно и глубоко, особенно т. 2) не мог, но дочь обещала напомнить отцу, чтобы выслал. Варвара Дмитриевна выглядит ужасно, краше в гроб кладут. Вообще они все жалки, заброшены, раздавлены событиями. Долгов тьма, продают вещи, даже книги, живут без прислуги, В. Д. сама все делает с дочерьми на кухне, хотя едва на ногах держится. Жаловалась на невыносимую тоску и тяжелую старость. Все время заговаривается, не сразу меня признала. Дочь Таня рассказывала мне, что В<асилий> В<асильевич> тоже в таком жалком виде. Он, между прочим, помирился (или хотел помириться, я это понял со слов Гершензона) с Гершензоном, был на даче у М<ихаила> О<сиповича>, и когда М<ихаил> О<сипович> упомянул про Вас, он спросил: "А что Алексей Мих<айлович> все еще читает лекции студентам?" Очевидно, память-то у бедняги очень слаба стала» (письмо датировано 29 мая 1918 г.; опубл.: *Обатнина Е.* Вариации памяти (Творческая история «Кукхи» и других мемуарных свидетельств Ремизова о Розанове) // *Ремизов А.* Кукха: Розановы письма. СПб.: Наука, 2011. С. 318–319). См. также: *Розанова Т. В.* «Будьте светлы духом»: (Воспоминания о В. В. Розанове).

...писал письма Горькому и другим. — Речь идет о письмах к литераторам Москвы и Петрограда, в которых больной Розанов взывал о помощи, оказавшись в Троице-Сергиевом Посаде в положении крайней нужды, на грани физической смерти от голода. См.: В. В. Розанов. Письма 1917–1919 годов / вступ. ст. Евг. Ивановой; публ. и коммент. Евг. Ивановой и Т. Померанской // Литературная учеба. 1990. № 11. С. 85. Два предсмертных письма Розанова Горькому, написанные в конце 1918 и 29 января 1919 г., см.: *Розанов В. В.*

Мысли о литературе. М.: Современник, 1989. С. 523–524; О «безвидной дружбе»: Письма В. Розанова к М. Горькому. С. 163. О помощи Горького Розанову см.: *Ходасевич В.* З. Н. Гиппиус. Живые лица. I и II т. Изд. «Пламя». Прага, 1925 <Рец.> // З. Н. Гиппиус: Pro et contra: Антология / сост., вступ. ст., коммент. А. Н. Николюкина. СПб.: Изд-во РХГА, 2008. С. 603–605. См. также коммент. к с. 68, 346, 394.

Розанов решил уйти в нумизматику... — Нумизматическая коллекция Розанова насчитывала 13 222 римские и 4500 греческих монет. В своих воспоминаниях дочь Розанова писала, что в конце 1917 г., когда жизнь в Петрограде стала особенно трудной, на семейном совете было решено перебраться в Троице-Сергиев Посад. Перед отъездом Розанов передал золотые монеты из своей коллекции в Государственный банк, эвакуировавшийся в Нижний Новгород. Только «с тремя золотыми монетами отец никогда не расставался, всегда носил их в кармане брюк, все их рассматривал. Когда после революции из Троице-Сергиева Посада он приехал в Москву во время голода и заснул на вокзале, их у него украли. Он не мог никогда этого забыть и это страшно на него подействовало». Подробнее см.: *Розанова Т. В.* «Будьте светлы духом»: (Воспоминания о В. В. Розанове). С. 174–175. Часть коллекции в настоящий момент находится на хранении в Государственном музее изобразительных искусства им. А. С. Пушкина (Москва). Описание коллекции см. в кн.: Василий Васильевич Розанов — коллекционер-нумизмат. 1856–1919: (К 150-летию со дня рождения). М.: Альфа-Принт, 2006.

Мы же все любим осень, фуфайку, валяные сапоги... — Подразумевается статья Розанова «"Вечно печальная дуэль" (М. Ю. Лермонтов)». Ср.: «...все мы любим осень, "камелек", теплую фуфайку и валяные сапоги» (Новое Время. 1898. 24 марта. № 7928).

...И закат вечера, и тихий вечерний звон...». — Ср. «Уединенное»: «Хочу ли я, чтобы очень распространялось мое учение? Нет. Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон» (цит. по: *Розанов В. В.* Листва. С. 46).

Он хочет покоя. — Ср. запись Розанова, связанную с переживаниями о здоровье жены, в книге «Опавшие листья. Короб первый»: «Я не хочу истины, я хочу покоя (после доктора)» (Там же. С. 157).

...какие слова он сказал о христианстве, о русской церкви! — С 1890-х гг. Розанов, в юности стоявший на атеистических позициях, стал выразителем антихристианских взглядов, достигших наивысшей полемичности в его сочинении «В темных религиозных лучах», которое вследствие запрещения цензурой в 1909 г. вышло в свет в 1911 г. двумя книгами: «Темный лик» и «Люди лунного света». Однако с изменением его либеральных настроений, связанных с поражением русской революции, категорическим неприятием революционаризма и политического терроризма, а также на фоне личных переживаний, связанных с тяжелой болезнью жены, разбитой параличом

в конце августа 1910 г., происходит постепенный поворот философа к Церкви и христианскому вероучению.

Просто сидеть на стуле и смотреть вдаль... — Ошибочное указание на «Опавшие листья». Ср. «Уединенное»: «Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков... — Ну? Ну?.. Хх... — Это — что частная жизнь выше всего. — Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха!.. — Да, да! Никто этого не говорил; я — первый... Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца. — Ха, ха, ха... — Ей-ей: это — *общее* религии... Все религии пройдут, а это останется: просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль (23 июля 1911)» (цит. по: *Розанов В. В.* Листва. С. 40).

Меньшиков, Борис Никольский и другие уже «ликвидированы». — М. О. Меньшиков был расстрелян в Старой Руссе 21 сентября 1918 г. По предположению В. Фатеева, «никаких иных поводов для расправы с отошедшим от дел журналистом, кроме его антиеврейских выступлений в "Новом Времени", преимущественно по делу Бейлиса, не было» (*Фатеев В.* С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. С. 526). Б. В. Никольский после Октябрьской революции в июне 1919 г. был арестован, 1 июля расстрелян. См. также коммент. к с. 68.

...«благолепие храма, свечечки, иконы»? — Очевидно, в работе над очерком Клейнборт полагался на статью Вяч. Полонского «Исповедь одного современника», перепутав цитаты из Розанова и собственно авторский текст Полонского. Ср.: «Когда-то (это было давно) Розанов огненными словами говорил о религии, уводящей с земли, и о религии, землю благословляющей, о забытых прелестях земного, о насыщенной, плодоносящей красоте мира. Как сильно и смело было противопоставление его тогдашнего язычества христианству, какие, наконец, значительные слова сказал он о русской церкви. Теперь все это позабыто. Хроменький, усталый, несчастненький, болящий, он не хочет "язычества", до язычества ли ему теперь? ("могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и навсегда здоровым? — мог бы") — и он вспомнил о церкви, он бросился к ней, теперь для него церковь — одно в мире "теплое, последнее теплое на земле", та самая церковь, над которой смеялся он таким ядовитым смехом. "Иду в церковь. Иду! иду!" — и вновь охватывает его благолепие храма, свечечки, иконы, и "как хорошо у православных, что целуют руки у попов"» (Летопись. 1916. № 2. С. 354).

...ушел в снежные сугробы Сергиева Посада. — Вероятно, представление Клейнборта о последних годах жизни Розанова в Сергиевом Посаде восходит к некрологу В. Р. Ховина «Розанов умер» (см.: Наст. том. С. 419–421).

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 5

ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Е. Голубинский. Воспоминания 9 *448*
С. Д. Думаровский. [Характеристика В. В. Розанова в юности] .. 12 *448*
Бессонов. [Характеристика В. В. Розанова в юности] 13 *448*
А. М. Щеглова. [Характеристика В. В. Розанова в юности] 14 *449*
А. С. Глинка-Волжский. Интимный документ (Письмо В. В. Розанова об А. П. Сусловой) 15 *449*
С. Н. Дурылин. В. В. Розанов 20 *449*
П. Д. Первов. Философ в провинции (из литературно-педагогических воспоминаний) 28 *450*
В. В. Обольянинов. В. В. Розанов — преподаватель в Бельской прогимназии 35 *454*
П. П. Перцов. Воспоминания о Розанове 38 *454*
Н. А. Энгельгардт. Эпизоды моей жизни 50 *460*
Ю. Д. Беляев. О Розанове 53 *460*
П. П. Перцов. Литературные воспоминания. Глава VIII. «Мир искусства» 55 *460*
И. Грабарь. Моя жизнь 58 *461*
М. В. Добужинский. Воспоминания 59 *461*
А. Н. Бенуа. Религиозно-философское общество. Кружок Мережковских. В. В. Розанов 60 *461*
З. Н. Гиппиус. Задумчивый странник. О Розанове 69 *462*
З. Н. Гиппиус. О Религиозно-философских собраниях 109 *470*
М. Цветаева. Дом у старого Пимена 115 *470*
В. Г. Шершеневич. Великолепный очевидец 116 *471*
Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере 118 *471*
В. Микулич. Пройденная дорожка 119 *471*

А. М. Ремизов. О понимании 123 *471*
А. М. Ремизов. Кукха. Розановы письма 130 *471*
Андрей Белый. В. В. Розанов 196 *481*
Андрей Белый. Воспоминания об А. А. Блоке 202 *483*
Д. А. Лутохин. Воспоминания о Розанове 203 *483*
Борис Садовской. Записки 210 *484*
В. Пяст. Встречи 211 *484*
Е. Книпович. Об Александре Блоке 214 *485*
А. В. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе 215 *485*
Проф. Валентин Сперанский. Достоевский в семье 216 *485*
Георгий Иванов. Закат над Петербургом 217 *485*
М. В. Нестеров. Воспоминания 219 *485*
Н. А. Бердяев. Русская идея 220 *486*
Д. С. Мережковский. Революция и религия 222 *486*
Н. А. Бердяев. Самопознание 230 *486*
Борис Зайцев. Гоголь на Пречистенке 235 *487*
П. М. Пильский. В. В. Розанов 236 *487*
И. И. Ясинский. Роман моей жизни 242 *487*
А. В. Руманов. Штрихи к портретам: Витте, Распутин и другие 243 *487*
А. М. Ренников. Минувшие дни 244 *487*
А. Кауфман. Еще два слова о Розанове 253 *488*
В. П. Крымов. Самый странный писатель, которого я знал 254 *488*
В. П. Крымов. В. В. Розанов 264 *488*
И. И. Колышко. Осколки 266 *488*
А. З. Штейнберг. На петербургском перекрестке. Встреча с В. В. Розановым 273 *489*
П. Б. Струве. Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове 287 *489*
Г. В. Рочко. Воспоминания попутчика 297 *490*
Л. Розенталь. Как изгоняли Розанова 305 *492*
Е. М. Тагер. Блок в 1915 г. 313 *492*
Ю. К. Терапиано. Встречи 315 *493*
М. М. Спасовский. В. В. Розанов в последние годы своей жизни 316 *493*
Юрий Иваск. Розановоравная Вера 329 *494*
И. В. Грузинов. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве 333 *494*
А. И. Цветаева. В. В. Розанов 334 *494*
Э. Ф. Голлербах. В. В. Розанов: жизнь и творчество 340 *495*
Тэффи. Распутин 348 *496*
Э. Ф. Голлербах. Город муз 366 *496*

Э. Ф. Голлербах. В. В. Розанов как историк искусства и коллекционер 368 *497*
А. М. Ремизов. Взвихрённая Русь 372 *497*
Сергей Волков. Возле стен монастырских 375 *497*
С. И. Фудель. Воспоминания 376 *497*
С. И. Фудель. У стен церкви 378 *498*
С. Н. Дурылин. В своем углу 379 *498*
Л. А. Мурахина. О В. В. Розанове. Из личных впечатлений 389 *498*
Н. Н. Русов. Словарь русских мыслителей 392 *499*
В. Ф. Ходасевич. Рец. на кн.: З. Н. Гиппиус «Живые лица». I и II т. Изд. «Пламя», Прага, 1925 г. 393 *499*
Н. О. Лосский. История русской философии 396 *500*
А. Ф. Лосев. Из бесед и воспоминаний 398 *500*
А. М. Ремизов. Крашенные рыла 399 *500*
Э. Ф. Голлербах. Последние дни Розанова (к 4-й годовщине смерти) 400 *500*
А. А. Измайлов. Закат ересиарха († В. В. Розанов) 407 *501*
М. А. Каллаш. О Розанове 416 *502*
Э. Ф. Голлербах. Завет Розанова 418 *502*
В. Р. Ховин. Розанов умер 419 *503*
А. В. Бахрах. Андре Жид 422 *503*
Л. М. Клейнборт. <Встречи>. В. В. Розанов 423 *503*

Комментарии 445

Научно-популярное издание

В. В. РОЗАНОВ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Том 1

Составитель: *Виктор Григорьевич Сукач*

Выпускающий редактор: *Д. А. Федоров*
Корректор: *С. В. Степанов*
Верстка: *К. С. Курбатова*

Формат 60 × 88 $^1/_{16}$. Гарнитура Октава.
Печ. л. 33,0. Тираж 500 экз.

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8-921-937-98-70

ИП «Варваркин А. И.»
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, оф. 4

*Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
книга предназначена для детей старше 16 лет*